The
ROOT and the FLOWER

by

L. H. MYERS





Введение к тетралогии «Корень и цветок»

Это не исторический роман, хотя действие и помещено во времена Акбара Великого Могола (который был современником королевы Елизаветы), и это также не попытка изобразить восточные образы жизни и мышления. Я поступил с историей и географией так же, как мне заблагорассудилось поступить с нравами и обычаями. Факты использовались тогда, когда они были полезны, и игнорировались или искажались, когда оказывались неудобными. Лишь немногие из моих персонажей носят имена реальных людей, и из них только Император изображён с каким-либо вниманием к исторической правде.

Выбрав Индию XVI века в качестве места действия, я стремился увести читателя из нашего привычного мира в такой, где мог бы — не насилуя его чувство реальности — выдвинуть на первый план определённые избранные аспекты человеческой жизни и проиллюстрировать их значимость. Разумеется, моей целью ни в коем случае не было отодвинуть в сторону социальные и этические проблемы, которые навязывают себя нам в настоящее время. Напротив, моя надежда состояла в том, что мы сможем рассмотреть их лучше «с отдалённой точки обзора воображаемого мира».

Написание этого романа растянулось примерно на десять лет. За первым томом, «Близкое и далёкое» (The Near and the Far), изданным в 1929 году, последовал в 1931 году «Принц Джали» (Prince Jali), а в 1934 году эти две книги были переизданы — вместе с ещё одной частью, «Раджа Амар», — под одним названием «Корень и цветок» (The Root and the Flower). Четвертая, заключительная, часть повествования публикуется под заглавием «Пруд Вишну» (The Pool of Vishnu) (1940).

Корень и цветок I

Близкое и далекое

I

Маленький принц Джали вышел на балкон и с благоговением посмотрел вниз на равнину. Это была правда, что дома из башни отцовского дворца открывался ещё более широкий вид; но тот вид был знаком, а этот полон тайн. Стена этого странного дворца спускалась всё ниже и ниже, пока не сливалась со скатом крепости; сама же крепость венчала вершину холма; а голая скала холма продолжала отвесный спуск к реке Джамне. Красный блеск заката лежал на реке; по ту сторону воды тенистые рощи чередовались с залитыми солнцем участками проса и кукурузы; дальше простиралась пустыня.

Последние два года своей жизни — а ему было теперь двенадцать — пустыня очаровывала Джали. Почти каждый вечер дома он взбирался на башню, чтобы взглянуть

на неё. За крышами, за зеленью орошаемых полей, за сверкающими пальмами и тёмными купами цитронов, кипарисов и манго — за маленьким миром, который он знал, простирался тот другой мир, до которого мог дотянуться лишь его взор. Там она лежала, игровая площадка для ветров, покрытие, по которому струится поток вечернего света, обитель миражей и цветных дуновений.

Это был край, суливший ему бестелесную ловкость, неземную свободу. Его границы были сами по себе невещественны — линии холмов, так легко прочерченные вдоль горизонта, что в полдень они растворялись в раскалённом добела небе. Лишь на закате эти холмы становились реальными. Тогда-то они безмятежно, хотя и с печалью, возникали из небытия во всей красе. Скалы, зубчатые стены, горные хребты обретали тогда достаточно плотную субстанцию, чтобы уловить оттенки золота и розового цвета, струившиеся сквозь воздух. Водянистый блеск миража отступал от их подножий. Они давали, в своей отдалённости, меру того опустошённого пространства, что пролегало между ними. Но это длилось всего несколько минут. Быстро сгущавшиеся сумерки поглощали их, и то, что днём скрывалось под ослепительным светом сверху, теперь тонуло во тьме снизу. Ночь катилась через равнину, острые звёзды прокололи синеву; в одно мгновение осталось только двойное — земное и небесное — царство темноты.

Последние шесть дней Джали путешествовал по пустыне, и его постигло разочарование — разочарование, но не утрата иллюзий. Он цеплялся за правду внешних проявлений как за нечто равное истине того, что лежало в их основе. Пустынь было две: одна та, вид которой восхищал, и другая, по которой утомительно тащиться пешком. В глубине души он лелеял веру в то, что когда-нибудь близкое и далёкое встретятся. Да, однажды у него будет достаточно энергии дыхания и уверенности поступи, чтобы овладеть обещанием горизонта. Тогда вместо того, чтобы ползать насекомым по маленькому клочку бурого песка, он помчится, быстрый, словно олень, по зыбким просторам; ветер будет петь в его ушах, кровь — стучать в жилах, всё его тело станет живой стрелой. Уже сейчас, в воображении, он почти мог предвкусить эту радость — схватить в охапку, прижать к груди магию вещей, увиденных издалека. Одним прыжком перенестись вдаль, ворваться в призрачную сцену прежде, чем она успеет преобразиться, — он почти знал, как!

Теперь же, однако, прислонившись к тёплому мрамору балюстрады, он угрюмо смотрел перед собой. И вскоре в комнате позади раздался голос его няни, зовущей его внутрь, навстречу ужасам одинокой ночи в незнакомой комнате огромного сумрачного дворца. Повинуясь, он вошёл и растянулся на своём ложе, даже прикрыл глаза. Она спросила, сказал ли он свои молитвы, и оставила его одного.

Оставшись один, он вздохнул. Его жизнь, увы! была гораздо менее простой, чем полагала она или кто-либо другой. Он был христианином, да; но те простые молитвы простому христианскому Богу не удовлетворяли его. Были и другие божества, менее милосердные. Самое требовательное из них он открыл для себя сам. Ему нужно было служить тайными умилостивительными обрядами. Например, перед сном он должен был

коснуться каждым из пяти пальцев каждой из четырёх стен своей комнаты, и необходимо было при этом считать до пяти всякий раз. Эту церемонию следовало повторить трижды, и нельзя было позволить своему вниманию отвлекаться ни на единое мгновение, иначе сон будет изгнан страхом, что он допустил оплошность. Дело было столь неприятным, что он всегда откладывал его как можно дольше. Через несколько минут после ухода няни он встал и вернулся на балкон.

Там сразу привлек и приковал его внимание воздушный змей, балансирующий в напряжённой неподвижности, невероятно высоко в синеве. О чём думал змей? Что удерживало его, неподвижного и сосредоточенного, именно в том месте? Под ним находился дворец со своими дворами и террасами, лабиринт зданий, окружённый колоссальными стенами крепости. В более широком кругу лежал многолюдный и запутанный город; а за городом простиралась равнина — огромная, с протекавшей по ней Джамной, сияющей красной полосой, которая проходила из одной туманной дали в другую.

Был ли змей одинок и задумчив, как он сам, или его занимали собственные дела, как они занимают обычных людей? Заметил ли змей внизу, на балконе, маленького мальчика, который был плачевно обособлен? Нет, конечно, змею он не показался бы обособленным. В одиночестве являться единственным представителем своего вида было частью его собственной особой тайны. Даже отец или мать не могли догадаться о ней. Но часто это заставляло его желать броситься в объятия матери с криком: «Давай улетим вместе! Давай умрём вместе!» Но улететь куда? и умереть во что?

Заворожённый змеем, он оставался в неведении, что в комнату вошёл его отец. Раджа стоял в отблеске, лившемся через арку балкона, отблеске, исходившем не от прямого солнечного света, а отражавшемся от заливавшего всё снаружи багрянца. Он румянил его белый камзол и касался слабым блеском его единственных украшений — пояса с драгоценными камнями на рукояти меча и эгрета-заколки на тюрбане.

Несколько минут прошли, пока раджа Амар продолжал созерцательно смотреть на сына; наконец его отвлёк звук шагов в коридоре, и в следующее мгновение портьеры в конце комнаты раздвинулись, и появилась рани. Застыв на пороге, она позволила своим глазам блуждать вокруг. Длинная узкая комната уже потускнела; но белые мраморные стены её рассеивали тот свет, что был, делая видимой тонкую цветочную инкрустацию из агата, оникса и лазурита, что бежала вверх по дверному проёму и расходилась по сводчатому потолку. В этой обстановке, в этих сумерках, имевших тепло и прозрачность, её красота была поистине необыкновенной; улыбка раджи, восторженная, нежная и отстранённая, покоилась на ней, словно она была фигурой на какой-то живописной картине. Платье, которое она носила, было розового цвета, с серебряной бахромой, а покрывало бледно-лилового оттенка драпировало её голову и плечи. Высокая и стройная, она держалась с восточной грацией, и всё же она не была уроженкой Востока. Её белая кожа, её тёмно-каштановые волосы, которые имели волнистость, выдавали кавказское происхождение. На

самом деле она была дочерью грузинского князя, который, будучи изгнанником, нашёл убежище в Персии. Именно там раджа встретил её и женился на ней. Это был роман всей его жизни, и чудо этого романа вспыхнуло в нём сейчас — сейчас, в эти моменты, когда каким-то капризом воображения он поймал себя на том, что смотрит на неё отчуждённо глазами постороннего.

При первом звуке её голоса Джали вбежал снаружи, и вскоре она увела мальчика обратно к его ложу. Он должен быть хорошим, сказала она. Он должен быстро заснуть, потому что устал; ведь даже они устали после стольких долгих дней пути.

На своей постели Джали лежал, прислушиваясь к их приглушенным голосам, пока они стояли на балконе и разговаривали. Смысл их слов ускользал от него, но звук фиксировал его разум на тревожном мире взрослых забот. Для начала, это путешествие. Его отец был лишь одним из сотен раджей, вождей и вельмож, которых Император призвал ко двору на Дарбар. В этом великом дворце он фактически был гостем Императора. И это, разумеется, был лишь один из многих дворцов, которые Акбар использовал как гостевые дома — ибо сам он проводил приём в своём новом городе-дворце Фатехпур-Сикри. Когда они приближались к Агре, ему указали на очертания куполов и башен этого города на горизонте. Так много кварталов! Так много дворцов! Так много благородных князей, призванных одним словом! Величие, реализованное в таком масштабе, было нечеловеческим. Ему приходилось представлять себе мир, в котором даже его родители превращались в ничтожеств. Сердце его замирало, сжимаясь перед видением гигантских, бессердечных великолепий.

Через некоторое время раджа и рани вошли снова, поцеловали его в лоб и оставили одного на ночь. Казалось, давным-давно пролетел в воздухе тонкий, гнусавый призыв муэдзинов, но скрип случайной повозки, запряжённой волами, всё ещё поднимался с длинных пыльных дорог внизу, и он всё ещё слышал привычное карканье пыльных ворон, готовящихся к ночлегу. Внезапно он снова встал и выскользнул на балкон.

Прохладный ветерок скользил вдоль дворцовой стены; он заметил, как тот пригибает маленькое жесткое растеньице, выросшее из трещины в кладке внизу. На южной или западной стене у этого маленького растения не было бы ни единого шанса (даже сухой серый лишайник не мог существовать на этих выжженных поверхностях), но здесь оно, по-видимому, всё же умудрялось добывать себе жизнь. Возможно, ему помогал мелкий желоб, проходивший под ним; возможно, часть его корней проникла в желоб и могла глубоко пить всякий раз, когда шел дождь. Но всё равно это должна быть тяжелая жизнь, а растение выглядело достаточно сухим — и чахлым — и, прежде всего, одиноким. Джали жалел его в его одиночестве; он чувствовал тяжесть часов, недель и месяцев его заточения. Там оно и останется до конца своих дней, не зная ничего иного, пока не увянет и не будет сдуто прочь.

Со вздохом он посмотрел дальше, и глаза его расширились, наткнувшись на нечто странное. Что-то медленно и осторожно двигалось вдоль желоба — змея! Да, возможно, даже кобра! Бледно-желтое и коричневое тело змеи блестело, словно струящийся металл. Каким образом существо забрело в это неподходящее место? Невообразимо! И всё же вот оно; а его медленные движения выдавали беспокойство и замешательство.

Наблюдая за ней, он почувствовал, как его инстинктивная неприязнь тает. Он так хорошо понимал, что чувствует змея. Он вошел в её холодное узкое сознание и разделил её гневную растерянность. Её движения были скованы, продвижение затруднено, она постоянно рисковала соскользнуть через край. Время от времени она замирала в тусклом размышлении, вынашивая холодный гнев, который не находил выхода.

Тем временем маленькое растение, склоняемое каждым порывом ветра, билось своими тонкими веточками о водосточный желоб, как береза. Змея, казалось, не видела растения. Она продвинулась вперед, пока легкий удар веточек не пришелся ей по голове. При этом она остановилась и подняла шею. Маленькое растение теперь лишь слегка раскачивалось и наклонялось. Змея, всё ещё держа голову приподнятой, мелькала языком и ждала. Можно было почувствовать как гнев вздымается и напрягается в её вялом мозгу — тупой красный гнев, готовый взорваться. Затем налетел сильный порыв, пронесшийся вдоль стены, и тут же ветки обрушились на эту разъяренную голову — обрушились и ударили её движением, которое показалось Джали одновременно комичным и ужасающим. В мгновение ока голова вскинулась еще выше, шея откинулась назад, и последовал бросок на ветки и в пустоту воздуха. О роковой поступок! Чтобы нанести удар, змее пришлось свернуться кольцами, а её свёрнутое тело не могло удержаться на узком выступе. Поправить уже ничего было нельзя; она потеряла равновесие и упала.

Джали, затаив дыхание, перегнулся через балюстраду и увидел и услышал, как падающее тело ударилось о небольшую плоскую крышу футов в пятьдесят ниже. Там существо начало корчиться в агонии; оно больше не могло делать ничего, кроме как извиваться и поворачиваться на одном и том же самом месте.

Джали дрожал, но под этим волнением таилось глубокое, тревожное изумление. Вот маленькое растение, которое теперь покачивалось с какой-то задорной циничностью! А там — извивающаяся змея! Он продолжал смотреть, пока тьма не стала полной, и, все еще находясь под впечатлением увиденного, ощупью добрался до кровати. Подбородок на подтянутых коленях, он всматривался во мрак. Мир, несомненно, был местом тайны и ужаса. Это открывалось в корчах искалеченной змеи, в дерзком покачивании невинного растения на ветру, в сосредоточенности ярких глаз парящего воздушного змея, в ужасающей многочисленности живых существ, как животных, так и людей, и все они разделены, все одиноки, всем угрожало зло, притаившееся в засаде. Минуты скользили мимо незамеченными. Он забыл обо всём, даже о своих защитных обрядах. Когда он пошевелился в следующий раз, то осознал, что уже ночь, глубокая ночь. Он ощутил это в составе тишины — тишины, которая, стоило прислушаться, оживала беззвучными

движениями. Духовные сущности пришли в движение. Он был окружен. Постепенно он почувствовал, как стягивается кожа, учащаются удары сердца, расширяются глаза. Скользнув на пол, он ползком выбрался из комнаты. Благословенным был миг, когда портьера опустилась позади него, и в углу полутёмной передней он увидел свою старую няню, свернувшуюся во сне. Её безмятежное неведение успокоило его; он не станет её беспокоить. К тому же, не она нужна была ему. Но где же путь в комнату матери? Он точно не помнил.

II

Длинный, пустой коридор, освещенный маленькими лампадами с благовонным маслом, тянулся вдаль. Прокрадываясь по нему босиком, он миновал несколько дверных проемов, занавешенных шелковыми портьерами, и из-за них доносился приглушенный гул женских голосов. Волнение несло его вперед, пока он не остановился перед аркой, которая, казалось, вела на небольшую крышу-террасу. Здесь он замер, чтобы заглянуть сквозь экран, плетеный из травы кхас-кхас, стоявший поперек входа. Запах корней смоченной травы был восхитителен; и почти сразу же в ночном воздухе раздалась тихая музыка струнных инструментов. Группу прекрасных дам слушали, но, насколько он мог судить, среди них не было его матери. Впрочем, это нисколько его не волновало, ибо страх быстро уступал место чувству приключения. Это было нечто новое и странное — вот так бродить ночью по огромному неизвестному дворцу. Он задержался, пока кто-то не встал и не направился к ширме; после чего, обратившись в бегство, он пробежал по нескольким коридорам и спустился вниз лестница за лестницей, пока не оказался в древней, казавшейся необитаемой части здания. Здесь было уединенно; но, чувствуя себя сам призраком, он не боялся. Уходя всё дальше и всегда спускаясь ниже, он заметил, что стены были уже не из мрамора, а из старого красного песчаника. Их поверхность, отполированная прикосновением бесчисленных рук, пол, тоже истертый ногами поколений прохожих, сообщили ему, что теперь он находится в подземной части, древнем дворце, поверх которого был построен новый. Дальнейший спуск приведет его, как он полагал, прямо в жилую скалу цитадели; он окажется наконец в том подземном лабиринте, о котором слышал краем уха — области, возбуждавшей любопытство, которое он не смел удовлетворить. По правде говоря, дрожь пробежала по нему, когда внезапно он услышал, или скорее почувствовал, глубокую вибрацию, поднимающуюся от каменного пола прямо под ногами. Ему потребовалось мгновение, чтобы осознать, что это всего лишь трубные звуки слонов, стоящих в какой-то пещере внизу. Такой звук он слышал дома, из каменных чертогов под собственным дворцом. И сейчас, как и тогда, это вызвало в его памяти сцену, которую он время от времени наблюдал: огромные серые туши слонов, блестящие коричневые тела людей, путаница живых форм, которые дымный блеск факелов мог осветить лишь наполовину. Он представил себе едкий запах стойл, внезапные вспышки шума, выводящие из себя, и постоянный страх быть раздавленным насмерть.

Обернувшись, он пошел назад тем же путем. Теперь он шел быстрее, и вскоре начал идти еще быстрее, потому что уловил звук шагов позади. К счастью, проход имел так много поворотов, что позволял ему держаться вне поля зрения своего преследователя. Он воздерживался от бега, но только из страха, что те ноги сзади тоже перейдут на бег. Паника грозила охватить его, как вдруг он вспомнил, что чуть дальше впереди есть углубление, где можно будет спрятаться. Да, вот оно — с массивной колонной впереди, что было очень удобно. Настенные росписи показывали, что здесь когда-то было святилище Ганпати. Бог удачи! — подумал он, скорчившись в тени отбрасываемой маленькой лампой, висевшей снаружи.

Через несколько секунд появилась фигура. Это был человек среднего роста, хорошо сложенный и крепкий, который двигался раскачивающейся походкой горцев. Его силуэт показался Джали знакомым, и затем, к своему изумлению, он понял, что узнает его. Это был никто иной, как его дядя, Хари Хан, мужчина, женившийся на сестре его отца. Хари был вождем пограничья; он жил на севере, среди гор; славный малый, всегда думал Джали, дружелюбный и забавный. Встретиться вот так было действительно большим развлечением. «А что если напугать его!» — хихикнул он про себя; и тут же выскочил наружу, внезапно взмахнув руками.

Эффект шутки получился не таким, каким должен был быть. Он ожидал увидеть, как подпрыгнет его дядя, но вслед за этим немедленно должен был последовать крик самого дружеского удивления. Вместо этого Хари просто застыл как вкопанный и уставился на него ледяным взглядом. Справедливости ради, взгляд этот продлился недолго — едва ли больше секунды, собственно говоря; но в эту секунду Джали был обескуражен, и восклицания дяди, когда они прозвучали, не могли исправить положение дел. Джали! Ей-богу, Джали! Какого черта ты там делаешь! Но шок от этого стального взгляда остался и оживил в его памяти обрывков разговоров, услышанных при различных обстоятельствах дома. Он собрал из них воедино, что его дядя не совсем одобряем, открытие, которое подогрело его интерес, добавив остроты его частному мнению, что Хари Хан — человек, которому стоит симпатизировать. Что ж, теперь — текли его мысли — странно, очень странно встретить дядю Хари в женской половине дворца в такой час. И какое-то отражение его внутреннего недоумения, без сомнения, отразилось на его лице; во всяком случае, Хари резко перестал расспрашивать и начал задумчиво улыбаться ему.

— Предположим, мы присядем на несколько минут — вот здесь, на этих ступенях. Мне хотелось бы поговорить.

Они уселись, и Джали все еще не мог удержать свои глаза от выражения природы своих мыслей. Дядя был одет, как он теперь заметил, в костюм для верховой езды; он выглядел пыльным и разгоряченным; выражение его лица было необычайно настороженным.

— Что касается меня, знаешь ли, — небрежно объяснил Хари, — я только что прибыл с севера. У меня был тяжелый день в дороге, мой дорогой, и один из многих. Несколько

недель я охотился на козлов в горах... Да, именно этим я и занимался — весь путь вниз по склонам от Кабула. Я приехал с гор, со снегов, и это многие долгие мили, могу тебе сказать.

Певучесть голоса и улыбка заставляли сомневаться, верить ли ему. Голубые глаза Хари, несмотря на кажущуюся искренность их взгляда, были необыкновенно непроницаемы. Тем не менее Джали тоже улыбнулся, и сердце его откликнулось на то приятное чувство, которое неизменно вызывало присутствие дяди.

Во время паузы, которая теперь наступила, мысли Хари — судя по его задумчивому виду — блуждали в широком диапазоне; и его речь, когда он снова заговорил, действительно казалась довольно бессвязной. Но вскоре он прервался и начал задавать всевозможные вопросы; а затем снова остановился, чтобы подумать. «Так вот оно что…» — размышлял он теперь вслух, — вы прибыли за два или три часа до заката, и у Великих Ворот вас встретила целая толпа. Нарсинг был там, чтобы принять всех вас; но я полагаю…» — и он замялся, — «я полагаю, любой на самом деле мог проскользнуть внутрь незамеченным? — Да; а потом вас проводили в ваши покои. И снаружи комнаты вашей матери, говоришь ты, есть терраса — маленькая терраса с видом на дорогу у реки… И ты пытался запустить воздушного змея с этой террасы, и с тобой была одна из служанок твоей матери. Дай-ка подумать! Которая же это была? Загхул? Она молода и хороша собой, не так ли? Да, да, конечно, я её помню! И знаешь, как нарочно, сегодня вечером я проходил по той дороге в город, и мне кажется, я мельком увидел вас с Загхул, склонившихся вместе над парапетом террасы… Что ты об этом думаешь?»

— Я тебя не видел, — ответил Джали, недоумевая.

Хари отвел взгляд. Он всё ещё слабо улыбался, и когда он снова повернулся к Джали, его глаза светились тайным весельем.

— Тебе меня не раскусить! — сказал он.

Джали промолчал.

Хари, открыто рассмеявшись, наклонился вперед и взял его за плечо. К этому моменту Джали было совершенно ясно, что дядя живо осознает необходимость оправдаться перед ним. Более того, значение его бесчисленных вопросов стало вполне очевидным. Он искал что-нибудь — что угодно — что при необходимости помогло бы ему состряпать объяснение своим поступкам. «Тебе меня не раскусить!» — только что сказал он; и эти слова прозвучали как прелюдия к признанию, исповеди, мольбе. Сердце Джали подпрыгнуло от волнения.

— Дорогой мой, — сказал Хари, — почему бы тебе не спросить меня прямо, какого дьявола я тут делаю? Развлечение и добродушие поблескивали в его глазах одновременно. — Ты думаешь, я должен ответить какой-нибудь ложью. Увы! Если бы только я мог найти хорошую!

— Ну-ну! — продолжил он мгновение спустя, — достаточно верно то, что мне здесь нечего делать. Но также верно и следующее: моя единственная цель — пробраться в другую часть здания без чьих-либо расспросов. Я хочу попасть на Большую Террасу, где я весьма прилично смешаюсь с другими гостями Императора. Я также хочу увидеть Гокала — ты помнишь Гокала? — думаю, он, вероятно, там.

Джали, уже ставший сообщником, трепетал. — Как ты думаешь, могу я тебе помочь? Во всяком случае — я полагаю, ты не хочешь, чтобы я говорил об этой встрече?

Хари нахмурил брови. — Я не стану просить тебя лгать, хотя, конечно, ложь легко искупается небольшим подношением Сарасвати.

— Ты забываешь, — сказал Джали, — я христианин.

— Нет, не забываю.

При этих словах Джали покраснел. Он был христианином, несомненно, ибо мать воспитала его в своей вере; но — боже правый! существовала ли в мире хоть какая-то религия, приверженцем которой он не был, в большей или меньшей степени? Если его мать была христианкой, разве его отец не был буддистом, старая няня — джайном, учитель — брахманом, а товарищи его игровых часов — либо мусульманами, либо последователями какого-нибудь вида индуизма? Истина заключалась в том, что Джали был готов признать существование каждого известного бога, а также других, созданных собственным воображением.

— В конце концов, ты сын своего отца, — продолжал Хари, — а люди твоего отца живут в этой стране много поколений. Люди не могут жить в этой стране, не становясь тем, чего желает страна.

Джали встревожился. — Значит, моя мать тоже изменится?

— Твоя мать — ангел, — улыбнулся Хари. — Не дай бог, чтобы она изменилась.

— Я не против солгать ради тебя, — сказал Джали, — я лгу ради самого себя.

Хари покачал головой. — Я не хочу, чтобы ты лгал. И даже хранить секреты — это бремя. Но если молчание ничего тебе не стоит, тогда молчи.

— Мне легко ничего не говорить, — сказал Джали после паузы. — Видишь ли, у меня постоянно есть свои секреты.

Устремив на мальчика созерцательный взор, Хари откинулся назад, прислонившись к стене. К нему вернулась безмятежность; более того, в его манерах не было ничего такого, что наводило бы на мысль, будто ночь еще не вся впереди.

— Ты еще не рассказал мне, зачем встал, чтобы искать свою мать. Тебе было одиноко, я полагаю?

Джали признал это, и немного погодя, поскольку Хари был самым понимающим из всех взрослых людей, которых он знал, он поведал историю о маленьком растении и змее. Хари слушал со вниманием, которое не было натянутым; если он и не уловил точную природу впечатления, произведенного на ум Джали, то факт, что впечатление было произведено, казалось, его не озадачил. Он раздумывал; он строил догадки. — В мире слишком много случайности, — сказал он, — и всё же, знаешь ли, именно случайность делает жизнь интересной.

Джали молчал.

— Думаю, жизнь пугает тебя? — спросил Хари, улыбаясь.

Джали покраснел и всё равно остался безмолвен.

— Чтобы не бояться этого мира, — медленно произнес Хари, — нужно принадлежать ему.

— Ах, но как? — подумал Джали.

— Можно всегда притворяться перед самим собой, что принадлежишь, — продолжал Хари, пристально глядя на него. — Разве я не говорил тебе однажды, что во сне способ спастись от преследующего тигра — превратиться в одного из них?

— Да.

— Притворись себе, что ты подобен другим, — небрежно бросил Хари. — Все так делают.

— Но если все притворяются похожими на других, кто же похож на самого себя?

Хари рассмеялся. — В мире меньше зла, чем ты думаешь, — сказал он. — По крайней мере, это лучшая линия поведения, которой следует придерживаться.

Джали не ответил. То, что говорил дядя, было мудро и успокаивающе само по себе; но как насчет зла в самих богах? Вселенная полна пугающих и разрушительных сил. Была Кали…

Они сидели в молчании какое-то время, и в этой паузе Джали вновь затрепетал перед окутавшей его тайной. Быть здесь, в этих беззвучных сводах, в глубине ночи, вдвоём, наедине! Он прижал свои лихорадочные руки к камню ступени. Его взгляд устремился на Хари с мрачной напряженностью. Этот человек придавал ему мужества. Его жизнь, чувствовал он наверняка, была одним долгим приключением. Что ж! Он тоже будет жить авантюрно. Это было решение, священный обет.

Казалось, Хари снова погрузился в задумчивость, но внезапно он издал еще один тихий смешок, похлопал спутника по плечу и поднялся. Пришла пора расставаться, сказал он. Готов ли Джали вернуться в постель? Отлично! Спокойной ночи на этот раз и приятных снов! Он стоял, улыбаясь под лампой, пока Джали твердо удалялся прочь. Ум мальчика пребывал

в покое в каком-то возвышенном состоянии. Он нашел дорогу обратно в свою комнату словно чудом и, едва упав в кровать, мгновенно заснул.

III

Сита — так раджа называл свою жену после свадьбы; но при крещении ей дали имя Хелен, и пока они стояли вместе на балконе Джали в угасающем свете, он размышлял над проблемой идентичности, думая о том, что под этим именем, в своей стране, среди своего народа она была бы — разве нет? — кем-то другим. Индивидуальность, личность, самость — эти слова, как говорил Будда, обозначали не более чем иллюзию. Люди были подобны облакам — меняющимися, тающими, смешивающимися… Но правильно ли было жениться на ней, привозить её сюда? Выглядит ли это правильным сейчас, в свете решения, которое он принимает?

Будучи старше её на десять лет, он чувствовал себя настолько взрослее, что годился бы ей в отцы. Если у неё был дар невинности, то у него — способность к опыту; а некоторые люди, размышлял он, рождаются с опытом своих предков, уже лежащим на них довольно тяжким бременем. Он не мог упрекнуть её, если, за все эти годы, несмотря на их любовь, они всё ещё оставались, духовно, далеки друг от друга. В своей религии, как он хорошо знал, он держался особняком, причем не только от неё, но и почти от всех своих современников. Буддизм почти вымер в Индии, а там, где он сохранился, его форма была искажена. Многолетние занятия и медитации наконец привели Раджу к убеждению, что он постиг — и даже в определенном смысле заново открыл — учение Будды в его подлинной чистоте. Искренне отвергая Бога, Душу и Бессмертие, он глубоко презирал все искажения первоначального учения. Он осуждал Махаяну в целом; по его мнению, сместив акцент с самообуздания на альтруизм, она полностью исказила слово Гаутамы. Подобная уступка человеческим чувствам была губительна; истина, чтобы быть истиной, должна приниматься целиком. Никто не может помочь своему ближнему иначе как силой своего примера, иначе как зрелищем достигнутой им святости. Награда за святость — блаженство покоя — блаженство, которое ты получаешь в этой жизни, а потом — ну, потом твой покой есть тот мир, который превыше всякого понимания. Таково было учение Просветленного; это была истина; и для тех, кто правильно понимал её, это была счастливая истина.

Сита никогда не могла этого понять. Но, хотя это и было для него разочарованием, он не — нет, он не упрекал её. В конце концов, она была счастлива. Идя по миру, она находила в нём прелесть, и эта прелесть служила ей подтверждением того, что жизнь действительно имеет тот смысл, который она ей приписывала. Удивительным в ней, думал Амар, было постоянство этого сопровождения сквозь всю суету повседневного бытия. Именно оно сохраняло её радость такой свежей. Всего несколько минут назад его удерживало от входа в её комнату щебетанье женского разговора и смеха, а теперь она рассказывала ему, каким забавным было собрание. Да, она всегда была популярна; она умела наслаждаться

весельем момента; она и те другие дамы всё ещё могли смеяться над шутками, которые впервые прозвучали, когда восемнадцатилетней невестой она прибыла в Индию.

Вскоре, покидая комнату Джали, она попросила проводить её обратно в свои покои. Там есть письма, которые нужно показать ему, сказала она; кроме того, как он хорошо знал, ей нравилось преодолевать его застенчивость. К его великому облегчению, они пробрались по бесконечным переходам, никого не встретив, но едва он успел устроиться, как портьеры были отброшены в сторону, и впорхнула хорошенькая молодая женщина. Учтивый и смущенный, он тут же вскочил на ноги. «Это всего лишь мой муж! — воскликнула Сита, — не убегай, моя голубка!» Но девушка со звонким смехом и опущенными глазами отступила назад и удалилась. Амар заглянул в улыбающееся лицо жены и укоризненно нахмурил брови. Она определенно не знала того, что знал он; что муж Рани Джагашри был самым ревнивым мужчиной в Индии — и не без оснований.

Его мысли приняли новый оборот, он заглянул в своё сердце и задумался. Нет; слава Богу, он не нашел там ревности! Многие из тех, кто искал освобождения, достигнув возраста, позволяющего разорвать мирские и домашние узы, всё еще медлили и колебались. Будь он ревнивцем, как смог бы он оставить эту свою жену, такую молодую и прекрасную, жить дальше без него? За тринадцать лет она почти совсем не изменилась. Её лицо и фигура, подобно её характеру, сохранили девичью свежесть.

Со вздохом он снова взглянул на два письма, которые выбрал из остальных. Первое было от королевы Мириам, христианской супруги Акбара. Она приглашала Ситу посетить службу в маленькой часовне, которую Император построил для неё в Фатехпур-Сикри. Сита непременно захочет пойти — и взять с собой Джали. Но Джали идти не следует; тому были политические причины, вполне очевидные; к сожалению, несмотря на это, Сита совершенно проигнорирует их.

Другое письмо было приглашением от его сестры Амбиссы, в котором Сите предлагалось престижное место во дворце в Фатехпур-Сикри. Конечно, ей следовало бы согласиться; но — как же горько она будет сетовать на это! Дело в том, что — и раджа тяжело вздохнул — она доводила непричастность к мирскому до крайности. Жизнь для неё оставалась слишком простой; она знала только одно — следовать велениям своего сердца. Не то чтобы её разум был слаб, но он был подчинен. И если её инстинктивное обвинение против него заключалось в чрезмерной изощренности ради интересов определенной философской схемы, то его обвинение против нее состояло в том, что она слишком легко поддавалась всеобъемлющим упрощениям сердца. Напрасно он напоминал ей, что дети света призваны быть мудрыми, как дети века сего; напрасно он цитировал: «Кесарю кесарево…»; она не собиралась менять ни свои взгляды, ни свой образ жизни.

Когда он поднял взгляд, то увидел, что она вопросительно смотрит на него. Она прислонилась плечом к стене; голова её поникла, и он видел, что румянец ожидаемого протеста уже поднялся к её щекам.

Он улыбнулся. Эта пауза была наполнена воспоминаниями о давних разногласиях, порой раздражающих обоих, хотя в них не было ничего уродливого, ничего обидного. Он мог слышать, как она говорит: «Я верю, я действительно верю, что в глубине души ты иногда хочешь, чтобы я была светской и искушенной! Но даже если бы я попыталась, толку бы не было. А пытаться я не намерена, ибо мне кажется, что светская жизнь лишена глубины, богатства, красок. Люди, которым нравится соревноваться и выставлять себя напоказ, очень скоро начинают думать, что больше ничего не имеет значения». И на это будто слышал теперь он и свой ответ: терпеливый, разумный, так часто повторяемый им ответ.

В этот момент он принял решение. Тем не менее, просто чтобы испытать её, он указал на два письма и сказал: «Ну?»

— О, — пробормотала она, — ты и без моих слов знаешь, чего я хочу. Ты также знаешь, что я должна просто ненавидеть! — и она вздохнула.

— Да. Я знаю.

— И что же ты скажешь?

— Я скажу: делай как знаешь.

Несколько мгновений после того, как она услышала это, она выглядела немного озадаченной, немного недоверчивой, но постепенно по её лицу разлилась лучезарная успокаивающая улыбка. Её благодарность была совершенно восхитительна, и следующие полчаса, пока она смеялась, болтала и наводила порядок среди своих вещей, раджа, наблюдая за ней, имел душу, свободную от забот.

Заботы вернулись, однако, когда он вновь остался один. В другом крыле дворца, стоя у окна в своей комнате, он смотрел на летучих мышей, мелькавших в потоке света его лампы, и печаль овладела его сердцем. Было ли это его заблуждением — что он понимает её лучше, чем она его? Или же она действительно понимала его и скрывала своё понимание от самой себя, потому что оно открыло бы её разум для идей, враждебных её собственному взгляду на жизнь? Была ли, следовательно, её видимая неспособность к пониманию доказательством отсутствия любви? Что ж; винить её в любом случае не следовало; возможно, с другой стороны, виноват был он...

Отойдя от окна, он принялся ходить из угла в угол. Несомненно, в ближайшие несколько недель ему придётся бороться с миром его же собственным оружием. В конце концов, он правитель; он должен использовать искусство управления государством; и без стыда он сделает это.... Дипломатия, тонкость манер требовались для того, чтобы его маленькое княжество сохраняло, среди алчной зависти, своё место и свои права. Сита увидит, как он ведёт образ жизни, отвратительный ему самому, и поддерживает общество, которое он презирает. Но перед собственной совестью он был оправдан; а время для самооправданий — если такое время вообще когда-либо было — прошло. И он не собирался воспользоваться этим случаем, чтобы сообщить ей о своём великом решении — сказать ей,

что её светский муж со всеми своими мирскими занятиями готовится к чему? К жёлтым одеждам отшельника и нищенской чаше.

Было странно, насколько кстати пришёлся этот Дарбар по отношению к его созревающим планам. Он давал повод и устанавливал срок, в который можно было сделать приготовления, определить политику на будущее и заложить безопасный курс для своих преемников. Сита, следуя советам, должна будет держать бразды правления во время несовершеннолетия Джали. Дома есть много достойных людей, готовых помочь ей, а при Императорском дворе будет Гокал.

Взглянув сейчас на свои водяные часы, он понял, что Гокал, вероятнее всего, уже прибыл и ждёт его на Большой Террасе. Этот учёный брахман был одним из немногих людей, с кем он мог обсуждать предметы, лежавшие ближе всего к его сердцу. Гокал был скроен по необычному лекалу; хотя ему и удалось добиться внимания мира, он прежде всего был философом, человеком, чей ум был устремлён к вечному. Разобравшись с людьми и делами — а Гокал вскоре введёт его в курс главных тем дня, — они вместе заскользят по спокойным водам философии, и ночь пройдёт, и звёзды померкнут, пока они будут черпать отдохновение более сладостное, чем сон.

Он уже был готов покинуть комнату, когда посланец вручил ему письмо. Конверт, который он перевернул и на который нахмурился с большим отвращением — конверт был грозно запечатан, и почерк, увы, принадлежал его сестре. Это было большим искушением отложить чтение на потом, ведь письма Амбиссы всегда доставляли много хлопот, а это оказалось ужасно пухлым. Неохотно он сломал печать и пробежал взглядом первую страницу. Почти сразу же его взгляд зацепился за имя шурина. «Как тебе известно, — писала Амбисса, — вот уже больше года мы не видели здесь Хари, и столь долгое его отсутствие производит дурное впечатление. Несколько месяцев назад он раздосадовал Императора глупой попыткой оправдать своё отсутствие на Дарбаре, а теперь поползли какие-то слухи, которые вызывают у меня немалое беспокойство. Какова могла быть причина его общения с Махометом Али в Кабуле? Я не могу поверить, что он начал интересоваться политикой, даже революционной. А где же тогда он прятался последние два месяца? Я не могу не подозревать какую-нибудь новую любовную интрижку, и если обманутый муж окажется человеком значимым, непременно возникнут серьёзные неприятности; ибо Император день ото дня становится всё строже в своих воззрениях и берёт дела такого рода в свои руки, хотя это никому не нравится. Здесь недавно произошло несколько ужасных скандалов, и они истощили его терпение до предела. Очень скоро у нас появятся указы против безнравственности, такие же суровые, как против поедания мяса. В конце концов, если человека могут казнить за убийство зяблика, то уж за прелюбодеяние он может пострадать ничуть не меньше. Так что Хари лучше поберечься. К сожалению, кроме того, за его грехи спросят с меня. Здесь полно людей, можешь мне поверить, которые хотели бы возложить на меня ответственность за все его промахи. Муж, говорят они, таков, какой его делает жена. Место жены — рядом с мужем, и так далее. Как

счастливы были бы эти моралисты увидеть, как меня спроваживают в глушь! И какая награда за всё моё прошлое долготерпение! Представь себе, какой образ жизни я буду вести в одном из тех полуразрушенных замков, прилепившихся к бесплодной горе! Но тревожусь я не столько за себя. Подумай о мальчиках! Их карьеры, которые обещают так много, будут загублены на корню. Али, ты знаешь, в прошлом месяце исполнилось шестнадцать; его намерены прикрепить к дому Макх Хана на время его пребывания здесь; а после свадьбы его дочери Лалиты с принцем Даниялом влияние Хана станет ещё сильнее прежнего».

В этот момент Амар застонал от нетерпения и посмотрел, сколько страниц осталось. Немного, их можно было просмотреть бегло, но его внимание удержал постскриптум. «Я только что обнаружила, что приглашение Хари во дворец в Агре отменено. Так что теперь ты видишь, что я не преувеличивала! Ради всего святого, спроси Гокала, что он думает. Я просто не могу представить, каким будет моё положение, если Хари не появится на Дарбаре. Пожалуйста, Амар, приходи ко мне завтра непременно, и сделай это как можно раньше».

Раджа издал короткий смешок досады. Его собственные дела грозили доставить ему достаточно хлопот, а требования Амбиссы всегда были непомерными. Для начала именно она заставила его опоздать к Гокалу.

IV

Огромные тусклые фонари стояли в четырех углах террасы, разбрасывая пятна света на мраморные плиты под ними; остальная часть огромного пространства лежала холодная и белая под звездами. Взгляд Амара блуждал по гостям Императора, которые небольшими группами были разбросаны то тут, то там. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы различить Гокала. Массивная фигура его друга, облаченная в белые брахманские одежды, достаточно быстро привлекла бы его взгляд, если бы её частично не скрывала фигура мужчины, беседовавшего с ним. Кем был этот человек, раджа не мог разобрать, пока не подошел совсем близко, и тогда, к своему крайнему удивлению, он увидел, что это был не кто иной, как его непутевый шурин Хари. Ну что ж! Амбисса, без сомнения, будет чрезвычайно обрадована, но для него самого это видение сейчас отнюдь не было удовольствием. Оно разрушило его надежды на вечер философии.

И, как будто этого было мало, к его разочарованию добавилась капля чистого раздражения. Его приход — он видел это совершенно отчетливо — носил характер помехи. Хари говорил, а Гокол слушал, каждый со страшным увлечением; и всё это поспешно замаскировалось в тот момент, когда их глаза упали на него. Это была старая загадка, что эти двое, столь несхожие характером, вкусами и привычками, находили друг в друге. Однако близость между ними существовала; и он только что видел её наглядно в их оживленной беседе. Не вызывало сомнений, что Хари посвятил Гокала в какую-то

волнующую тайну. Что ж, тайны Хари нисколько его не интересовали; лишь — и здесь он издал внутренний вздох — ему нельзя забывать о своем долге перед Амбиссой.

Обеспокоенный тем, чтобы не показать малейшего вида своих чувств, он приветствовал Хари более сердечно, чем это было абсолютно необходимо, а родственный инстинкт удержал его от даже самых естественных вопросов. В конце концов, именно Хари должен был заговорить по собственной воле. Пусть он своими словами объявит, где прятался последние два месяца; откуда он взялся; как (поскольку приглашен он не был) вообще оказался во дворце; короче говоря, пусть даст отчет в своих действиях. Черт возьми, даже его одежда требовала объяснений; туника у него была очень старой и скандально пыльной; тюрбан порван, а сапоги для верховой езды явно не чистились уже несколько дней.

Несмотря на внешнюю сердечность Амара, едва закончились первые приветствия, как нависла угроза молчания. Чтобы предотвратить его, раджа, ласково глядя на Гокала, преувеличенно озабоченно осведомился о состоянии его здоровья. Этот большой кабинетный ученый муж умел с юмором использовать свои собственные причуды, одной из которых была нервозность по поводу малейшего телесного недуга. Быстро уловив намек, Гокол с глубокой серьезностью ответил, что аппетит у него неважный и что он опасается, что местоположение его нынешнего жилища не вполне благоприятно для здоровья. Он занимал небольшой павильон в Королевских Охотничьих угодьях, предоставленный в его распоряжение Императором. По этой причине ему совершенно невозможно покинуть это жилище, и таким образом, как мог видеть Амар, он поставлен в весьма серьезное затруднение.

Пока Гокол говорил, Хари выглядел рассеянным; и теперь, повернувшись к Амару с некоторой резкостью: — Я слышал, — сказал он, — что вы собираетесь в этом году подняться в Горы.

Амар подтвердил, и он гадал, от кого Хари мог получить эту новость, когда тот продолжил: — Сита только что говорила мне, как сильно она ждет перемен. Мне кажется, она иногда скучает по своему Кавказу.

На этот раз раджа был положительно ошеломлен. — Сита сказала тебе только что! Что ты имеешь в виду?

Хари беспечно рассмеялся: — Я сейчас нанес ей маленький визит.

Удивление заставило раджу промолчать.

— Разве это было слишком необычно? — спросил Хари, приподняв брови.

Раджа коротко рассмеялся. — Конечно нет; хотя она, должно быть, была довольно поражена. Хотя бы твоей одеждой… Она заставила меня предположить, что ты только что слез с коня.

На это Хари ничего не сказал, и в наступившей паузе раджа принялся стремительно размышлять. Хари в своих затруднениях, должно быть, задумал заручиться симпатиями Ситы и решил опередить события этим странным внезапным визитом. «Но я не допущу этого!» — мысленно воскликнул он. — «Я не позволю ему злоупотреблять её добродушием».

Раздраженный, он отвернулся и позволил своему взгляду блуждать вокруг. Как жаль, что пустячные заботы портят безмятежность этого часа. Терраса, позолоченная фонарями, сама походила на огромный фонарь, подвешенный высоко в темно-синем ночном воздухе. Из садов далеко внизу поднималась сырость, пахнущая цветами апельсина. Светлячки метали зеленоватые огни по нижним уровням тьмы, а над головой сияли острые звезды.

Амар так глубоко ушел в себя, что вздрогнул от прикосновения к плечу. Это был Гокол; Гокол указал на свечение на западном горизонте, и тихим голосом произнес: — Фатехпур-Сикри!

Трое мужчин подошли к балюстраде, и пока они шли, мягкий султан света распустился в дальней темноте. За ним последовали другие; стрелы, фонтаны и ливни цветного света украсили драгоценными камнями тот далекий клочок неба.

В памяти Амара ожило воспоминание о его первом посещении города-дворца. Это было десять лет назад, сразу после завершения строительства главных зданий, и за несколько месяцев до того, как Акбар перенес туда вместе с собой свой двор. Он помнил, как улыбался, стоя и обозревая те стены из свежевырубленного камня, не зная, презирает ли он Акбара или самого себя — Акбара за его уверенность или себя за свои сомнения. Неужели Император никогда не задавался вопросом, оправдает ли его будущее? Возводя этот великолепный, ненужный «Город Победы» на безводной пустоши, разве он никогда не представлял себе, как будущие поколения будут морализировать над его руинами? Что ж! Прошло десять лет с тех пор, и эта иллюминация на горизонте была нынешним ответом Акбара.

Тем временем Хари и Гокол начали говорить о предстоящем Дарбаре. Тема была неизбежной, хотя и не вполне приятной. Среди вассальных князей было немного таких, кому не претила формальная демонстрация своего вассалитета. Если в последующем разговоре раджа сохранял вид большего безразличия, чем Хари, то не потому, что его чувства были менее глубоки. Пограничные вожди привыкли к решению дел оружием; завоеватель на поле боя становился твоим сюзереном по Воле Божьей. Но случай раджи был иным; его отец до него решил не губить человеческие жизни в безнадежной борьбе; его Княжество потеряло независимость, но сохранило почетное место в Империи благодаря уважению, которым пользовалось правящее семейство. Именно потому, что он держался в стороне от войны, раджа был склонен относиться к Акбару так же высокомерно, как самый гордый из воинственных раджпутов. Его гордость коренилась в идеях расового, культурного и интеллектуального превосходства. Акбар может быть великим

завоевателем, ну и что с того? Он может вести свой род и от Тамерлана, и от Чингисхана, но кем были они? Варвары без традиций, культуры и понимания.

Чтобы сменить тему, он наконец обратился к Гокалу: — Насколько я понимаю, сегодняшний банкет дается в честь Послов с Востока. Ты, востоковед, как вышло, что ты не присутствуешь?

— Я просил освободить меня по состоянию здоровья. Его Величество знает, что после государственного банкета я всю ночь провожу без сна. — И _Гокол одновременно вздохнул и улыбнулся.

— У меня есть основания полагать, — внезапно сказал Хари, — что Акбар больше не любит меня. — Он бросил взгляд на свояка. — Интересно, сможет ли кто-нибудь назвать мне причину?

— Уж точно не я, — лаконично отозвался Амар.

— Что ж, полагаю, во всем виновата Амбисса, — брюзгливо пробормотал Хари с каким-то шутливым дурным вкусом. — Впрочем, я определенно не останусь надолго в Агре, если не обнаружу, что меня ценят должным образом. Теперь, будь я на твоем месте… — Он следил взглядом за одним из слуг дворца, который поправлял фонарь в углу; и, оборвав фразу, внезапно окликнул человека.

— Думаю, — медленно проговорил он, — думаю, тебе приказали шпионить за мной.

— Нет, милорд, вовсе нет! — раздался смиренный ответ.

Хари сжал губы. — Передай мои комплименты Дворцовому Управителю и скажи, что я буду рад перекинуться с ним словечком.

Как только человек удалился, раджа, смотревший на эту сцену с недоуменным хмурым видом, пожал плечами и сказал: — Ты не теряешь времени, делая себя непопулярным.

Хари вдруг словно вернул себе хорошее настроение. — Почему я должен подвергаться преследованиям соглядатаев? — И его глаза блеснули.

— Ты говоришь чепуху, — резко возразил раджа. — Даже если этот малый действительно шпионил, что с того? Ты знаешь так же хорошо, как и я, что шпионы повсюду. Это часть установленного порядка.

— Возможно, ты привык к подобным вещам, но я — нет, — ответил Хари, всё еще ухмыляясь.

Амар вздохнул, прислонился к балюстраде и принял вид ироничной отстраненности. — Кстати, — заметил он, — тебе следовало попросить не Дворцового Управителя, а Коменданта.

— Нарсинг — тот, кто мне нужен.

— Это и есть Комендант. Управитель…

Он не успел сказать большего, так как к ним уже приближалась маленькая щеголеватая фигура. Мабун Дас был одним из тех ничтожеств, которые достигали власти при дворе Акбара. Намек на проницательность и ловкость, вознесшие его из безвестности, читался в быстрых движениях его умных глаз и трепете тонких нервных рук. С преувеличенным жестом приветствия он шагнул перед Хари и разразился изящными извинениями за то, что не встретил знатного гостя у Ворот.

Ответные комплименты Хари были столь же вежливы; и он добавил выражения глубокого сожаления по поводу своей неспособности принять честь, которую Его Императорское Величество оказал ему, пригласив поселиться во дворце. На это Управитель ответил с досадой, но не слишком удивившись. Пока всё шло хорошо, подумал раджа; казалось, Хари смешивал своего рода тактику со своим шутовством. Крайне благоразумной была его чрезвычайная учтивость по отношению к этому маленькому темнокожему южанину, который имел над ним преимущество, хотя и стоял гораздо ниже по рангу. О предполагаемом соглядатае не было сказано ни слова.

— Принеся вам свои извинения, — продолжил Хари, — я имею лишь одно другое желание перед уходом; я хочу засвидетельствовать свое почтение самому Заместителю Его Величества.

Глаза бенгальца на мгновение блеснули, затем — «Конечно!» — воскликнул он с видом радостной поспешности, — «Я пойду и немедленно извещу Нарсинг-хана о вашем прибытии».

Как только его спина повернулась, Хари бросил многозначительный взгляд на свояка.

— Ты еще не спас свою честь, — заметил раджа. — Этот маленький писака скорее всего передаст, что Нарсинг спит или занят. Во имя всего святого, зачем ты вообще сюда явился?

При этих словах лицо Хари потемнело, но туча быстро прошла. Едва раджа закончил говорить, как тишину теперь пустой террасы нарушило движение приближающейся компании. Вперед вышли полдюжины факельщиков с огнями, а за ними проследовал некто, чье значение таким образом было должным образом освещено. Здесь, благодаря удачному стечению обстоятельств, предстал во всем своем блеске Нарсинг. Да и огромного, дородного туркомана трудно было не узнать, несмотря на то, что он сбрил бороду и сменил свой обычный потертый охотничий костюм на сверкающий наряд, соответствующий его недавнему назначению. Именно перед этой внушительной фигурой Хари теперь встал, расставив ноги и откинув голову назад, с видом почти свирепым.

— Клянусь Аллахом Всемогущим! — вскричал великан, — как ты здесь оказался?

Хари ухмыльнулся. — А ты, старый слон, почему не был у Великих Ворот, чтобы встретить меня?

На мгновение Нарсинг выглядел так, словно мог обидеться на это, но его добродушие взяло верх. Отодвинув в сторону украшенный драгоценностями тюрбан, он почесал голову в замешательстве: «Я сказал Мабуну Дасу, что если ты придешь, тебя должны были привести прямо в мою личную комнату. Дело в том — мне нужно объяснить тебе кое-что довольно деликатное».

Хари продолжал смотреть снизу вверх в широкое красное лицо Нарсинга с удовольствием, а Нарсинг перестал чесать голову, дергая себя за недавно исчезнувшую бороду.

— Продолжай без смущения, — сказал Хари; — Клянусь твоей бородой, я не тот человек, который обижается.

— Хорошо, хорошо! — отозвался Нарсинг с некоторым облегчением. — Что ж, одним словом, беда вот в чем: Его Императорское Величество серьезно недоволен тобой. Объявление сопровождалось взглядом, в котором любопытство и сочувствие уравновешивали друг друга.

— Тогда мое приглашение во дворец отменено?

— Боюсь, что да.

Хари улыбнулся. — Я так и думал. Но в чем причина?

— Причина не названа.

— Но причина должна существовать.

— Что ж, мой дорогой друг, — и Нарсинг добродушно гоготнул, — причина — какой бы она ни была — вероятно, известна тебе лучше, чем кому-либо другому.

С видом человека, сказавшего нечто довольно остроумное, он повернулся к Амару. — Э, что скажешь, раджа?

Хари принял выражение терпеливой покорности. — Какая-нибудь история о женщине, полагаю. Действительно, бедный старик Акбар помешался на женщинах. И неудивительно, — добавил он, — учитывая, что в Королевском дворце их около пяти тысяч.

— Тсс! — воскликнул Нарсинг, искренне шокированный такой свободой речи; и раджа, похлопав Хари по плечу, обратил его внимание на приближение Мабуна.

Нарсинг напустил на себя высокомерное выражение, которое не очень-то вязалось с его добродушными чертами. — Мабун Дас, — сказал он, — почему ты не известил меня о прибытии Хари Хана?

Управитель развел руками в жесте беспомощного протеста. Нарсинг, объяснил он, поставил себе невыполнимую задачу, пытаясь лично поприветствовать каждого гостя и проводить его в покои. Многие прибыли одновременно, и, волею случая, Хари Хан прошел незамеченным никем — даже им самим. «За эту непреднамеренную грубость я уже принес Хари Хану мои самые искренние извинения», — добавил он, поворачиваясь к Хари с очаровательной улыбкой.

На честном лице Нарсинга появилось выражение мрачного недоумения. Ответственность тяжело давила на него. Он знал, что является сущим ребенком по сравнению с Мабуном, чье мастерство в тонкостях этикета уступало лишь его хватке в придворных интригах. Он достаточно хорошо знал повадки Мабуна, чтобы догадаться, что его Управитель желает, чтобы он держал язык за зубами. Когда они снова останутся наедине, некий скрытый фактор ситуации будет тактично раскрыт ему. Но классовая верность, а также старая симпатия к Хари заставили его обратиться к последнему с вопросительным видом. Его глаза говорили: «Мне бесконечно больше хотелось бы обсудить твои дела с тобой, а не с ним».

Наступила небольшая пауза, и затем: — Извинения пришли не с той стороны, — медленно произнес Хари. — Мой въезд во дворец, мой дорогой Нарсинг, был, боюсь, весьма нетрадиционным. Я вошел внутрь… — он пожал плечами и рассмеялся, — я вошел через один потайной ход.

— Клянусь всеми дьяволами Эблиса! — воскликнул Нарсинг, чрезвычайно ошеломленный. Он уставился на него, а затем в полумраке повернулся к своему Управителю. — И ты догадался об этом, полагаю?

Мабун развел руками, как человек, отбрасывающий осмотрительность к ветрам. — Что мне сказать? — засмеялся он. — Возможно, у меня были подозрения! Но Хари Хан есть Хари Хан. И в конце концов…

Хари продолжал обращаться к Нарсингу. — Существует тайный проход… И хотя он проходит через женские покои, я оказался достаточно нескромен, чтобы им воспользоваться.

— О, Хари Хан! — воскликнул Мабун Дас со лукавством, — в старые времена какой скандал вызвало бы такое признание!

Нарсинг, который всё еще смотрел в упор, дергал себя за отсутствующую бороду.

— Мне это не нравится, — пробормотал он. — Мне это не нравится.

— Я не видел в этом вреда, — беспечно ответил Хари. — Мне было любопытно посмотреть, открыт ли тот проход, возможен ли вход для непрошеного гостя.

— Хм! — хмыкнул Нарсинг.

Несколько мгновений никто не говорил; взгляд Нарсинга скользил по пустым пространствам террасы, а его лицо было тяжелым от раздумий. Наконец он хлопнул в ладоши и крикнул, чтобы принесли подушки. Ему было трудно ясно мыслить, пока его ноги поддерживали вес шестнадцати стоунов (ста килограмм).

— Послушай, друг мой, — сказал он наконец. — Это всего лишь мелочь, но мы должны немедленно разобраться с этим. Ты не в том положении, чтобы разыгрывать какие-либо шутки. Его Величество, знаешь ли… Кроме того, некоторые из наших гостей здесь вполне могут быть скандализованы… Короче говоря, пусть Сатана заберет тебя! Я должен докопаться до сути этого дела.

Сказав это, он направился в угол террасы, где на плитах были расстелены ковры и разложены подушки.

— Принесите вино! — крикнул он слуге; — и пусть оно будет хорошо обложено снегом. Мои официальные обязанности на сегодня окончены. Теперь я буду проводить неофициальное судебное дознание.

Пригласив Гокала сесть справа от него, а Амара — слева, он опустился на самую мягкую из подушек. Возвращению его безмятежности сильно помогала мысль о том, что безупречный Мабун все-таки попался дремлющим.

(Игра слов: impeccable переводится и как «безупречный», и созвучно фразе caught pecking at last («наконец-то пойман клевавшим/клюющим носом».)

— Итак, Хари Хан, — начал он после того, как чаша с вином обошла круг, — я должен попросить тебя сделать полное признание. Прежде всего, где находится этот тайный путь?

— В него входят из старых, заброшенных стойбищ для слонов.

Мабун кивнул. — Я знаю. Но я приказал выставить там охрану. Невероятно!

Нарсинг бросил на него впечатляющий испепеляющий взгляд, а затем снова повернулся к Хари.

— Как давно ты проник во дворец?

— О, часа два назад, полагаю.

Нарсинг поднял толстый палец. — Не больше?

— Ну, пусть будет немного больше. Но последний час по крайней мере я разговаривал с Гокалом на этой террасе.

Нарсинг стал еще более судейским. — А до этого?

— Я нанес визит свояченице, рани Сите.

Нарсинг взглянул влево, но лицо Амара ничего не выражало.

— Но — но это странное время для визита. Когда ты прибыл в Агру?

— Сегодня вечером. На закате.

— На закате! А я вижу пыль твоего путешествия всё ещё на тебе. Разве я не прав, предполагая, что ты прямиком направился во дворец?

Хари промолчал.

— Что ж, теперь! — продолжил Нарсинг, радуясь собственной проницательности. — Остается выяснить только одно: почему ты так торопился попасть внутрь.

С этого момента, увлекшись своей задачей, он засыпал обвиняемого вопросами. Через несколько минут он вытянул из него заявление о том, что Хари заметил маленького Джали с дороги внизу. А затем последовал его главный козырь, озарение, к которому он стремился; он вырвал у неохотного Хари признание в том, что Джали был не один, что с ним была служанка — молодая и хорошенькая горничная, которую Хари, возможно, видел раз или два прежде. Когда это вышло наружу, он сделал заметную паузу, обвел взглядом собравшихся и подмигнул так широко и всеобъемлюще, что каждый присутствующий почувствовал себя причастным этому. Импульс Хари проникнуть во дворец, его визит к рани Сите, час или около того, которые нельзя было учесть, — всё получило объяснение. Это была триумфальная победа для допрашивающего, и после того как Хари поклялся честью, что посетил только апартаменты свояченицы, добряк объявил себя удовлетворенным, и дознание было закрыто.

Это, однако, не означало, что он закончил говорить. Хари должен был получить выговор; радже было сказано, что ему следует посоветовать своей жене быть более бдительной насчет курочек, находящихся на её попечении; а что касается Мабуна Даса — здесь его тон стал более судейским — ну! он надеется, что Мабун Дас смущен не меньше, чем он сам, обнаружив, что дворец небезопасен. Да, небезопасен! Открылся простор для скандала и даже преступления. Разве не он, Нарсинг, отвечает за безопасность и честь самых высокородных и красивых женщин Империи числом около восьми десятков? А как же их драгоценности? А как же сокровища Императора, которые, не секрет, лежат в дворцовых хранилищах?

Румянец прилил к его щекам от жара собственного красноречия; но охлажденное снегом вино и свежесть полуночного часа распространили покой, которому он вынужден был покориться. Аллах, что за ночь! И как же хорошо предаваться досугу после тяжкого дня! Расправившись, подобно птице с ярким оперением, он отбросил свой тяжелый тюрбан и уставился в небо. Эти благословенные часы прохлады и тишины — обращался он к Гокалу — разве они не предназначены Божеством для любви, для вина, для беседы с приятными друзьями и, разумеется, для религиозных медитаций? На это Гокол ответил сдержанным бормотанием согласия. А затем Нарсинг вздохнул. Его доброе сердце было огорчено

воспоминанием о том, что брахман не может пить вино. То, что вино запрещено также и Правоверным, мысль, которая даже не пришла ему в голову.

V

Пока эти дела продвигались вперед, Амар сохранял отстраненный и слегка ироничный вид. И это безразличие было отнюдь не полностью напускным; он определенно отправился в Агру не для того, чтобы расследовать интриги свояка. И всё же в этом деле было что-то, что щекотало его любопытство. Хотя он почти был уверен, что Нарсинга каким-то образом дурачат, он не мог поверить, что какие-либо из прямолинейных утверждений Хари были ложными. Загадка, таким образом, заключалась в том, чтобы представить себе, какой мотив у него на самом деле мог быть для этого крадущегося проникновения во дворец, и чем он мог заниматься всё это время, помимо нанесения того необъяснимого визита Сите. История об амуре с горничной не давала очень убедительного объяснения. Что-то в этом могло быть, но это казалось слишком тривиальным, чтобы объяснить различные странные черты поведения Хари. Но ладно; довольно, и более чем довольно! Несчастное дело уже получило гораздо больше внимания, чем заслуживало.

Время для раджи быстро текло в одиночестве, но медленно — в компании таких людей, как Нарсинг. Нарсинг, хотя и излучавший животную жизненную силу, воспринимался им как духовно несуществующий. Тем не менее, говорил он теперь себе, эти крепкие, суетливые тела имели свое место в мире, да и нельзя забывать, что пока он находится в Агре, его делом является внимать мыслям других, а не своим собственным.

Речь Нарсинга тем временем перекинулась на Императора, предмет, о котором он был вполне квалифицирован говорить. Выйдя, как и Акбар, из центральноазиатского рода, воспитанный в тех же обычаях и традициях, верный сподвижник на протяжении тридцати лет как в поле, так и при Дворе, он знал человека на каждом этапе его карьеры. Его глаза видели создание Империи, которая ныне простирается над всем Северным Индостаном, от границ Персии до бирманских джунглей. Солдата, администратора, государственного деятеля, деспота — он знал их всех. Да и недостатка в широких возможностях за этот промежуток лет изучить внутреннюю жизнь Акбара не было. Только здесь Нарсинга подводил собственный темперамент. Глубокие расовые и религиозные побуждения, которые несли Акбара вперед, то бросая его в заблуждение, то вынося на ровной волне к успеху, — эти силы Нарсинг был не готов просто находить непостижимыми; ему приходилось ломать над ними голову и мучиться. Особенно его озадачивало отношение Императора к своим сыновьям и его бесконечная поглощенность религией. Последнее, несомненно, была очень опасная тенденция. Да, очевидно, в этих двух сферах человеческой жизни Акбар был неумехой; он так и не научился обращаться ни со своими детьми, ни с Богом. Взять сначала его сыновей: старший, принц Салим, теперь открыто готовит узурпацию трона; принц Мурад только что умер от пьянства; а что касается

младшего, Данияла — ну, что думал о нем отец, никто не мог сказать, но он, Нарсинг, предпочел бы даже этого негодяя Салима. Затем перейдем к религии; Акбар родился добрым мусульманином, но друзья видели, как он сначала задавал вопросы, затем отвергал, а в конце концов угнетал Веру. Ни единого дня своей жизни он не знал духовного покоя. В Фатехпур-Сикри был построен специальный Зал для религиозных дебатов, и здесь он собирал суфиев, суннитов, шиитов, брахманов, джайнов, христиан, евреев, зороастрийцев и чокнутых представителей всякого рода фантастических верований. А потом он заставлял их говорить. Клянусь Аллахом! Как они говорили! И что из всего этого вышло? Ничего! Ничего, если не считать относящимся к этим шумным и всё же унылым заседаниям ничтожную вещь, которую Акбар недавно выдвинул на всеобщее обозрение, — новую религию, черт возьми, — Дин Илахи, неудачное творение, которое было бы ничтожным, если бы не столь мощное отцовство. Дин Илахи якобы содержал ценные составляющие всех существовавших ранее вероисповеданий, а его практическая цель состояла ни много ни мало в том, чтобы объединить Империю и очистить её. Что тут можно было сказать?

Такова была ситуация, по поводу которой Нарсинг сейчас расходовал себя в многословных сетованиях. Ему не нужно было сообщать слушателям, что горизонт затянут тучами, но он сомневался, поймут ли они посреди такого великолепия и кажущегося процветания, насколько угрожающим является прогноз. Слышали ли они, что Император собирается официально провозгласить свою новую религию? Осознают ли они, в какой степени этот абсурдный акт укрепит все разрушительные элементы Империи? В каждой провинции, рассказывал он им, самые фанатичные из мусульман уже тайно обещают принцу Салиму свою поддержку, а остальное население готовится сплотиться вокруг принца Данияла. «Что касается принятия Дин Илахи, — и он выбросил руку в сторону Гокала, — есть ли, спрашиваю я вас, хоть один уважающий себя человек, который снизойдет до него?»

Удрученно брахмин покачал головой.

— Ах, мой дорогой друг! — вздохнул Нарсинг, — ты, для кого открыты уши Императора, почему ты не можешь обуздать его, отговорить?

Гокол ничего не сказал, и его молчание уличило Нарсинга в отсутствии такта. Как общепризнанный лидер религиозной мысли, Гокол нес серьезную ответственность; и эта ответственность, как мог видеть любой, грозила вступить в противоречие с его частными интересами. В течение многих лет он был особым протеже Акбара; будучи назначен Придворным библиотекарем, он занимал привилегированное положение возле Императорского трона.

Поспешив сменить тон и тему, Нарсинг разразился тирадой против Салима. — Клянусь Аллахом! — воскликнул он, — когда я думаю о наглости этого человека, моя кровь закипает. Можете ли вы себе представить, он действительно основал монетный двор в

Аллахабаде и чеканит монеты со своим собственным изображением! Да, и на днях, если вам угодно, он отправил своему царственному отцу полный набор своих монет «для пополнения его нумизматической коллекции». О принце нетрудно было говорить занимательно. Характер Салима был настолько причудливо скроен, что всё, что бы он ни говорил или ни делал, имело свою смешную сторону. Чувственный, беспринципный и плохо образованный, он, тем не менее, был человеком устремлений. К любви он питал уважение, которое делало его сентиментальным, к религии — почтение, бросавшее его в самые грубые суеверия, а к знаниям — жажду, которая погружала его в алхимию и псевдонаучные исследования. Нарсинг описал, как однажды застал его поглощенным экспериментом по извлечению особого вида меди из перьев павлина. А затем, конечно же, были и его литературные претензии! Его мемуары! Из тех случайных листков, небрежно оставленных при его переезде в Аллахабад, придворные сплетники извлекли много веселья. Например, там было знаменитое описание Акбара: «В своем августейшем облике мой отец среднего роста, но склоняется к высокому; его кожа пшеничного цвета; его глаза и брови черны, а цвет лица скорее темный, чем светлый; телом он подобен льву, с широкой грудью, а руки и предплечья длинны. На левой стороне носа у него мясистая родинка, весьма приятная на вид, размером с полгорошины. Те, кто сведущ в науке физиогномики, считают эту родинку знаком великого процветания и непревзойденной удачи. Его августейший голос очень громок, а в речи и объяснениях имеет особую выразительность. В своих действиях и движениях он не похож на людей мира, и Слава Божья проявляется в нем».

— Буду я надеяться на Рай! — воскликнул Нарсинг в конце своей цитаты, — то, что говорит этот негодяй, правда! Акбар более чем человек!

Его пылающее лицо и блестящие глаза были приглашением для аудитории предаться такому же восторгу, но никто из остальных не выпил столько вина, и никто, конечно, не питал к Императору столь безграничного преклонения. Не смущенный их молчанием, Нарсинг продолжил свою тему.

— Господа! видели бы вы то, что мне доводилось видеть так часто, слезы оказались бы не дальше от ваших глаз, чем сейчас от моих. Там, на своем сиденье на террасе Фатехпур-Сикри, ночь за ночью, один, Император сидит. Словно изваяние из камня, он смотрит во тьму, покрывающую эту великую Империю — Империю, которую сила его руки и труд его мозга возвели. И мне, господа, мне не редко выпадала честь прислуживать ему там. Я ступаю через террасу, неся его кувшин с вином — опийное вино, которым он пытается утопить свое горе. Иногда ночь темна, и я вижу не больше, чем его силуэт. Но иногда луна высока и ясна, и тогда что я вижу? Лицо скорби! Лицо горькой скорби!

Без сомнения, добрый человек говорил от сердца, которое, если и было сентиментальным, оставалось искренним; тем не менее все сочли этот порыв довольно неловким; его слушатели не огорчились, заметив приближающегося Мабуна.

— Ну! — потребовал Нарсинг, морщась лоб от досады. — Что теперь?

Мабун сочувственно вздохнул. — Принц Даниял! Он просит вас видеть. Он ждет внизу.

Нарсинг уставился на него, затем издал усталый стон. — В такой час! Милосердный Аллах! Чего хочет Его Высочество?

— Я не уверен, — осторожно ответил Мабун. — Но он говорил что-то о бесшерстной кошке, которую вы обещали достать для него.

— Бесшерстная кошка! Вы это слышали? — Он злобно оглядел свой круг. — Бесшерстная кошка! Да будут прокляты он и его зверинец отвратительных питомцев — Но довольно! Где мой тюрбан?

Карабкаясь на ноги, он начал искать среди подушек, сопровождая поиски множеством проклятий. Пока он возился, Гокол нашел его для него.

— Благодарю тебя, мой достопочтенный друг. Видишь, какой стала моя жизнь. Ни минуты покоя в любое время! Что ж, мои друзья, что ж… Желаю всем доброй ночи. Раджа, окажи мне услугу, выведи Хари Хана с территории до того, как пойдешь спать. Ступай с миром, Хари Хан; да обретешь ты спокойный сон в другом месте! С этими словами он удалился широким шагом в сопровождении Мабуна, оставив гостей улыбаться вслед его удаляющейся фигуре.

Когда разговор возобновился, он снова коснулся темы Акбара, но теперь, оставшись втроем, друзья почувствовали себя свободнее, чтобы говорить об Императоре несколько иначе.

— Я полагаю, — сказал Гокол, когда его попросили высказаться, — я полагаю, что внутренняя жизнь Императора всегда останется тайной. Его юность, как мы все знаем, была дикой и безрассудной; он пил сверх меры и бездумно играл со смертью. Мы также знаем, что он был подвержен приступам задумчивой меланхолии, и тогда — позвольте мне напомнить вам об этом — на тридцать шестом году жизни с ним случилось то, что некоторые называют эпилептическим припадком, переживание, которое он, однако, счел божественным откровением. На короткое время он отрекся от мира; даже считалось возможным его отречение от престола. Словами Абу-ль-Фазла: «Он едва не оставил это состояние борьбы и полностью подобрал полы своего гения от земной помпезности. Первенство духовного мира овладело его святым обликом. Притяжение познания Бога пролило свой луч».

— Что касается меня, — вставил Хари, — я не могу поверить, что он эпилептик. Полагаю, своеобразная струя мистицизма, проходящая через его характер, отчасти наводит на мысль об эпилепсии, но будь он истинным эпилептиком, он не смог бы пить так, как пьет, не убив себя.

— Я согласен, — сказал раджа, — и я даже поколебался бы назвать его ненормальным. Он поражает меня как средний человек, но возведенный в высшую степень мужественности. Нельзя указать ни на какие пороки или добродетели среднего человека, которыми он не обладал бы. Он чувственен, любитель вина и женщин; хвастлив, часто жесток, алчен, коварен, лицемерен и колоссальный эгоист. Он также страстный поборник воздержания и самоконтроля, смирен перед Богом, временами щедр, прост в своих привязанностях, проницателен и доверчив в равной степени и не жалеет труда ради интересов своего Трона и Империи. Его Величество — простой человек, говорю я, возведенный в высшую степень. Это делает его прирожденным самодержцем. Он стремится сделать свой народ великим и хорошим так, как величие и добро понимаются им самим. Если его идеи на этот счет несколько элементарны, с этим ничего нельзя поделать. Я не из тех, кто ставит ему в вину то, что он велик по своим, а не по их меркам; хотя, конечно, некоторым из нас, людям древних традиций и культуры, трудно приспособиться к цивилизации, которая грубее нашей собственной и навязана нам извне — цивилизации, по сути своей материалистической. Верно, что у самого Императора есть идеализм; и его идеализм обретает, признаю, определенную грандиозность от силы, заключенной в нем; но всё же… — И Амар пожал плечами и покачал головой.

— Император несчастный человек, — задумчиво произнес Гокол. — Этот век принадлежит ему; он создал его. Но он начинает осознавать, что выпустил на волю влияния, которые не может сдержать. Создавая Империю, он не предвидел, что её культура будет запятнана новоявленным безверием и пошлостью. Изучая веру отцов, он не предвидел, что отступится от неё. И когда он взялся за создание объединяющей веры...

Раджа кивнул. — В конце концов, он больше чем наполовину монгол, а монголы — народ чудовищной жизненной силы, но они остаются, в широком смысле слова, варварами. Известно ли вам, что среди простых людей стирка одежды и мытье кухонной утвари до сих пор считаются грехом? Они также с гордостью скажут вам, что Тамерлан родился, держа в руке комок запекшейся крови. Они всё еще любят грязь, чтят насилие и верят в демонов.

— Тогда как мы, цивилизованные, поклоняемся чистоте, чтим утонченность и не верим ни во что, — вставил Хари с улыбкой.

На это никто не ответил, ибо в конце террасы появилась стройная белая фигура. — Неужели это снова мой друг Мабун Дас? — тихо сказал Хари.

Через мгновение фигура выступила вперед, и это действительно был Мабун Дас, но маленький человечек казался каким-то образом чуть иным. Помогло ли отсутствие его начальника придать большую уверенность его осанке? Или он временно опускал маску, за которой скрывал самоуверенность, всегда присутствовавшую в нём? Как бы то ни было, он очень неторопливо направился к троим, сидевшим и наблюдавшим за ним, и остановился, глядя на них сверху вниз с улыбкой.

— Что ж, Мабун Дас, — приветливо сказал Хари, — присоединишься ли ты к нам за последней чашей вина?

Мабун отказался поклоном. — Чем принц Даниял занимается здесь в такое время ночи? — продолжил Хари.

Улыбка на лице Мабуна не покидала его, но словно погрузилась внутрь и обрела значение, предназначенное только для него самого.

— Бесшерстная кошка… — пробормотал он.

— И ничего больше?

Мабун пожал плечами. — Принц всегда ведет ночной образ жизни.

— Несомненно, несомненно! — И Хари посмотрел на звезды.

— Он и встает поздно.

— Полагаю, что так. Взгляд Хари снова опустился вниз. Теперь все глаза были устремлены на Мабуна с вопросом во взгляде, ибо в его мягком голосе прозвучала странно насмешливая нотка.

— Завтра же, однако, принц поднимется рано, — сказал Мабун. — Он поднимется, чтобы стать свидетелем казни четырехсот девятнадцати человек.

Несколько мгновений никто не шевелился. Мабун продолжал улыбаться, а затем внезапно вздохнул и стал серьезным. Как ни странно, однако, это изменившееся выражение лица казалось таким же искусственным, как и первое.

— Да, господа, — мягко продолжил Мабун, — это так! Император подписал их смертный приговор несколько часов назад. Все эти мужчины и женщины принадлежат к одной или другой из семидесяти двух тайных сект.

Тишина продолжалась. Недавние указы Акбара были хорошо известны всем присутствующим. Они воплощали его повторяющиеся угрозы вычистить лимбо, где религия, похоть и каждый элементарный инстинкт встречались — встречались во мраке, который делал их лица все зловещими и все похожими. Нравственное и духовное разложение настало в смешении столь многих рас и вероисповеданий. Расы копировали лишь пороки друг друга. Вероисповедания вынужденные терпеть друг друга, научились терпеть собственный упадок. Так что Император приказал провести дознание и свести результаты в таблицу, он издал указы и установил наказания. Но народ лишь улыбался. Небеса могут греметь громом, но где молния, которая ударит? Этот внезапный удар молнии вполне мог вызвать смятение. Неужели это знак того, что Акбар потерял душевное равновесие? Разве он не знал много лет, что подземный поток проклятия течет под видимой структурой его Государства? Не может быть. Давным-давно он знал, что тысячи

его подданных таинственно исчезают с лица земли. Давным-давно он знал, что в сотнях храмов и тайных мест для собраний проводятся религиозные оргии, часто сопровождающиеся человеческими жертвоприношениями. Возможно, его сводило с ума то, что он был Императором народа, чьи жизни принадлежали не ему, а Богине, которую он презирал. В каждой деревне, в каждом городе, в самом дворце он мог учуять тошнотворный запах. Шактизм! Тугги! Культ Женского Начала! Кали, Богиня Рождения и Смерти! Её сила, против которой воевал Акбар, была тонкой и рассеянной, как чума. У неё были свои приливы, которыми управляла луна или судьба. Если число четыреста девятнадцать было свирепо большим, оно также было комично малым; можно было умножать его снова и снова безо всякого результата, кроме того, что люди будут шептаться, что их Император сошел с ума.

С этими невысказанными мыслями в головах слушатели смотрели на Мабуна и удивлялись. Учитывая, что он, как было известно, занимал важный пост в неофициальной разведывательной службе Абкара, в его теперешней отстраненности было что-то дурное. Однако эта отстраненность, возможно, не препятствовала суждению; это спокойствие, возможно, не было циничным.

— Значит, они умрут утром, — сказал Хари, снова глядя в ночное небо.

— Да. Через пять-шесть часов.

— И как?

— Их растопчут насмерть слоны.

— И Акбар будет смотреть?

— Нет. Только принц Даниял.

После этого последовала еще одна пауза. Затем Мабун внезапно начал сиять своей ослепительной улыбкой. — Господа, — сказал он более легким тоном, — боюсь, я направил ваши мысли в довольно мрачное русло. Приношу вам свои извинения. Прежде чем ваш вечер закончится, я надеюсь, вы вернетесь к более счастливым темам. Сказав это, он пожелал им доброй ночи, и некоторое время после его ухода остальные сидели там, погруженные в размышления. Большой фонарь за спиной Гокала мягко светил на купол его бритой головы. Скрестив ноги и выпрямившись, подобно Будде, он выглядел самим воплощением медитации. Хари, откинувшись на один локоть, всё ещё не отрывал глаз от сияющих созвездий. Амар, чей хмурый взгляд следовал за Мабуном, пока тот не скрылся под аркой, теперь потянулся и впервые этим вечером сам налил себе вина. Отпив немного, он заглянул глубоко в чашу и пробормотал: — Гаутама сказал, что пока люди остаются связанными невежеством, до тех пор будет существовать страдание.

— А зло? — спросил Хари. — Что с ним?

— Зло проистекает из невежества и заблуждения. Огни похоти и гнева не находят пищи, когда привязанности, связанные с индивидуальностью, уничтожены.

Хари коротко рассмеялся и повернулся к Гокалу. — Разве не правда, что единственной религией, которая осталась непредставленной на дебатах Акбара, был буддизм?

Гокол не ответил, но Амар заговорил за него: — Да. И это знаменательно.

— Знаменательно в чем?

Выражение лица Амара было презрительным. — В своей Дин Илахи Акбар провозглашает себя наместником Бога на земле. Что ему делать с учением, которое гласит, что Бога нет?

Хари минуту размышлял. — Амар, — сказал он наконец, — когда придет время выбирать между Салимом и Даниялом, на чью сторону ты склонишься?

Некоторое время Амар молчал. — Это, — произнес он, и его тон был сухим, — я считаю вопросом политической целесообразности.

Хари рассмеялся. — Значит, личности не имеют значения?

— Я лично не знаком ни с Салимом, ни с Даниялом.

— Но что ты о них слышал?

— Насколько я могу судить по тому, что слышал, они оба, каждый по-своему, невежественные и глупые люди.

Хари снова рассмеялся. — Разве Акбар глуп и невежественен?

Амар промолчал.

— Помни! — сказал Хари, — у обоих течет кровь Акбара в жилах.

Амар всё еще не отвечал.

— И сам Акбар, — добавил Хари, — не умеет ни читать, ни писать.

После этого наступила долгая пауза, а затем Амар медленно поднялся на ноги. Хари последовал его примеру, но Гокол остался неподвижным со склоненной головой. Подойдя к нему, Хари схватил его за плечо с ласковой грубостью. — Что с тобой, друг мой? — воскликнул он. — Весь вечер ты нем как рыба.

Гокол поднял глаза на несколько мгновений, затем снова опустил голову; и так он сидел, монументальная фигура уныния.

Хари оставил его и прошел вниз по всей длине террасы. Когда он вернулся, Гокол стоял рядом с Амаром.

— Амар, — внезапно сказал Хари, — позволь мне сказать тебе вот что: Зло — это нечто большее, чем ты думаешь.

Амар уставился на Хари пустым взглядом и ничего не сказал; но, не смущенный отсутствием ответа, Хари продолжил: — И я скажу тебе, где следует искать зло. В человеческой природе… Я имею в виду, в самой субстанции жизни. Говорю тебе, слово «человеческий» означает в основе своей не нечто прекрасное, добродетельное или разумное, а просто — сильное. Акбар очень человечен, очень зауряден, очень силен. Что касается тебя, то ты хочешь выбирать. Но этим ты ослабляешь себя. Жизнь! её сила такова, какая она есть. И отрицать её — не значит освободиться. Всё, что находится внизу — будь то в душе Акбара или в темном духе масс…

Он остановился. Он перевел взгляд с Амара на Гокола, затем снова на Амара.

— Таково мое убеждение, Амар, — тихо сказал он. — То, чему сопротивляются хорошие люди, — это не просто побуждение к удовольствию, а нечто, чего они боятся. Разве я не прав, Гокол?

Большой брахмин поднял обе руки и устало прижал их к векам. — Я не знаю. Я не знаю.

Со внезапной гримасой гнева Хари снова схватил его за руку. — Ты останешься здесь, пока не заговоришь.

Гокол опустил руки и вздохнул. — Что ты хочешь, чтобы я сказал?

— Что ты думаешь.

Амар издал нетерпеливый возглас. — Довольно об этом! — крикнул он и, сделав приглашающий жест Гоколу, направился к арке.

Однако Гокол выпрямился и отступил назад от них обоих с возмущенным движением, к которому никто из них не был готов.

— Вы просите моего мнения? Очень хорошо. Для меня существование того, что мы называем злом — во многих его видах и степенях — указывает на созидательную деятельность многочисленных агентов, которые сами могут быть нашими собственными творениями. Эти агенты, кажется, стремятся воплотить различные виды ценностей. В природе существуют враждебность — битвы с победой и поражением. Существует то, что кажется нам регрессом… существует извращение… возможно развитие зла точно так же, как и добра, движение, ведущее вниз, к сатанинским безднам бытия.

Раджа был поражен. Неужели Гокол ассоциирует себя с вульгарным политеизмом масс? Неужели он высказывается в пользу зороастрийской или манихейской двойственности? Впрочем, неважно! Тон, в котором он изъяснялся, был раздраженным. Его не обязательно было воспринимать всерьез.

В молчании пересекая террасу, трое мужчин теперь прошли под аркой и спустились по широкой лестнице во двор внизу. У Ворот им пришлось подождать несколько минут, пока вызывали экипаж Гокола. Под ними лежал безмолвный город, над крышами которого только что взошла луна. Ночь была залита мягким, печальным светом, который казался Амару похожим на рассвет в загробном мире, пробуждающий бледных призраков к другому призрачному дню. Его сердце было полно смутного беспокойства, и его охватило необычное стремление к общению. Гокол и Хари собирались уехать вместе, так как Гокол пригласил Хари остаться у него в павильоне. Он был уверен, что они продолжат сидеть вместе, обмениваясь мыслями до самого рассвета, и эта мысль усиливала его чувство одиночества. Когда Гокол пригласил его поехать с ними, он принял предложение.

VI

Быстрые маленькие лошади бесшумно трусили по пыльной дороге, легкий экипаж покачивался из стороны в сторону, и каждый из трех друзей следовал своим собственным безмолвным мыслям. Проехав по пустынным улицам, они миновали городские ворота, а немного дальше свернули на мягкую тропу, бежавшую под деревьями Королевских Охотничьих угодий. Сухие листья хрустели под колесами; лунный свет чередовался с тенью; белые мотыльки и светлячки танцевали вместе среди ветвей.

Через полчаса экипаж остановился в аллее между цветущими плодовыми деревьями небольшого огороженного сада, и здесь Хари, который всё это время озирался вокруг, словно чтобы сориентироваться, втянул носом воздух и сказал: — Я чую воду. Мы рядом с озером?

В молчании Гокол повел их через узкие ворота вверх по тропинке, петлявшей меж деревьев. Вскоре показалась линия стройных тамарисков, и бледная поверхность озера замерцала сквозь их перистую листву. Тропа теперь шла вдоль берега озера, которое было продолговатым листом искусственной воды, на каменной кромке которого сидели несметные полчища лягушек. При каждом шаге Гокала несколько лягушек подпрыгивали и бросались в воду с плеском. Хари рассмеялся безудержно.

Спустя несколько мгновений показалось длинное низкое здание, несколько напоминающее китайское. За ним тянулся ряд темных кипарисов, впереди была терраса с широким пролетом ступеней, спускающихся к воде. Это был павильон Гокола. Он был построен из твердого дерева, которое от непогоды стало такого же серебристо-серого цвета, как и камень террасы. В лунном свете всё было серым, кроме блестящей воды и цветов на деревьях, росших по одному с каждой стороны дома.

Гокол поднялся по ступеням на террасу и там остановился в своего рода мечтательной нерешительности. Но старый слуга, лежавший спящим у двери, выпростался из-под своей простыни и поклонился. Гокол велел ему принести фрукты и шербет.

Стоя в конце террасы, раджа смотрел поверх воды. Луна теперь была затянута тонкими завесами облаков; и её свет, разлитый по всему небу, падал мягко и равномерно. Высокие стройные деревья росли вокруг всего озера, отражаясь в нем; но в центре, за этими тенистыми отражениями, спокойная вода служила зеркалом для плывущих мимо серых облаков.

Раджа спустился по ступеням и пошел вдоль кромки воды до самого угла озера. Там он стоял задумчиво, окутанный неожиданным покоем. Место казалось ему священным; оно, казалось, наблюдало за собой, общалось само с собой; оно, казалось, было счастливо в созерцании неизменного покоя. Таково, подумал раджа, изображение того состояния, к которому стремится дух, и с этой мыслью его охватила сильная любовь к этому месту. Да, он любил его сильно. Когда-нибудь ему непременно будет даровано возможность отождествить себя с этим покоем и существовать, бескорыстно размышляя над лицом этих безмятежных вод.

Пока он стоял там, грубые фатальности земли, сложности мира, беспокойство человеческих отношений больше не тревожили его. О других людях он думал лишь как о родственных существах, ищущих — даже когда они сами этого не знали — умиротворения, что находится в конце всякого желания.

Через некоторое время его глаза снова обратились к павильону, но Гокола и Хари не было видно оттуда, где он стоял. Медленно он вернулся назад и, поднявшись на террасу, нашел их сидящими на циновке из тростника, перед которой был разложен низкий китайский столик. Можно было предположить, что они разговаривали между собой до его прихода, но теперь они сидели молча. Голова Гокола была опущена, лицо скрыто.

— Что ж, Амар, — сухо произнес Хари, кивнув в сторону Гокола, — возможно, ты сможешь выяснить, что случилось с нашим другом здесь.

Раджа стоял над массивной фигурой Гокола, которая поникла и осела, словно растаяв от жара внутренней скорби. Задумчиво он рассматривал его. Он знал, что Гокол подвержен приступам глубокой меланхолии, но его отчаяние относительно судьбы человечества нередко можно было проследить до какой-то личной неудачи. Это была слабость, которую раджа весьма порицал.

Он всё еще обдумывал, какую линию поведения избрать, когда приглушенным голосом Гокол произнес слова: — Я скорблю по тому, кто умер.

Раджу совершенно сбило с толку. Молча он и Хари обменялись изумленными взглядами.

— Она была ребенком, — продолжал Гокол, не поднимая головы, — девочка четырнадцати лет… дочь садовника… Змея укусила её… кровь её была отравлена, и она умерла вчера. Юная девушка, очень прекрасная… и так рано мертвая.

Это признание прозвучало так странно для их ушей, что минуту ни Хари, ни раджа не могли найти слов. Наконец Хари пожал плечами, а Амар пролепетал: — Дорогой друг, я понятия не имел, что тебя постигла такая личная печаль. Я думал…

— Амар! — перебил Гокол, — благосклонность мира больше ничего для меня не значит. Дин Илахи провалится в конце концов, потому что это глупость, и если в свое время это приведет меня к гибели, какое мне до этого дело! Моя жизнь — усталость, и я уже не молод. Правда, я лишился своей касты, и только защита Императора стоит между мной и позором. Но буду я жить или умру, здесь или в изгнании — мне всё это безразлично.

Хари и раджа снова переглянулись. Состояние духа Гокола было хуже, чем они думали.

В конце мучительной паузы Хари сжал губы и сказал: — Очевидно, мой дорогой Гокол, ты был влюблен в эту девочку.

— Она была ребенком — всего лишь ребенком, — надломленно ответил Гокол. Он наконец поднял голову, и раджа заметил блестящий след слезы, скатившейся по его левой щеке. — Её отец старик, а другие дети жестоки к нему. Его жена мертва. Он заботился о Васумати с её младенчества… А теперь он целыми днями сидит на камне, спрятав лицо в ладонях. Люди смеются над ним из-за того, что это была всего лишь девочка; но он стонет: «Моя маленькая любовь! Моя маленькая любовь!» Это жалкое зрелище, раджа, и я надеюсь, что сам он скоро умрет.

Холод пробежал по спине раджи. Он подумал о Джали, благодарный за то, что мальчик спит спокойно в своей постели. Но Джали, конечно, не отличался крепким здоровьем… — Увы! — вздохнул он про себя; — увы бедным человеческим привязанностям! Звенья цепи! Оковы! Оковы! Не более нескольких минут назад он чувствовал себя свободным, духом, радующимся своему освобождению. Но теперь его сердце затопила нежность к земным и привычным вещам; ему казалось, что именно благодаря своей низменности они обладают достоинством, равным самому избавлению.

Сказав, Гокол зарылся лицом в ладони, теперь уже открыто сломленный горем. Раджа был встревожен и даже слегка шокирован. Но Хари, с сострадательной улыбкой, утешающе похлопал брахмина по плечу. Тишина тянулась до тех пор, пока внезапно Хари, видимо, не устал сочувствовать; со сдавленным восклицанием он поднялся на ноги.

— Клянусь всеми богами и демонами! — воскликнул он, — как получается, что такой человек, как он, может так терять мужество? Почему Гокол подвержен обычным слабостям человечества? У него есть разум. У него есть знания. У него есть мудрость. Он должен быть славным, но… — и он указал на сгорбленную фигуру Гокола, — посмотрите на него! Он плачет, как женщина.

— Мой дорогой Хари, — вздохнул раджа, — он… он любил этого ребенка.

Хари ходил взад-вперед, охваченный необъяснимым волнением.

— Разве он не знает так же хорошо, как и я, что все мы подобны лягушкам, насекомым — живы в одно мгновение и мертвы в следующее! Мы не должны обращать внимания… Жизнь — это позор для тех, кто боится смерти.

Взгляд раджи устремился поверх озера. — Человеческие привязанности — самые цепкие из всех оков…

— Любовь, — перебил его Хари, — любовь заставляет человека презирать смерть. Именно это — именно это я имею в виду. Боится ли женщина собственной смерти или даже смерти своего возлюбленного? Нет! Она боится лишь угасания его любви.

Раджа улыбнулся. — Ты спускаешься на другой уровень идей, — сказал он довольно сухо. — Едва ли ты можешь рекомендовать всему человечеству жить на эмоциональном уровне влюбленной женщины.

— Я рекомендую это! — парировал Хари с безудержной стремительностью! — По крайней мере, я осуждаю как постыдный тот эмоциональный уровень, на котором живет почти каждый из нас. Мы тратим свою жизнь, беспокоясь о пустяках, — и убегая от смерти. Мы живем не для того, чтобы жить, а для того, чтобы не умереть.

Раджа пожал плечами. — Во всяком случае, лекарство не лежит, как тебе кажется, в принятии чувственных дурманов.

После этого наступила полная минута молчания, во время которой раджа и Хари продолжали смотреть друг на друга. Затем, положив руку на колено тяжелой согнутой фигуры рядом с собой, раджа тоже склонил голову и сидел молча.

С проклятием Хари развернулся на пятках и отошел к концу террасы. Там был возведен легкий навес против ночной росы. Громким голосом он велел слуге Гокола расстелить его ложе, затем вернулся и сказал: — Амар, твоя суровая религия, похоже, удовлетворяет тебя. Тем лучше. Мне кажется, что ты слишком легко удовлетворяешься.

Раджа улыбнулся так, словно собирался дать сокрушительный ответ, но после взгляда на Гокола просто сказал: — Пусть те, кто может найти Бога, находят в Нем прибежище.

Тогда Гокол пошевелился; они услышали его вздох, и вдруг тихим голосом он процитировал слова:

«Люди бегут к Богу за убежищем от знания, которое не приносит пользы, от молитвы, которая не слышна, от сердца, которое не смиренно, и тела, которое не удовлетворено».

Хари выглядел обеспокоенным. — Это правда? — спросил он через мгновение; — что мы бежим к Богу по этим причинам и только по ним?

Вопрос остался без ответа; Гокол оставался неподвижен, а раджа лишь вздохнул. Посмотрев то на одного, то на другого, Хари пожал плечами и объявил о своем намерении лечь спать на несколько часов.

В молчании двое других сидели там. Луна, теперь уже высоко стоявшая, казалось, висела неподвижно над озером; легкие облака, плывущие вокруг неё, отражались на спокойном сером лице воды; ночь казалась бесконечной и неизменной.

В поисках чего-то глубоко прочувствованного, что можно было бы сказать, Амар был удрученно озадачен. Его сочувствие осложнялось смущением и даже легким раздражением. Какое дело этому большому, серьезному человеку под пятьдесят, этому философу, который занимал высокое положение в мире учености, равно как и при Дворе, — какое дело ему до неграмотной четырнадцатилетней девочки, дочери садовника? Неконтролируемое горе Гокола было не только жалким, но и скандальным и довольно нелепым.

С каждой минутой его недоумение углублялось и, углубляясь, оно обобщалось; он подверг рассмотрению собственную жизнь, а затем подумал о жизни в целом. Разве нет нигде никаких незыблемых истин?.. Озеро, лежавшее бледным и неподвижным перед его глазами, источало безмятежность, которая больше не была мирной, но стала усыпляющей.

Наконец он заставил себя заговорить. — Гокол, — сказал он, — твое нынешнее горе — не более чем тень, скользящая по поверхности твоего духа. Подожди немного, и оно пройдет.

Лицо Гокола имело каменную бледность в лунном свете; впадины глаз были темны, но Амар почувствовал глубокий, пустой взгляд, встречающий его собственный.

— Я скорблю об этой девочке — да! — И Гокол сделал паузу. — Но я также скорблю о своей ушедшей юности. Я сожалею обо всех иллюзиях, которым не последовал, обо всех безумствах, которые не совершил. Да; именно об этих вещах я теперь горюю.

Сердце Амара сжалось. Никогда прежде Гокол не звучал на эту конкретную ноту, и только что произнесенные слова, казалось, лишили его даже сил для сочувствия. Голос внутри него спрашивал: «Неужели к этому в конце концов приходишь?» Гокол был уже не личностью, а тихим древним голосом человечества, вопрошающим, имеет ли жизнь какой-либо смысл, всегда ли усилия тщетны, и бывает ли вера когда-нибудь истинной.

Пришло время положить конец этому. Бывают случаи, сказал себе раджа, когда нужно просто оборвать разговор и подождать смены настроения. Изменившимся тоном он составил несколько фраз довольно банального ободрения, а затем поднялся, чтобы откланяться. В душе он чувствовал себя несчастным и немало пристыженным, но главным его желанием было уйти прочь, и он изо всех сил пытался убедить хозяина не провожать его обратно к экипажу. Однако Гокол настаивал; и вместе, в полном молчании, они вернулись назад вдоль кромки озера и сквозь тени маленькой рощи. Кучер и грум спали у

обочины дороги, казалось, заснули даже лошади. Амар попрощался с сухостью, которую ненавидел тем сильнее, что манеры Гокола по отношению к нему были безупречны. Они обладали достоинством скорби со смирением.

После того как он уехал, Гокол стоял, глядя вниз по пустой аллее. — Я сказал слишком много, — размышлял он, — зачем же обременять друзей? То, что я хочу сказать, следует говорить лишь самому себе. Поговорю-ка я тогда с собой наедине — старый дурак обращается к старому дураку. Гокол, тебя считают мудрецом и ученым мужем, но всё, чему ты научился — это простейший и древнейшей урок в мире: лучше смеяться и плакать, как дитя, чем следовать мудрости мудрейших. Ты плыл вниз по реке времени с быстротой, которой не замечал, и годы незаметно унесли тебя в пустоши сожаления. Всю твою жизнь твои глаза были прикованы к невидимому; никогда ты не смотрел вверх на плодовые деревья весной или на цветущих рядом с тобой юных девушек круглый год. Ты учился и раздумывал — без пользы, обретая лишь уважение простых людей, которые, по правде говоря, мудрее тебя. Так вот здесь, в конце концов, стоит Гокол, с круглой спиной и круглым животом и сокрушающей ношей сожалений.

Бессознательно он пришел в движение и теперь бесцельно ковылял по дороге. Он ничего не видел, ничего не слышал, осознавал ничего, кроме своего горя. Но пока он ковылял, занялся рассвет, и когда он поднял голову, луч света упал ему на лицо. На мгновение он замер в смятении, затем повернулся и поспешил обратно к дому. Но жестокий, изысканный рассвет опередил его. Золотой свет косо пробивался сквозь деревья, сверкала роса, земля радовалась. А Гокол склонил голову и пошел быстро. Красота природы в её бездумности, красота инстинкта в его неразмышлении, красота юности в её невежестве — вот они, объекты его тоски и отчаяния — вот те вещи, которые заставляли его семенить прочь, прячась подобно ночному существу. Лишенный доброй тьмы, он испуганно оглядывался по сторонам и внезапно столкнулся взглядом с двумя большими карими глазами, смотревшими на него в невинном изумлении. Это был маленький мальчик лет десяти из низшей касты, который застыл в удивлении при виде почтенного брахмина, ковыляющего с лицом, омытым слезами.

VII

Тот же самый рассвет смешался со снами Хари и пробудил его к сонной радости. Он потянулся и слегка вздрогнул. Прохладный ветерок рябил озеро, ломая отражение деревьев, а сами деревья заставлял шелестеть и трепетать на фоне пустоты неба. Бледно-желтый свет был подобен зримой прохладе; и когда он просачивался сквозь веки, рассеивая душную тьму, Хари вспомнил, почему чувствует себя таким счастливым; он оглянулся в прошлое и увидел счастье; он посмотрел вперед, и там тоже увидел счастье. Через час он будет неспешно идти по лесной тропе на свое свидание. Утро все еще будет в своей первой свежести, роса — все еще искриться, небо — оставаться прохладным; и в

своем воображении он уже видел прогалину, где они встретятся с Лалитой. Он мог видеть, как она идет; он услышит, как она скажет ему, что любит его; он знал точный тембр ее голоса, голос, который сочетался с ее цветом, ведь она была цвета золота — волосы и кожа сливались в единое сияние, которое делало ее яркой и теплой. Это была девушка, которая любила его; ее здоровье и молодость устремились навстречу его страсти, и вместе они жили в преображенном мире.

Это было в Кабуле, пару месяцев назад, когда он впервые встретил ее. Его пригласили отужинать с ее отцом, афганским вождем Макх Ханом. Перед тем как он вышел из дома, разразилась гроза с ливнем; воздух стал чистым; стены, брусчатка мостовой — всё блестело. Как хорошо он помнил, как стоял в потоках вечернего света у огромной двери дворца Хана, обитой гвоздями.

В зале стол был накрыт на шестерых. Там были только мужчины; и разговор — о, это был обычный разговор; ничего интересного. После трапезы они прошли во внутренний дворик и уселись у фонтана, куря, выпивая и поедая сушеный изюм. Дрожащая вода фонтана выбрасывала вверх хлопья лунного света; ветви перечного дерева, усеянные ягодами, образовывали узор на фоне неба.

Затем двери в конце двора распахнулись, и появились женщины дома. Жена Хана, крупная, дородная женщина, спустилась по ступеням с властным видом. За ней следовали три ее дочери; и первое впечатление Хари о Лалите было таково, что эту хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку наверняка ужасно избаловали. Она несла свое длинноногое, широкоплечее юное тело с неким капризным расслаблением, а наклон подбородка говорил о том, что компания для нее — ничто. Но то было лишь настроение; вскоре оно изменилось; и когда она рассмеялась в первый раз — ах! тогда он почувствовал, что знает ее. Остаток вечера он наблюдал за ней, остро ощущая ее присутствие, и хотя они почти не обменялись ни словом, по крайней мере, один раз их взгляды встретились.

Вернувшись в свой дом, он сразу поднялся на крышу и провел там половину ночи, погруженный в глубокую угрюмую задумчивость. Его жизнь была пустой, его энергия растрачена впустую; он жаждал выразить себя во внезапных актах насилия. Все тлеющие разочарования его жизни вспыхнули открытым пламенем; он ненавидел свою жену за ее общепринятые амбиции; он ненавидел своих сыновей, которых она сделала чужими; он ненавидел Акбара, лишавшего людей свободы; он ненавидел Макх Хана и его высокомерную жену; он ненавидел всех — кроме Лалиты.

Улыбка девушки преследовала его; в ней была неожиданная яркость горных цветов, выстреливающих весной из каменистой земли. Она изменила течение его мыслей; она напомнила ему об этом и о том сказанном; она заставила его вспомнить... да, упоминалось, что у нее есть привычка совершать долгие утренние прогулки верхом в сопровождении только грума. С этой мыслью в голове он начал расхаживать туда-сюда, и постепенно черная туча его дурного настроения развеялась.

Ранним следующим днем он вызвал из своего дома человека, которому мог доверять, и после того, как дал ему указания, выехал сам. Примерно на расстоянии двух миль находился холм, возвышавшийся над ровным дном долины, и на вершине этого холма он спешился и сел на высокогорный дерн. В лицо дул прохладный ветер со снежных вершин, а сзади согревало восходящее солнце. На склонах звенели козьи колокольчики; ниже по склонам цепочки верблюдов двигались гротескно неторопливо по прямым, лишенным тени дорогам; человеческие фигуры суетились у городских ворот, словно пчелы у входа в улей.

На его губах появилась улыбка, и он принялся напевать себе под нос. Бледно-коричневая земля внизу, бледно-голубое небо вверху, и великая тишина над всем этим. Его песня была невнятной и бесконечной, его разум опустошен от всякой направленной мысли. Он ждал так терпеливо, что само ожидание почти не осознавало себя. Казалось, будто он черпает терпение веков, с чувством, что так было всегда. Всегда были наблюдение и ожидание, и всегда одного и того же.

Наконец момент настал. Из-под городской стены, и не так далеко от городских ворот, что-то сверкнуло на солнце. Его взгляд сузился, и он вскочил на ноги. Через минуту было еще несколько вспышек, и тогда он понял, что делать. Его глаза заблестели, когда он сел в седло и направил коня вниз по склону.

Спустя несколько дней Макх Хан в сопровождении своей семьи отправился в долгое, неспешное путешествие на юг, в Агру. Хан повиновался вызову Акбара с большей готовностью, чем кто-либо другой, ибо было вполне вероятно, что Дарбар завершится бракосочетанием Лалиты с принцем Даниялом. Он путешествовал с громоздкой свитой, делал короткие переходы и разбивал роскошные лагеря. В некоторых местах, где охота была удачной, он останавливался на целую неделю.

Это идеально подходило Хари. Под видом торговца лошадьми и в сопровождении лишь одного слуги он следовал за Ханом; его скромная палатка поднималась каждую ночь на расстоянии мили или двух от стоянки Хана, и украдкой встречи с Лалитой можно было устраивать почти каждый вечер под конец дня. На протяжении следующих восьми недель его удовлетворенность была полной. Он нашел романтику со специей приключения, движение вместе со досугом, жизнь, прожитую в настоящем, необремененную и всё же богатую. Целый день он трусил рысцой, то болтая со своим человеком, то погружаясь в счастливую грезу, но всегда с мыслью о своем последнем получасе с Лалитой или о следующем грядущем. Вечер приносил ему мгновения его радости — столь же экстатические, сколь мимолетные, как пылающие цвета неба; затем, после этого, он сидел у своей палатки в трансе, а возможно, шел сквозь сумерки к какому-нибудь возвышению и оттуда смотрел на огни огромного лагеря Хана, мерцающие на равнине.

Ночью, когда он просыпался, чтобы подбросить дров в огонь, тишина наполнялась другим, более мягким блаженством. Он наблюдал, как пламя взмывает вверх и освещает

маленькую пирамиду его палатки, или стволы деревьев и нижнюю сторону листьев, или какой-нибудь выступающий утес, врезающийся в поле звезд. Как правило, он просыпался вовремя, чтобы увидеть рассвет, и один конкретный рассвет постоянно возвращался к нему в памяти; небо было чистейшего, бледно-голубого цвета, с несколькими неподвижными маленькими облачками, застывшими высоко. Оно было настолько неземным в своей тишине и чистоте, что он бы не удивился, если бы стайка ангелов пролетела по нему. Суть безмятежности была там: несколько звезд, ещё мерцающих сквозь наполненный светом воздух, и трава, серая от росы.

Ах! это были зачарованные дни; и даже сейчас, в этом настоящем, имея встречу за следующим поворотом тропы, он не мог не бросить взгляд назад и подавить нарастающий вздох. Первый период романа закончился; следующий растянулся в самую бесперспективную неопределенность. Однако, надо отдать должное фортуне, ближайшее будущее выглядело вполне благополучным; Хан поселился в садовом домике принца Данияла, который находился фактически на краю Королевских Охотничьих угодий. Пока что встречи с Лалитой могли продолжаться без труда.

Чтобы скоротать минуты, он представлял себе момент её прихода. Сначала он услышит глухой стук копыт её лошади, затем на повороте просеки она появится. Не доезжая немного, она спешится и бросит поводья своему груму. Она всегда приходила к нему пешком и одна. Она будет идти медленно, глядя прямо перед собой и улыбаясь той глубокой, сияющей улыбкой. В течение этих нескольких секунд пламя его счастья взлетит на свою полную высоту. Предвкушение и осуществление станут единым целым и наполнят его двойной жизнью. Сознание и самосознание тоже работали сообща, так что он мог сказать о своем счастье: «Я поймал его! Вот оно лежит у меня на ладони!»

Растянувшись под деревом, он закрыл глаза, и за этим последовал промежуток времени, в течение которого он был полностью потерян в своих грезах. Когда он снова посмотрел на солнце, то осознал, что Лалита опаздывает, и с этим пришел первый укол тревоги. Отныне, прекрасно знал он, его беспокойство будет неуклонно возрастать. Оно будет углубляться и темнеть, пока не станет настоящей пыткой. Разве не странно, что только в такие моменты к нему приходило ясное видение мук любви? И всё же — это было бесспорно — его счастье за последние два месяца было пронизано паникой и отчаянием, которым нет границ. Перед ним теперь лежал, возможно, час мучений — время, необходимое для того, чтобы обманутая надежда сгорела дотла, — затем устало он встанет и пойдет обратно — тусклый, безжизненный, терзаемый страхами.

Жить своими эмоциями означало именно это; это было рабство; он видел это достаточно ясно. Но разве от этого такая жизнь постыдна? Нет, сказал он, нет и нет! Лучше эти страдания, чем довольство рутиной. Именно из своего подчинения любви рождаются восторги любви. Помни, говорил он, чувство господства над жизнью, непрерывное возвышение духа днями и неделями, когда ты вспоминал об обычном существовании лишь для того, чтобы подарить ему улыбку. Подумай, подумай снова, каким мир кажется

влюбленному! все те маленькие людишки внизу, нелепо сосредоточенные на ничтожном; посмотри на них, довольных тем, что позволяют жизни скользить мимо себя, словно такой вещи, как любовь, этого настоящего экстаза, не существует; или смерти, этой стремительно несущейся ночи! Да, для человеческого духа, таким образом расширенного, обычная жизненная сцена являлась всему миру частью представления. Нельзя было представить, что люди не притворяются, не играют роли. Боже правый, ведь они игнорировали саму жизнь! Неужели они не видят, что только любовь и смерть имеют какое-либо значение — а смерть лишь как конец любви? Что ж, неважно! Он видел и был доволен. Он велел морям подняться и поглотить его. Он велел горам упасть и сокрушить его. Переполненный жизнью, он радостно был готов к смерти.

К смерти? Да, возможно. Но смиряется ли кто-нибудь *с этим* когда-нибудь? Угрюмо он поднялся на ноги и с угрюмой медленностью пошел обратно по своей тропе через лес. Почему Лалита подвела его? Все элементы случайности и опасности в их интриге предстали перед его глазами. Риски, которые добавляли остроты его удовольствию в прошлом, теперь выглядели просто зловеще; в конце концов, это были и *её* риски тоже. Её проступок в глазах мира будет выглядеть гораздо более возмутительным, чем его. Для девушки её расы и положения это было бы достаточно плохо при любых обстоятельствах, но после того, как она была обещана Принцу Царствующего Дома… Оскорбление Трона! вот что скажут люди. Тот факт, что она еще не стала его любовницей в буквальном смысле, не имел особого значения; во-первых, никто бы в это не поверил; кроме того, точная степень её вины была бы пустяком, если разразится скандал, компрометирующий честь Принца.

Мысли Хари могли бы продолжаться в таком духе часами, если бы он не обрушился на самого себя во внезапном приступе ярости. Дурак! Разве это первый раз, когда Лалита не смогла прийти на свидание? А препятствия, которые удерживали её в прошлом, хотя и непреодолимые сами по себе, разве они не всегда были довольно тривиальными? Рассмотренный здраво, нынешний случай не предлагал ни одной черты, о которой мужчине стоило бы беспокоиться. И всё же он *в самом деле* беспокоился; и просто потому, что беспокойству *нужно* было найти точку фокусировки, он её нашел.

На их последней встрече — которая состоялась только накануне вечером — произошел небольшой инцидент. Он въехал в Агру через несколько часов после Хана и, как было заранее условлено, встретил Лалиту как раз перед заходом солнца в выбранном месте в Королевских Охотничьих угодьях. Встреча была поспешной, так как свет угасал, и Лалите не полагалось оставаться на улице после наступления темноты. И тогда случилось следующее: он провожал её обратно к груму, как вдруг её лошадь резко шарахнулась, свернув с узкой лесной тропы. Она врезалась в какие-то низкорослые кусты, и в тот же миг раздался крик, словно кто-то, лежавший, спрятавшись у обочины, пострадал. Сам он, следовавший в нескольких ярдах позади, быстро догнал её и сумел схватить поводья её лошади. При этом она спрыгнула на землю и уже собиралась бежать назад, чтобы посмотреть, что случилось, когда он окликнул её, чтобы она остановилась. Должно быть, его тон был повелительным,

ибо она немедленно повиновалась. Ему впоследствии было трудно вспомнить, что именно было у него на уме в тот момент; но, хотя он вообще никого не видел, у него определенно было тревожное ощущение, что несколько человек прячутся в зарослях поблизости. Он, не слушая возражений, обязал её держать лошадей и отошел назад на несколько ярдов, пока не увидел присевшую фигуру немного в стороне от тропы. Это была женщина, а затем он заметил, что она наклоняется над мужчиной, который лежит ничком на земле. При его приближении женщина подняла голову и быстрым жестом накрыла лицо мужчины вуалью. На этом он остановился. В тусклом свете были видны не более чем общие очертания двух фигур; но ему уже дали знак, что его присутствие нежелательно, и, со своей стороны, он не желал оставаться. Быстро присоединившись к Лалите, он сказал ей, что ничего нельзя поделать, и настоял на том, чтобы она немедленно уехала с ним верхом.

Вот и весь эпизод; и почему его воображение должно теперь мучить его мыслью, что это может быть как-то связано с отсутствием Лалиты? На первый взгляд, ничто не могло быть менее вероятным. Время и место их свидания не могли быть известны никому заранее; они уехали прежде, чем кто-либо успел узнать их; и, наконец, за ними не следили — в этом он был совершенно уверен. Нет; фантазии, которым он предавался, были нелепы.

VIII

Именно в тот момент, когда его мысли дошли до этого поворота, его ухо уловило топот босых ног, бегущих позади. Он резко остановился и стал ждать. Из-за искривления дороги показался грум Лалиты — человек, которому они оба могли доверять. В руке у него было письмо, и когда Хари пробежал по нему глазами, весь его облик изменился. Всё хорошо; отсутствие Лалиты объяснялось тем, что она получила послание от принца Данияла с сообщением, что его визит, который должен был состояться днем, переносится на утро. Она назначила ему свидание на следующий день.

Теперь настроение Хари качнулось в другую сторону на еще большую высоту, чем прежде. Он был из тех людей, которые наслаждаются своими глупыми радостями тем больше, что осознают их глупость; и в этом случае он предавался своему чувству с самозабвением наркомана, упивающегося своим зельем. Снова он стал пренебрежительно относиться ко всему за пределами экстаза своей любви; он щелкнул пальцами перед носом принца Данияла; он отмахнулся от проблем будущего; он пожал плечами насчет происшествия в лесу. В счастливом сне он следовал по тропе обратно к павильону; всё ещё в мечтах он поднялся по ступеням, и только оказавшись лицом к лицу с Ситой, он вернулся из своего призрачного мира.

Она сидела на маленькой террасе совсем одна. В её улыбающихся глазах, когда она подняла на него взгляд, ему почудился блеск насмешки. Как оказалось, она приехала провести день с Гокалом, тогда как Амар уехал в Фатехпур-Сикри по множеству дел, одно

из которых — она довольно язвительно вставила это — нанести визит Амбиссе. При упоминании имени жены лицо Хари потемнело, и он заметно нахмурился. — Что ж, я вижу, ты тоже не спешишь наносить визиты в Фатехпур-Сикри! — его тон, не совсем неоправданно, казалось, намекал на то, что у них есть одинаково серьёзные обязательства. При мысли о том, что многое в его прошлом поведении требует объяснений, им начало овладевать смущение. Амар едва ли мог избежать того, чтобы сказать что-нибудь… а она наверняка сочтет, что он проявил дурной вкус — да, очень дурной вкус, — это сильно преуменьшая.

Усаживаясь рядом с ней, он ломал голову над тем, что сказать. От Гокола только что пришло известие, что его не следует ждать еще полчаса; тем временем здесь была Сита, выглядевшая так очаровательно, и также — теперь он был в этом уверен — имевшая слегка презрительный вид.

Хотя они были старыми знакомыми, между ними отнюдь не было близости. Он не мог не предположить, что она разделяет общее неодобрение Амара по отношению к нему; но ведь она вовсе не питала нежности к Амбиссе; она смотрела на слабости свояченицы гораздо менее терпимо, чем Амар, он знал это; поэтому было разумно надеяться, что её отношение к нему в целом… Пока он внутренне обдумывал это, разговор перешел к ней, и дружеский тон, а он был таким, звучал в его ушах чуть слишком ровно, слишком уравновешенно. Когда она снова заговорила о своем предстоящем пребывании в горах, он рассеянно ответил, что Гокол тоже снял дом в долине Кханжо, так что, похоже, он будет их ближайшим соседом.

— Да, и я просто в восторге от этого!

— Полагаю, вы увидите там и меня. Гокол просил меня навестить его.

Он сказал это не подумав; на самом деле он не строил никаких планов, его единственной заботой в настоящее время было поддерживать связь с Лалитой. Но стоило ему произнести эти слова, как он тут же пожалел об этом, ибо хотя Сита снова воскликнула, на этот раз, чувствовал он, за ее фразами стояло нечто большее, чем вежливость.

В одно мгновение пришло решение. — Сита! — внезапно сказал он, — я уверен, то, что ты думаешь обо мне, отнюдь не в мою пользу. Я хочу, чтобы ты позволила мне объяснить вчерашнюю ночь. Да, пожалуйста! — продолжал он, пока она издавала легкий протестующий смешок, — я настаиваю на том, чтобы ты выслушала. Возможно, твоё мнение не сильно изменится, когда я закончу, но я хочу, чтобы ты знала правду.

Она распахнула глаза, словно удивленная его серьезностью. — Конечно, я выслушаю, если хочешь.

— Прежде всего я должен извиниться за свой визит. Это было неправильно.

На мгновение она заколебалась. — Мне кажется, ты использовал меня как прикрытие.

Он покраснел. — Не так, как ты думаешь. Неправда, что я завел роман с одной из твоих горничных. Я воспользовался этим предположением, когда увидел такую возможность; но это неправда.

— О! — Она посмотрела прямо на него с удивлением. — Значит, ты лгал Нарсингу, когда сказал…

— Нет. Ведь я не веду интригу ни с кем во дворце вообще. Я и сам едва ли могу объяснить те побуждения, которые овладели мной тем вечером и заставили меня поступить так, как я поступил. Я могу лишь сказать тебе, что у меня был инстинкт сделать нечто странное, чтобы сбить людей со следа… чтобы создать, если возможно, какое-то алиби. Дело в том, видишь ли, что незадолго до этого у меня случилось происшествие — в Королевских Охотничьих угодьях — происшествие, в котором были замешаны я и еще один человек. Думаю, мы избежали риска последующего опознания, но на всякий случай… — И его взгляд попросил её отнестись наилучшим образом к тому, что было, по правде говоря, довольно туманным объяснением.

— Но… это происшествие было очень серьезным?

Он пожал плечами. — Не могу сказать. Вероятно, нет.

— Что ж! Почему же тогда оно было таким важным…

— Кто может сказать в этом мире, что важно, а что нет?

— Должно быть, у тебя что-то было на уме, — пробормотала Сита после паузы.

Он откинулся назад со смехом. — Ты права. Ты права. Но… — и он снова рассмеялся, — одному Богу известно, что у меня было на уме.

Она смотрела на него с большим любопытством, но ничего не сказала.

— Как нарочно, — продолжил он, — моя попытка обеспечить алиби удалась поразительно хорошо. Дорогой старина Нарсинг доказал себе к полному удовлетворению, что я вошел во дворец до заката. Полагаю, Мабун Дас тоже в этом убежден. А поскольку Мабун стоит во главе тайной службы Акбара, то лучше я и сделать не мог. — Он хихикнул. — Что бы ни вышло из того происшествия, теперь вряд ли кто-нибудь свяжет *меня* с ним.

Сита задумалась. — Совершенно ясно, что ты боишься, что что-то *выйдет* из этого.

Хари покачал головой, смеясь. — Нет. Это просто своего рода суеверие. Мелкие неожиданные вещи в жизни так часто оказываются самыми катастрофическими. Куда бы я ни посмотрел, я вижу, как миром правит случай, и я возмущаюсь этим. И всё же, — продолжал он после паузы, — почему я должен возмущаться? Мои цели обычно дурно обдуманы, и случай действительно оказывает мне услугу, разрушая их. Да, я удачлив; ибо, одолев меня, случай довольно часто бросает непредвиденную удачу прямо к моим ногам.

Если это была попытка заинтересовать Ситу, она, похоже, провалилась. Пока он смотрел ей в лицо, она неотрывно глядела поверх залитого солнцем озера, и он не мог почувствовать, что его слова подействовали на неё. Во время последовавшего молчания его мысли неизменно беспомощно возвращались к этому: «Если бы только я мог сказать ей, что влюблен — серьезно влюблен!» Но этого нельзя было сказать.

Вдруг она улыбнулась про себя, и это он истолковал с надеждой.

— Не суди меня сурово! — взмолился он.

— Почему ты выставляешь меня судьей? Какое значение имеет моё мнение? Во всяком случае, мой дорогой Хари, я совсем тебя не понимаю.

— О, да! — заверил он её.

— Не понимаю, — настойчиво повторила она, смеясь. — То есть я не могу разобрать, *ради чего* ты живешь.

— А ты знаешь, ради чего живут другие люди?

— У других, кажется, есть какого-то рода основа. У них есть религия, обязательства, честолюбие — или что-то ещё. Но, конечно, — поспешно добавила она, — у меня нет права говорить с тобой так.

Легкий румянец появился на её щеках; и глаза её блуждали; она собиралась встать.

Хари подался вперед. — Задумывалась ли ы о том, что остается человеку вроде меня — живущему в эту эпоху, при Акбаре? Честолюбие подавлено, обязательства вышли из моды, а что касается религии — ну, выбор слишком широк. Меня воспитывали как мусульманина, но… — и он пожал плечами, — Аллах, увы! не сохранил меня ортодоксальным. У меня есть жена и дети, это правда, но… их пути, их вкусы — не мои. Когда-то у меня были политические обязанности, но Императору благоугодно было их снять. Что ж, моя дорогая Сита, что осталось?

В этом было достаточно истины, чтобы заставить её задуматься, а вступать в спор означало бы предполагать наличие той близости, которой не было. Хотя сама будучи сильной в своей вере, она не была склонна к прозелитизму; по поводу проступков Хари как мужа она не могла бы говорить с горячностью чувств, ибо её симпатии естественным образом не были на стороне Амбиссы; а что касается его общественных обязанностей — что ж, здесь, без сомнения, было что сказать. Она могла напомнить ему, что было время, когда он пользовался благосклонностью Императора в весьма необычной степени. Она могла бы сказать, что ему не должно быть трудно вернуть расположение Акбара и получить какую-нибудь почетную должность на Императорской службе. Но на самом деле у неё не было особого желания выдвигать какие-либо доводы; зачем ей это? И пока она всё ещё колебалась, появился Гокол; в целом, к её облегчению.

В последовавшем разговоре Хари принял очень малое участие. На него опустилась завеса озабоченности, и Сита, хотя и заинтригованная слегка, не пыталась проникнуть сквозь неё. На небольшом расстоянии, под деревьями у озера, Джали пытался рыбачить на удочку и вскоре издал крик, смешанный из торжества и смятения, так как поймал рыбу. Всем пришлось поспешить вниз, чтобы помочь ему снять её с крючка и бросить обратно в воду, прежде чем с ней что-нибудь случится. Пока шла эта операция, Хари, который не принимал в ней активного участия, стоял позади, глядя на воду, и несколько мгновений, совершенно унесенный мечтами, он был с Лалитой в другом мире. Более того, так случилось, что в одно из этих мгновений Сита подняла голову. Он никогда не узнал об этом, но её взгляд ненадолго остановился на нём; в следующую секунду она снова наклонилась, глубоко увлеченная спасением маленькой рыбки.

IX

Днем, в час сиесты, Хари поднялся со своего ложа и тихо покинул дом. Его заставило выйти на жару дня беспокойство о том, чтобы найти хлыст для верховой езды, который уронила Лалита — по крайней мере, так она написала в своем письме — рядом с местом происшествия. Был небольшой шанс, что этот хлыст, если его подберет кто-то другой, может привести к её опознанию, ибо в его рукояти был вставлен сапфир необычайной красоты, подарок от принца Данияла. Он отправился в путь, твердо решив произвести тщательные поиски. Но, для начала, было нелегко снова найти то место, а когда он наконец нашел его, поиск хлыста оказался напрасным. Раздосадованный, он уже собирался вернуться назад, когда ему пришла в голову мысль исследовать ту часть леса в надежде наткнуться на какую-нибудь улику, касающуюся характера таинственной группы людей и их дел в окрестностях. Слабые следы, казалось, указывали на то, что они свернули на небольшую извилистую тропу, уходящую в самую гущу подлеска. Он следовал по этим следам около мили, а затем вышел на небольшую поляну. Посреди неё стояло бунгало, сходное с домом Гокола, но поменьше и сильно запущенное. Некоторое время он стоял, уставившись на него, прежде чем двинуться через открытое пространство; ибо хотя поляна заросла сорняками, а само здание носило все признаки заброшенности, он не мог отделаться от мысли, что кто-то подглядывает за ним из-за закрытых ставней. У двери он снова замер; с крыши свисали пряди сухого серого мха; муравьи построили гнездо у порога, а помет лесных голубей выбелил подоконники. Вопреки его ожиданиям задвижка поднялась, когда он попытался её открыть; дверь открылась, и странный запах распространился в свежем воздухе. Его главными составляющими, без сомнения, были гниющая древесина, сгнившая циновка и помет летучих мышей; но, к его недоумению, к этим запахам примешивался сладкий аромат какого-то цветка. Он знал этот аромат довольно хорошо, но в тот момент не мог вспомнить, какому цветку он принадлежит.

По обе стороны прихожей были двери. Он попробовал каждую из них по очереди и обнаружил, что они заперты. Однако ни одна из других комнат не была заперта, и он нашел

их пыльными и пустыми. Вернувшись в прихожую, он заметил, что именно из комнаты справа доносился запах цветов; он просачивался сквозь решетку, которая шла высоко по стене. Вытащив охотничий нож из-за пояса, он занялся замком, и через несколько секунд дверь поддалась. Внутри комнаты было темно, но с порога он увидел какие-то предметы, брошенные в углу, и постепенно его глаза различили два или три рулона ковров, несколько больших свертков, завернутых в белое полотно, и большую охапку темных цветов. Пока он стоял там, вылетел мотылек и неуклюже ударился ему в лицо; это был большой белый мотылек, точно такой же, как те, что накануне вечером всё время летели в лицо Лалите. Следя за её слепым, бесцельном полетом, он погрузился в глубокую задумчивость.

Что вывело его из оцепенения в конце концов — или так ему показалось — так это сама интенсивность окружающей тишины. Это была тишина, которая усиливала каждый малейший звук осмелившийся нарушить её. За пределами дома действительно ощущалась вибрация крыльев насекомых, но внутри ничего, ничего.

Наконец он пошевелился со своего места; он вошел в сумеречную комнату и распахнул одну из ставен. Он развернул ковры и обнаружил, что они самого лучшего качества; свертки содержали еду, вино, спиртные напитки, серебряные кубки и несколько кушаков из алого шелка. Цветы, которые казались черными, также оказались алыми. Закончив этот осмотр, он выпрямился; сжав губы, он медленно кивнул самому себе; свет — частичный свет — забрезжил над ним.

Несколько минут прошли, пока он стоял, глядя в незастекленное окно и напряженно хмурясь; он стоял там до тех пор, пока какой-то воображаемый звук позади не заставил его резко обернуться. После этого он закрыл ставню и покинул комнату, притворив за собой дверь. Через проход стояла другая дверь, закрытая, бросающая вызов; его взгляд остановился на ней в нерешительности, а затем он снова вытащил охотничий нож и принялся за работу тихой, но сильной рукой. Несколько сильных толчков возымели действие; дверь открылась, за ней оказалась комната, похожая на предыдущую и тоже закрытая ставнями, но, поскольку она выходила на запад, яркое послеполуденное солнце било внутрь сквозь сломанные планки. Света было достаточно, чтобы показать ему — в противоположном углу — лежащую девушку, которая спала, или, вернее, просыпалась, ибо она была потревожена взломом двери. Всё ещё, казалось, в дреме она лежала там, но её глаза были открыты и смотрели внимательно. Его появление, судя по всему, не слишком тронуло её: она приподняла веки, чтобы посмотреть на него с изумлением.

Со своей стороны, Хари присматривался к ней, и ни с одной из сторон не было никакого движения до тех пор, пока он, откинувшись на дверной косяк, не улыбнулся ей и не пожелал доброго дня.

Эта улыбка не сходила с его лица во время дальнейшего промежутка полной тишины. Она была так прекрасна, эта девушка, что, пока его глаза покоились на ней, он невольно улыбался от удовольствия. Свежесть детства всё ещё была при ней; то, что добавил её

последний год, — это мягкость, цветение и глубина сияющей тайны за глазами — теми самыми глазами, которые вуалировали — и тем самым выдавали — осознание пола и красоты. Когда теперь она приняла сидячее положение, её легкое одеяние соскользнуло, обнажив совершенную шею и плечи. При этом она опустила взгляд и отвернулась, но не сделала другого движения, и по-прежнему ничего не сказала.

Когда Хари обратился к ней снова, это был вопрос о том, что она здесь делает и кто она такая. Но на эти, самые очевидные вопросы, она, казалось, не была готова ответить. С глазами, которые смотрели скорее сквозь него, чем на него, она пробормотала, что спала; и смутно, но очаровательно, улыбнулась.

После того как её голос затих, лицо Хари постепенно изменилось. Его взгляд стал проницательнее; он мог определить её место; она была одной из миллионов. Миллионы были похожи на неё во всех отношениях, кроме одного — им недоставало её поразительной красоты. Горшечник рассыпал эти обычные сосуды по земле, настолько небрежно, что когда один такой, подобный этому, случайно вышел безупречным с его круга, он не обращал на это внимания, не выделял его. Это был обычный цветок, который мог распуститься на любой навозной куче и подвергнуться любой судьбе. Более того, если только красота не имела своих особых прав, кто мог сказать, что она заслуживала лучшего?

Внезапно он принялся допрашивать её, и теперь в его тоне появилась определенная резкость. Но его взгляд уже выдал восхищение, и именно от этого она взяла свою манеру.

Играя складками своего платья, перебирая пряди волос, она давала ответы, которые ничего ему не говорили. Она сбивала с толку, как упрямый ребенок.

Недолго думая, он принял другую линию поведения. — Позволь мне кое-что сказать тебе. Я заходил в другую комнату, — сказал он.

Впервые она проявила след беспокойства; её взгляд, казалось, потемнел, хотя остался твердым.

— Я знаю, — продолжил он, — зачем ты здесь.

Знает ли он? Она попыталась взять наглостью со смехом. Что ж; он знал больше, чем она! У неё не было ни малейшего понятия — нет! Она полагала, что ей, должно быть, дали наркотик. И её веки снова опустились, губы приоткрылись в изящном намеке на зевоту.

Вполне можно было потерять терпение, и Хари наполовину стыдился себя за то, что не сделал этого. Конечно, она заслуживала жалости, но жалость ничем не могла ей помочь. Её упрямство выставляло его дураком, и ответом было пожать плечами и оставить её. Но он не был удовлетворен этим, пока не выяснил одну вещь. Поколебавшись мгновение, он начал заново.

— Откуда ты знаешь, что я не один из вас? — мягко спросил он.

Она продолжала пристально смотреть на него своим глубоким, но настороженным взглядом.

— Во всяком случае, тебе лучше быть откровенной; если я захочу, я могу тебя выдать.

— Но я же ничего не сделала! Скажи мне, что я сделала?

— Ты пришла сюда прошлой ночью в компании Вамачариев — Последователей Левого Пути.

Она молчала.

— Разве ты не знаешь, что Махарадж, Шах-ин-Шах, Его Императорское Величество Акбар приказал, чтобы Вамачарии были растоптаны слонами?

О, какой позор, какой позор! И она содрогнулась. Как жестоко пугать девушку таким образом! Что она может знать о таких вещах? Ничего! Ничего! И в её голосе послышалось рыдание.

Хари подошел к ней, схватил её прекрасную руку и поставил её на ноги. От прикосновения его руки она тут же смутилась, опустила глаза и склонила голову. Он стоял над ней, очень близко.

— Прекрасная, как твое имя? — прошептал он.

Она поднесла свои бусы к губам, и хотя лицо её оставалось скрытым, он мог догадаться, что к ней возвращается уверенность в себе. Это был тот подход, который она знала лучше всего.

— Скажи мне, что может помешать мне… в таком уединенном месте… сорвать этот Цветок Наслаждения?

Её молчание дало ему ответ.

Сострадание снова шевельнулось в нём. Быть такой прекрасной и ценить себя так дешево!

— И если я обещаю не выдавать тебя, — мягко сказал он, — перестанешь ли ты тогда бояться?

Привлекая её в свои объятия: — Сколько тебе лет? — прошептал он.

Ей было пятнадцать.

Живет ли она в Агре?

Нет, у её отца был огород за городскими воротами.

Как вышло, что она не замужем?

Они бедны.

Из её возлюбленных разве нет ни одного, кого бы она предпочитала?

Звеня тихим весельем, она покачала головой.

— Скажи мне, — прошептал он убедительно. — Ты раньше выступала в роли Йогини?

Она подняла округлившиеся глаза. — Йогини?

— Так называют тех, кто изображает Божество.

— О, я думала, ты имеешь в виду другой род — Дхуту. Я подумала: «О, моя мать! Неужели он принимает меня за злого духа?» — И она довольно весело рассмеялась.

— Скажи мне, О Лотос Зари, скажи мне, почему обряды не были совершены прошлой ночью?

— Потому что произошел несчастный случай, — ответила она, но не без легкого колебания.

Улыбка проницательности — которую она не могла видеть — промелькнула по лицу Хари.

— Несчастный случай! — эхом повторил он с ноткой удивления. — Что это было?

Она рассказала ему очень кратко. — Один человек пострадал — оглушен. Лошади сбили его с ног.

— А те два всадника, мужчина и женщина, узнал ли их кто-нибудь? Узнал бы кто-нибудь из вас их снова?

Она покачала головой. — Думаю, нет. Было слишком темно.

— Кем был тот раненый?

— О, — воскликнула она, — я его не знаю.

Хари замолчал. Это его собственные руки одеревенели или её тело в них? После вздоха он просто сказал: — Вот как!

На этом он и остановился; его дальнейшие вопросы не дали ничего — ничего, кроме того, что её группа привела её сюда, дала ей еду и вино (вино было настояно на маке; он чувствовал это в её дыхании) и велела ждать, пока они не придут снова.

Вскоре после этого он попрощался с ней, и он видел, что его уход вызвал у неё не только облегчение, но и удивление. Без сомнения, она ожидала заплатить цену за его обещание молчания. Но она уже дала ему больше, чем знала сама. Однако как раз в тот момент, когда он уходил, он почувствовал легкий толчок беспокойства. Его глаз уловил блеск чего-то

яркого, что соскользнуло вниз между стеной и её матрасом. Неужели это рукоять хлыста Лалиты? Ему пришлось воздержаться от расспросов; требовать хлыст назад было бы совершенно невозможно; а наводить справки могло вызвать подозрения. Всё, что он мог сделать, — это споткнуться о матрас в попытке сдвинуть его и дать себе лучший обзор интригующего предмета. Но маневр провалился.

В течение следующих нескольких дней мысли Хари то и дело возвращались к девушке, и от этой отправной точки они блуждали по тенистым аллеям догадок. Хотя он уже посвятил Гокола в тайну своей связи с Лалитой, он почему-то воздерживался рассказывать ему что-либо об этой встрече. Он также ничего не сказал о ней Лалите. Она, со времени своего прибытия в Агру, проявляла симптомы новой нервозности, нового страха быть разоблаченной, и её тревоги в настоящее время были связаны в особенности с потерей её хлыста. Об этом она суеверно беспокоилась. Если бы он смог предоставить ей полное заверение, он, возможно, высказался бы, но история была бы обречена встревожить её и скорее пробудить любопытство, чем удовлетворить его. Каким образом он мог бы объяснить ей насчет Вамачариев, секты, само название которой не произносилось в приличном обществе? А затем она наверняка спросит, насколько серьезно был ранен мужчина и кто он такой. Этот последний вопрос был тем, которого он особенно опасался касаться. В его собственном уме он уже доставлял беспокойство. Когда его мысли возвращались к словам девушки: «О, я его не знаю!» — он находил воображение и память неразрывно спутанными. Его усилия восстановить её точный взгляд и интонацию лишь добавляли неопределенности. Раскрылось ли значение этого восклицания для него правильно в тот момент или нет? У него сложилось впечатление, что она не признается в знакомстве с мужчиной, потому что это будет опасно. Почему опасно? Потому что он важная персона. Она *не смеет* быть знакомой с ним, или даже знать, кто он. Нет, нет! У неё достаточно здравого смысла для этого.

Таково было значение, которое Хари придал её крику, и причина, по которой оно пришло на ум так легко, заключалась в том, что он подтверждал более раннее подозрение. Раненый человек, растянувшийся на земле, представил собой то, что показалось ему, даже в том неверном свете, фигурой некоторого значения. Он не мог бы сказать точно почему, ибо ни одна черта лица или даже одежды не была различима, но впечатление было определенным. И теперь другая мысль пронзила его сознание — на этот раз очень экстравагантная.

Что, спрашивал он себя, делал Даниял в Агре в тот час ночи, когда наносил визит Нарсингу с каким-то нелепым вопросом о бесшерстной кошке? Не мог ли Принц явиться туда повинуясь импульсу, схожему с его собственным? Теория была настолько привлекательной, что ему потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя в том, что она не имеет ни малейшего твердого основания. Более того, когда он задумался об этом, лежащая ничком фигура почти наверняка принадлежала человеку более высокому и худощавому, чем Даниял. Она скорее напоминала Салима. Но Салим был в Аллахабаде.

Дни шли, и он почти успел забыть о своем последнем приключении, когда однажды утром, выглядывая из заднего окна дома Гокола, увидел ту же девушку, болтающую с женщинами за работой над корытом для белья. Он был поражен и немало смущен. Какое дело этому созданию здесь? Что означает её присутствие? В этой стране подземных связей, в этой стране слухов, доносов и шантажа возможно всё. Его охватила злая, беспомощная подозрительность. Он тут же отправился на поиски Гокола; он расскажет ему всё, что знает, и потребует объяснить присутствие девушки.

Выслушав его с большим интересом, Гокол разразился восклицаниями. — Почему ты скрывал это от меня до сих пор? Я похоже могу сразу сказать тебе, кто она. Это должно быть Гуневати, сестра бедняжки Васумати… Её отец говорил мне, что собирается послать за ней, чтобы она заняла место Васумати. По-твоему, она хороша собой? Но она не может быть равной Васумати, которая была ангелом красоты. Позволь мне послать за ней, и мы увидим.

Васумати, как помнил Хари, была той девушкой, чья смерть так глубоко тронула его друга, и было ясно, что эта новость о её сестре привела его в некоторое возбуждение. Он не мог удержаться от смеха. — Пошли за ней позже — не сейчас. — И он объяснил, что у него нет ни малейшего желания снова видеть Гуневати. — После того, что я тебе рассказал, — продолжил он, — ты, полагаю, найдешь какой-нибудь предлог, чтобы отправить её прочь.

Гокол выглядел немного смущенным. Нельзя действовать резко, возразил он. Её отец — преданный слуга; дело будет не таким простым, ибо правду нужно скрывать от старика любой ценой. Хари отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и решил пока ничего больше не говорить. Когда Гокол найдет время подумать, он вряд ли сможет не осознать, что никто из его касты и положения не может рискнуть держать такую девушку, как Гуневати, по соседству. А поскольку у него было назначено свидание с Лалитой, он поспешил уйти.

В последнее время Лалита и он не могли часто видеться друг с другом; и в других отношениях внешний мир также давал о себе знать. Они нашли невозможным дальше игнорировать проблему будущего; они обсуждали её часами, но не пришли ни к какому выводу. Женитьба Лалиты ещё не была неминуемой, но её тень постоянно лежала между ними; девушка не могла воздержаться от того, чтобы ни упоминать часто имя принца Данияла в разговоре, и это весьма раздражало Хари. По натуре он не был ревнивцем, и его негодование выражалось главным образом во гневе на давление мира; однако мало-помалу его чувства к Даниялу начали приобретать оттенки враждебности. Четыре года назад Акбар поручил ему дело обучения Принца искусству охоты, и таким образом он и шестнадцатилетний юноша были брошены в товарищество, которое не было их собственным выбором; и хотя тогда им казалось, что они достаточно хорошо ладят, с тех пор они совершенно разошлись. Хари находил странным, что его мысли должны вновь обратиться к Даниялу из-за этой мудреной цепочки событий. Бывали моменты, когда он всё ещё лелеял мысль, что это, в конце концов, именно Даниял был сбит лошадью Лалиты,

и если это так, если Даниял действительно является Последователем Левого Пути, то можно было бы почти считать своим долгом (как это, безусловно, было бы удовольствием) донести на него и вызвать такой скандал, что помолвка расстроится.

Одним утром, когда он как раз вынашивал эти мысли, возвращаясь со встречи с Лалитой, на повороте лесной тропы его глаза упали на стройную фигуру Гуневати, которая медлила у дороги. Было в её облике нечто такое, что наводило на мысль, будто встреча не случайна, и когда он подошел, он сурово посмотрел ей в глаза. Она приветствовала его с новообретенной почтительностью и тут же перешла к тихим просьбам, умоляя его сжалиться над её отцом и ею самой и не настраивать святого брахмина против неё. Брахмин готов поверить в её раскаяние — и она, честно, уже отказалась от всех своих дурных влечений. Без защиты святого брахмина они с отцом зачахли бы, словно вырванные с корнем растения.

Хари продолжал смотреть на неё каменным взглядом. Его сильно подмывало расспросить её дальше о происшествии, но осторожность взяла верх. Видя, что его глаза остаются неумолимыми, девушка наконец опустила голову. В печали она сорвала веточку и уронила её на землю в знак своей покорности судьбе.

— Твои друзья той ночью — пусть они позаботятся о тебе! — сказал Хари с решительной жестокостью. — Неужели они позволят тебе умереть с голоду — тебе, воплощению Великой Богини?

Она промолчала.

В неподвижный взгляд Хари закралось любопытство. То, что её выбрали спутники, не было удивительным, но что она сама думала об этом призвании?

— Я знаю ваши ритуалы, — продолжил он через мгновение. — Ваши *упачары*, я их знаю. — Он вложил в голос презрение и стал ждать, когда краска поднимется к её лицу.

— Они некрасивы — твои ритуалы! — И он рассмеялся смехом отвращения.

— Это ритуалы Великой Матери.

— Ты веришь в это? Ты веришь в неё?

— Все верят в неё.

Он пожал плечами. — Не все поклоняются ей посредством этих ритуалов.

— Так предписано.

— Почему же тогда они скрыты — если нет стыда?

Она молчала.

— Разве тебе тоже не стыдно?

На мгновение она подняла на него глаза. — Я представляю Божество. Мне поклоняются согласно предписанным ритуалам.

— Что насчет других Божеств?

— Великая Мать — самая сильная. Кали — это сила.

Она говорила так, словно излагала очевидную истину, и её тон лишил Хари дара речи. Возможно, её бессознательный цинизм был достаточно глубок, чтобы считаться невинностью. Да, несомненно, у неё была невинность животного; и всё же… В замешательстве он сказал: — Но ведь для тебя, такой юной девушки — эти вещи должны были показаться странными?

Она снова подняла голову и бросила на него косой взгляд. Он был почти ироничным и, казалось, сопровождался тенью улыбки.

— Многие вещи кажутся девушке странными поначалу, — ответила она.

Жестом Хари оставил её и прошел мимо.

X

Дарбар с его длинной программой церемоний и празднеств был теперь в самом разгаре, и, как бы глубоко он ни был поглощен своими частными делами, Хари был вынужден, подобно всем остальным, занять свое место и сыграть отведенную ему роль. Требования к времени Лалиты тоже были, безусловно, не менее настоятельными; её помолвка с Принцем, к этому времени ставшая секретом полишинеля, должна была вскоре быть публично объявлена, и она уже предвкушала почести, которые скоро будут на неё обрушены. Когда они с Хари встречались теперь, они приносили с собой множество забот, и первые дни их близости казались уже очень далекими. Их страсть не ослабевала, но она начинала становиться причиной постоянного беспокойства и тревоги.

В одном отношении фортуна продолжала быть благосклонной. Принц Даниял не проявлял нетерпения в своих ухаживаниях, а дата свадьбы оставалась такой же отдаленной и неопределенной, как и прежде. Но что должно было случиться в конце концов? Каков будет исход этой интриги, которая становилась опаснее с каждым днем? Лалита, конечно, не имела об этом никакого понятия, и до самого прибытия в Агру Хари упорно отказывался смотреть будущему в лицо. Его проблема с одной стороны связывалась с вопросом о том, есть ли у него хоть какой-то шанс получить развод от своей жены. Надежды на успех было мало, ибо потребовалось бы согласие Императора, и можно было ожидать, что строгость нынешних взглядов Акбара на брак ужесточится энергичными протестами самой Амбиссы. Она стала бы возражать со всей тяжестью своей несомненной добродетели за спиной, и общественное сочувствие было бы на её стороне. Положение разведенной женщины

немногим лучше положения вдовы; разведенная, она будет вынуждена удалиться от Двора.

Любые угрызения совести, которые Хари мог бы испытывать по этому поводу, однако, были уничтожены недавним поступком Амбиссы. Он только что обнаружил, что она не только обратилась в новую религию Императора, но и склонила его сыновей, которые всё ещё были просто юнцами, последовать её примеру. Это действие захлестнуло его яростью и стерло последние угрызения совести. Он немедленно обратился бы к Императору с настоятельной просьбой без малейшего промедления, если бы какие-либо обстоятельства сложились так, чтобы вторая половина его программы — женитьба на Лалите — оказалась хотя бы в пределах возможного.

После разговора с Амбиссой, во время которого он доставил себе удовольствие быть крайне неприятным, он вернулся к Гокалу и сказал: — Я готов признать, что моя жена во многих отношениях замечательная женщина. У неё сильный характер, чувство долга, принципы — пусть не высокие, но прочные — и нет пороков, по крайней мере, в общепринятом смысле этого слова. Увидев её снова после долгой разлуки, я поневоле поражаюсь её положительным качествам.

— Но…?

— Но… наша у нас полная несовместимость темпераментов.

— Она всё ещё любит тебя?

— Нет. На самом деле, я думаю, она ненавидела бы меня, если бы позволила гордость. Когда-то она любила меня, возможно; но её привязанность угасла с открытием того, что она не может изменить мою натуру. Ей повезло, что её мальчики пошли в неё. Я считаю их ханжами; и они, несомненно, имеют обо мне соответствующее мнение. Но Амбисса любит их так, как никто другой в мире. Она лишена страсти, и её безмужнее состояние тяготило её просто потому, что, выйдя за меня замуж, она почувствовала, что имеет на меня право. Её гордость была уязвлена мыслью о том, что могут говорить её подруги; если она хотела вернуть меня, то не ради любви, а просто ради приличия. Был день, когда она была честолюбива за меня так же, как за себя и своих детей; она хотела, чтобы я сделал себе положение при Дворе. Это честолюбие сократилось до надежды, что я буду хотя бы жить благопристойно рядом с ней; пока она работала для продвижения семьи; всё, чего она просит сейчас, это чтобы я не вызывал скандалов и позволял ей получать добрую долю моего дохода.

Это было всё, что Хари имел сказать об этом разговоре, но своему брату, радже, Амбисса рассказала гораздо больше. Амар случайно вошел всего через несколько минут после ухода Хари и застал её всё ещё раскрасневшейся и трепещущей. Это волнение скоро прошло, но она осталась встревоженной угрозой развода.

Выслушав её рассказ, раджа лишь улыбнулся. — Даже Хари, — сказал он, — не найдет наглости предстать перед Акбаром с заявлением о том, что ваше принятие новой религии является основанием для развода. Вполне возможно, что это его личные чувства — и найдутся другие, кто посочувствует ему; но вряд ли тактично представлять эту просьбу Императору.

С этими словами раджа перешел к другой теме, ибо поступок его сестры наполнял его тайным стыдом. Возможно, было ожидаемо, что со временем многие из ближайшего окружения Императора склонятся к этой низкой форме лести, но пока лишь немногие так унизили себя. Амбисса в своем случае проявила недостойную поспешность, неподобающую расторопность, и, конечно, в отношении мальчиков её поведение было чудовищным.

С каждым днем, который теперь проходил, Хари всё яснее осознавал, что его прошлые отношения с Лалитой были отмечены нерешительностью, и что это не может продолжаться. Это был факт — и Гокол, которому он доверился, был поистине поражен, услышав об этом, — что Лалита ещё не стала его любовницей. Мог ли он тогда в этот час решиться втянуть её еще глубже в клубок трудностей и опасностей, которыми была окружена их интрига? Прошлый опыт научил его, что исполнение страсти обычно знаменует начало её угасания, и сейчас меньше, чем когда-либо, он чувствовал готовность пожертвовать ею ради того, что вполне могло оказаться мимолетным увлечением. Тем не менее, настало время, когда ему приходилось рассчитывать главным образом на собственное самообладание, а это было возможно только потому, что он миновал возраст безудержной импульсивности. Но он также осознавал, что неизбежно наступает момент, когда промедление делает влюбленного смешным и грозит лишить его не только того, что он мог бы иметь, но и того, что у него уже есть.

Гоколу выпала доля быть свидетелем мук нерешительности Хари. В один день он говорил: «Я пойду к Акбару и сделаю отчаянную попытку добиться развода и повторного брака. Хотя я старше Лалиты, наш брак дал бы нам по крайней мере десять лет счастья. И кто имеет право просить о большем?» Затем немного погодя он заявлял: «Наша любовь достаточно реальна; но Лалита, как и я, не создана для устроенного счастья. Возможно, даже неплохо, что наш брак исключен. Мой правильный путь — бежать с ней. Она предназначена для романтики, а романтика процветает только в невзгодах. Ей было бы счастливее с разбойником-любовником, чем с удобным мужем». И всё же через час после этого он весьма вероятно пускался в пространные рассуждения, чтобы объяснить, что хотя жизнь в глуши вполне подошла бы ему самому, она наверняка стала бы невыносимой для Лалиты, привыкшей ко всем развлечениям цивилизации.

Против этой самой цивилизации и против воспитания Лалиты он выступал с сосредоточенной горечью. — Не говорите мне о её родителях! — восклицал он. — Она ничем им не обязана! А я, со своей стороны, совершенно не имею угрызений совести в их отношении. Её отец — большой, тяжелый, высокомерный человек, надутый гордостью

рождения; её мать — светская и жесткая. Воспитание Лалиты с самых ранних лет было рассчитано на то, чтобы вырастить молодую женщину величайшей возможной соблазнительности — идея заключалась в том, чтобы её чары купили ей высокое место в Обществе. Все мысли её матери уходили на детали одежды, манер и туалета. Девушке дали снаряжение куртизанки, её невинность, её девственность, считались лишь дополнительной грацией. Задолго до того, как тщеславие пришло на помощь терпению, её заставляли посвящать большую часть своего времени и мыслей искусству пробуждать желание мужчин. И теперь, спрашиваю я, справедливо ли всё это было по отношению к ней — или ко мне? Была расставлена ловушка, и в неё случайно угодила не та жертва. Ведь жертвой являюсь я; и будучи таковой, почему я должен быть внимателен к своим загонщикам? Что касается Лалиты, это говорит в её пользу, что она приобрела сердце куртизанки не больше, чем умения. Это делает ей честь, что она была своевольной, безрассудной и дерзкой в своем чувстве неправоты. «Мы любим друг друга!» — говорит она; и тотчас становится восхитительной и оправданной щедростью давать, не думая о выгоде.

Гокол отвечал скупо, обладая сообразительностью видеть, что всё, что он мог бы сказать, будет бесполезно. В глубине души он и изумлялся, и жалел, ибо хотя по натуре был склонен к сентиментальности, его представления о любви обладали сухой циничностью чистого теоретика. Правда, Хари иногда в ярости восклицал: «Для чего Бог создал молодых женщин, если не для того, чтобы их соблазняли?» Но он также тратил много времени на пересмотр множества веских причин не идти дальше. Большинство этих причин брали свое начало в характере самой девушки. — Лалита, — объяснял он, — находится под тиранией того, что она называет своей совестью. Но эта совесть, продукт школьной морали, совершенно лишена истинного убеждения. Инстинкт велит ей повиноваться побуждениям своего сердца; но её ложная совесть нагружает её страхами. Она преувеличивает в ней неприязнь к скрытности, свойственную почти всем нам и в действительности сводящуюся лишь к боязни позора быть разоблаченным. Гораздо легче бросить миру вызов эффектным жестом, чем долго выносить напряжение и риск обмана.

Хари говорил с некоторой горечью, потому что не мог заставить Лалиту взять на себя даже малейшую долю ответственности за исход дела. Она использовала свой интеллект, чтобы уклониться от каждого обращения к нему. Бессознательно она требовала принуждения, и позволяла каждому небольшому шагу вперед в их близости сопровождаться усилением её угрызений совести и страхов. Уже некоторое время их встречи проходили в заброшенной охотничьей хижине в Королевских Охотничьих угодьях, здании, почти точно таком же, как то, в котором произошла встреча с Гуневати. Он тайно оборудовал одну из комнат всеми вещами, необходимыми для их комфорта, и в уединении этого убежища они с ней иногда умудрялись проводить вместе до половины дня. Что происходило во время этих встреч, так это то, что, разделив с ним легкую трапезу, Лалита уступала его настояниям и растягивалась на диване для сиесты. Часы, которые они провели на этом ложе вместе, безусловно, оставили очень мало ценности в её девственности; и теперь он не мог не размышлять о том, что если бы её капитуляция была полной с самого

начала, они были бы избавлены от многих угрызений совести, которые уже довольно истончились, и многих душевных терзаний, которые, вероятно, были бы бесполезны. Даже их расставание, если оно придет, будет носить двусмысленный характер; оно произойдет не потому, что они так захотят, а потому, что им недостанет силы хотеть иного.

В таком положении дел требовалось совсем немного, чтобы вызвать кризис. За исключением Гокола, Хари не посвятил в свою тайну никого — даже лучшую из своих подруг-женщин, Шрилату Бегум. И всё же именно благодаря посредничеству Шрилаты кризис в конечном итоге разразился. Эта замечательная женщина была единокровной сестрой Амара и Амбиссы, но так же, как они мало походили друг на друга, так и у неё было мало общего с кем-либо из них. Если, подобно Амбиссе, она питала слабость к свету, привлекательность, которой она поддавалась, была совершенно иного порядка. То, что она искала, было не повышением собственной социальной ценности, а просто развлечением. Если она рано выпала из высшего общества, которое так усердно обхаживала Амбисса, то только по той причине, что оно ей наскучило. Определенный уровень культуры, немалая искушенность и находчивость ума — вот чего она требовала от своего окружения. Воздух двора был слишком тяжел; твердые добродетели, твердые способности, не смягченные изяществом, интересовали её не больше, чем обычная глупость или порок. С другой стороны, хотя, подобно Амару, она обладала сознанием, пробужденным к духовным вещам, она была полностью лишена этой интеллектуальной и нравственной горячности и не имела иной цели, кроме как жить легко. Она могла терпеть дилетантизм и тривиальность, которые положительно вызывали тошноту у её брата, и терпимо относилась к любому виду духовного разложения. Это терпимость к мерзости в других стояла в поразительном контрасте с высокой планкой, которую она установила для себя. Амар правильно понимал её в этом вопросе, но у ему не нравилось посещать её дом, а что касается Амбиссы, то, будучи менее чувствительной к его атмосфере, она избегала его просто потому, что чувствовала себя там интеллектуально неполноценной.

Дружба между Хари и Шрилатой возникла в то время, когда Амбисса заставила свою сестру выступить в роли миротворца. Хари тогда жил в Агре, и дружба, таким образом завязавшаяся, быстро переросла в близость. В глазах Амара в этом союзе было нечто столь же неуместное, как и в союзе Хари с Гокалом. Но что тут поделаешь!

В том, что Хари обратился бы к Шрилате в своих затруднениях и выложил ей всю историю своей любовной интриги, не было бы ничего неестественного. Но этого он не сделал. Более того, вскоре после своего прибытия в Агру, когда Лалита упомянула ему, что познакомилась со Шрилатой, его единственным ответом — брошенным небрежным тоном — было то, что он знает её и считает очень хорошей компанией. Каково же было его удивление, поэтому, когда теперь — после многих недель, в течение которых о Шрилате не упоминалось — Лалита выдала новость, что она рассказала Шрилате всё, излила всю повесть о своих бедах и попросила совета.

На довольно значительный промежуток времени после услышанного Хари замер в молчании. То, что пришлось прибегнуть к сестре Амбиссы, казалось чрезвычайным поступком, но — если Лалита действительно знала, что делает — это показывало недурной дар различения. На лице Хари появилось странное выражение, когда он спросил, каков был совет Шрилаты. Лалита уже сказала, что ушла с собеседования очарованная, поддержанная, утешенная; но всё, что она могла сейчас найти для ответа, было: «Она сказала, что всё это очень трудно; нужно подумать… а почему ты сам не пришел навестить её?»

Хари улыбнулся. Он узнал лояльность Шрилаты, осмотрительность и свободу от предрассудков. Он пойдет — конечно; он обещал это Лалите; а затем, после того как они расстались, он удалился в долгое общение с самим собой. Или нет! Скорее уж он общался с вызванным образом Шрилаты, и результаты были поистине поразительными. До сих пор он лелеял убеждение, что подверг свою любовную связь изучению под всеми возможными углами. И всё же, пока он теперь разыгрывал, шаг за шагом, сцену беседы перед своим мысленным взором, он обнаружил, что более половины его устоявшихся идей приходится отбросить. Спешные поправки и признания требовались постоянно — объяснения, необходимости в которых он до сих пор никогда не видел. И так случилось, что эта марионетка, оживленная его собственным чревовещанием, стала открывателем суровой правды вещей.

Когда этот час миновал, он в ужасе уставился на решительность его результатов. Тщетно он искал прибежища в гневе, расходуя последние силы в раздраженной атаке на саму Шрилату. Кто она такая, в конце концов, чтобы он должен был считаться с её суждением? Та иссушенная беспристрастность её, которая присуждала щедрости и расчету, удовольствию и самодисциплине, донкихотству и целесообразности, каждому цинично по заслугам — как из неё могло выйти что-либо ценное? При всех антагонистических элементах в равновесии, почему чаши весов должны склониться в пользу того или иного? И всё же они склонились — вполне определенно, и был вынесен вердикт, который он не мог проигнорировать. Он носил печать — не морали, ни здравого смысла, ни целесообразности, ни хорошего вкуса, по отдельности; но авторитета, составленного из них всех. «Я нанесу визит Шрилате, который она предлагает, — сказал он себе. — Но мы не найдем необходимым долго говорить о моих личных делах». Так оно и вышло; ибо лишь несколько минут обсуждалась Лалита; наступила небольшая пауза, и тогда разговор перешел на другое.

Спустя несколько дней Хари оказался на пути к тому, что должно было стать последней встречей. Совершенно истощенный сердцем и разумом, он тупо тащился вперед. Маленький домик, съежившийся под густой сенью деревьев, казалось, лукаво смотрел на него, когда он приближался; комната, служившая приютом его тайной близости, носила пустое лицо, имела пустую тишину, которые, казалось, передавали усмешку. Стыд, смешанный с презрением к самому себе, заставлял его стоять там, посреди комнаты,

обозревая тот или иной знакомый предмет с выражением отвращения. Наконец, однако, он сел и просто ждал, устремив неподвижный взгляд.

Лицо Лалиты, когда она вошла, дало ему отражение его собственного внутреннего состояния. Улыбка, которую она призвала, быстро угасла, и в его объятиях она держалась напряженно и холодно, её печальные глаза широко смотрели перед собой. Да, её способность чувствовать иссякла точно так же, как и его; так вот они стояли в конце концов, вялые, в тисках несчастья, которое лишило даже само себя грации.

Он сказал: — Я пришел подготовленным, как ты знаешь… Но это действительно наша последняя встреча?

Безмолвно она наклонила голову.

— Ты говоришь, что так должно быть?

— Да, должно — должно.

Волна горечи прошла по нему. — Всё равно ты увидишь — когда я уйду из твоей жизни…

Он не смог закончить. Её лицо исказилось выражением несчастья, которое он не мог вынести. В молчании они отстранились друг от друга и сели на диван; в молчании они смотрели правде в глаза. Тому, чему они подчинялись, была недостаточность их любви — той жалкой любви, которая, тем не менее, обладала такой силой терзать их. Перед лицом этого духовного бессилия ничего не осталось сказать — ничего истинного, во всяком случае, что стоило бы говорить, и ничего стоящего того, чтобы говорить, что было бы правдой.

— Полагаю, — сказал он, — полагаю, мы оба преодолеем это быстрее, чем думаем. — И когда она не подала знака, что слышит его, он продолжил: — У тебя будет достаточно отвлекающих факторов в любом случае. А затем этот очаровательный брак… Я слышал, что твоя мать сегодня вечером дает прием для Принца.

— Нет. Завтра вечером.

— Завтра? Неважно. Завтра… а затем послезавтра… всегда найдется что-нибудь. Мы не будем думать друг о друге больше, чем в наших силах.

Снова он погрузился в свое горе. Но его глаза были прикованы к солнечному свету снаружи. На свободе неба, со стремительным ветром позади них, летели облака. Только Лалита и он были заключены в тюрьму несчастья; заперты в круге своих настойчивых воспоминаний и тоски сердца.

Вдруг её рука метнулась вперед, нашла его и сжала. Он ответил на давление её пальцев одно мгновение, а затем поднялся на ноги. Чем скорее всё это закончится, тем лучше. Но сначала он хотел найти что-то прочувствованное глубоко — слово, о котором можно вспомнить, что оно произнесено. Отступив немного назад, он пристально посмотрел на

неё. Из упрямства он пытался извлечь из этих мгновений полную меру их боли; он оживил свои самые блаженные воспоминания; он насмехался над собой из-за своей утраты.

— Пойдем! — сказал он наконец и пригласил её встать.

Она не обратила внимания на его протянутую руку; она сидела, глядя прямо перед собой.

— Я люблю тебя, — сказала она тихим голосом, — и я ужасно несчастна.

Он начал жест и тут же сдержал его.

— Пойдем! — повторил он.

Она встала, и вместе они покинули дом. Заперев за ними дверь, он шел рядом с ней по узкой тропинке. Несколько мгновений привели их в поле зрения грума, который держал её лошадь.

Он сказал: — Думаю, нам лучше не переписываться.

Она вздрогнула. — Ты думаешь, нет?

— Если мы никогда больше не увидим друг друга…

— Мы могли бы написать хотя бы раз, — пробормотала она.

Подумав мгновение, он кивнул. Да; они могут написать хотя бы раз — чтобы исправить это расставание.

Грум был теперь совсем близко, и их шаги, которые замедлились, остановились наконец полностью. — Прощай, Лалита, — сказал он очень тихо.

Она посмотрела на него, затаив дыхание, а затем повернулась и побежала к ожидающим её. Он быстро зашагал прочь.

XI

Все эти недели Амар усердно трудился в стремлении к своим различным целям, и отнюдь не без успеха. Он уладил в одном несколько назойливых вопросов, защитил свои права — в другом; и теперь его маленькое княжество, мог он сказать, стояло снаружи и внутри таким же прочным и здоровым, каким только можно было его сделать. Однако ничто из этого не было достигнуто без усилий, и ему снова стало ясно, что они с Акбаром не созданы для взаимопонимания. Будь он более удачлив в этом отношении, он мог бы за полчаса сделать то, что на самом деле стоило ему многих недель трудных косвенных переговоров. В общем, он не сожалел о том, что этот сезон подходит к концу; он находил придворные функции Империи чрезмерно утомительными; а тон общества в Фатехпур-

Сикри был — как он и знал — гораздо менее приятным, чем при его собственном маленьком дворе. Он был готов к немалому хвастовству и даже определенной грубости; но больше всего ему не понравилась преобладающая безвкусица. Гораздо хуже была атмосфера, тяжелая и грозовая от интриг.

На переднем плане его мыслей в течение всего периода стоял, естественно, вопрос об уходе от мира, и эта озабоченность заключала его в тайную келью, из которой он наблюдал со всё нарастающим беспокойством усиливающееся соперничество двух великих фракций в Империи. Была партия, которая, оставаясь верной Акбару, лелеяла надежду, что Император пойдет на уступки Салиму и назовет его своим преемником на Троне. Другая партия направляла свои амбиции на принца Данияла; именно к этой партии принадлежала Амбисса; и с самого начала она настойчиво, хотя и довольно загадочно, побуждала брата примкнуть к ней. Это, однако, раджа был не вполне готов сделать. Так плотно Даниялу удалось замкнуться в кругу своих собственных друзей, так ловко он избегал обычных дворцовых функций, что, хотя это было одной из главных целей раджи — познакомиться с ним, он обнаружил, что хотя время его пребывания в Агре подходит к концу, он не добился ничего лучшего, кроме как мельком увидеть Принца один или два раза в туманной дали. Амбисса обещала устроить встречу более одного раза, но почему-то из этого ничего не вышло. С другой стороны, она не упускала ни единой возможности заверить его, что Даниял очарователен, что его недостатки свойственны лишь юности, что он очень высоко ценится отцом и что его почти наверняка выберут на Трон. Амар придавал этим словам не более их надлежащего веса; и когда по прошествии многих недель он случайно обнаружил, что знакомство Амбиссы с Даниялом самое поверхностное, он был скорее раздражен, чем удивлен. Но, размышлял он, её уверенность в будущем молодого человека должна быть поистине сильна, если вместо того, чтобы поддаться досаде из-за своего фактического исключения из его круга, она все еще упорно хорошо отзывалась о нём. Объяснение, вероятно, заключалось в том, что, будучи женщиной принципа, она чувствовала себя обязанной питать высокое мнение о человеке, чьей партии она отдавала свою преданность.

В тот момент, когда это последнее размышление проходило через его разум, раджа ощутил определенный моральный дискомфорт. Иногда случалось так. Раскритиковав Амбиссу, он бывал ужален вопросом, не применимы ли те же самые упреки, в некоторой степени, и к нему самому. Конечно, он хотел убедить себя, что сторона Данияла — правильная, но ведь это совсем другое, чем хотеть обмануть себя, верно? Еще в самом начале он посвятил Гокола в свою тайну и получил от него обещание, что тот будет присматривать за Джали во время его несовершеннолетия и поможет Сите советом; но тогда он не смог определенно высказаться о своей политике. Оживленный новыми угрызениями совести, он теперь снова пошел к Гоколу и полностью раскрыл направление своей недавней деятельности. Он полагал, сказал он, что Гокол согласится с тем, что путь, который он наметил для Ситы и Джали, был, учитывая все обстоятельства, правильным.

К его удивлению, Гокол возразил. И хотя, когда от него потребовали объяснений, он впал в невнятность, Амар понял, что у него сложилось неблагоприятное мнение о личных качествах Данияла. Но Гокол также заявил, что очень мало знает о Принце, и посоветовал Амару искать информацию в другом месте. После этого Амару пришло на ум имя Шрилаты, и на следующий день, придя к ней в дом, он обнаружил, к своему крайнему удивлению, что Даниял был её довольно близким другом. Этот факт Амбисса — хотя она наверняка знала о нём — не сочла нужным сообщить ему; и он начал думать, что немалую часть времени, потраченного им на выслушивание её, была потрачена впустую. Однако еще раз он испытал то, что *окружение* Шрилаты было решительно несозвучно ему. Её комнаты были переполнены людьми, чья внешность и манеры ему не слишком нравились, а единственным человеком в доме, которого он знал, был Мабун Дас. Договорившись прийти снова для спокойной беседы на следующий день, он поспешно удалился, но с чувством, что ему, вероятно, следовало остаться. Не было смысла считать себя выше Мабуна Даса, который был человеком способностей и явно был предназначен высоко подняться в мире, а что касается пустоголовых, жеманных юношей, которые так часто фигурировали среди гостей Шрилаты, они вполне могли быть членами круга Данияла, которых стоило бы немного изучить, тем более что теперь уже поздно просить Шрилату устроить встречу с самим Даниялом, ибо Принц — только что сказала она ему — собирался отправиться в Горы.

На следующий день после обеда, когда его провожали в персиковый сад позади дома Шрилаты, он услышал голос под пагодой и узнал в нём голос Хари. Прошло много времени с тех пор, как он встречался со свояком или даже думал о нём, хотя его разум поначалу время от времени возвращался к необъяснимому поведению Хари шесть недель назад; и один или два раза он заходил так далеко, что задавался вопросом, не двигало ли Хари какое-то безумное побуждение начать ухаживать за Ситой. Но эта мысль никогда по-настоящему не формировалась полностью, а после жалобы Амбиссы на угрозу Хари развестись с ней она была совершенно уничтожена. Он рассуждал, что если Хари действительно жаждет развода, причина должна заключаться в том, что он хочет жениться снова; а это, в свою очередь, могло означать лишь то, что он влюблен в какую-то незамужнюю девушку, чьих милостей он не мог получить вне брака.

Найти здесь Хари сейчас ему совсем не подходило, потому что он хотел проводить свои расспросы конфиденциально и даже, если возможно, не возбуждая чрезмерного любопытства Шрилаты относительно причин своего столь особого интереса к характеру молодого Принца. Первые же произнесенные слова, однако, показали ему, что его прибытие оказалось не таким уж неудачным по времени.

— Приди же мне на помощь! — воскликнула Шрилата. — Хари отчитывает меня за дружбу с принцем Даниялом.

— Возможно, — ответил Амар, улыбаясь, — я тоже должен был бы отчитать тебя, если бы знал о Принце чуть больше.

Хари коротко рассмеялся. — Моё впечатление, — сказал он довольно сухо, — всегда состояло в том, что ты разделял пристрастие Шрилаты. — А затем, повернувшись к хозяйке, он продолжил: — Сообщи ему твою последнюю новость; мне будет интересно посмотреть, как он её воспримет.

Его тон был довольно угрюмым, и он выглядел, подумал Амар, решительно не в духе. Однако в следующее мгновение всё внимание раджи было полностью поглощено тем, что говорила Шрилата; она слышала, что принц Даниял собирается сделать публичное и эффектное заявление о своем обращении в новую религию своего августейшего отца.

Это стало неприятным сюрпризом, но инстинктивно Амар скрыл свои чувства. — У тебя есть об этом действительно надежные сведения? Как ты должна знать, люди уже некоторое время строят догадки…

Шрилата кивнула, выражая свою уверенность, а затем продолжила рассказывать следующую историю: — Однажды вечером, около недели назад, Принц явился в этот дом, одетый в чудесный струящийся халат из белого серебра со словами «Аллаху Акбар», вышитыми у него на груди. Он с большим удовольствием расхаживал по комнате передо мной — вы же знаете, какой он ребенок в таких делах — и когда я сделала ему комплимент, он сказал мне, что сам разработал этот костюм. Тогда я сказала — довольно глупо, боюсь — что полагаю, это предназначено для костюмированного бала. Он рассмеялся и, посмотрев на меня довольно странно, ответил: «Вы правы; вот что это такое — маскарадный костюм!» А теперь — только подумайте — я слышала, что этот чудесный наряд предназначен им самим для роли верховного жреца в Дин Илахи. Похоже, его почти сразу возведут на важную должность в новой религиозной иерархии.

Шрилата смеялась, и Амар притворился, что принимает дело в том же духе, но на самом деле он был весьма раздосадован. Он осознавал, что решение Принца имело большое политическое значение, но еще более важным для него был свет, проливаемый на характер молодого человека. Проблема заключалась в этом. Ведь он не для себя вырабатывал будущую политику; для Ситы. А это совсем другое дело. Со своей стороны, он находил мало трудностей в отделении вопросов личности от вопросов политики, но Сита устроена иначе. И поэтому, очевидно, стало невозможно связать её преданностью тому, что будет оскорбительно для её собственных личных стандартов.

Немного погодя Хари встал и ушел, и тогда Амар взял быка за рога. — Теперь послушай, моя дорогая Шрилата, я как раз заканчиваю свое пребывание здесь, и вся моя политика была ориентирована в направлении Данияла. Мне казалось вполне очевидным, что Даниял предпочтительнее своего брата, который является невоспитанным пьяницей и бунтовщиком вдобавок. Правда, я знаю Данияла только по слухам; но слухи, похоже, не имеют против него ничего очень серьезного. Я понимаю, что он легкомыслен, любитель Искусств и без особого чувства ответственности своего положения; но что в этом такого? Кажется, он ценит достоинства серьезных людей, таких как Абу-ль-Фазл, Ман Сингх и

Мобарек, и до тех пор, пока они стоят за ним и восполняют его недостатки, Империя не выйдет из строя. Что ж, я говорил это Гоколу на днях, когда, к моему удивлению, он начал ворчать и бормотать против Данияла. А когда я потребовал от него объяснений возражений, он делал только одно — продолжал свои бормотания. Всё, что я смог вытянуть из него в конце концов, было это: «Принц Даниял — законодатель мод».

С этими последними словами Амар тихо рассмеялся, поднял брови и устремил на сестру взгляд терпеливого вопроса. Шрилата тоже засмеялась, но несколько сомнительным тоном, и так как ответ не последовал сразу, он продолжил: — Так что же лежит в основе предубеждения Гокола? Что внушает такую решительную неприязнь и Хари? Должно быть, ты, моя дорогая Шрилата, раз уж тебе нравится Принц, можешь немного просветить меня?

— Я никогда не говорила, что он мне *нравится*, — возразила Шрилата после минутной паузы; — но признаюсь, он меня забавляет.

— Ах! он тебя забавляет, — вздохнул Амар.

— Да. Конечно, он действительно пуст по характеру, как ты говоришь, но — ну, должна же быть в мире какая-то легкомысленность, мой дорогой Амар! И потом…

Она не закончила фразу, и некоторое время Амар молча изучал её. Она думала о нём, он хорошо знал, как о человеке, несколько скованном ханжеством. С его же точки зрения, её безмятежное пренебрежение моральными стандартами просто означало, что её вкус был однобоким, неполным. Возможно, даже она останавливалась, вместе с большей частью мира, на той стадии, где аморальность всё ещё сохраняет определенный шарм. Да и сама она не была достаточно искушенной, чтобы считать искушенность дешевой.

— Если Даниял всего лишь пуст, — медленно сказал он, — я не вижу, как он может быть — даже забавен.

Шрилата не любила спорить. — У него, по крайней мере, светские манеры. — И в её взгляде промелькнула легкая ирония.

— Светские манеры! — пробормотал Амар. — У него светские манеры. Он законодатель мод. Он забавен.

Над этим он нахмурился с преувеличенной сосредоточенностью. — Должен ли я находить его забавным? — спросил он с притворной невинностью.

— Думаю, ты бы не стал.

— Возможно, нет, — сказал Амар, всё еще размышляя. — Возможно, просто глупым.

Он надеялся заставить Шрилату сказать что-то большее, но потерпел неудачу; и в молчании он размышлял о том, насколько указания, которых ему удалось от неё добиться,

были удовлетворительными. Если Даниял — ничтожество, он мог без угрызений совести идти по выбранному пути. Он объяснит всё Сите, и она будет довольна.

Когда он снова поднял взгляд, то встретился глазами со Шрилатой. Они были насмешливы; очевидно, она что-то недоговаривала. Какими раздражающими иногда бывают люди!

Словно осознавая его чувства, она издала короткий извиняющийся смешок. — Ты только что говорил о Гоколе; разве тебе не пришла в голову одна причина, почему ему не нравится Даниял? За Даниялом стоит Мобарек, а Мобарек, как ты знаешь, далеко не друг Гокола. Что касается неприязни Хари к Даниялу, разве ты не помнишь, что тех двоих отправили вместе на охоту три или четыре года назад? Что ж, я полагаю, что тогда Хари вполне легко мог невзлюбить Принца.

Всё это было очень разумно, и Амар кивнул в знак согласия. Возможно, в конце концов, он становится фантазером относительно Данияла. Во всяком случае, больше ничего нельзя было вытянуть из Шрилаты; и всё же, уже перед самым уходом из дома, что-то побудило его резко обернуться к ней и сказать: — Скажи мне вот что, что я должен думать о Данияле, если бы знал его так же хорошо, как ты?

Лицо Шрилаты стало задумчивым. — Это не тот человек, которого ты мог бы одобрить, — тихо сказала она.

Так оно и вышло: именно этими словами, которые он меньше всего хотел слышать, Амар наконец попрощался.

XII

В канун их отъезда в Горы Сита и Джали приехали к павильону Гокола, чтобы попрощаться. Небо было затянуто тучами, день был теплым и безветренным. Пока они рысцой ехали под деревьями, смутная грусть угнетала их обоих; и Сита знала, что её подавленность очень мало связана с отъездом из Агры, но она не была уверена насчет Джали. Джали испытывал большую привязанность к Гоколу, который давал ему курс духовного наставления, подобающий мальчику, выходящему из детства. Она напомнила ему, что Гокол присоединится к ним вскоре.

Как только они достигли маленькой калитки, Джали нырнул среди деревьев. Теперь это стало его привычкой — вне часов своего обучения уходить гулять в лес; и там он оставался спрятанным, пока они не звали его, говоря, что пора возвращаться. Так что Сита пошла одна по небольшой тропинке вдоль берега озера; а Гокол, сидевший на террасе под большим зонтом от солнца, поднял глаза от книги, увидел её приближение и тотчас снял свои роговые очки с носа и поднялся ей навстречу с улыбкой удовольствия. Она выглядела, подумал он, очаровательнее прежнего, и это восхищение, несомненно, отражалось в его

улыбке. Во всяком случае, сердце Ситы потеплело к нему, и она вернула его невысказанный комплимент веселым заявлением о том, что его фигура, когда он сидел там на террасе, обладала всем достоинством и безмятежностью Будды.

Они разговаривали совсем недолго, прежде чем у неё возникло искушение завести разговор о Хари. Они с Хари едва ли виделись вообще за последние недели, его откровения так и не возобновились, поэтому её неудовлетворенное любопытство оставалось довольно сильным. Вопрос, который то и дело возникал у неё в уме, был: «Действительно ли он влюблен? Способен ли он действительно и по-настоящему любить?» Но спросить мнения Гокола напрямую она не могла себе позволить. Ему почти наверняка было бы невозможно дать ответ, не нарушив какое-нибудь доверие. Кроме того, в её голове был другой вопрос, рядом с которым все остальные меркли, и об этом другом вопросе она твердо решила заговорить. Уже некоторое время что-то в поведении Амара внушало ей подозрение, что он может задумываться об уходе от мира. Она ничего не сказала; она уклонялась от расспросов его об этом; ей казалось, что она едва ли имеет право спрашивать; первое слово должно было исходить с его стороны. Но не было причин, почему бы ей не прощупать почву у Гокола; ему будет легко отделаться от неё, если он захочет; он мог сказать, что ничего не знает.

Тем временем разговор перешел к Дин Илахи, и прежняя жизнерадостность Гокола начала омрачаться. Помнит ли она, спросил он, того маленького старичка, с которым видела его беседующим несколько дней назад? Что ж, это был шейх Мобарек, и шейх Мобарек навещал его снова лишь на днях, чтобы принести новость об обращении принца Данияла. Более того, это означало, что Дин Илахи должен быть публично провозглашен.

В паузе, которую сделал здесь Гокол, Сита молчала. Она пыталась истолковать его слова во всей их значимости. Она знала, что те, кто принимает Дин Илахи, должны отречься от своей прежней веры и отказаться от права судить о вопросах веры, принимая Императора как единственного и непогрешимого толкователя воли Бога на земле. Но Амар также говорил ей, что сама по себе, помимо этого, новая религия не содержит ничего откровенно дурного. Это был Теизм достаточно широкий и простой, чтобы включать всё и не означать ничего. Почему же тогда Гокол, известный своей широтой взглядов, принял столь серьезный вид? Она не могла не подозревать, что его главная забота должна быть личной; он должен беспокоиться о собственном положении и достоинствах, которыми самоуважение может заставить его пожертвовать. Она сочувствовала, но её сочувствие было окрашено нетерпением, ибо она всегда думала, что Гокол слишком высоко ценит мир. Она не назвала бы его снобом — о нет! он никогда бы, например, не пожертвовал дружбой — но в своих сделках с миром он наверняка принес больше чем несколько маленьких жертв своему самоуважению. Как иначе он мог бы достичь своего нынешнего положения при Дворе? Одним лишь интеллектуальным превосходством любой человек, каким бы одаренным он ни был, не мог надеяться высоко стоять в мире.

— Мобарек пришел, чтобы торжествовать надо мной, — печально продолжил Гокол. — Для него всё это триумф, тогда как в моих глазах это катастрофа. Я убежден, что Акбар совершает ужасную глупость. И всё же, — продолжал он после молчания, — я воздерживаюсь от его осуждения. Я не знаю мерила, по которому таких людей можно судить должным образом. Обычные каноны неприменимы к Людям Судьбы. Такие люди, возможно, говорят правду, приписывая свои действия велениям рока. Они чувствуют себя орудиями цели, которую сами не понимают. В этом их величие, но в то же время и ограниченность. В некотором смысле они марионетки.

— Но Акбар — не просто человек действия, — возразила Сита, — он ещё и мыслитель, философ.

Гокол улыбнулся. — Акбар скорее мистик, чем мыслитель. Заметь, я не хочу сказать, что мистицизм и глубокая мысль обязательно несовместимы. Мысль, доведенная достаточно далеко, выходит за пределы собственной сферы или, вернее, осознает собственные ограничения. Она видит человеческий разум, действующий в океане бытия как особый, ограниченный вид деятельности. Но внутренняя жизнь Акбара эмоциональна, а не интеллектуальна. Он не мыслитель.

— Во всяком случае, — ответила Сита, — он искатель Бога. Кто может сомневаться в этом, взглянув на Ворота Победы в Фатехпур-Сикри и прочитав надпись над аркой? «Сказал Иисус, мир да будет с ним: Мир — мост. Пройди по нему, но не строй на нем дома. Кто надеется на час, надеется на Вечность. Проведи час в молитве. Остальное неизвестно». — В её голосе прозвучала дрожь, когда она говорила, и она добавила: — Акбар почти христианин.

Рука Гокола сделала жест в воздухе: он улыбнулся и промолчал.

На некоторое время, пока их глаза покоились на озере, не было слышно ничего, кроме воркования голубей в деревьях. Каким прекрасным был водный простор с удлиняющимися над ним тенями! Ни одно дыхание не морщило его поверхность; он стеклянно отражал слабые теплые цвета знойного неба. Пока её мысли блуждали, лицо Ситы стало мечтательным. Это было лицо, подумал Гокол, красота которого углублялась в спокойствии. Оно было подобно озеру. При этом её красота сияла, самодостаточная, ответ, который тем не менее не был ответом… И он вздохнул.

— Я хочу, чтобы ты сказал мне кое-что, — сказала она, внезапно повернувшись к нему. — Уже некоторое время — я действительно не знаю, как долго — у меня в сердце есть чувство, что Амар…

Ответа, чтобы заполнить её паузу, не последовало, но Гокол не отрывал от неё глаз, и она видела, как они постепенно наполняются серьезной и говорящей симпатией.

— Скоро ли это будет? — спросила она очень тихо.

— Не слишком скоро… Нет, он поступит правильно.

Так вот оно наконец-то пришло! Тринадцать лет они были женаты, и теперь ей казалось, что именно этого она бессознательно начала ожидать еще до того, как прошла половина этих лет. Она не была поражена, только опечалена. Но решительно она отбросила свою печаль; об этом ей думать не хотелось.

— Я понимаю. Но ему будет трудно оставить Джали и — и всё остальное... Да, — продолжала она бесцветным тоном и с устремлённым вдаль взглядом, — я понимаю, и всё же мне это кажется странным.

— В нашей стране, как вы знаете, мужчины часто делают это. В определённом возрасте, после того как мужчина исполнил свой долг мужа, отца и гражданина, он откликается на другой призыв.

— Вы странный народ. Но, возможно, я могу понять.

Он вздохнул, отчасти с облегчением.

— И всё же, как можно служить Богу, — внезапно продолжила она, — если не в этом мире — мире, в который Он нас послал?

— Ценность служения, — мягко ответил Гокол, — признаётся как брахманом, так и буддистом. Упанишады говорят: «Во тьме те, кто поклоняется только миру, но в ещё большей тьме те, кто поклоняется лишь бесконечному. Тот, кто принимает и то, и другое, спасает себя от смерти знанием первого и достигает бессмертия знанием второго». Будда тоже сказал примерно то же самое. То, в чём мы отличаемся от вас, — это наше признание ценности святости. В наших умах отношение человека к человеку вторично, праведное поведение следует естественным образом, когда отношение человека к Богу доведено до совершенства. Более того, нет большей пользы, которую человек может принести своим ближним, чем пример собственного духовного достижения. У нас есть поговорка: «Аромат цветка распространяется по ветру, но аромат святости распространяется даже против ветра».

— Амар носит любовь в сердце, — продолжал Гокол, говоря тихо и настойчиво, — но он верит, что любовь должна быть неотличима от сострадания, и что сострадание должно проявляться через понимание, а не через эмоции. Любовь, следовательно, должна быть признанием единства всего сознания, постижением цели всего сознания и желанием помочь всем собратьям-созданиям достичь этой цели.

— Ты можешь прочесть многие из моих мыслей, — сказала Сита. — Разве ты тогда также не знаешь, что я никогда не смогу принять взгляд Амара на жизнь?

— Я сам его не принимаю, — ответил Гокол после минутной паузы, — но и не отвергаю полностью. Я думаю, что вам, людям западного мира, следует тщательно обдумать, не совершили ли вы ошибку, идеализируя волю к жизни. Жизнь! Обогащение жизни!

Усиление жизни! Продление жизни в вечность! Есть ли за этой одержимостью какое-либо подлинное значение? Содержат ли эти понятия связный идеал в своей основе? Буддизм говорит — нет! и ждёт в молчании, пока опьянение не пройдёт, пока волнение не утихнет.

— Так значит, весь мир в конце концов станет буддийским? — И Сита покачала головой. — Нет, я, со своей стороны, всегда буду утверждать то, что отрицает Амар. Между нами пропасть.

Гокол серьёзно наклонился вперёд. — Пропасть лежит не между теми, кто утверждает, и теми, кто отрицает, а между теми, кто утверждает, и теми, кто игнорирует. Слушай! — продолжил он, — Я верю, что между вашими утверждениями и нашими отрицаниями в действительности существует немногим более чем давнее различие умственных привычек. По сути, твой разум и разум Амара схожи по типу; вы оба поднимаете одни и те же проблемы, и ответы, которые вы даёте, одинаковы по существу, даже если их содержание не одинаково. Ты ратуешь за усиление жизни, Амар — за её угасание; но вы оба признаёте несовершенство, и вы оба стремитесь к совершенству. Ваша цель одна и та же, какими бы именами вы её ни называли.

Сита помолчала мгновение, затем протянула руку. — Гокол, ты очень добр ко мне. Я обращусь к тебе в грядущие дни.

После того как звук её голоса затих, наступившая тишина, казалось, несла в себе особое значение. Они сидели, глядя перед собой, глядя на полотно светящейся воды, которое создавало великую пустоту у их ног. Тусклые красноватые оттенки неба отражались в ней; пустота простиралась внизу и вверху.

Наконец Гокол издал долгий вздох, который был также и вздохом облегчения. — Надеюсь, для вас я окажусь мудрее, чем для самого себя.

Эти слова были произнесены тоном, который, казалось, предназначался только для его слуха. Совсем другим голосом он вскоре возобновил речь. Он погрузился в рассуждения об Акбаре, об Империи, о вечных проблемах жизни и религии. Слушая, Сита почувствовала, что несколько мгновений назад она была к нему несправедлива. Его серьёзный голос унёс её в новые области мысли. Казалось, он вознёс её на какую-то горную вершину и указывал вытянутой рукой на неизведанные регионы мира.

XIII

Лишь когда она достигла свежести предгорий, Сита осознала, какая пыль усталости осела на её дух в Агре. Вопреки своим намерениям, она всё больше и больше втягивалась в водоворот празднеств в Фатехпур-Сикри, и даже её дружба во дворце Агры пострадала от соперничества и зависти, исходивших от Императорского двора. Было тягостно оглядываться назад. Столько времени и энергии было посвящено формальной

помпезности или же растрачено на мелкие легкомыслия и пустые волнения, в которые приходилось привносить веселье, не свойственное им по природе. Однако теперь она могла утешить себя мыслью, что дать этому образу жизни пробу время от времени — вовсе не такая уж ошибка, ибо к удовольствиям, приходящим к человеку естественным путём, возвращаешься с ещё большим удовлетворением.

Край, через который они сейчас проезжали, действительно напоминал ей Кавказ. Его потоки и цветущие луга, его густые леса и прохладные, росистые ночи — это вернуло ей не только воспоминания, но и те самые чувства, что были у неё в прежние дни. Она думала о своих родителях и их друзьях, обо всей той старой жизни, которую разрушили войны и бедствия. Теперь это казалось очень далёким; и всё же эта смутность и дальность по-прежнему были домом. Пробудившаяся память вновь заставила ту цивилизацию, в которую её пересадили, казаться чужеродной.

Джали был почти того возраста, какого была она сама, когда её отец бежал с Кавказа; но как странно отличался тип детства, который он являл собой! Что бы она сказала в те дни, если бы увидела его во сне как мальчика, которому суждено стать её собственным сыном? Размышляя об этом, она вдруг поразилась тому, как сильно он изменился за время их пребывания в Агре, хотя точно определить, в чём именно состояла перемена, она не могла. Большая часть его отчуждённости и робости исчезла; теперь он вёл себя более мальчишески и держался бодрее. Но кое-что, тем не менее, в этих недавних переменах ей совсем не нравилось. «Люди меняются понемногу всё время, — подумала она, — но замечаешь это лишь в особый миг особым открытием глаз».

С этими мыслями, проплывавшими в уме, она стояла перед дверью своего шатра. Это был седьмой день их пути, равнины уже казались лежащими далеко внизу, и внезапно, против света заходящего солнца, прихрамывая, подошла старая женщина, ужасно согбенная, изрезанная морщинами и иссохшая от прожитых лет. Она протянула дрожащую руку и произнесла: «Великая госпожа, пусть между мной и вами будет много лет и много любви!» Сита ничего не ответила, но позвала служанку за деньгами и протянула несколько монет рукой, которая дрожала так же, как рука старой ведьмы. Да, непременно наступит день, когда и для неё усталость и телесная дряхлость набросят завесу на красоту мира, делая его песни, цветы и радости тусклыми и далёкими. И этим дело не ограничится. Она почувствует, что больше не составляет части красоты мира. От неё останется лишь оболочка, скорлупа, увядающая старуха, некогда бывшая счастливой и молодой.

Пробормотав благословение, старая карга заковыляла прочь, а взгляд Ситы упал на Джали, который сидел неподалёку, скрестив ноги на земле. Он извлёк несколько нот из вины (vina), и вскоре тонким гнусавым голосом людей этого края затянул одну из тех простонародных песен, которые знал:

Господь мой милый, кто Ты есть?

Ты — тот свёрток малый,

Который к сердцу своему

Прижала навсегда

Твоя безумная бедняжка.

Безумная бедняжка, я,

А ты — её бесценный свёрток, драгоценность,

Из старых рваных тряпок.

На них главу мою,

Когда меня сморит усталость пыльною дорогой,

Склоняю я и сплю спокойно.

Люди на улицах указывают на меня,

Смеются надо мной

И бросают пыль в лицо.

Кто-то пытается вырвать тебя из моего сердца;

«Отбрось его!» — кричат они.

Рама! Рама! Но как же;

Как сможет жить без тебя твоя безумная нищенка?

Безумная женщина без своего господина, своей любви?

Нет. Я спешу мимо.

Прижимая тебя к груди,

Я бреду одна,

Улыбаясь, ведь это безумное, безумное сердце моё,

Держа тебя, держит любовь.

Слёзы брызнули из глаз Ситы, и, пряча лицо от Джали, она отвернулась и вошла в шатёр. Закатное солнце бросило сумеречный свет сквозь полотно. В багровых сумерках шатра она плакала от одиночества, а снаружи всё звучал тонкий напев сострадательного безразличия. Джали был сыном своего отца; чужим, как его отец; и она тосковала по родной земле и по людям, не похожим на этих, чья самая нежность плавала поверх вод смирения и скорби.

С каждым днём их путь уводил их всё выше, в разреженный прохладный воздух холмов. Со своей извилистой, петляющей дороги они смотрели вниз поверх тёмных деодаров и огромных цветущих рододендронов. Ранним утром, когда они выехали, солнце и туман всё ещё состязались друг с другом, и затем, через полчаса после того, как туман исчезал, миллион капель росы сверкал на тёмной хвое каждой сосны.

В течение многих дней после прибытия в Кханжо Сита почти ничего не делала, кроме как бродила по лесам, и находила в этом такое наслаждение, что временами оно было почти экстатическим. Её дух растворялся в изысканной близости ко всему видимому миру; а видимый мир, чувствовала она, — это одеяние Бога. Приходя домой вечером, она заставала Амара всё ещё погружённым в грёзы медитации. В его уме наслаждение красотой не было самоцелью и даже средством приближения к конечной цели. Оно занимало своё место среди высших удовольствий, но было лишь второстепенным. Путь уводил прочь от чувственного мира вообще, прочь от самого себя, прочь от земного пыла даже в его самых острых и чистых проявлениях. Её натура восставала против такого взгляда на вещи, и её общение с Амаром было испорчено чувством непрерывного, молчаливого напряжения.

Прошло совсем немного времени, прежде чем прибыл Гокал, поселившийся в доме на другой стороне маленькой долины. Он пребывал в праздничном настроении, и эта его весёлая беззаботность была столь заметна, что однажды она спросила Амара о ней. Как он объясняет приподнятое настроение Гокала, если политическая ситуация определённо не приняла ни малейшего поворота к лучшему, а сам он легкомысленно заявлял, что его собственные личные перспективы уже вне всяких молитв? Ответ Амара несколько встревожил её, ибо она узнала, что Гокал теперь живёт в открытой связи с девушкой низшей касты пятнадцати лет, которую он привёз с собой в горы. Такое поведение со стороны Гокала было поразительно, но, пожалуй, меньше самим поступком, чем той переменой, которую он произвёл в его нраве. Казалось жалким, что весь склад ума такого человека зависит от столь ничтожного обстоятельства. Подумав несколько мгновений, она спросила: «Какова эта девушка?» И Амар ответил, что она совершенно лишена характера, ума, вкуса или морального чувства. «Тогда какой же она должна быть красавицей!» — подумала Сита, и вздохнула, так как не отличалась от других женщин неспособностью решить, является ли ценность, которую мужчины придают одной лишь красоте, поводом для смеха или для слёз. Как бы то ни было, любовная интрига Гокала казалась ужасающе лишённой элементов поэзии или романтики; и всё же, по-видимому, этого хватало, чтобы отвлечь его не только от личных тревог, но и от всех тех высоких забот, которые заняли

столь важное место в его жизни. Такая слабость была прискорбна. Интеллектуально у мужчин было более высокое призвание, чем у женщин. Но как часто мужчины показывали себя ниже женщин своим беспечным осквернением любви. Женщина видела красоту любви и инстинктивно лелеяла её. Женщина видела, что в этом запутанном, фрагментарном мире любовь — единственная сила, способная сплавить жизнь воедино и наделить её формой и смыслом. Мужчинам было грешно осквернять любовь в своих мыслях и делах, ведь всякая любовь прекрасна по своей сути — даже самая страстная земная любовь.

Несколько недель спустя, когда прибыл Хари, его нрав представлял резкий контраст нраву Гокала, и Сита достаточно быстро поняла природу его беды. Последний раз, когда она видела его в Агре, она предположила, что его любовная история, должно быть, складывается несчастливо. Его угрюмость, его мрачность теперь вполне подтвердили её подозрения, и она сказала себе со всей решительностью, что лучшей участи он, конечно, не заслуживает. При всём том воспоминание о том, как он доверился ей, вскоре впрыснуло толику сочувствия в её ироничный взгляд на его плачевное положение. Кроме того, представая в своём унынии фигурой большего достоинства, чем Гокал, чьё самодовольство стало попросту неприятно ей с тех пор, как она выяснила его причину. Слава богу, любовная история Хари стояла на ступень выше! В его нынешнем удручении были свидетельства того, что он вложил в неё хотя бы какое-то подлинное чувство. Она могла поверить, что это была романтическая связь, а не просто бессердечная галантность.

XIV

Несмотря на свою поглощённость собственными частными делами, Хари счёл невозможным полностью пренебрегать всем внешним; и довольно странно вышло так, что в то самое время, когда его любовная история подходила к своему несчастливому концу, в глазах света он достигал вполне определённого успеха. Прежде всего, выяснив причину немилости Императора, он приложил усилия к тому, чтобы уладить дело. Проблема заключалась именно в том, что Амбисса предполагала: о его визитах Мохаммеду Хакиму Али в Кабуле было доложено в определённых высокопоставленных кругах; и когда немного позже обнаружилось, что он покинул Кабул переодетым, возникло подозрение, что он может направляться в Аллахабад с изменническими посланиями для принца Салима. Тайная полиция Императора соответственно предприняла усилия по его розыску. Два месяца Мабун Дас искал всё безрезультатно, и вот, гляди-ка! — он объявился на террасе дворца в Агре.

Хари, действуя умно, не стал терять времени даром и дал объяснение Мабун Дасу. В подозрении, что он симпатизирует Салиму, было достаточно правды, чтобы заставить его стремиться побыстрее развеять это представление. Его рассказ Мабуну сводился к тому, что он охотился на диких коз в горах, и, насколько Хари мог судить, Мабун ему поверил.

Затем, несколько недель спустя, у него состоялась долгая тайная аудиенция с Акбаром, и преуспел он в этом настолько хорошо, развеяв последние остатки дурного настроения Императора, что на следующий день получил в дар вышитый камзол и украшенный драгоценностями кинжал. После этого возвращение его в милость пошло с такой стремительностью, что вызвало немалое изумление. Профессиональные придворные были не слишком довольны этим; но вызванная им зависть не зашла слишком глубоко, поскольку легко было видеть, что он не является честолюбивым соперником.

После расставания с Лалитой у него не осталось иного желания, кроме как добиться полной перемены обстановки, и он непременно уступил бы этому желанию, если бы его обязательства при дворе не были абсолютно обязательными. Как бы то ни было, он впал в противоположную крайность и бросился в самую гущу светской деятельности. Были дни, когда этот режим был умеренно успешен, но усилия, предпринимаемые столь импульсивно, вскоре приводили к истощению, а затем он погружался в ещё более чёрный мрак. Всякий раз, когда он давал волю своим воспоминаниям, боль становилась мучительной. Контраст между его прошлым счастьем и нынешним несчастьем сокрушал его. Насколько богатой, тёплой и полной казалась жизнь, пока он пребывал в лете своей любви! Теперь же до какой степени его сковала зима!

Он не стал терять времени и написал Лалите, потому что теперь его единственной идеей было выбросить прошлое из головы. Ее ответ не вызвал у него особых эмоций. Он прочёл его нахмурившись, разорвал на клочки и бросил их прочь. Он боялся раскаяния, но оно — самая непредсказуемая из эмоций — миновало его. Он не испытывал его, даже получив второе письмо, в котором она писала: «Как долго будет продолжаться эта мука? Не представляю, как я смогу жить без тебя. Время, кажется, ничем не помогает».

И всё же её боль, знал он, была достаточно реальна. Он больше не утверждал, что будь её любовь сильнее, она смела бы препятствия со своего пути. Нет; он принял тот факт, что отвергнутая любовь причиняет боль, которую нельзя измерить мотивами отказа; и всё же он смотрел на свои страдания и на её страдания с известной долей презрения. Она оправится от горя, потому что молода, а он — потому что средних лет.

Велико было его облегчение, когда наконец-то он смог покинуть Агру, и во время путешествия в Горы бывали дни, когда он лелеял иллюзию, что излечился. Тогда он очень осторожно начинал ощупывать свои раны. Он позволял образу Лалиты проплыть перед глазами просто для того, чтобы увидеть, действительно ли старая боль задушена насмерть. Иногда удар и жжение не возвращались; и тогда сердце его подпрыгивало вверх от подтверждения этой надежды. Но час спустя, возможно, его взгляд падал на какую-нибудь девушку, имевшую фигуру, или жест, или взгляд, похожий на Лалиту, и тогда солнце меркло, и ледяной холод утраты вновь окутывал его. Тогда он чувствовал, как съёживается его дух. В одно мгновение он становился старым, слабым и больным. Когда эти приступы нападали на него, ему приходилось спешно скрываться в одиночестве, а позднее, когда боль себя исчерпывала, он был истощён и лишён желания жить.

В эти часы несчастья он не мог искать утешения у Гокала, ибо тот находился в таком расположении духа, которое ставило его совершенно вне сочувствия подобным бедам. Более того, он не мог позволить своим мыслям задерживаться на положении Гокала, не страдая от самоукоризны. Лишь прибыв в Кханжо, он осознал, что Гокал совершил ужасную неосторожность, привезя с собой Гуневати, и теперь видел, что, получив уже давно некоторые указания на то, что затевается, ему вполне следовало попытаться, пока ещё не стало слишком поздно, отговорить друга от увязания в интриге, чреватой страшными рисками. Заметив, что невинная привязанность Гокала к Васумати грозит перейти на её сестру, почему он не предвидел всего остального? Хотя верно было и то, что брахманская дисциплина ослабла под влиянием монгольского правления, связь между брахманом и девушкой в положении Гуневати была, по всем нынешним понятиям, проступком немыслимой гнусности.

Гокал полагался, как он теперь объяснял, на удалённость и уединённость места. Он рассуждал так: если какой-либо слух всё же вырвется во внешний мир, время и расстояние настолько сильно его ослабят, что одних лишь его решительных отрицаний будет достаточно. Но Хари качал головой над этим; в конечном счёте всё будет зависеть от Акбара, а на Акбара больше нельзя было рассчитывать.

Император становился всё более и более глубоко привержен своей новой религии; он не мог допустить её провала без огромной потери престижа. Его усилия были теперь направлены на получение поддержки брахманов, и многие уступали угрозам, лести и взяткам. К Гокалу ещё не обращались, но вне всяких сомнений был тот факт, что день его суда придёт. Если даже до этого его положение было шатким, на что оно похоже теперь?

Было любопытно наблюдать, с каким хладнокровием Гокал бросал вызов величайшим опасностям. Более того, потакая себе таким образом во всех удовольствиях, которых он доселе столь неукоснительно избегал, он, казалось, находил даже некоторое духовное удовлетворение. В комментариях, которые он отпускал на свой счёт и на счёт своего увлечения, было больше чем толика юмора и направленной на себя злобы. «Мой дорогой Хари, — говорил он, — мой союз с Гуневати, далёкий от того, чтобы быть неуместным, как кажется думает Амар, есть самое естественное и подходящее сочетание в мире. Во мне ты видишь интеллектуала, утомлённого своими сотканными мозгом паутинами; в Гуневати — дитя природы, подходящую игрушку для второго детства, подобного моему. Общество Гуневати — это вечное освежение для меня. До встречи с ней я не имел представления, как далеко я отошёл от простого, элементарного. Иногда, прежде чем сделать ей какое-нибудь замечание, я пытаюсь предугадать, каков будет её ответ, но когда он приходит, его великолепная и невообразимая грубость неизменно доставляет мне восхитительный шок. Насколько неинтересен образованный ум в сравнении с её! Мысль кристаллизуется в узоры чисто формальной сложности; но инстинкты со всем богатством их иррациональности принадлежат созидательной стороне жизни. Животный инстинкт, вышитый арабесками воображения, по мне, что может быть лучше? Я устал не только от

мыслителей второго сорта, но даже от первосортных. Как много тех, кто думает только ради самого процесса мышления, и какими занудами они из-за этого становятся! Вероятно, я поселюсь в этом месте с Гуневати до конца своих дней, и если я напишу книгу, она окажется слишком правдивой, чтобы люди могли её понять».

На всё это Хари отвечал смехом и пожиманием плеч. Не было смысла давать предупреждения человеку в подобном настроении. Но он молился о том, чтобы Гокал устал от Гуневати раньше, чем она устанет от него, ибо когда это случится, она либо отравит его, либо сбежит.

В этой тихой высокогорной долине дни проходили очень однообразно; не было даже особого общения между домом Гокала и домом Амара, хотя время от времени по вечерам Гокал и Хари заходили посидеть на веранде Амара при лунном свете; тогда начинались долгие бессвязные беседы под уханье сов. Хари, как правило, говорил очень мало, а когда всё же заговаривал, то склонен был быть ожесточенно спорить.

— Вы говорите о верности Акбару, — выпалил он однажды, — но я спрашиваю вас: какая причина у кого-либо из нас быть верным? Этот человек лишил нас всего! Независимости, инициативы, ответственности — ничего больше нет! И теперь, кажется, вот-вот уйдёт и свобода мысли! Эгоисты вроде Акбара высасывают всю добродетель из почвы вокруг себя; даже жизни их друзей чахнут и голодают. Я всегда заявлял, что нам будет лучше под властью Салима. Он, без сомнения, порядочный негодяй, но что угодно предпочтительнее тирана до мозга костей.

На эту тираду никто не ответил; но на следующий день они с Ситой случайно оказались одни вместе на несколько мгновений.

— Я была удивлена, — сказала она, — услышать, как ты так ожесточенно говоришь об Императоре, особенно после того, как он проявил к тебе столько доброй воли.

Хари рассмеялся:

— Добрая воля Акбара стоит камзола и украшенного драгоценностями кинжала — но не более того.

Он упрямо смотрел в землю во время разговора, и Сита, внимательно посмотрев на него, вздохнула и продолжила:

— Несомненно, нет ничего постыдного в том, чтобы принять руководство такого человека, как Акбар? Независимость, купленная у Салима, была бы менее почётной.

На это Хари ничего не ответил, и в следующую секунду вернулись остальные. В целом, в эти дни Хари выставлял себя в весьма неприглядном свете; однако его угрюмость не повредила ему в глазах Ситы, ибо у неё было своё толкование этому. На самом деле это скорее стимулировало её сочувствие, заставляя её чувствовать временами, что Амару, равно как и Гокалу, обоим слишком комфортно живётся внутри замкнутого круга их забот.

Интерес Гокала был чувственным, интерес Амара — умственным; но ни один из них не хотел ничего отдавать большому миру — или получать от него. День ото дня ей становилось всё очевиднее, что ничто из сказанного ею не сдвинет Амара ни на волос и не отсрочит ни на единый миг исполнение его решения. В глубине души она не находила ему осуждения, да и упрека тоже, но поверхностно часто чувствовала себя уязвлённой. Кроме того, её всегда охватывала грусть при мысли о том, что цель, к которой обращено его лицо, лежит так далеко от её собственной. Его предполагаемое расставание с ней в этом мире причиняло ей боль, пожалуй, не большую, чем его отказ надеяться на их воссоединение в ином мире. Это свидетельствовало, если не о слабости его любви, то о полном отсутствии веры в определяющую силу любви.

Описание Гокалом того, как она приняла известие о его решении, наполнило Амара восхищением и благодарностью, и он сделал всё возможное, чтобы показать ей свои чувства. На самом деле они не так уж плохо понимали друг друга; не его вина и не её, что между ними открылась трещина. Трещина пока была узкой; ещё бывали моменты, когда они могли идти бок о бок и делать вид, что её там нет. Тем не менее, она уходила глубоко, так глубоко, что они теперь предпочитали даже не думать о ней. Они чувствовали скованность в обществе друг друга, и поверхность их общения была испорчена многими изъянами.

Всё это время Сита держала Хари под далёким, но пристальным наблюдением; и однажды она сказала:

— Похоже, Хари оправляется от своего увлечения. Пожалуй, его несчастье было благословением; в конце концов, возможно, его мысли обратятся к Богу.

Амар улыбнулся довольно скептически перед тем, как ответить, но всё, что он произнёс, было:

— Всю свою жизнь он был беспокоен и неудовлетворён. Я принимаю это за знак того, что им владеет жажда Истины.

На что Сита импульсивно воскликнула:

— Да, подобно Акбару, он вполне мог бы сказать: «Тебя ищу я от храма к храму».

— К сожалению, — возразил Амар, — иногда он уставал от храмов и искал утешения в гаремах своих знакомых вместо этого.

Собственно говоря, догадки Ситы о Хари были несколько преждевременными. Его чувства всё ещё были ожесточены, и весь мир был ему врагом. С другой стороны, уединение, которое он искал поначалу, перестало быть для него приятным; наступали часы, когда им овладевала тоска по человеческому обществу.

Из сада Гокала сквозь деревья можно было смотреть вниз на маленькую лужайку на другом берегу ручья. Здесь Сита часто проводила час со своей книгой, и бывали времена,

когда блеск её платья настойчиво приковывал его внимание. Ему потребовалось несколько дней, чтобы решиться, но однажды прекрасным утром он вскочил, наконец твёрдо вознамерившись присоединиться к ней. В конце концов, в таком поступке нельзя было найти ничего особенного; и если бы его присутствие было нежеланным, он наверняка сумел бы это заметить.

Тропинка под гору проходила под высокими рододендронами, заслонявшими весь вид, и три минуты спустя, когда он дошёл до поросшего мхом мостика через ручей, его ждало разочарование: Ситы там уже не было. Он перешёл мостик, однако, уселся и начал читать небольшой томик персидской поэзии, который нашёл лежащим на траве. Он всё ещё читал, когда появилась Сита. Она выглядела удивлённой, но её улыбка была приветливой, и вскоре они уже обсуждали персидских поэтов.

Когда эта тема подошла к концу, наступила пауза, но журчание ручья внизу и шелест деревьев над головой придавали тишине умиротворённое качество. Затем она взяла книгу и принялась читать вслух свои любимые отрывки, а Хари, вытянувшись на тёплом дерне, слушал сначала рассеянно, но позже — с глубоким удовольствием. После этого последовало другое, более долгое молчание, и вдруг он сказал:

— Хотел бы я, чтобы ты могла научить меня чувствовать так же, как ты.

— Как я чувствую!? — спросила она, удивившись.

— Я воображаю, что ты всё время чувствуешь себя так, словно живёшь в волшебной сказке.

— Это странно! — Она подняла глаза к небу. — Ты прав. Мне всегда казалось, что я часть волшебной сказки.

Он коротко рассмеялся.

— Значит, ты совсем не изменилась с тех пор, как была ребёнком.

— Я определённо никогда этого не хотела, — ответила она довольно нерешительно. — Но человек меняется. — И она вздохнула.

Он приподнял голову, чтобы посмотреть на неё.

— Не думаю, что изменилась, — ни внешне, ни внутренне.

— Почему ты говоришь таким горьким тоном? — спросила она.

— Потому что я полон горечи.

Она не захотела спрашивать его почему, поэтому всё, что она сказала, было: «Мне жаль».

Впервые за этот день они почувствовали неловкость. Он лежал, уставившись взглядом в миниатюрный лес травы; её задумчивые глаза покоились на его непокрытой голове. Ей нравилась форма этой головы, и она сказала наконец:

— У меня тоже бывают настроения. Иногда мне кажется, что комета, летящая уничтожить землю, была бы добрым делом; что жизнь — это ни трагедия, ни комедия, а просто фарс — настолько мы запутаны, противоречивы сами себе и преходящи. Но я не задерживаюсь в этом настроении надолго.

— Прямо сейчас, — продолжила она после паузы, — я чувствую себя довольно бездумной. Не знаю почему — я довольна тем, что сижу здесь каждый день, ничего не делая.

— У тебя книга стихов, — заметил он.

— Да. Но я нечасто читала её. Я слушаю этот ручей, который напоминает мне ручей дома.

Хари ничего не ответил; он воздержался даже от того, чтобы взглянуть на неё. Она, несомненно, была очаровательным созданием, и он ждал, улыбаясь, пока она продолжит. Но молчание продолжалось, так что вскоре он сказал:

— Кажется, ты населяешь мир собственного видения и творения. Разве тебе никогда не навязывает себя прозаический мир других людей?

— Бывало в Агре; но не здесь и не дома. Для своих друзей я всегда могу найти место в своём собственном мире — мире, в который я верю — мире, который ты считаешь детским.

— Нет, — устало возразил он, — не детским, только… нереальным.

— Почему он нереальный? Посмотри вон на ту бабочку. — И её глаза блуждали вокруг. — Почему нереальный? Мой мир вмещает в себя всё, что я вижу здесь; этот лес и всю жизнь внутри него. Разве этот лес менее реален, чем Фатехпур-Сикри?

Она прервалась, и пока она смотрела в сторону, он воспользовался возможностью изучить её. Её маленькая голова, очертания подбородка и шеи — они были чарующими. Она, несомненно, была самым цветочным существом. Она заставляла его думать о цветке, кивающем и качающемся на летнем ветру, и всё же её поза была прямой, почти высокомерной в своей прямоте.

— Ты права, без сомнения, — сказал он наконец, — а я неправ. Но я родился неправильным.

— Мне жаль, что ты подавлен, — ответила она своим довольно тягучим, довольно невыразительным голосом. — Ты чувствуешь, я полагаю, что ни в чём не осталось тайны, что все чувства зачерствели, что жизнь — это открытая книга, которую ты перечитал не один

раз. И ты думаешь, что твоё настроение постоянно. Страдание всегда имеет, как говорит Фейзи, природу бесконечности.

Вскоре после этого она поднялась и побрела в сторону дома. Хари не предложил проводить её, но снова уселся на землю; и пока он слушал переливчатые звуки ручья и сухой шелест ветерка, воспоминание о её прощальной улыбке приятно задержалось в его сознании. На него снизошёл покой, которого он не испытывал уже много месяцев, и сцена перед его глазами делала больше, чем просто успокаивала. Она вселяла в него убеждение, что обладает собственной ценностью, а в этой ценности, столь глубоко прочувствованной, обитала сила утешения. Ибо её ценность была надёжной и непреходящей, тогда как ценность его собственного личного счастья — ну, в лучшем случае, она была невелика. Какое счастье, что человек способен радоваться тому, что находится вне его.

Около часа или более он оставался там; но когда он начал размышлять над проблемой действий, то снова пришел в замешательство. Какое руководство дают такие чувства и интуиции? В каком направлении они указывают? Он раздумывал, но на этот вопрос природа не дала ответа.

XV

По какой-то необъяснимой причине настроение Хари на следующий день было хуже, чем прежде. Дело было не столько в том, что его сердце болело о Лалите, сколько в том, что всё его существо, чувствовал он, было проклято. С пугающей ясностью он увидел ужасную истину: помимо воли к жизни, человеку необходимо обладать силой наслаждаться жизнью. Из этих двух даров второй казался ему более таинственным, и утрата этого дара наполняла его смятением. Думая о Сите, он решил заставить её принять на себя основную тяжесть своей депрессии. Её счастье действовало на него как вызов, призывая подвергнуть его испытанию. С самого рассвета он пытался придать форму бесформенному пессимизму внутри себя, ища идеи, которые могли бы его воплотить, слова, которые резко вонзили бы его в её понимание. Да, он намеревался перенести войну в её страну. Религия, сказал бы он, — это не более чем убежище, даже для тех, кто не осознаёт, что нуждается в нём. Он скажет ей, что ни мужество, ни сила интеллекта, ни какое-либо признанное дарование или достоинство не могут считаться гарантией против самообмана. Точно так же искатель истины не может апеллировать к авторитету мудрости или добродетели, поскольку скептик подлого склада и низкого ума мог — несмотря на свою низость или даже благодаря ей — толковать вселенную вернее, чем мудрец или святой. Нет никаких доказательств того, что мудрость и добро имеют универсальное, а не сугубо земное значение, и чтобы довольствоваться последним, человечество действительно самодовольно уверено в своей выдуманной добродетели. Простому человеку нужна простая потребность в религии какого-либо рода, хотя бы как в предлоге для приличного поведения; чтобы дать самому себе причину, например, того, что он не разбивает голову

хлыщу, который хорошо устроился (или так, по крайней мере, он так льстит себе) благодаря своему угодничеству. Подводя итог, религия была тем, чего хотел каждый честный человек и чего он, из-за самой своей честности, найти не мог.

Сита, разумеется, была христианкой; она придерживалась очень элементарных представлений — представлений, в которых было все очарование и наивность детской. Был некий Отец на Небесах, чья функция заключалась в том, чтобы вершить правосудие, смягчённое милосердием. Была система наград и наказаний, словом, всё по образцу земной классной комнаты.

Хари был хорошо подготовлен ко времени своего выступления; но опять же, когда он добрался до маленькой лужайки, там никого не оказалось. Утро, однако, было ещё ранним, поэтому он решил сесть и подождать. На этот раз воздух был неподвижен, небо бледно, но безоблачно; от тёплых сосновых иголок поднимался аромат, и время от времени он ловил дуновение благоухания от лунных цветов в высокой траве позади. Эти серебристые цветы уже полностью раскрылись, и хотя они увядали в течение одного дня, всегда находились другие, чтобы занять их место. Над ними порхали полчища бабочек, а когда ему надоело наблюдать за ними, на берег выскочило семейство водяных крыс. Игра детёнышей была настолько забавной, что несколько минут после появления Ситы он и она оставались безмолвными, сосредоточившись на том, чтобы не потревожить игру.

Когда с этим было покончено, ему потребовалось немного времени, чтобы вернуться в нужное русло, но в конце концов он справился и выложил большую часть своих заготовленных речей. И они оказались небезрезультатными. Он получил удовлетворение, увидев, как по лицу Ситы расползлось встревоженное выражение. «Итак, вот что я говорю, — заключил он, вбивая свои последние доводы: — Ваша вера, как и ваше счастье, — это просто выражение темперамента. Мой темперамент, к сожалению, не гостеприимен для религиозных заблуждений. Но вплоть до недавнего времени мне удавалось привносить определённую остроту в дело жизни. Я должен вернуть эту остроту или бросить игру».

— Не думаю, что твоя острота на самом деле делала тебя очень счастливым, — удручённо ответила Сита.

— Это было лучше, чем ничего, — сказал Хари.

— Но в ней не было стабильности — как ты обнаружил, к сожалению. Твоё дело сейчас, конечно же, искать не счастья, а чего-то более глубокого, из чего счастье будет проистекать.

Хари пожал плечами. «Христианство, полагаю!»

Взглянув вдаль, Сита улыбнулась про себя. «Не самый плохой выбор.»

— Я прекрасно понимаю, что вряд ли смог бы сделать лучший, — возразил Хари. — *Твоё* христианство, по крайней мере, очаровательно.

— Только ты, в отличие от меня, больше не в детской!

Хари приподнялся на одном локте, чтобы рассмотреть её. Действительно, лёжа на этой сладко пахнущей траве и разговаривая с кем-то таким же хорошеньким, как она, было невозможно отдать должное черноте вселенной или собственной глубочайшей тоске. Но он был не одинок в своей неспособности выполнить свои намерения до конца. Сита тоже промахнулась мимо цели. Она никак не могла найти момент, чтобы высказать все серьёзные и веские вещи, с которыми пришла подготовленной. Возможно, проповеди будут течь с её губ более естественно в какой-нибудь другой день. Во всяком случае, этим конкретным утром разговор, начатый столь торжественно, пошёл по собственному своенравному пути, становился всё легче и легче, и никто не пытался его изменить.

На следующий день произошло примерно то же самое, и на следующий за ним. Так что через некоторое время они оба оставили это дело. То, каким образом они проводили время, казалось, после всего, оправданным своими результатами. Хари обнаружил, что к нему возвращаются силы духа, и Сита могла приписать себе заслугу то, что способствовала этому. Если бы кто-нибудь предположил, что это начало галантной интриги, они оба с улыбкой покачали бы головой. Лишь постепенно Хари осознал, что чувство окрашивает их отношения, а Сита, когда эту перемену уже нельзя было игнорировать, пришла к выводу, что его чувства, каких бы глубин они ни достигали, останутся безопасными для них обоих.

На этой приятной почве их близость быстро росла. Хотя у Ситы не было вкуса к пустому флирту, жизнь без романтики была, по её разумению, едва ли жизнью вообще. Она спокойно принимала поклонение Хари; именно её само спокойствие в конце концов сделало его беспокойным, так что однажды он сказал: «Разве ты совершенно не боишься, что я слишком сильно полюблю тебя?»

Она бросила на него насмешливый взгляд. «Неужели ты можешь переходить от одной любви к другой так быстро?»

«Возможно!»

Её взгляд снова скользнул по нему, но она также покачала головой, и на время эта тема больше не поднималась. Однако несколько дней спустя, когда она говорила о своём возвращении домой, равнодушие, с которым она, казалось, представляла себе их расставание, вновь кольнуло его побудить к речи. «Ты так привыкла к моему обожанию, — сказал он, — разве тебе не кажется, что ты будешь немного скучать по нему, когда мы расстанемся?»

Её ответ прозвучал довольно легкомысленно. «Мой дорогой Хари, я буду очень скучать по тебе».

«Я не об этом. Я сказал, что ты будешь скучать по любовным отношениям.

«А почему сейчас, — спросила она голосом, совершенно изменившимся, —ты заводишь об этом речь…?»

Он пожал плечами. «Давай посмотрим правде в глаза. Я ухаживал за тобой».

«Нет, нет!» — воскликнула она.

Они стояли возле маленького мостика, когда это было сказано, поскольку их час только что истёк. Несколько глубоких мгновений нерешительности прошли над ними. Они пристально смотрели друг на друга. А затем Сита повернулась и пошла по тропинке вверх к своему дому.

По дороге домой Хари зашагал с энергией, соответствовавшей нежелательному волнению внутри. «Что я имею в виду под этим? — спросил он себя. — Не веду ли я себя беспечно? Не рискую ли я обесценить то, что иначе…» Когда его встревоженная память касалась здесь и там часов, которые они разделили вместе, одна сцена в частности укоризненно проступила в настоящее. Они бродили вдоль ручья, и воздух был полон белого тумана, который клубился от влажной земли. На каждом листе, каждой веточке, каждом лезвии травы висела капля воды; и близкие предметы казались особенно яркими, потому что всё, что находилось дальше, было стёрто мягкой белизной. Они остановились перед маленьким берегом, заросшим дикими цветами. Каждый цветок смотрел на них с цветом и очертаниями настолько определёнными, что им показалось, будто они дети, впервые смотрящие на цветы. Насколько острым было ощущение — теперь ожившее — стоять там, на том маленьком островке в тумане, в присутствии — таком напряжённом — этих архетипических цветов! Разве он пренебрегал ценностью таких общих моментов, как те? Был ли невнимателен к их красоте — или к утончённости сдержанности? Нет, нет; он должен поскорее сказать ей, что это не так.

И всё же, хотя эти намерения сохранялись, при их следующей встрече, когда он попытался претворить их в жизнь, он был совершенно сбит с толку, и ничего не произошло так, как он задумал. Они сошлись, он и она, во всём напряжении долгих и тревожных душевных поисков — напряжения, скрытого под обманчивым спокойствием. И тогда, прежде чем они успели осознать это, слова, которыми они обменивались, были полны глубокого волнения; событие унесло их на своём собственном порыве; и то, что он наконец сказал ей, было: «Вы уже некоторое время знаете, что я люблю вас. Тем не менее, всё будет так, как вы пожелаете. Только скажите мне, чего вы желаете! Скажите мне, насколько сильно я могу любить вас; и я постараюсь…»

Она сжала руки вместе в крайнем смятении.

— Ты должен любить меня только так, как любишь те цветы, или как дитя, — сказала она, — или как создание собственного воображения; но не — не как женщину, не как человека, принадлежащего реальному миру.

После этого всё пошло — или казалось, что пошло — как прежде.

Сита, по-видимому, была решительно настроена не признавать никаких перемен, и Хари подыгрывал этому притворству. Тем не менее его слова обернулись против него самого.

Вопрос о том, сколько значил их роман, можно было игнорировать (он теперь чувствовал это постоянно) лишь до тех пор, пока он оставался незаданным. Их любовь, довольствуясь Эдемом, который она создала для них, была невинной и безопасной. Почему же тогда возникл соблазн? И почему теперь, только потому, что она проявила готовность продолжать в том же духе, что и раньше, — почему его неотступно преследовал тихий смешок циничного веселья, который, казалось, звенел в воздухе? Почему, несмотря на своё раскаяние, он всё ещё чувствовал, что подстёгивается, побуждается каким-то демоном внутри, уверенный в том, что теперь ему дозволено ухаживать за ней со значительно большей прямотой, чем прежде?

Он сопротивлялся искушению; но немалая часть удовольствия, которое он ранее получал от её общества, была утрачена в борьбе и скованности. Он также больше не мог забывать об образе Амара. Не прошло и нескольких дней, как он говорил себе со стонами, что единственное средство — уехать. Урок был усвоен им не так давно; и на этот раз — нет, нет! никакой нерешительности быть не должно.

Ещё несколько дней, и случай бросил ему подсказку, за которую он ухватился с несчастным рвением. Случилось так, что он находился в доме, когда пришла срочная весть для Амара, чьи родители, пожилая пара, проводили жаркий сезон в своём небольшом загородном имении в трёх днях пути к западу вдоль холмов. Мать Амара заболела; Амар объявил, что отправится завтра утром на рассвете; и Хари, не дав себе времени на второе размышление, тут же вызвался сопровождать его.

XVI

Шёл дождь, но не сильный. Тонкая, мелкая влага сочилась сквозь деревья, облака лежали низко над холмами. Всю ночь шёл дождь; копыта лошадей беззвучно погружались в промокшие листья, а тяжёлые ветви над головой поникли, словно под тяжестью унылой мысли. Для Хари, ехавшего молча, сама Природа, казалось, покрыла голову трауром; однако он был не глух к красоте этого её скорбного облика. Было величие в глубине долины, потерянной в липком тумане, и в тёмных лесных склонах гор, уходящих в облака.

С мыслями о Сите, непрестанно давившими на его разум, он усердно старался убедить себя, что она поймёт и одобрит его отъезд. Худшей частью было то, что наступали моменты, когда он сам терял всякое чувство правильности порыва, под которым действовал, а затем у него случались приступы гневного бунтарства, когда он осознавал лишь то, что причинил своему сердцу внезапную и очень болезненную встряску. Часть своего гнева он изливал на Амара, который, двигаясь впереди, высокий, с прямой спиной, но с подбородком, упавшим на грудь, являл собой фигуру глубочайшего созерцания. Невозможно было поверить, что его внутреннее спокойствие небезупречно. Но имел ли какой-нибудь человек право быть настолько неосведомлённым о чувствах тех, кто рядом? Сколько мыслей уделил он Сите за последние недели? Разве она, в конце концов, не женщина — и его жена? И разве может

человек отстраниться от повседневной жизни, не испытав утраты своих земных прав? «Ты, — воскликнул Хари в своём сердце, — ты, стоящий на моём пути, не человек из плоти и крови, а абстракция. Вот во что превратили тебя твои возвышенные идеалы. Добродетельный человек отделён от остального человечества пьедесталом собственной добродетели; он становится камнем преткновения — или фигурой абсурда». Однако, — продолжал он про себя, — я не осуждаю желание Амара удалиться от мира, ибо даже если бы он остался в нём, чтобы служить, он всё равно был бы далёк от человеческого. Но тогда снова: как может человек, заключая себя в одиночество собственного самосознающего воления, обрести свободу от различий личности? И всё же именно к этому стремится Амар. Разве он не следует по дороге, которая будет уводить его всё дальше и дальше во внутренний лабиринт и затягивать узел самости? А я? Почему я следую за ним?» Ещё раз потеряв нить, он вывел свои мысли обратно на свет: «То, что я вижу слабым и незавершённым в себе, от чего теперь склонен бежать как от болезненного беспокойства или греха — нельзя ли это истолковать двояко, сообразно его собственной двойственной природе? Почему жизнь рассматривается либо как рай, либо как ад? Конечно, не потому, что она стоит посередине. Нет, жизнь — это и высота, и глубина; а грязь и жестокость — это также радость и сила».

Поездка продолжалась, и всегда в том же непрерывном молчании. Деревья, под которыми они теперь проезжали, были выше и росли также более широко. Через некоторое время Хари пришпорил лошадь и поехал рядом с Амаром; тот же, всё ещё глубоко погружённый в размышления, не подавал никаких признаков того, что заметил его присутствие. Хари изучал его косыми взглядами, на его лице играла лёгкая улыбка; и вскоре бесцветным голосом он поинтересовался у Амара, благоприятно ли продвигаются его религиозные упражнения; видит ли он уже свою цель? Спустить свой ум на землю стоило Амару, очевидно, некоторых усилий; прежде чем ответить, он устремил на Хари глаза, которые всё ещё были сосредоточены на мыслях, лежащих в дальних пределах. Его ответ, однако, когда он прозвучал, был достаточно определённым и произнесён с совершенной простотой. Более того, начав говорить, он продолжил с непринуждённостью, к которой Хари был не готов. Без сомнения, лес и величие леса действовали на него. Мысли, которые невозможно было выразить без некоторой духовной неуместности в шуме и суете мира, естественно сходили с губ в таком месте, как это. Он серьёзно объяснил, что достиг стадии жизненного пути, когда мирские вещи больше не могут его интересовать. Но, далёкий от впадения в какое-либо безмятежное равнодушие, он был охвачен ужасным чувством неотложности. Половина его жизни уже прошла, а насколько мало он сократил своё расстояние до цели! Недавние занятия медитацией не обескуражили его, но показали ему, что пришло время отбросить все мирские привязанности. Необходимо, чтобы он ушёл в монастырь.

Его взгляд во время речи был устремлён прямо перед собой; и Хари, который сосредоточенно всматривался в его лицо, теперь внезапно нахмурился и отвернулся. Пока они шагом продвигались под безмолвием мокрых, лишённых ветра деревьев, его мысли

устремились в далёкое будущее. Он видел Амара стариком, сидящим под пальмами монастырского сада на Цейлоне. Он видел его в шафрановых одеждах, с изрезанным морщинами лицом и бритой головой. И затем, в следующее мгновение, им овладело острое осознание настоящего момента — свежего влажного аромата этого гималайского дикого края и строгого присутствия одинокого человеческого существа рядом с ним. Затем он снова, всё сразу, мысленно перенёсся в дом, где Сита, стоя у окна с пустыми глазами, провидела двух путников на их пути. В её личность он спроецировал себя с эффектом, подобным выходу из склепа на солнечный свет; и над своей мыслью о ней он задержался до тех пор, пока не вздрогнул, осознав, что ещё не произнёс ни слова в ответ своему спутнику.

— А Сита? — кратко спросил он.

Выражение, собравшееся на лице Амара, было нелегко истолковать, но в его ответе не было ничего уклончивого. Хари показали, что тщательно, добросовестно было продумано всё, и приняты все меры предосторожности. По мере того как он слушал, тень на его лице сгущалась. Перед ним разворачивался замечательный урок искусства, к которому сам он был так прискорбно неспособен. Ему показали, как своевольную лозу этой нашей земной жизни можно мягко, хитроумно согнуть по каркасу обстоятельств, а духу, таким образом освобождённому от мирской повинности, позволить свободно воспарить.

Размышляя об Амаре, зависть, восхищение, презрение и любопытство боролись в его груди. Токи сочувствия и враждебности пульсировали в нём, учащая биение сердца. Внезапно, и прежде чем он как следует осознал, что делает, он натянул поводья и, схватив поводья лошади Амара, остановил её вместе со своей собственной. Наклонившись вперёд в седле, он погрузил свой взгляд глубоко в глаза Амару и таким образом удерживал его под пристальным и суровым взглядом по меньшей мере минуту. Затем, в результате странной перемены, этот хмурый взгляд превратился в улыбку. Улыбка не говорила ничего или, скорее, бросала вызов Амару найти для неё смысл.

Этому странному поведению Раджа покорился без малейшей потери спокойствия. В его самообладании не произошло никакой перемены; агрессивность Хари, если это была она, промахнулась; его вызов, если это был он, упал на землю. Через ещё один момент он убрал руку, и после этого две лошади двинулись вперёд, и поездка продолжилась как прежде.

В течение оставшегося дня и большей части следующего их путь лежал глубоко сквозь те же высокие ряды тёмных, неподвижных деревьев. Лес был величественным и тихим; не раздавалось даже птичьей трели; лишь временами солнце, пробиваясь сквозь облака, тускло светило сверху. Для Хари монотонные часы проходили как во сне. Деятельность мира, представшая одновременно бурной и ничтожной, казалось, отступала за пределы самой досягаемости памяти. Подобно грохоту и рёву волн, когда путешествуешь вглубь суши от моря, они становились глухими, теперь их уже совсем не было слышно. Этому

чувству изоляции он покорился; и он с готовностью принимал оцепенение, которое охватывало его.

Днём второго дня дорога вывела их из-под деревьев и повела вдоль края травянистого плато, высоко возвышающегося над великой равниной. Расстояние скрывало все детали; глаз скользил по безграничному пространству, над которым висел потолок серых облаков. То здесь, то там медленно проплывала полоса грозового дождя, заполняя пространство между землёй и небом тусклым фиолетовым маревом. Даже на этой высоте воздух был жарким, влажным и безжизненным; лошади двигались вяло, а у всадников не было сил погонять их. Мысли Хари вернулись к отшельнику, под чьим пещерным жилищем они прошли всего несколько часов назад. В то время как множество человеческих существ, кишащих невидимо на равнине, предлагали ему, в своей тесной, общей жизни, сходство с плесенью на лице земли, этот отшельник стоял перед ним, в его воображении, как отдельная и самодостаточная единица. Он представал, как нравилось представлять его Хари, независимым центром духовной жизни; и это, несомненно, было потому, что он оставил себе пространство для истинной индивидуальности, чтобы двигаться в нём. Однако тот же самый принцип индивидуальности, во взгляде Амара, был обманчивым; боль и зло были присущи ему, и так человек приходил к ядру учения Будды: мудрость, самопознание и самоугасание — одно.

Неоднократно за тот день Хари чувствовал склонность вернуться по своим следам к пещере и просить принять его в ученики. Но ему сказали, что отшельник — шактист; а эта ветвь индуизма была не той, к которой он теперь склонялся. Индуизм в целом, однако, привлекал его как самая широкая и эластичная из всех религиозных систем. Его привлекала независимость от догмы, малость требований к слепой вере. Но эти же самые притязания составляли и его слабость, придавая вес критике Амара о том, что индуизм — это не религия, а просто религиозность сама по себе. На духовную субстанцию он не накладывал формы, стремлению не давал определённого направления; и хотя среди необразованных он заимствовал форму из мифов, суеверий и обычаев, которыми обыденный ум уже был богато снабжён, в незашоренном интеллекте он оставался текучим и бесцветным, столь разреженным, впрочем, как любая выдуманная мозгом метафизика.

Пока он так размышлял, они подошли к другому повороту дороги, который должен был увести их вниз с плато. У подножия склона простиралась широкая долина, содержащая участки открытой местности, и пока их глаза блуждали по ней, показался лагерь. После того как они немного продвинулись вперёд, более пристальный осмотр сгрудившихся шатров показал, что они принадлежат какому-то важному лицу, но ни Хари, ни Амар не были готовы к информации, полученной ими при подъезде; им сообщили, что выдающийся путешественник — не кто иной, как шейх Мобарек. Услышав эту новость, они обменялись взглядами; встреча была не очень по душе ни одному из них, и их одновременно посетила мысль, что, возможно, ещё не поздно ехать дальше. Но пока они всё ещё нерешительно останавливались, полог одного из шатров откинулся, и вышел сам Мобарек. При виде их

старик сделал движение удивления, которое, однако, быстро превратил в жест приветствия. Выбор был таким образом взят из их рук, и через несколько мгновений они оказались сидящими в качестве почётных гостей в главной палатке. Перемена была достаточно резкой, чтобы быть несколько сбивающей с толку. Пока Мобарек играл свою роль хозяина со всеми манерами искушённого светского человека, Амар был более чем чопорен, а Хари чувствовал себя весьма затруднительно, поддерживая хоть какой-то вид знакомства. Знакомство Хари с Мобареком не зашло далеко, да и желания расширять его не было. Этот маленький старый мистик с наблюдательными глазами, уверенными манерами и проворным языком, безусловно, умел извлекать лучшее из обоих миров — а в это время Хари чувствовал себя совсем не дома ни в одном из них. Весёлая, быстрая болтовня Мобарека только сбивала его с толку; он оставался более или менее в облаках, пока не прозвучала фраза, которая болезненно дёрнула его вниз. Мобарек рассказывал им, что спускается после визита к принцу Даниялу, который проводил сезон в нагорьях. «И очаровательная Принцесса тоже была там, — продолжал он. — Мы все провели вместе счастливейшие две недели, а теперь я сопровождаю её к родителям, которые вместе с Его Величество едут на север в Лахор. Да, милое дитя сейчас со мной; она войдёт с минуты на минуту. Свадьба, полагаю, состоится примерно через три месяца».

В течение следующих нескольких минут нервы Хари были натянуты до предела его выдержки — состояние, которое он надеялся, что Мобарек не заметит, или которое тот будет неспособен, во всяком случае, объяснить. Это было ужасно: мысль о том, что Лалита и он могут в любой момент оказаться лицом к лицу под пытливым взглядом Мобарека. Не в силах вынести напряжение, он наконец встал и вышел из шатра, сославшись на то, что ему нравится самому присматривать за кормлением своей лошади.

Снаружи он огляделся вокруг, отчаянно не зная, что делать. Два ряда шатров тянулись по ровному дерну, а позади них слева возвышалась тёмная стена молодых елей. Он попытался подумать, но мозг отказывался выполнять свою работу; при свете вечернего солнца, заливавшем глаза, он мог только моргать и беспомощно всматриваться вниз по двум рядам блестящих шатров. За ними, на небольшом расстоянии, находилось место, где были привязаны лошади; там сновали конюхи; но, по какой-то странной случайности, больше никого не было рядом; ни одного человека, с которым можно было бы послать сообщение…

Лалита — мысль об этом приводила его в замешательство— она должна быть где-то в пределах дюжины ярдов от того места, где он стоял. Она может появиться, предположил он, в любую минуту. Будет ли она взволнована, подумает ли, что он преследует её, будет ли она сердиться — или рада? Когда его воображение заработало, через него потёкло новое и не неприятное волнение. Образ Лалиты, который в последнее время стал тусклым, снова засиял всеми красками жизни. Эта золотистая кожа! Эти рыжеватые волосы! Эти сильные молодые конечности, каждый поворот и движение которых он знал — и до сих

пор знает — так хорошо! А затем он снова дрогнул; подступила слабость. Нет; он был не готов к такому повороту. Это было слишком.

Он прошёл вперёд около тридцати ярдов и теперь снова остановился. Ему нужно было время, чтобы восстановить самообладание и составить план поведения. Его взгляд обратился к густой чаще молодых елей на таком близком расстоянии. Почему бы — на короткое время — просто не исчезнуть?

Этот порыв внезапно развернул его в узкий проход между двумя ближайшими шатрами, и за них. Прежде чем нырнуть в лес, он бросил украдчивый взгляд направо и налево. Ещё пять шагов — и он бы исчез; но там, в тени шатра слева, в ожидании его, да, очевидно, ожидая и желая встречи — была сама Лалита. Какие сияющие глаза, какие раскрасневшиеся щёки! О, разве он не знал этого блеска и этого свечения! И она прильнула к нему: «Разве ты не слышал меня? Разве ты не слышал меня? Я звала тебя, звала… —». Он заключил её в объятия. Мир исчез за вспышкой его восторга. Но это безумие длилось всего две-три секунды. Приложив усилие, они отпрянули друг от друга; Лалита ушла — исчезла, как он представил, в свой шатёр; и когда он пришёл в себя снова, он был один — далеко, казалось, очень далеко от любого человеческого движения, глубоко в тишине и полумраке елового леса.

XVII

Менее чем через два часа Хари сидел за столом Мобарека, имея Лалиту справа от себя и Амара напротив. Лалита сохраняла полное самообладание и оживлённо беседовала с Амаром в должной мере, в то время как Мобарек, хотя и был полон внимания к своим гостям, расточал отеческие улыбки и шутливые замечания в её адрес. В первой части вечера единственным человеком, проявлявшим признаки озабоченности, был Амар, но позже он взял на себя свою долю в разговоре, и по мере того, как время шло, Хари становился молчаливым участником компании.

Его час в лесу провёл его через кризис волнения. За этот час он дал себе волю; он катался по земле, неистово хохотал, тряс кулаком во все четыре стороны света. Он и Лалита были бунтовщиками, они щёлкали пальцами перед лицом обстоятельств, они бросали вызов силам мира сего. Если бы они захотели, они сбежали бы вместе этой же ночью. У Лалиты не было бы страха; она была готова. Или, если бы вмешались другие соображения, они позволили бы решить это броску монеты.

С тех пор его возбуждение улеглось, но его отношение осталось неизменным. В течение долгих вечерних часов он изучал Лалиту; он видел, что, подобно ему, она многому научилась со дня их мучительного расставания; но он сохранил своё убеждение, что правильно прочитал её нрав. Было интересно, это было даже немного трогательно, отметить, как она подпала под дисциплину мира и как его уроки, будь то к добру или ко

злу, впитались в неё. Примечательной была её хватка нынешних требований и уверенность в своей роли. Ей нужно было представить картину счастливой, уверенной в себе молодой женщины, способной с лёгкостью принять блестящее социальное положение, которое предлагал ей приближающийся брак. Для этого она тренировалась, и ей, возможно, даже доставляло удовольствие демонстрировать перед ним своё новообретённое мастерство. Беглость в сплетнях, выдающиеся знакомства, знакомство с тем, что модно в искусстве, музыке и литературе — всё это она выставляла напоказ. Но Хари испытывал укол боли, видя, как она перенимает аффектации, ходовые словечки, изощрённую бессмыслицу, присущие ближайшему кружку принца Данияла; и ещё труднее было принять её притворство о том, что между Даниялом и ею существует подлинная привязанность. Это было лишь притворством — в этом он был уверен, — хотя, без сомнения, она часто надеялась, что оно обманет и её саму. Без сомнения, она делала лучшее из возможного со своим принятым возлюбленным. Но истинной искушённости в светских делах она никогда не достигнет; её характер содержал в себе одновременно больше и меньше необходимых ингредиентов.

Так прошёл вечер, пока она не поднялась, чтобы удалиться. Сначала она склонила голову перед Мобареком, чтобы получить на лоб благословляющий поцелуй, затем протянула руку Хари с формальной улыбкой; наконец, она повернулась к Амару и, пожелав спокойной ночи, напомнила ему, что — если он действительно собирается отправиться так рано следующим утром — это также прощание. Всё это казалось очень простым, но на самом деле это было не так. Сообщение прошло в её пожатии руки Хари; лихорадка снова была впрыснута в его жилы. Быстро возобновив разговор с Мобареком, он попытался восстановить спокойствие; но сердце выстукивало, что это несомненно — да, да, несомненно — что Лалита будет готова принять его в своём шатре той ночью.

Вскоре после её ухода он сослался на усталость и удалился. Ночь была свежая, а небо ярко светилось лунным светом, хотя сама луна всё ещё пряталась за горами на востоке. Он стоял, вслушиваясь в тишину; единственным звуком во всей долине казались звонкие интонации голоса Мобарека внутри шатра. Медленно проходя вдоль ряда, он осознал, что до сих пор не уверен, который из шатров принадлежит Лалите. Однако один из них был освещён изнутри слабым розоватым сиянием, и он с осторожностью отметил его местоположение.

Сидя у входа в свой шатёр, он снова посмотрел в иссиня-чёрное небо, и вскоре его взгляд упал на видение, которое перехватило ему дыхание и унесло его прочь из самого себя. Несказанно высоко в небесном куполе сиял заледенелый склон, снежное поле, которое луна обратила в серебро. Он смотрел на него, пока его изумление не растаяло в необъяснимой тоске, а тоска — в пронзительной грусти.

Вздрогнув, он наконец встал, но только он собрался удалиться в свой шатёр, как заметил высокую фигуру, приближающуюся по траве, и узнал Амара. По мере того как Амар подходил ближе, ему казалось, что в его походке есть некая целеустремлённость; а также

неохота, с которой он медленно продвигался вперёд. Он подождал, пока Амар не встал перед ним, а затем — истолковав молчание другого по-своему — жестом пригласил его в шатёр.

Внутри горел маленький светильник; Амар сел за маленький столик, а он сам сел напротив. Прошло несколько мгновений, прежде чем кто-либо из них заговорил.

— То, что я должен тебе сказать, это то, что я видел… — И Амар нахмурил брови. — Боже правый! — добавил он с непривычной горячностью. — Какое безумие тобой овладело?

Хари молчал.

— Мы с Мобареком вышли из шатра через две минуты после того, как ушёл ты. Мы на самом деле следовали за тобой и были не более чем в дюжине ярдов позади.

— Мобарек видел?

— Нет. Он остановился на мгновение, чтобы заглянуть в шатёр Принцессы.

— Повезло! — сухо сказал Хари.

Амар, всё ещё хмурясь, продолжал изучать его. — Я не желаю вмешиваться в твои дела… Это ты наверняка поймёшь. Но всё же… — Он сделал паузу. Он ждал; но Хари тоже ждал, и так они смотрели друг на друга.

Наконец Хари пожал плечами и улыбнулся. — В конце концов — мы отправляемся завтра на рассвете. А раз так…

Амар проигнорировал это; его глаза оставались прикованы к лицу Хари. Во взгляде был смысл, и теперь уже Хари был тем, кто нахмурился. Румянец, к тому же, прилил к его щекам, и нетрудно было увидеть, что причиной этому стал гнев.

— Ну? — бросил он вызов.

Амар пошевелился и пробормотал в крайнем раздражении: — Один Бог знает, — сказал он снова, — я не желаю вмешиваться в твои дела, но очевидно, что принцесса Лалита и вы уже близки. На самом деле, сложив два и два, я думаю, могу… — Он прервался. — Нужно ли мне продолжать? Всё, что я требую от тебя сейчас, это заверение…

— В чём?

— Что ты не совершишь сегодня ночью никаких глупостей.

Хари откинул голову назад и издал сердитый смех.

— Ты считаешь меня навязчивым, возможно? — И тон Амара был ледяным от неприязни. — Тем не менее я должен довести до конца то, что считаю своим долгом. На кону счастье — жизни, возможно — многих людей.

— Очень хорошо! — И внезапно подавшись вперёд, Хари забарабанил пальцами по столу. — Очень хорошо! Давай разберём этот вопрос основательно!

Амар отпрянул с чем-то похожим на смятение.

— Разве действительно необходимо обсуждение? Несомненно, ваш здравый смысл…

— Нет! — сказал Хари. — И сказать по правде, у меня нет в распоряжении здравого смысла — во всяком случае, не сегодня ночью.

Амар молчал; и глядя прямо ему в глаза, Хари продолжил:

— Я устал от целесообразности. Ты понимаешь?

— Целесообразность? — Амар издал усталый вздох.

— Я не вижу причин, почему я должен уважать мелкие удобства других людей. Своими собственными я никогда особо не дорожил.

Ответа не последовало.

— Лалита чувствует то же, что и я. — Хари рассмеялся и щёлкнул пальцами. — Она готова. Очень хорошо!

При этих словах, издав приглушённое восклицание, Амар откинулся назад на своём сиденье. В его глазах блеснул гнев, и он сказал:

— Ты можешь обращаться с собой как вам угодно, но простая порядочность запрещает тебе рисковать…

— О, я знаю, что ты имеешь в виду, мой дорогой Амар! — Глаза Хари теперь тоже загорелись искрой. — Ты имеешь в виду, что мне следует иметь в виду, что ты усердно добивался расположения отца Лалиты, — и что человеком, ответственным за ваше сближение, был Амбисса, — и что вся направленность вашей политики тяготеет к Даниялу. Ты хочешь, чтобы я имел в виду, что ваши будущие отношения с Даниялом могут быть испорчены, если случится так, что я, ваш шурин, находясь в вашем обществе, сбегу с его невестой.

Амару, очевидно, пришлось бороться с собой, чтобы сохранить самообладание.

— Эти насмешки незаслуженны. Но я здесь не для того, чтобы защищать себя. Если ты предпочитаешь думать, что мной движет исключительно корысть, ты можешь так думать. Я буду удовлетворён, если мне удастся отговорить тебя…

Хари не слушал. Им овладело странное волнение, и он резко перебил:

— Амар! Неужели у тебя хватает цинизма одобрять брак этой девушки с Даниялом? И неужели ты собираешься проявить достаточно цинизма, чтобы примкнуть к партии

Данияла? Отвечай прямо, ибо мирской человек должен обладать мужеством в своих убеждениях.

— Ты смешиваешь вещи, которые не имеют друг к другу никакого отношения. — И Амар выпрямился. — Выбор между Салимом и Даниялом — это политический выбор. Меня не интересуют личные дела Данияла. Что *тебе* до них? А вот вмешательство, которое ты, похоже, обдумываешь сейчас…

— А как же любовь?

— Я вижу, ты улыбаешься, — ответил Амар, — и твоя улыбка отвечает тебе.

Хари покачал головой. — Нет. И ты не понимаешь. — Он встал и налил себе воды. — Я дошёл до такой точки, что совершенно не могу измерить свои чувства.

За этими словами последовало молчание. Амар с некоторым удивлением изучал его; Хари был во власти эмоции, природа которой была для него смутной.

— Слушай! — продолжил Хари с какой-то мрачной стремительностью, — твой разум слишком разумен для меня, и веря, как я верю, что сам разум обманчив, я предпочитаю брать свои заблуждения ближе к их источнику. Раз уж человеку должно быть безумным, я предпочитаю быть безумцем более простым, лёгким способом. Я скажу тебе, почему ты не веришь в Бога, Амар. Твой разум говорит тебе, что если есть Бог, то Он, несомненно, должен стоять вне самого разума. Для начала никакой Бог, здравомыслящий по вашему образцу, не создал бы мир по таким принципам, как этот. Оглянись вокруг! Что есть в природе такого, что твой разум может понять или одобрить? Поднятие соков в деревьях, распускание цветов, роение пчёл, спаривание зверей, повсюду рождение и смерть с небольшим промежутком безрассудства и расточительства между этим. Всё это ты осуждаешь, и, возможно, справедливо. Но что, если я предпочту позволить своей жизни течь так, как того желает неразумная Природа?

Задумчивое выражение появилось на лице Амара, и теперь его глаза были устремлены в землю.

— Думаю, я начинаю понимать тебя лучше, — произнёс он после паузы.

— Да ну? — Хари бросил на него косой взгляд. — Что же ты понимаешь?

— Вот что: мир представляется тебе чуждым и даже враждебным, и ты намерен сделать свои поступки актами бунта. Но такое отношение тщетно. Если бы ты хоть на мгновение смог увидеть себя и мир в их истинной взаимосвязи, тебе было бы стыдно за свою абсурдность. Ты бы увидел, что отделен от целого лишь заблуждениями — заблуждениями, сгущающимися вокруг «Я». Ах! тогда бы ты увидел, что свобода — это не свобода бунтовать, и ты перестал бы быть ребёнком, который колотит камень, о который только что споткнулся.

Хари улыбнулся, давая свой ответ — «Нет; моё бунтарство менее просто, чем это. Видишь ли, у меня нет твоей абсолютной уверенности в определённой системе ценностей. Ты хороший буддист; и жизнь, считаешь ты, должна по необходимости быть беспокойством, мучением, суетностью и томлением духа. Возможно, здесь я согласен; но из этого у тебя следует, что жизнь в целом — это зло, которому неплохо было бы положить конец. С этим я не согласен. Жизнь простирается перед нами беспредельно, равно как и позади нас, и у нас нет мерил, чтобы судить о её ценности. Ни в терминах разумности, или счастья, или любого общепринятого добра она не может быть оценена. Жизнь, беря её в широком смысле, даёт нам лишь один намёк — я бы сказал, лишь один-единственный приказ: Живи!»

Амар посмотрел на него испытующе. — «Я не гедонист. Но я уважаю мудрость, и если мудрость приносит счастье вслед за собой, я не вижу причин отвергать её. Нет славы в том, чтобы продолжать барахтаться в несчастьях чувственности, злой воли и невежества.»

Он замолчал; некоторое время двое мужчин рассматривали друг друга; затем Хари сказал:

— Мне кажется, это ты мятежник, Амар; и более отчаянный, чем я, ибо то, против чего ты восстаешь в самом себе, могущественнее и разума, и морали.

Произнеся эти слова, Хари подошёл ко входу в шатёр и встал, глядя в ночь. Пока Амар рассматривал очертания его головы и плеч, его прежние страхи растаяли. Атмосфера странным образом изменилась с начала их беседы. Он слышал глубокие вдохи Хари и видел, как тот вздрагивает от холода; затем Хари вернулся и бросился на своё сиденье.

— Ну? — Он слабо улыбнулся. — И что ты скажешь теперь?

Амар молчал.

— Ты добился своего. Полагаю, этого достаточно?

— Ты решил хорошо, — пробормотал Амар.

— Дух поднимается в человеке, и дух угасает… — Его взгляд стал ироничным; и через минуту он продолжил: — Но как же она? В ней он тоже угас?

— Ты уже отказывался от неё однажды, — сказал Амар. — Это — всё это — было её рук дело. И это сущая глупость.

Хари посмотрел на него с некоторым любопытством. — Ты на самом деле — немного раздражен на неё?

— Раздражен? Нет, нет!

— Мой друг, — сказал Хари тоном довольно унылого издевательства, — я не уверен, что хотя бы в одной ветви самопознания я тебя не обогнал. Ты не заключил мира с женским

началом в себе, а ведь все мы ему причастны. Когда-нибудь оно может обрушить на тебя свою месть.

Амар загадочно улыбнулся. — Женское начало имеет свой путь — но к той же цели. У женщин тоже есть свой особый дар — который я оставляю им.

— Завидую твоим убеждениям.

— Есть одно, которого само по себе вполне достаточно.

— И какое же?

Амар поднялся со своего места. — Над всеми сомнениями возвышается наша интуиция нравственного закона. Ты ведь не забыл о нём, о Карме, благороднейшей интуиции нашего рода.

Хари ничего не ответил. Подождав мгновение, Амар медленно вышел наружу, и вместе они стали смотреть вверх, в свод ночи.

— Я знаю, — вполголоса сказал Хари, — я знаю, что солнце взойдёт на востоке; хотел бы я так же твёрдо чувствовать, что зло несёт с собой своё неизбежное искупление.

— Несёт.

Эти слова упали тяжёлым ударом, но лицо Хари не изменилось.

— Знай, — продолжал Амар, — существует различие между причинностью в мёртвой материи, причинностью в органическом мире и причинностью в одушевлённом мире, где действие нравственного закона накладывается на природный. Это Карма; это главная сила во вселенной, поскольку она контролирует постепенное продвижение жизни к окончательному освобождению.

Хари, чьи глаза были устремлены в ночное небо, снова обратил их на своего спутника.

— Ты должен рассказать мне больше об этих вещах, — пробормотал он после паузы.

Амар склонил голову.

— Мысли вроде этих приходили ко мне в лесу, — медленно сказал Хари. — Но были и другие.

XVIII

Долина была полна тумана, когда Хари и Амар отправились в путь на рассвете следующего дня. Бледный, недружелюбный свет просачивался сверху; влажный воздух, казалось, обдувал их леденящим холодом, когда они пробивались сквозь него, и всё же бесконечные ряды высоких тёмных деревьев не шевелились, а туман клубился и

распускался по собственной ленивой воле. В течение утра они продвигались к мягкому солнечному свету; послеобеденное время застало их идущими вдоль гребня холма; и ещё до того, как солнце склонилось достаточно низко, они смогли заглянуть в маленькую долину Рави, которая была их целью. Теперь Амар мог указать на серую шиферную крышу дома своего отца. Он был построен на небольшом мысе, выступающем в плоское дно долины, которое почти целиком занимало мелководное озеро. Берега озера окаймляли ивы и другие любящие воду деревья; большие его участки были покрыты тем, что походило на камыши и водяные лилии; а стаи птиц то взлетали, то опускались на его поверхность. Над головой нависло облачное небо, но время от времени несколько водянистых лучей проскальзывали вдоль долины, серебря воду и освещая серебристо-зелёные ивы.

В этой картине было нечто одно, что привлекло внимание Амара — группа пёстро украшенных шатров рядом с домом его отца. Глядя на них, он внезапно осознал, что это должен быть лагерь принца Данияла; и хотя Мобарек подготовил его к присутствию Принца где-то по соседству, оказалось неожиданностью найти его так близко. Почему Даниял не разбил свой лагерь на обычном месте на другой стороне озера? Причина стала ясна только тогда, когда они оказались на полпути вниз по склону, и тут они увидели, что недавние сильные дожди затопили всю долину, превратив ровные заливные луга в широкое болото. Но уж конечно, подумал Амар, принц мог бы отправиться в какое-то другое место, ведь было очевидно неуместным, чтобы дом, где умирает старая леди, был окружён суетой королевского лагеря.

Добравшись до дома, он поручил Хари заботам отца и поспешил к постели матери. Раджа Бихар был едва знаком Хари, который помнил его ровно настолько, чтобы заметить, как сильно тот постарел с момента их последней встречи. Глубокая жалость к бедному старику овладела им сразу, и это чувство преобладало в его мыслях на протяжении всего пребывания. В следующие несколько дней ему приходилось проводить время почти без перерыва в обществе старого раджи, поскольку сильная буря, разразившаяся ночью, продолжалась без единого перерыва. День и ночь дом содрогался от порывов и треска шквала, и хотя он охотно проводил бы часы, бродя по мокрым склонам холмов, он чувствовал себя обязанным сидеть в полумраке внутри, чтобы не ранить чувства хозяина. Дом был старинным зданием, живописным в стиле ушедших дней, и несомненно приятным в солнечную погоду, но невыразимо мрачным, когда дождь лил вот так. Его претенциозная причудливость и уютность тогда обнаруживали себя не чем иным, как уродством и мрачной теснотой. Но больше всего угнетала Хари атмосфера дома; она дышала спертым дыханием дряхлости, которое, казалось, душит сердце. И потом, увы! постоянно и повсюду, слабо и озабоченно витая вокруг него, маячила дрожащая фигура старого раджи.

В юности раджа Бихар был щеголеватым и даже сейчас сохранял определённую подтянутость. Каждое утро он проходил через ритуал тщательного туалета и представал перед миром со всей возможной солдатской выправкой. Его кодекс предписывал ему не

только скрывать свои чувства, но и быстро проходить мимо всех личных забот. Его ежедневные отчёты о жене были отрывистыми и, можно сказать, извиняющимися, быстро уступая место темам более общего интереса. Поддерживать разговор, сохранять видимость приличий было абсолютно необходимо для его самоуважения. Каким бы глубоким ни было его благоговение перед супругой, иногда посреди разговора он действительно забывал откликнуться на призыв к её постели. Его горе было горем старика; погребённое под пеплом столь многих выгоревших лет, оно не имело сил вспыхнуть пламенем; оно тлело, оно тлело; и как могло быть иначе?

Порой, сидя прямо напротив него в кресле, Хари мог видеть, как нарастающая скорбь поднимается к его водянистым старым глазам. Но затем, прочистив горло и разгладив белые усы тонким шёлковым платком, он пускался в океан банальностей, и звук собственного голоса, казалось, обладал чудодейственной силой утешать его. Истина заключалась в том, что хотя он и способен был поддерживать своё самоуважение и мужество, эти качества были последними из тех, что он сохранил. Его разум был настолько пуст, что Хари невольно надеялся, что он никогда, даже в лучшие времена, не был ничем большим, чем посредственностью; и каким циничным во всяком случае было дело времени; оставить самоуважение и мужество такими обнажёнными, что они — даже они — казались почти смешными. Но возможно — возможно, стоицизм старого раджи был не таким пронзительным в конце концов. Возможно, он имел корни, глубоко уходящие в знание того, что он может, и в конце концов примет последнее ограбление Времени, последнее утешение Жизни, утрату самой способности страдать.

После первых нескольких дней Хари и Амар начали видеть друг друга немного чаще, и в этих новых условиях каждый постепенно открывал в характере другого неожиданные черты. К удивлению Амара примешивалась благодарность за поразительное терпение, проявленное Хари по отношению к его отцу. Было в этом, как и во всём нынешнем складе его ума, нечто такое, что раджа хотел бы понять лучше. Почему он продлевает своё пребывание в этом доме дискомфорта и печали? Это выглядело почти так, словно он намеренно подвергает себя новой дисциплине; и в голову Амара пришла история о том, как Будда, находясь в расцвете молодости, однажды вышел и случайно встретил женщину, поражённую болезнью, человека, немощного от старости, и труп. Легенда гласила, что этот случай стал поворотным моментом в его духовном развитии; а что если окажется, что эти дни в Рави станут подобным поворотным пунктом в судьбе Хари? В их беседах Хари показал, что одна сторона его натуры глубоко откликается на буддийское учение, но было также ясно, что есть и другая сторона, которая бунтует. В некоторых его доводах Амар быстро уловил влияние Ситы. Например, какое совершенство, говорил он, можно приписать идеалу самозатухания — особенно если его ищут лишь как умиротворение жизненной тревоги? Если боль и зло присущи индивидуальности, счастье и добро также немыслимы вне её. Истинное состояние блаженства должно быть таким, при котором индивидуальность не угашается, но очищается, усиливается и расширяется. Тогда совершенные личности могли бы ожидать продолжения собственного существования — не

столько как наслаждающиеся счастьем, сколько как центры излучения, поглощения и взаимодействия предельного блага и красоты мира.

Амар помнил, что уже слышал это прежде, и сейчас он мог ответить лишь так же, как ответил тогда. Это были теории, которые опыт не мог ни доказать, ни опровергнуть; буддизм удовлетворялся другой задачей; он не стал бы называть себя ни философией, ни религией, ни даже этикой. Он был не вполне философией, поскольку он отбрасывал большинство вопросов, поднятых в метафизике, как совершенно лишенные смысла; не был религией, поскольку он отвергала догму и не делал никаких уступок тщетным желаниям; не был этикой, потому что он не считал мораль высшей категорией; правильное поведение, говорил он, — не самоцель, а лишь одно из условий, которые человек должен выполнить, чтобы достичь своей цели. Буддизм не претендовал на то, чтобы объяснять мир или оправдывать его; он делал не более чем учил пути избавления. Истинность его высказываний не поддавалась логическому доказательству, потому что истины логики были истинами только для самой логики и внутри неё; они не были истинами для реальности. Истины реальности были абсолютны; и хотя отчасти выразимы в терминах концептуального знания, полностью постижимы в этой сфере они не были. Их нужно было чувствовать так же, как слышать. Они должны были доказывать себя в непосредственном внутреннем опыте посвященного. Учитель говорил: «Это так!» — и когда ученик научался видеть, что это действительно так, он опирался на свою непосредственную интуицию. «Знание, — сказал Амар, — и я имею в виду знание концептуальное — загадывает две загадки на каждую одну, которую оно решает. Вынося суждение о мире извне, вы создаете субъектно-объектное отношение, которое является условием познания, но препятствием к постижению конечной истины. Высшая функция знания — приспособиться к мудрости. А мудрость я определяю как обладание конечной истиной. Мудрость не отвечает на все загадки, которые ставит перед нами знание; оно их рассеивает».

Всё это и многое другое Амар разъяснял в полумраке негостеприимной гостевой комнаты своего отца, пока дождь упрямо шипел и барабанил по крыше, а старый раджа то и дело дремал в углу. С грустью, с горечью противопоставлял Хари эту зимнюю доктрину летнему сиянию убеждений Ситы. И разве это не парадокс, что именно она принесла ему переживание, придавшее вес взгляду не на её жизнь, а на жизнь Амара? Он бежал от неё, ибо этот мир был устроен так, что благо здесь внизу не могло быть реализовано положительно; оно могло лишь смутно проступать в призрачных формах воздержания и отречения — земных образах окончательной Нирваны.

В этих беседах Хари и Амар сближались, но в сфере, далекой от повседневной жизни, и нельзя было сказать, что они продвинулись в настоящей близости. Если тайком они и наблюдали друг за другом с большим интересом, чем когда-либо прежде, причина этого крылась в ином; она возникла через посредство принца Данияла. Положение складывалось следующим образом: старого раджу наивно взволновало и даже польстило решение Принца выбрать это место, сам факт его соседства. В первые дни это была его

главная тема; она вдохновляла его бесконечными воспоминаниями о Дворе и военном лагере; он безмерно гордился тем, что находился в близких отношениях с Акбаром, когда Император был молодым человеком. Было очевидно, что ежечасно он ожидал от Принца какого-нибудь знака признания этого, надеясь увидеть нечто большее, чем голый остов вежливости; и если простая учтивость предписывала визит, принц, уверял он себя, окажет ему некоторое дополнительное внимание. Поэтому было прискорбно считать проходящие дни без этого визита и наблюдать, как пелена досады сгущается над прежними ожиданиями старика. То у одного окна, то у другого он угрюмо следил глазом за деятельностью свиты Данияла; но хотя его чувства были задеты, его гордость всё ещё держалась. Он прилагал все усилия не только игнорировать пренебрежение Принца, но и преуменьшать неуместность суматохи, которая творилась вокруг дома.

Каждый день, каждый час добавлял боли, и хотя он едва произносил слово, можно было видеть, какую форму принимают его замешательство и страдание. Поведение сына Акбара должно было означать, что с момента ухода со службы он жил в заблуждении. Это было заблуждение, будто его имя пользуется доброй славой, что его помнят при Дворе с уважением и даже — некоторые — с любовью. Всё это был сон; его забыли; он — ничто. Но нет! Скорее всего, злые языки потрудились над ним, и его добрая слава была очернена. Либо одно, либо другое; и теперь —что ж, исправить положение было невозможно, слишком поздно что-либо делать.

Когда зрелище страданий раджи Бихара постоянно находится перед глазами, как можно было избежать того, чтобы присутствие Принца за воротами не занимало ум непрестанно? И всё же Хари очень скоро обнаружил, что об этом предмете невозможно упоминать в разговоре с Амаром. Что ж, поначалу думал он, Амар несомненно поступает правильно, презрительно обходя молчанием невоспитанность Данияла; но позже он не мог успокоиться на этом мнении. Упрямое молчание Амара, напускаемый им вид полного безразличия стали невыносимы и повергли Хари в раздраженное недоумение. Человек непременно должен быть либо больше, либо меньше человека, чтобы не испытывать хоть какой-то обиды из-за такого поведения. Не вызывало сомнений, что Амар оказался в плачевном положении; ему приходилось выбирать между плохим буддистом и бесчеловечным сыном. Но почему он не мог быть более открытым? Чего ради он носил эту маску невозмутимости, которая, по правде говоря, лишь привлекала внимание к чувствам, которые она скрывала. Казалось, Амар лукавит с самим собой, словно неспособен оценить этот эпизод как следует. Можно было заподозрить, что он бросает взгляды в прошлое и будущее; чувствует, что эта жалкая мелкая история создает — или грозит создать — осложнения. Только что завершенные им приготовления, намеченный им курс — неужели все могло быть нарушено — да просто вот этим?

Но довольно! Хари обратился к самому себе. Оставив Амара в стороне, как насчет его собственного настроя, его собственной позиции по отношению к Принцу? Настал момент, когда он был вынужден внимательно рассмотреть этот вопрос, потому что выражение лица

бедного старого раджи Бихара стало для него невыносимым, и он твердо решил взять дело в свои руки. В первом порыве решимости он сказал себе, что тогда как Амар, не будучи знаком с Принцем, вряд ли может проявить инициативу, *ему* это будет совершенно просто сделать. Но — так ли это? Чем больше он думал об этом, тем меньше ему это нравилось. Правда, в конце той охоты четыре года назад они с Даниялом расстались в самых добрых отношениях; но разве Даниял не мог измениться за это время — точно так же, как изменился сам он? Конечно, в его собственном случае была Лалита; и у него не было ни малейшего основания предполагать, что Даниял ничего не знал касательно *этого*. Но он искренне верил, что его изменившееся отношение к Даниялу вызвано не столько ревностью, сколько одной из тех перемен, которые возникают от переосмысления характера в свете последующего опыта. Что ж! Значит, прошлые отношения — это совсем не то, на что он теперь может уверенно полагаться. Он попытается, но постарается придать встрече случайный вид; к тому же он не был уверен в том, как его примут.

XIX

Амар проводил долгие часы в своих медитациях. Сидя один во внутренней комнате, спиной к окну, устремив глаза на пустую стену, он ежедневно занимался упражнением, известным как Брама Вихара. «Пусть твой ум, — гласило наставление, — наполнит одну четверть мира мыслями о любви, и так вторую, и так третью, и так четвертую. И так весь широкий мир, вверху, внизу, вокруг и повсюду ты должен продолжать наполнять сердцем любви, всеобъемлющей, возросшей и безмерной. И подобно тому, как могучий трубач заставляет себя слышать, и притом без труда, во всех четырех направлениях, точно так же среди всех вещей, имеющих форму или очертания, нет ни одной, мимо которой ты бы прошел или которую оставил бы в стороне; но созерцай их все освобожденным умом и глубоко прочувствованной любовью». Это упражнение следовало повторять, заменяя любовь сперва состраданием, затем симпатией, а после — невозмутимостью. Это была медитация, призванная разорвать пятую привязанность — недоброжелательность. Первые четыре привязанности по порядку были: Иллюзии, относящиеся к Самости, Сомнение, Опора на действенность Добрых дел и Чувственность. Вплоть до недавнего времени Амар верил, что свобода от этих оков завоевана им, и что поэтому он вправе считать себя довольно уверенно вступившим на путь. Но эта уверенность теперь исчезла. Его поразила мучительная неуверенность в том, не находится ли под угрозой всё здание его духовной жизни. Трещина внезапно появилась на гладкой стене этого строения, изъян, который, казалось, возвещал, что виноваты сам фундамент не в порядке. Недоброжелательность овладела им; а недоброжелательность, знал он, может существовать лишь в уме, всё еще омраченном самолюбием.

В этом уединенном покое своей комнаты он уже вел борьбу многие часы и дни, и его страдание неуклонно возрастало. Он чувствовал себя как человек, чья жизнь находится под угрозой не от удара меча, а от укола булавки. Ведь его беда по своему внешнему

происхождению была ничтожна — мелочь самого низшего сорта. Но именно её ничтожность, раздражая его, добавляла ей яда. Глубоко унизительной была мысль о том, что пока его мать лежит при смерти, он переживает из-за мелкой невежливости со стороны легкомысленного молодого щеголя. То, что оскорбление нанесено его отцу и что отец принял его так близко к сердцу — в этом не могло быть оправдания— нет, и ни в чем ином. В такое время, как это — нет, нет! Отвлекаться на мелочи в такой момент жизни; сейчас, когда он находится с матерью в её последние дни, последние часы на земле — Боже, помоги ему! — ничто не могло оправдать жалкость такого предательства самого себя. Выходила на свет какая-то скрытая мелочность характера; скрытая немощь, гниль — и гниль прогрессирующая.

С каждым днем яд его самопоглощенности распространялся всё дальше и дальше по всему его существу. Он быстро становился духовным ипохондриком; его воля, сильная для любой другой задачи, которую он перед ней ставил, пасовала перед этой: он не мог отбросить тот конкретный узел тривиальной озабоченности; его гордость была задета; он не мог достичь невнимания к себе. И то, что он видел это, понимал это, признавал это: это было последнее звено в порочном круге его самоотречения.

Одним утром, когда он сидел в комнате матери, наступил настоящий кризис его страданий. Его нервы только что были взвинчены встречей с отцом в коридоре. Своим небрежным тоном, который был так жалок как притворство, старый раджа объявил, что только что поступило прошение от главного повара Данияла: человек просил одолжить несколько кухонных горшков и сковородок; они понадобились для званого ужина этим вечером, который должен был стать особо пышным торжеством. Конечно, сказал старый раджа, он ответил, что рад быть полезным Его Королевскому Высочеству, рад и польщен — конечно, конечно... И отчасти виновато, отчасти вызывающе он проковылял прочь, блея бессмысленным смехом и бормоча сквозь свои седые волосы.

Именно с привкусом этой встречи на нёбе Амар сидел у окна, читая вслух из «Махабхараты»; и великолепие мысли и языка служило лишь для того, чтобы обострить его презрение к самому себе. Никогда он не ощущал острее различие между существенным и тривиальным, священным и мелочным; никогда крылья его духа не били столь отчаянно, стремясь достичь верхнего воздуха; но увы! — никогда его смертная природа не отвечала более тупо, никогда чувство фрустрации не было более острым. Он знал этот отрывок настолько хорошо, что ему не нужна была книга; тем не менее, он продолжал держать голову опущенной над ней, ибо боялся встретить взгляд тех глаз, которые, как он знал, были прикованы к нему. За последние два дня его мать стала такой слабой, что было ясно: конец совсем близок. Эти глаза, смотревшие с такой таинственной интенсивностью, эти черты лица, которые он любил превыше всех прочих — недолго им осталось принадлежать миру материальных вещей. Воспоминания! очень скоро они станут ими. И это солнечное утро в этой тихой комнате — тоже воспоминание, воспоминание! О горечь времени, с любовью, являющейся таким пустяком в своем величии! И те последние мгновения

близости, проходящие, проходящие, проходящие; через сколько часов они будут завершены и уйдут?

Он слышал свой голос, читающий в тихой комнате, он чувствовал запах жасмина в воздухе, его дух боролся. Не было гавани, где бы он мог обрести покой. Образы мира преследовали его; его старый отец, Хари, Даниял…

Тем же голосом он продолжал читать дальше, но вскоре его взгляд скользнул через окно и охватил сияющий ландшафт. Он упал на три человеческие фигуры, стоящие на поле изумрудной травы, а вокруг них по кругу гарцевал пегий жеребец, удерживаемый длинным поводом. Несмотря на расстояние, он видел всё отчетливо, а его ухо, внезапно расширившее свой диапазон, уловило звук — и даже интонации — тех далеких голосов. Один из мужчин был конюхом, двое других — Хари и Даниял. Они следили глазами за лошадью, и между ними только что проскользнула какая-то шутка. По одним лишь их движениям и жестам он мог понять, каков тон их общения. Даниял метался из стороны в сторону, крутился волчком и подбивал дерн у себя под ногами. Очевидно, он был в прекрасном расположении духа, и Хари тоже казался…

Внезапно Амар отвел глаза, вернул свое внимание и снова услышал великолепие стихов, слетавших с его губ. Но какой новый всплеск эмоций пробежал, шипя, над произнесенными словами. Та встреча — он не мог поверить, что она была совершенно случайной. Хари рисковал получить отпор, делая то, что сам он, спрятав свою гордость, должен был бы, пожалуй, ради своего бедного отца сделать сам. Пот выступил у него на лбу; сотня разных способов взглянуть на дело, сотня противоречивых чувств нахлынули, чтобы быть рассмотренными в сером северном свете его недоверия к себе. И пока всё это происходило, часть его разума находилась снаружи вместе с теми двумя мужчинами на том залитом солнцем поле; другая часть была внизу, в тенях, разделяя раздраженную жалость со своим бедным, глупым отцом; и еще одна часть была здесь, здесь в этой комнате, видя, слыша, чувствуя — каждый орган чувств настороже.

Прежде всего он осознавал загадочный взор своей матери. Видели ли те её глаза, или в какую плоскость существования проникал её пустой, темный взгляд — этого он не мог сказать. Её глаза, так глубоко запавшие в этом истощенном лице, были словно две дыры, сквозь которые человек может заглянуть во тьму за пределами жизни. Ему казалось, что для неё теперь ничего не осталось, кроме чувства человеческой смертности. Она не догадывалась о его мучениях. Нет, нет! Она все еще верила в его безопасность. Она слышала лишь звук его голоса, который для неё был безмятежностью. Возможно, она уже прошла через всё — даже любовь. Любовь, которая последней из всех уступит свои права на жизнь, сама любовь закрыла глаза, прошептала собственное благословение и угасла в её сердце. Несомненно, она была очень старой женщиной, и очень больной, и было благом, что ей предстоит умереть. Благословенна она была в своей простоте; и точно так же — очень просто, несомненно — без недоверия — пусть она уйдет из жизни.

Он оставит её сейчас. Он оставит её в этот момент, пока у него хватает мужества прямо смотреть ей в лицо. Её веки только что опустились; но она не умерла — лишь спала. Он всё ещё видел пульсирующую вену на её шее. «Ваша госпожа спит», — прошептал он слуге, и бесшумно исчез.

Вернувшись в свою комнату, он не пытался следовать курсу предписанной медитации, а бросился на кушетку и позволил своему страданию вести его куда угодно. Постепенно оно утихло. Днём ему удалось поговорить с матерью. Она была умиротворена, как он заставлял себя продолжать верить. Покидая её, он был счастливее, чем был какое-то время назад. И так день тянулся дальше.

Вечером, когда он сидел со своей книгой, пришла новость о том, что принц Даниял внизу. Да, всего мгновение назад Его Высочество провели в гостевую (слуга весь дрожал от волнения), и махараджа, его отец, настоятельно просил его немедленно спуститься вниз. Амар склонил голову, и некоторое время после того, как человек ушел, оставался сидеть на месте с лицом, на котором играла улыбка. У этой улыбки было много оттенков смысла; как замечание к ситуации она падала язвительнее всего, пожалуй, на него самого.

Внизу он обнаружил Данияла, сидящего на почетном месте в сопровождении двух своих придворных, тогда как старый раджа изрекал свои церемонные речи. Этим манерам (которые уже давно устарели) Даниял отвечал с достаточной любезностью, хотя было очевидно, что занято не всё его внимание. Его взгляды блуждали, а в глазах таился скрытый блеск веселья. Несомненно, подумал Амар, это отдаленное мерцание помогло ему заработать репутацию человека с чувством юмора. Казалось, будто он держит за пазухой какую-нибудь остроту. Однако вряд ли это был подходящий случай для того, чтобы её преподнести.

Когда все расселись, были поданы освежающие напитки, и обмен любезностями продолжался, главными ораторами выступали старый раджа и один из спутников Данияла, чья особая функция, казалось, заключалась в том, чтобы избавлять Принца от подобных ненужных хлопот. Теперь, наконец, впервые в жизни Амар получил возможность изучать Данияла вблизи. Он увидел симпатичного молодого человека среднего роста, светлокожего юношу с гладкой кожей, который производил впечатление совершенного физического благополучия. Возможно, бедра Данияла были немного широковаты; возможно, он был слишком пухлым для своих двадцати лет; его подбородок и рот, быть может, были чуть слишком полными в своём строении. Но эти несовершенства можно было считать незначительными; и, возможно, именно какой-то другой, более внутренний изъян напомнил Амару, что Даниял — сын Акбара от рабыни. Эта мысль, каково бы ни было её происхождение, стояла перед ним сейчас очень отчетливо, наполняя его размышлениями о девушке, которую он никогда не видел — той прекрасной особе, которая умерла при рождении Данияла — умерла менее чем через год после обретения скандальной известности, оставив неизвестным своё происхождение и родословную. Её красота, по всем сообщениям, была такого рода, какая может возникнуть только от необычного

смешения кровей. В умах многих почти не вызывало сомнений то, что она взяла откуда-то сильную персидскую струю; но более сведущие в этих вопросах пропускали это как несущественное и настаивали на том, что её самые заметные черты — чудесная поверхность, плотная текстура её плоти — давали несомненные указания на возможно далекое, но всё же преобладающее китайское происхождение.

Взгляд Амара покоился на Данияле серьезно, благосклонно; и никто (за исключением, возможно, Ситы или Хари) не мог догадаться, насколько усердно идет работа оценки за этим гладким лбом. Даниял, несомненно, обладал приятной внешностью и непринужденностью; он носил вид небрежной властности; он был таким красивым молодым принцем, какого только можно пожелать увидеть. Все краски и изгибы юношеского здоровья были при нём; безупречными были белки глаз и эмаль зубов, свежая кожа, а волосы блестели, как шерсть ухоженной лошади. Внимательная улыбка Амара, легкий наклон головы набок вполне могли быть восприняты как знаки одобрения, расположения, удовольствия от королевской снисходительности. И это было правдой, и даже больше, чем правдой: Амар был доволен; вот только его удовольствие было вовсе не такого рода, это было удовольствие хорошо удовлетворенного презрения.

Как именно это произошло? Сам Амар не смог бы сказать. Хотя он очень внимательно наблюдал за Даниялом, его чувство было построено отнюдь не на сознательной оценке. Оно было слишком быстрым, спонтанным и уверенным для этого. Осмотр был лишь подтверждением. И снова, стандарты Амара были настолько неотъемлемой частью его наследия, что он никогда по-настоящему не осознавал их применения при встрече с людьми. Всё, что он знал — так это то, что в присутствии Принца у него возникло немедленное впечатление вульгарности — или чего-то, во всяком случае, что из-за отсутствия лучшего слова приходилось называть вульгарностью. Жаль, что никакое другое слово не подходило, потому что изъян отражался на внешнем человеке столь смутно; это был изъян духа, сокровеннейшего духа — нечто такое, что выдавало себя прежде всего чувству нравственности.

Дальше Амар не желал углубляться. Ему подходило остановиться здесь; чувствовать то, что он чувствует, видеть то, что он видит; этим он был более чем доволен. Единственное, что беспокоило его сейчас — это ощущение собственной прошлой глупости. Боже правый! Подумать только, что он позволил своей гордости — даже поверхности своей гордости — быть задетой! Что ж, пусть это будет уроком; пусть он хорошенько отметит, что всё ещё подвержен тому, чтобы впечатлиться именем, оказаться обманутым —как и весь остальной мир — молвой этого самого мира. До тех пор, пока сам объект оставался вне поля зрения, он всё ещё мог быть одурачен его престижем.

Через несколько минут Принц поднялся на ноги и — к большому удивлению и удовольствию своего хозяина — попросил показать ему помещение. Правда, старый раджа не придавал большого значения своим вещам, но дом стоял таким, каким его сделали родители, и это придавало ему определенное место в его уважении. Так начался обход, и

прошло совсем немного времени, прежде чем Амар понял, что Даниял искренне заинтересован, вот только интерес этот был вовсе не того рода, какой представлял себе отец. Старик помнил, что Даниял является любителем искусств, и по тому, как Принц останавливался перед тем или иным предметом, он пришел к выводу, что в его доме действительно должны содержаться редкости, способные доставить удовольствие знатоку. Очень скоро по его приказу пыльный старый хлам начали вытаскивать на свет; мебель, громоздкая и гротескная во всех мыслимых отношениях, со скрипом вытягивалась из углов; и Даниял действительно смотрел на каждый предмет по мере появления с удовольствием, которое становилось всё выше и выше. Бросая живые взгляды через плечо на двух своих спутников, он громко заявил, что... никогда не обретет покоя, пока не обставит комнату в своем дворце точно так же, как эту. И он говорил правду, ибо одним из его развлечений было иллюстрировать изысканность своего вкуса, пародируя устаревшие моды.

Амар, держась на заднем плане, следил за этой сценой с видом серьезной и в то же время улыбающейся отстраненности. Видеть отца смешным означало бы опуститься самому до уровня, измеримо близкого уровню Данияла. Нет, то, что он видел, было Принцем, который выглядел столь плачевно, что Амар почти готов был его пожалеть.

Когда осмотр закончился, Принц приготовился уходить. Теперь он был в хорошем настроении и весьма любезно выразил сожаление, что состояние здоровья Рани не позволяет ему надеяться, что либо его хозяин, либо Амар захотят присутствовать на его званом ужине. Хари, однако, который в этот момент вошел в комнату, он пригласил.

Когда он ушел, старый раджа, еще более дрожащий, чем обычно, но при этом гораздо более бодрый и прямой, начал расхаживать по комнате с самым солдатским видом. Прекрасный молодой человек, — поклялся он; о да, можно было с первого взгляда понять, чей он сын. И это продолжалось до тех пор, пока ему не пришло в голову поспешить наверх в надежде застать свою добрую жену способной разделить его удовлетворение этим знаменательным событием.

Его уход оставил двоих других обремененными множеством мелких неловкостей. Чтобы избавиться от одной из них и показать Хари свою признательность, Амар вложил теплоту в свой тон и сказал: «Я знаю, кого мне следует благодарить за этот визит; я заметил вас сегодня утром из окна. В самом деле, мой дорогой Хари, это был величайший акт доброты».

Хари даже покраснел. «Не могу объяснить, почему я не сделал этого раньше. Принц проявил себя совершенно любезным».

После этого они продолжили говорить о Данияле, и хотя разговор имел полную видимость естественности, под поверхностью ощущалось значительное напряжение. Ничего из сказанного не было больше чем полуправдой; зайти дальше в любом направлении было бы, чувствовал каждый, опасным и трудным предприятием. Но соприкосновение с умом Амара (даже такого осторожного рода) имело эффект сосредоточения внимания Хари на «вульгарности» Данияла. Его ощущение её в прошлом

оставалось плавающим в подвешенном состоянии; капля кислоты из особой брезгливости Амара была необходима, чтобы осадить её.

Но если он получил что-то от чувствительности Амара, разве Амар ничего не получил взамен? Казалось, нет. Амар был доволен тем, что мог видеть собственными глазами. Он тщательно избегал говорить — но подразумевал — что после того, как увидел Принца сам, просто не может представить, как у кого-либо может возникнуть малейшая трудность описать его одним-единственным словом. Хотя кто его знает! Возможно, у других людей есть зрение, которое проникает глубже, чем его. Этот невысказанный комментарий Хари нашел чрезвычайно раздражающим; но он не очень-то мог возразить тому, что не было сказано.

Однако как раз в тот момент, когда они собирались расстаться, атмосфера внезапно изменилась. Они перешли к тому, что казалось по контрасту выраженной резкостью.

— Я думаю, что не пойду сегодня вечером на ужин к Даниялу, — объявил Хари без предупреждения.

— О! — Амар выразил свое удивление взглядом. — Почему же?

— Я не связан определенным обязательством.

— Но почему не пойти?

— Потому что мне не нравится этот молодой человек.

Амар издал тихий смешок. «Нравится? Конечно, тебе не нравится! Как иначе? С какой стати? Это всего лишь вопрос…»

Хари прервал его лающим нетерпением. «О, я знаю твои взгляды».

«Кажется, — бесстрастно заметил Амар, — вежливее будет пойти».

Немного стыдясь своей вспышки, Хари рассмеялся. «Что ж, хорошо! Я пойду».

Примерно за час до рассвета той же ночью Амар был разбужен слугой Хари, который ворвался в комнату с новостью о том, что его хозяин схвачен стражниками Данияла и взят под арест. Оказалось, что Хари обвинили в поведении, оскорбительном для Принца.

Амар испытывал крайнее раздражение и даже тревогу. Он встревожился за Хари; в основе этого дела могло лежать что-то серьезное: желчь ревности — опасно проявленная — со стороны Хари; или же враждебность разбуженного подозрения со стороны Данияла. И потом, ему нужно было подумать о собственном положении. Неприятность такого рода способна напрячь отношения всех заинтересованных сторон. Ему определенно не принесет пользы бросаться на защиту Хари, а именно это он теперь и должен был сделать.

Готовясь отправиться в лагерь Данияла, он ломал голову над бесплодными догадками; мысль о том, что грубость Принца по отношению к его отцу могла помочь навлечь эту беду, лишь разжигала его раздражение. Не теряя времени, он предстал перед Королевским Шатром, и хотя Принц не отказался встретиться с ним, он отказался от всякого обсуждения, отослав его к двум своим придворным, с которыми его увели. На протяжении всех последующих переговоров эти двое молодых людей выступали посредниками, и они себя показали крайне некомпетентными, самодовольными и глупыми. Длинная, утомительная комедия взаимных упреков, объяснений и извинений (извинения были все придуманы Амаром, ибо Хари оставался угрюмым и непреклонным) разворачивалась в течение всего утра. Час проходил за часом, наконец полдень наступил и миновал, а дело всё оставалось нерешенным. Показательной для абсурдности происходящего стала та деталь, что Амар так и не услышал, из-за чего именно возникла эта неприятность, и не прояснил для себя, каким именно образом Хари нанес оскорбление. Тем не менее, в конце концов, его добрые услуги увенчались успехом; он смог сообщить Хари, что Принц пошел на уступки настолько, что согласился отправить его под конвоем в Агру, где тот будет содержаться до дальнейшего рассмотрения его дела. «Ты отделываешься очень легко, — продолжил Амар, — поскольку, хотя формально остаешься под арестом, тебя разместят во дворце, а твоим тюремщиком будет наш добрый друг Нарсинг. Кроме того, мне дали понять, что через пару недель тебе сообщат, что принц Даниял милостиво принял твои извинения и даровал прощение». Он говорил тоном усталости и досады, и Хари, хотя и нахмурился при слове извинения, нашел в себе благородство выразить благодарность. Через несколько часов он отправился под конвоем в Агру.

XX

Спустя несколько дней Хари вновь стоял, облокотившись на балюстраду Большой террасы в Агре. Во время своего пребывания во дворце перед отъездом к Гокалу в горы он досконально изучил раскинувшийся внизу широкий, опалённый зноем пейзаж; он часами смотрел на него, пока его сердце невыносимо болело из-за Лалиты. Теперь же сельская местность выглядела по-иному под покровом зелени, и чувства Хари к Лалите тоже изменили свой оттенок.

День за днём, спускаясь с гор, он ехал верхом, глубоко погружённый в меняющееся общество своих мыслей. Они держали его в непрерывном забытьи, от которого не смогло пробудить даже прибытие в Агру. Смутно он заметил, что базары, прежде такие людные и шумные, теперь сравнительно тихи; очевидно, это место потеряло половину своей жизни с отъездом Императора из Фатехпур-Сикри. К тому же начался сезон дождей, но он мало помог умерить жару; на улицах люди безучастно слонялись у своих дверей; а у больших дворцовых ворот вместо обычной толпы был только привратник со своим стражником.

Его грёзы продолжались, пока позади не раздался шаг и не прозвучал голос Нарсинга. Тон был бодрым и сердечным, но, подумал Хари, если только вечерний свет не обманывал его, лицо мужчины осунулось и постарело. Это едва ли казалось возможным за столь короткий промежуток времени, и всё же — да, усталость тянула вниз эти тяжёлые черты; и вскоре, словно уступая правде, Нарсинг позволил своему тону измениться; он издал глубокий вздох и сказал: «Боюсь, ты найдёшь здесь немного веселья; как и не найдёшь во мне очень жизнерадостного спутника. Нет, Хари Хан, я не в себе. Я уныл. Уныл, — добавил он в сторону, — но отнюдь не умиротворён».

Пока они стояли там, солнце скрылось за облаками, и вдали прокатился раскат грома. Хари ожидал, что его расспросят о Данияле, но то ли из осторожности, то ли из безразличия Нарсинг оставил эту тему в покое. Его разум, подобно телу, казался расслабленным. Он вытер лоб; он тяжело дышал; его замечания о текущих делах были мрачными и путаными. Через некоторое время Хари прервал его, чтобы осведомиться о Мабуне; и тут Нарсинг выразительно всплеснул руками и пожал плечами. Мабун — пусть никто не ошибается! — стал теперь важной персоной, человеком высокого достоинства; ему оказали столько почестей, что ныне он занял своё место среди великих людей страны. «Ну и смекалка у этого малого!» — воскликнул он напоследок. «Он, кажется, знает всё. Он заставляет меня чувствовать себя ребёнком».

Они всё ещё обсуждали эту тему, когда он сам появился. На лице его была сияющая улыбка, голос звучал так же чётко, как всегда, жесты не утратили ни капли живости. Хари был рад проявленному к нему радушию, ведь во время своего прошлого пребывания во дворце он успел проникнуться симпатией к Мабуну. Тот без малейшего промедления начал расспрашивать его о «той небольшой истории с Принцем»; но Хари, помня, что Мабун состоит в весьма хороших отношениях с Даниялом, уклонялся от прямых ответов со смехом.

В последующие дни дождь шёл непрерывно, и он бесцельно бродил по дворцу, снедаемый беспокойством и недовольством собой. Ни Нарсинг, ни Мабун не появлялись: Нарсинг лежал в лихорадке, а Мабун — гласило послание — был занят неотложными государственными делами. Наконец, в один из тусклых, угрюмо-жарких полудней, Хари приказал подать лошадь и, дав честное слово, получил разрешение отправиться на прогулку верхом в одиночестве. Инстинктивно он повернул голову коня в направлении Королевских охотничьих угодий и, достигнув леса, свернул на тропу, ведущую к заброшенной охотничьей сторожке, где он впервые встретил Гуневати. Пока он ехал, память и воображение оживляли сцену, и любопытство увидеть это место снова росло с каждой минутой. Какой унылый вид будет иметь дом под этими серыми небесами! В мысленном взоре он видел его стоящим промокшим и покинутым посреди зарослей сорняков. К этому времени сорняки и лозы, воображал он, должно быть почти полностью поглотили его.

Дважды сбившись с пути, он добрался до того места, которое принял за искомое; и всё же ему по-прежнему казалось, что каким-то образом он должен ошибаться. Если это была та самая поляна, куда делся бунгало? Прошло несколько мгновений, пока он стоял, уставившись в одну точку; затем он пришпорил лошадь, пока не доехал до обугленных камней с кусками обгоревшего дерева, лежащими то тут, то там среди них. Это, очевидно, было всё, что осталось от строения. Прогнав лошадь взад и вперед, чтобы отпугнуть змей, он принялся осматривать землю. Было вполне разумно предположить, что там могло что-то остаться — например, какие-нибудь металлические обломки. Возможно, в глубине его сознания таилась фантастическая мысль, что он может наткнуться на остатки хлыста Лалиты. Но он не нашел ничего; и через некоторое время он сдался, снова сел в седло и поехал дальше.

Вскоре он проезжал мимо павильона Гокала, а затем вошел на ту самую тропинку, по которой он так часто ходил с таким нетерпеливым сердцем всего несколько месяцев назад. Те дни теперь казались очень далекими, и дожди изменили облик каждого куста и дерева; но сам маленький бунгало выглядел точно так же, за исключением того, что его деревянные стены потемнели от дождя, а ветви теперь покрытых листвой деревьев, казалось, обнимали его еще теснее. В нем появился какой-то потаенный вид. Привязав лошадь к сломанному забору, он попробовал дверь и без труда сумел ее распахнуть. Комната, в которой они с Лалитой обычно жили, была по его собственному приказу разобрана, и теперь она была пуста. Он не почувствовал никаких эмоций, оглядываясь вокруг; более того, он не мог не задаваться вопросом, какой импульс привел его сюда. Заметив на одной из стен какие-то отметины, он прошел по скрипучему полу и увидел, что кто-то обвел охрой фигуры мужчины и женщины. Рисунок был непристойным, и когда он рассматривал его, его поразила мысль, что, возможно, в этом был намерение портретного сходства. Пылая от гнева и отвращения, он отвернулся и вышел из дома.

На обратном пути он был поглощен похожими на сон размышлениями, отправной точкой которых были сгоревший охотничий домик и непристойный рисунок. Чья рука сделала это? И следует ли придавать этому какое-либо значение? Вероятно, нет. И все же каждый человек идет по миру неуслышанных голосов и невидимых глаз; каждый человек тащит за собой по жизни незамеченную паутину наблюдений и комментариев, которая иногда решает его судьбу.

Не замечая, что он делает, он остановил лошадь перед домом Гокала, спешился и сел на ступеньки террасы. Его глаза невидяще уставились на озеро. Когда он в следующий раз осознал свое окружение, то заметил, что воздух жутко неподвижен; ни один лист не шевелился нигде; царило странное отсутствие всякого звука. Его лошадь, казалось, тоже чувствовала эту странность; она стояла, не вздрагивая и не дрожа, низко опустив голову.

«Я один в мире, — подумал Хари, — и каждый человек навечно одинок». Ощущение одиночества было всепоглощающим, и вдруг в его голове всплыли слова мудреца: «Религия — это то, что человек делает со своим одиночеством». В этот момент он не мог

ничего сделать со своим одиночеством; оно было слишком всепоглощающим. Поэтому он вскочил, бросился на лошадь и поехал дальше.

На следующий день было слишком сыро, чтобы ехать верхом, и после обеда он решил, что гордость не должна помешать ему взять инициативу в свои руки и навестить Мабуна. Пройдя в дальнее крыло, предназначенное для государственного чиновника и его деятельности, он получил доступ в небольшой личный кабинет Мабуна; и там его хозяин, несмотря на давление своих дел (Хари теперь сам видел, что это оправдание вполне реальное), принял его так радушно, что он был воодушевлен прийти снова. Он нанес еще несколько таких визитов в течение следующих двух недель; но он по-прежнему оставался в неуверенности, насколько можно доверять Мабуну, и с нетерпением ждал возвращения Шрилаты в Агру, чтобы расспросить ее о нем. Ему не пришлось долго ждать, так как Шрилата, не любившая деревенскую жизнь, всегда возвращалась в город раньше всех остальных. Они встретились, как обычно, в саду за ее домом, и она тут же призналась, что сгорает от величайшего любопытства услышать, что на самом деле произошло на том злополучном званом ужине. Он может довериться ей, сказала она, что она не разболтает; и, конечно, было чрезвычайно важно, чтобы истории не распространялись, дабы Даниял, почувствовав, что задето его достоинство, не стал по-настоящему мстительным.

Хари еще никогда не был так рад оказаться в сочувственной компании Шрилаты, но званый ужин не был темой, о которой он хотел говорить с кем-либо. «Ради всего святого, — воскликнул он, — давай оставим это жалкое дело в покое! Что ты хочешь, чтобы я сказал — кроме признания, что я вышел из себя?»

— Но *почему* ты вышел из себя?

— Я действительно не знаю.

—О, чепуха! И в любом случае — что ты *сделал*?

«Ну, — и он пожал плечами, — настал момент, когда я больше не мог выносить эту компанию. Поэтому я встал, чтобы выйти из комнаты — но, к сожалению, у меня на пути стояли два-три глупца».

— Понятно, — бесцветно сказала Шрилата.

Наступила пауза, во время которой Хари, казалось, копался в памяти; но из этого ничего не вышло; всё, что он сказал в конце концов, было: «В любом случае, скоро всё это уляжется».

Шрилата выглядела встревоженной. «Я так понимаю, ты проникся сильной неприязнью к Даниялу».

— Признаю, да.

Шрилата промолчала; и её молчание довольно ясно сказало ему о том, что она думает: он ревновал к Даниялу; вот в чём была беда.

Что ж, его вполне устраивало оставить всё как есть. Тем не менее, чувствовал он, нельзя оставаться совсем безмолвным. «Это вопрос личности. Полагаю». Он бросил это с некоторым недовольным видом. «Или можно назвать это вопросом вкуса. Даниял и его друзья оказались противны моему вкусу. Звучит не очень важно, я знаю; но ты можешь видеть, я уверен…»

То, что увидела Шрилата, заключалось в том, что он не склонен вдаваться в подробности, и у неё не было намерения давить на него. Возможно, он обиделся на какое-то упоминание (это могло быть пренебрежительное замечание, ведь она знала своего Данияла) о принцессе Лалите. Уважая его сдержанность, она также была ею отчасти обеспокоена. Когда мужчина немногословен о своих прошлых глупостях, причина часто заключается в том, что он питает намерение их повторить. Перед тем как откланяться, кроме того, Хари добавил ещё один оттенок её опасениям; он спросил её мнение о Мабуне: «Насколько этому славному малому можно доверять? Вот что я хочу знать», — сказал он.

— Не больше, чем мне! — ответила она со смехом, и её ответу предшествовала довольно многозначительная пауза.

— Конечно нет; я это знаю. Но всё же — в разумных пределах, полагаю? На секунду он, казалось, глубоко задумался. — Он действительно — в глубине души — такой друг Данияла?

— Да, конечно. По крайней мере, у меня нет оснований думать иначе.

Она произнесла это с большой решимостью, и ей показалось, что Хари позволил её словам обрести полный вес. Но с ним никогда не знаешь…. О чём, гадала она, он может размышлять сейчас? После того как он ушёл, она подняла брови и вздохнула.

Увидеть Мабуна лишённым его очаровательных манер, увидеть его в будничной одежде — давно хотелось Хари. Способ сделать это пришёл ему в голову на следующее утро; поэтому он надел какую-то очень старую одежду и обошёл заднюю часть дворцовых построек, где обычно собиралась небольшая толпа, ожидающая аудиенции у великого человека… Смешавшись с рядовыми людьми, он был должным образом допущен в приёмную, а оттуда, когда спина дворецкого была повёрнута, проскользнул в огромный зал, в дальнем конце которого Мабун вёл дела. Стоя среди нескольких мужчин, которых вызывали одного за другим для допроса, он вперился взглядом через комнату в происходящее. Зрелище завораживало. Эти быстрые маленькие жесты Мабуна, прищуренные глаза, брошенный взгляд, разум, который, как видно, определял точку зрения. С какой скоростью работал этот ум! Никогда не было момента, когда мысль Мабуна не опережала бы намного мысли всех остальных. Теперь вдвойне стало ясно, что среди равных себе по положению он по привычке делал всё возможное, чтобы скрыть своё

преимущество; но здесь он был беспощаден; он резко обрывал собеседника; его малейшее слово имело ужасающую остроту. Двух-трёх минут, как правило, хватало на каждого мужчину; когда разговор затягивался дольше, он взвешивал не только речь, но и самого говорящего, и тогда иногда становился неторопливым, почти обходительным; его голова понимающе кивала, веки опускались. Но после паузы эта манера слетала; он выпрямлялся, и несколько отрывисто брошенных слов отправляли человека заниматься своими делами бодрым шагом.

Наконец, насмотревшись вдоволь, Хари протолкнулся сквозь передний ряд зевак и стал ждать момента, когда глаз Мабуна упадёт на него. Это произошло достаточно скоро, и резким движением удивления экзаменатор сделал паузу; затем, вскоре отпустив стоящее перед ним существо, он поспешил через зал. «Хари Хан, какая честь занесла вас ко мне?» Хари рассмеялся и пробормотал что-то неопределённое, но в долгом, улыбчивом взгляде, которым он уставился на Мабуна, несомненно, было что-то передано. Во всяком случае, наступила пауза, краткий интервал, в течение которого Мабун, казалось, регистрировал новое указание. Его манера, которая при приближении обладала всей своей обычной жизнерадостной учтивостью, снова натянулась, но уже по-другому. Перед Хари был не человек общества и не деловой человек, а кто-то ещё.

— Дайте-ка подумать, — его взгляд скользнул по комнате, — думаю, теперь я могу прерваться. Да, если вы извините меня на одно мгновение, Хари Хан…

Он поманил помощника и отдал распоряжения. «Вот, теперь я готов. Следуйте за мной, пожалуйста. Я к вашим услугам». И он направился к выходу из зала через боковую дверь.

Они прошли по нескольким коридорам в направлении того крыла, где Мабун имел обыкновение принимать его. Манеры Мабуна были серьёзными, с особой торжественностью, которую Хари никогда прежде не видел на нём; более того, казалось, он размышлял о чем-то очень сложном Пройдя немного, он остановился. Казалось, решение созрело; он замер у окна и при его свете подверг Хари дружескому, но проницательному осмотру. «Да, — произнёс он наконец, — думаю, мы вполне можем поговорить здесь». Сделав несколько шагов по другому коридору, он отпер небольшую дверь и, слегка улыбнувшись, велел Хари войти. «Я присоединюсь к вам, — сказал он, — через десять минут».

Комната, в которой оказался Хари, была небольшой, удобно обставленной, но плохо проветриваемой; и это сразу же привлекло его внимание к тому факту, что окна находились так высоко над землёй, что снаружи никто не мог заглянуть внутрь. Как только дверь закрылась, он начал оглядываться по сторонам. Он ощущал волнение, которое шло глубоко, но было хорошо под контролем. Он знал, что собирается пренебречь предостережением Шрилаты. В конце концов, о человеке нужно следовать собственным инстинктам; а вид работающего Мабуна каким-то образом привёл его к решимости. Пока он осматривался, умышленный выбор этой маленькой комнаты со стороны Мабуна стал

стимулом для его любопытства. Книги и музыкальные инструменты лежали повсюду, а в одном углу стояла кальянная трубка с ещё тлеющим табаком в чаше. (Это было странно, пожалуй, ведь Мабун не курил.) На столе в противоположном углу лежал предмет, обернутый шёлком. Перед ним Хари замер, а затем внезапно схватил его. Его пальцы пробежались по шёлку, ощупывая то, что находилось под ним; затем он развязал шёлковый шнурок, снял покров и явил свету именно то, чего уже начал ожидать — хлыст Лалиты для верховой езды.

С минуту или две он стоял там, глядя прямо перед собой и улыбаясь себе. Затем он взмахнул хлыстом в воздухе и тихо рассмеялся. Безусловно, было очень тактично со стороны Мабуна дать ему десять минут на размышления. Но десять минут, десять дней или десять лет — всё едино! Был ли Мабун тем человеком, за которого он его принимал? Всё зависело от этого.

XXI

— Ну! — сказал Мабун, бодро входя. — Надеюсь, мой дорогой Хари Хан, вы нашли чем себя занять в моё отсутствие? А! — воскликнул он, его улыбка расширилась, — я вижу, что нашли.

Хари всё ещё стоял на том же самом месте, и хлыст всё ещё был у него в руках. Взмахнув им по воздуху ещё раз, он бросил на Мабуна долгий, ровный взгляд; а улыбка с его стороны была вопросительной.

— Очень прекрасный камень там — в рукоятке, — заметил Мабун с едва заметным ехидством.

— О, очень!

Веселье отразилось на обоих лицах, и Мабун с подчеркнуто дружеским оттенком учтивости пригласил своего гостя сесть. Он сам сел на ту же самую диван-кровать, лицом к нему и совсем близко.

— Мой дорогой Хари Хан, — и его тонкая рука вспорхнула, чтобы успокаивающе коснуться колена Хари, — я собираюсь объяснить всё как можно быстрее. Вы ни в коем случае не должны быть смущены. Ваши секреты находятся в полной безопасности у меня.

Хари кивнул. Хотя у него, безусловно, были все причины для смущения, то, что он испытывал в данный момент, было скорее чувством ликования.

— Кстати, мне придётся рассказать вам немало своих собственных секретов, — продолжил Мабун. — Счастье, что мы можем доверять друг другу, потому что, как вы увидите, наши пути сошлись, и нам суждено идти бок о бок. Теперь, прежде всего, послушайте это: принц Даниял мне не друг.

При этом — столь быстром и недвусмысленном подтверждении его подозрений — Хари чуть не вздрогнул; по крайней мере, он достаточно проявил свои чувства, чтобы Мабун улыбнулся и сказал:

— Да, это важно, не так ли? — Небольшая пауза подчеркнула слова, прежде чем он продолжил: — А теперь, друг мой, кое-что еще: последние три года я был занят плетением сети, в которую можно поймать Принца; и, наконец, моя сеть, как мне кажется, достаточно крепка, чтобы удержать его. Последние три года, Хари Хан, я изучал своего человека; все его выходы и входы были под наблюдением. Задача была нелегкой, потому что было бы фатально, если бы Принц заподозрил неладное. А он хитер... О, всегда принимает меры предосторожности! Никогда не теряет бдительности! Например, в вечер вашего прибытия в Агру (Ах, как хорошо, вы и я, мы помним тот вечер, Хари Хан!) он ускользнул от моих агентов. Когда они снова напали на его след, он оправлялся от легкого несчастного случая — легкого несчастного случая, Хари Хан, легкого несчастного случая! — и глаза Мабуна весело блеснули. — Его сбила с ног лошадь и оглушила. Как вы можете себе представить, я приложил все усилия, чтобы докопаться до сути этого дела, и в конце концов обнаружил, с каким поручением он был связан. Мой дорогой Хари Хан, позвольте мне признаться, что я был охвачен полнейшим изумлением! Принц в роли Вамачари, это было немыслимо! Как мы знаем, у него нет вкуса к женщинам; еще меньше его можно заподозрить в религиозном фанатизме. И все же — ошибки быть не могло! Предлагается только одно объяснение: он искал новых ощущений. Это было бегство от скуки, от вечной скуки, в которой он вечно заключен. Ах! — пробормотал Мабун после минуты кажущихся раздумий, — да не познаем ни вы, ни я, до какого ада скуки может опуститься человек!

— Это открытие было самым важным из всех, что я сделал до сих пор. Я продолжал продвигать свои расследования во всех направлениях; я заново допросил всех свидетелей, до которых мог дотянуться; я не оставил камня на камне. Больше ничего не всплывало на поверхность, пока один из моих людей не принес мне тот хлыст. Он нашел его в соломенной крыше хижины, в которой жила та девушка, Гуневати. Когда я увидел драгоценный камень в рукоятке, я сразу же узнал, из чьей руки упал хлыст. Я отдал приказ следить за принцессой Лалитой, и через несколько дней, конечно же, я знал все. — Мабун мягко рассмеялся. — Тогда я узнал, на какую козу вы охотились в горах; я мог проследить ход ваших мыслей в тот роковой вечер пять месяцев назад. О, вы были очень умны, сбив нас всех со следа! Позвольте мне поздравить вас, Хари Хан, с *этим*; и еще больше — если я могу сделать это без дерзости — с вашим любовным романом — ибо, поистине, принцесса очень очаровательна — но больше всего, больше всего, мой друг, я хочу поздравить вас с этим: судьба, через меня, вкладывает в ваши руки великую власть; мы с вами, вместе, мы можем навести смуту на принца Данияла; мы можем уничтожить вашего соперника и обезопасить будущее Империи.

Весело рассмеявшись собственному красноречию, Мабун вскочил на ноги; и непритворное волнение заставило его легко порхать по комнате. Напротив была ниша, и

так характерно было для этого человека, что даже в этом танце ликования он остановился, чтобы заглянуть за занавес, висевший над ней, как будто никогда нельзя быть слишком уверенным в своем уединении. Хари никогда не видел его ни в одном обличье, хоть отдаленно напоминающем это. Перед ним был настоящий Мабун, обрадованный махинатор, пылкий заговорщик, энтузиаст интриг.

Через минуту он вернулся, и приглушенным от собственной интенсивности голосом принялся излагать и объяснять. Все говорило о том, что гнев Акбара против тайных сект достигает своего апогея; с большой пышностью и церемониями он только что возвел Принца в сан Верховного Жреца в Дин Илахи; заряд готов; так что теперь нужна искра, искра!

Хари слушал, действительно внимательный, но, казалось, наполовину ошеломленный. Минуты проходили; прошел еще час; а беглость речи Мабуна оставалась прежней. Было любопытно, что за все это время поведение Хари не изменилось. Он сидел там тяжело и почти не проронил ни слова.

Наконец, после поистине великолепной заключительной речи, представление было окончено; сверкающий, искрящийся поток красноречия Мабуна иссяк, или, вернее — таким резким был его спуск к безмятежности — создавалось впечатление, что кран внезапно перекрыли. Вздохнув — не слишком глубоко — оратор расслабился, казалось, подвел итог своим результатам, и его мягкая улыбка признала, что они не вполне удовлетворительны. Что ж, не стоит пока отчаиваться! Он снова собрался с силами, но очевидно для эксперимента в другом направлении. Он снова положил руку на колено Хари, маленькую коричневую руку, очень похожую на обезьянью, и тихим голосом сказал: — Хари Хан, я вижу, что вы все еще недоверчивы. Но почему, спрашиваю я, вы не полагаетесь немного больше на свое понимание характера? Разве меня так трудно понять? Что касается меня, я доверяю своему пониманию, и поэтому я говорю с вами без страха. О да, как же мне не знать вас, ведь мне нужно всего пять минут с человеком. Позвольте мне указать на это, Хари Хан: в мире есть огромная разница между суждением о характере и суждением о лжи. Все люди лгут; и почти любой дурак может лгать достаточно хорошо, чтобы обмануть даже умного человека. Но с характером все иначе. Человеку очень трудно скрыть то, чем он является на самом деле. О, *я* знаю *вас* достаточно хорошо, мой дорогой Хари! И когда я говорю, что знаю человека, я имею в виду, что знаю, о каких вещах он готов лгать, каким людям он будет лгать и какие причины у него будут для этого. Мало кто лжёт совершенно без причины, и в большинстве случаев причины веские. Так много людей просят, чтобы им лгали, и не заслуживают ничего лучшего. Видите ли, ложь требует двоих; и глупость, или предубеждение, или самомнение одной из сторон делают ложь необходимой. Хари Хан, вы человек, которому определённая ложь была бы крайне отвратительна. Но есть в мире вещи поважнее правды, мой друг! А иногда брезгливость — это грех. Разве не так? — Лишь на краткий миг он сделал паузу. Было очевидно, что он вовсе не желает ответа. — Вы ждёте

новых доказательств моего доверия к вам? Что ж, хорошо; вы их получите! Вы их получите! Но разве не пора вам открыться мне — хотя бы немного — взамен?

В конце этой странной тирады Мабун тихо рассмеялся, глядя при этом глубоко в глаза Хари. Трудно было представить себе что-то более располагающее, и Хари улыбнулся и неловко пошевелился, словно слишком остро осознавая свою угрюмость.

— Мабун Дас, — сказал он наконец. — Задавайте какие угодно вопросы. Я не откажусь на них отвечать.

Мабун начертал лёгкий жест в воздухе. — Зачем мне вас выспрашивать, мой друг? Разве *вы* не лучший судья того, что мне следует знать? Могут быть вещи, которые я хотел бы услышать; могут быть вещи, которые мне не положено слышать. Вы не дурак, Хари Хан. Вы догадались, что я не друг принца Данияла; иначе зачем бы вы пришли ко мне сегодня утром?

— Да. Я догадался об этом.

— Именно так.

Хари сжал губы. — Простите меня! Меня не интересуют политика.

— Друг мой, — медленно произнёс Мабун, — если вы замешаны, значит, замешаны. Но зачем утруждать себя политической стороной дела. Оставьте это мне. Пусть этот вопрос останется в вашем сознании как личный. — Он помолчал. — Пусть это будет просто вопрос… — он снова сделал паузу и наклонился вперёд с очень яркими глазами, — …вопрос о том, чтобы поставить свой каблук на шею кобре.

Хари подумал и наконец кивнул. — Очень хорошо. Что дальше?

— Прежде всего, — решительно сказал Мабун, — вот происходит эта ваша ссора с Принцем. Вы должны дать мне понять вашу позицию.

Хари встал и потянул затёкшие конечности. — Не знаю, поймёте ли вы меня, — сказал он тихим голосом; — но даже сейчас я совершенно не уверен в том, каковы мои настоящие чувства к Даниялу. Когда я говорю, что ненавижу его, не упрощаю ли я свои чувства? Принц, даже будучи мальчиком, вызывал моё восхищение. И на днях я обнаружил, что его личность действует на меня как вызов. Я знаю, что он храбр. Он готов следовать своей порочности, куда бы она его ни привела.

Стоя перед Мабуном, он посмотрел вниз на его лицо и задумчиво нахмурился. «Полагаю, вы хотите услышать о том званом ужине?» В голосе прозвучала интонация, от которой Мабун внутренне улыбнулся. Он тоже, как и Шрилата, хорошо знал своего Данияла и с готовой тактичностью принялся помогать собеседнику выпутаться. Тот ярко освещённый шатёр и те двадцать или тридцать молодых людей, по большей части напудренных и надушенных — как живо он мог это представить, размышлял он вслух. Он в

своё время присутствовал более чем на одном таком сборище. Но для Хари это наверняка был новый опыт — и не самый приятный? О нет, на самом деле довольно тошнотворный… Эта болтовня, эти жеманные манеры, эти повадки *щеголя* и *кокетки* вместе. Насмешливое удовольствие, которое они находили в мелких непристойностях друг друга! Да-да, он вполне мог видеть, как нетерпение Хари, его отвращение должны были постепенно достичь точки кипения; но — как же наступил кризис? Что, собственно, произошло?

Смесь любопытства и сочувствия в манере Мабуна была поистине до смешного интенсивна; и Хари громко рассмеялся; это был смех, огрубевший от вызванных воспоминаний. «Я расскажу вам в точности, что случилось, а вы рассудите, было ли у меня какое-либо оправдание потере самообладания. Поздним вечером некий светловолосый юноша, сидевший за столом рядом с Даниялом, вышел из комнаты и вскоре вернулся одетым в женское платье. Снова усевшись рядом с Даниялом, он принялся изображать принцессу Лалиту в её речи и манерах. Даниял, очевидно, был подготовлен к развлечению, ибо поддержал розыгрыш. Он принял участие в сцене, лаская это существо и обращаясь к нему “Лалита, дорогая”».

Высказавшись, Хари ждал комментариев Мабуна; но их не последовало. Впервые в жизни Мабун испытывал отвращение — или, во всяком случае, обладал тактом сделать вид, что испытывает. На приличный промежуток времени он отвернул голову; затем, отбросив неприятные образы в сторону: — «В докладе, — сказал он нарочито ровным голосом, — в докладе говорилось лишь о том, что вы вели себя оскорбительно по отношению к Принцу. Я хотел бы спросить: что именно вы сделали?»

Хари повторил то, что говорил Шрилате. «И это вся история».

— Вы не сказали ни слова кому-либо?

— Я вообще ничего не сказал.

Мабун кивнул и закрыл глаза. «То, что нам нужно рассмотреть, это действовал ли Даниял со специальной целью заставить вас выдать себя. Я имею в виду, есть ли у него какие-то подозрения? Меня немного удивило, признаюсь, при вашем прибытии сюда, что я не получил от него частного письма. Вы должны помнить, что он считает меня своим личным другом».

Последовавшее молчание было тяжёлым. Глаза Мабуна были пристально устремлены на Хари, но даже в своей неподвижности они, казалось, сверкали. Хари начал медленно ходить взад-вперёд по комнате.

— Что ж, посмотрим! — выговорил наконец Мабун. — Приказ о вашем освобождении уже немного запаздывает. Если он не поступит в ближайшее время…

Хари издал короткий смешок и продолжил расхаживать взад-вперед. Он понятия не имел, как долго они с Мабуном пробыли запертыми вдвоём, и его взгляд скользнул к

двери. Не дожидаясь дальнейшего намёка, Мабун поднялся на ноги, и кратко они договорились возобновить разговор следующим утром. Совершенно не осознавая, что всё ещё держит хлыст Лалиты в руке, он уже собирался покинуть комнату, когда Мабун положил удерживающую руку ему на плечо.

— Вы берёте этот хлыст с собой, мой друг?

Хари разразился смехом.

— О, Хари! Хари! — И Мабун, покачав головой, твёрдо отвёл его от двери. — Скажите мне! с момента вашего ареста вы, надеюсь, не имели никакой связи с Принцессой?

Хари покраснел. — Имел. Я послал ей слово предупреждения. Как я мог воздержаться?

— Предупреждения?

— Конечно. Я сказал: “Выходите замуж за Принца, если хотите, но знайте вот что…”

— Это было опрометчиво.

— Я принял все меры предосторожности.

— Вы не можете даже рассчитывать на то, что она уничтожит ваши письма.

— Думаю, могу.

Мабун сделал нетерпеливый жест. — Если мы собираемся быть соучастниками заговора, мой дорогой Хари…

— Соучастники заговора — довольно сильное слово, не так ли, Мабун?

— Зачем вы притворяетесь нерешительным? Я знаю вас как смелого человека.

Хари пристально посмотрел на Мабуна. — Чего именно вы от меня ожидаете?

— В первую очередь — осмотрительности, осторожности.

— А затем?

Мабун улыбнулся и пожал плечами. — О, всего лишь вашего свидетельства, вашего свидетельства. Ничего более “политического”, чем это!

Хари помолчал и задумался. — Интересно, — сказал он задумчиво, — интересно, почему вы так сильно ненавидите Принца?

— Ваше удивление не очень лестно, — рассмеялся Мабун; — но, по сути дела, Принц для меня ничто. Я работаю ради благосостояния Империи.

Хари принял это молча.

— Акбар скоро умрет. Астрологи предсказали это. Нежелательно, чтобы ему наследовал принц Даниял. Можете ли вы в этом сомневаться, Хари Хан?

Хари пожал плечами. — Что касается меня, я не претендую на беспристрастность. Но этот вопрос о нашем будущем правителе важен; и я бы подумал, что такой человек, как вы, свободный от личных предубеждений, вполне мог бы отдать предпочтение Даниялу. У него, во всяком случае, есть разумность; тогда как его брат, скорее всего, поставит всю Империю вверх дном.

Услышав эти слова, Мабун отошёл на несколько шагов и окинул Хару взглядом сузившихся глаз, полным глубочайшего раздумья. Затем внезапно он начал говорить с необычайной серьёзностью и плавностью. «Я объясню. Внимательно выслушайте меня, прошу. Вот мои причины предпочитать принца Салима Даниялу. Даниял состоит в союзе с Мобареком, а то, чему служит Мобарек, нехорошо. Этого маленького перса называют мистиком, — и Мабун пренебрежительно щелкнул пальцами, — но он также типичный церковник. У него есть видение объединения светской и духовной власти в этой земле. Его разум ослеплён великолепием византийского священства в зените его славы. Он авторитарен; его идеал — жёсткая иерархия. Он видит в кастовой системе, в привилегированном положении брахманов готовый механизм… а в Императоре находит человека, наделённого престижем, могуществом и, возможно, честолюбием, способного сделать осуществимой его схему. Вот кто такой Мобарек! И если хоть один человек способен воплотить эту его мечту в жизнь, то это Акбар. Но Акбар всегда будет Акбаром, живым человеком, индивидуальностью, а не безликой марионеткой, бесстрастным символом всемогущей Церкви. После Акбара должен быть Даниял, потому что Даниял готов потакать этим замыслам. Представьте себе Священную Индийскую Империю с Императором-Папой во главе! И представьте Императора-Папу в лице Данияла, развращенного юноши, окружённого евнухами и катамитами; живого идола с нарумяненными щеками, которого будут выставлять напоказ с церковной пышностью перед простёртыми ниц подданными раз или два в год. Такое положение позабавило бы Данияла; оно привлекло бы как его цинизм, так и любовь ко всему показному и яркому. Лучшую часть своего времени он проводил бы в уединении невероятной роскоши, развлекаясь легко, в стиле своего круга, музыкой, искусством, литературой и — содомией. Всё почти в его нынешнем стиле, но без всяких ограничений… и не испытывая нужды в деньгах».

Хари тупо смотрел на Мабуна; поток его слов был совершенно сокрушителен. Мабун отступил на несколько шагов назад и ехидно усмехнулся.

— Прежде чем вы уйдёте, — сказал он, — позвольте мне предельно ясно изложить свою позицию. Я тайный сторонник принца Салима.

Взгляд Хари продолжал вопрошать.

— Я имею в виду, — сказал Мабун с ещё одним оттенком нетерпения, — я имею в виду, что я плету интриги вместе с Салимом против престола Акбара — если это окажется необходимым. Боюсь, что это может произойти, и довольно скоро. Есть опасность, что Акбар раздробит Империю собственными руками прежде, чем умрёт, или что при смерти он передаст её Даниялу. Ни одна из этих катастроф не произойдёт, если я смогу этому помешать. Если только Акбар не вернётся к здравому смыслу, если только Даниял и Мобарек не будут опозорены и изгнаны, Салим должен взойти на престол. Теперь вот вам моя позиция вкратце; я признался во всём; я доверился вам без утайки. Пожалуйста, обдумайте мои слова, Хари Хан, и завтра мы продолжим наш разговор.

XXII

Хари провёл остаток этого дня, расхаживая взад и вперёд по Большой террасе с опущенной головой или останавливаясь, чтобы уставиться пустым взглядом поверх балюстрады. Временами он всё ещё ощущал некоторое воодушевление, даже своего рода веселье; и всё же разум настаивал на том, что его положение в действительности было крайне тревожным. Он не был настолько прост, чтобы рассматривать признания Мабуна просто как лесть; нет, они были не таковы; и уж тем более они не были успокоительными. Прежде всего они давали ему меру чувства власти Мабуна; они открывали ему глаза на степень собственной вовлечённости.

Во всём этом деле именно элементом вовлечённости он возмущался больше всего; чувством того, что тебя поймали, заставили служить клике. Конечно, тот факт, что Даниял уже был его врагом и что он уже был склонен поддерживать Салима, существенно облегчил ситуацию. Но, к сожалению, в его характере было становиться упрямым при малейшем намёке на принуждение, и хотя Мабун был само воплощение такта и предусмотрительности, ему было трудно упускать из виду то, что преимущество было на стороне Мабуна. Если он собирался действовать против Данияла в пользу Салима, он будет делать это только своим собственным способом, и своей собственной волей, и в своё время. Всю свою жизнь он держался в стороне от партий и фракций. Казалось абсурдным, что тривиальная случайность должна втянуть его в ожесточённое противостояние не на жизнь, а на смерть.

Что за человек этот Мабун, который называл его соучастником заговора? Этот вопрос встал перед ним с большей срочностью, чем когда-либо. Получить полное представление о характере Мабуна, сплести все разрозненные элементы воедино в осмысленное единство: вот в чём заключалась его задача. В Мабуне была проницательность и чувствительность, было честолюбие (вероятно, чрезмерное) и, прежде всего, безжалостная преданность цели. От самовлюблённости, личных слабостей и мелочного тщеславия почти не осталось следа. Казалось, человек надоел себе как личность и предпочёл быть просто машиной. В поисках зацепок Хари перебрал всё, что когда-либо слышал о частной жизни

Мабуна. То немногое, что было, сводилось к следующему: он начал жизнь мелким писцом, его быстрый ум стремительно вознес его вверх, интеллект и трудолюбие казались единственным секретом его успеха. В шестнадцать лет он женился на девушке примерно своего возраста, и она умерла менее чем через двенадцать месяцев после родов. Это была единственная глава в его жизни, которая выделялась отстранённостью от остальных. Не прошло и многих недель после смерти жены, как он попытался покончить с собой, и в течение целого года он бродил по свету, словно призрак.. Затем внезапно всё переменилось; поток его жизни возобновился; очень скоро он взял другую жену, а затем — десятки наложниц; в настоящее время, по слухам, он содержал около дюжины отдельных домов и был отцом тридцати или сорока детей.

Итак, бросает ли эта история, поставленная рядом с живым настоящим, какой-либо свет на внутреннюю жизнь человека? Хари отчаянно пытался составить представление о главной пружине этого существования; он хотел знать, каковы были глубинные эмоции Мабуна, его побуждающие убеждения, и какую роль они играли в его жизни. Что ж, возможно, ему удалось составить некое подобие идеи. Возможно, простая правда заключалась в том, что Мабун воспринимал мир просто как гимнастический зал для упражнений своих бьющих через край энергий. Вероятно, было пустой тратой времени искать конечные мотивы, духовную приверженность. Так или иначе, принимая Мабуна ровно за того, кем он казался, Хари нравился он — нравился всё больше — и уважение шло в ногу с симпатией.

А теперь, переходя прямо к самому вопросу; Мабуну требовалось его сотрудничество, и нечто вполне определённое в плане сотрудничества. Сможет ли он заставить себя сделать то, что требуется? Мабун считал, что свидетельство его достопочтенного друга Хари Хана будет иметь огромную ценность для того, чтобы навлечь позор на Данияла. И здесь не было никакой ошибки в рассуждениях. В стране, где девятьсот девяносто девять человек из каждой тысячи готовы дать ложные показания под присягой за цену миски риса, характер, качество свидетеля — это всё. Было очень мало людей, даже в его ближайшем окружении, чьё слово Акбар уважал бы; и одним из этих немногих Мабун считал своего друга Хари Хана. Именно так. И поэтому было особенно прискорбно, что если этот самый надежный и заслуживающий доверия Хари встанет перед Императором и скажет то, чего желает Мабун, он оговорит себя и даст ложные показания.

На это был скрытый расчет, здесь находилась тайная пружина дела. Именно это угнетало Нари, удерживая в своего рода полупараличе с того момента, как Мабун заявил, что Даниял стал жертвой несчастного случая в лесу. Хари знал, что это не так. Увидев Данияла снова вблизи, он был вынужден совершенно определённо отвергнуть эту идею. И хотя история Мабуна на мгновение повергла его в оцепенение, как только его разум прояснился, он не только увидел ложь такой, какая она есть, но и измерил её пользу и цель. Во-первых, Мабун счёл вполне допустимым, что он, Хари, не кривя душой, сможет вызвать ложное воспоминание в поддержку рассказа, изложенного с такой спокойной уверенностью. В

случае неудачи, однако, эта ложь, даже будучи обнаруженной, могла бы, предположил Мабун, оказаться очень удобной для принятия. Более того, его дорогой друг Хари, надеялся он, примет её в том духе, в котором она была предложена — то есть примет её как дань уважения к его тонким чувствам. Доброе намерение состояло в том, чтобы сделать необходимый акт лжесвидетельства максимально лёгким. Он надеялся устроить всё так, чтобы никто — даже он сам — никогда не узнал, даёт ли его друг Хари ложные показания сознательно или нет. Это было предусмотрительно, это было изысканно тактично, это было в его духе. Чем лучше вы знали Мабуна, тем менее неприятными казались изгибы его ума. Маленький человек сделал всё возможное; и когда он увидел, что его история о Данияле не прошла, когда он увидел, что Хари грозит опасность выпалить что-нибудь, как ловко он умолял о молчании! Та небольшая лекция о лжи — у неё было сто разных значений, но прежде всего она, конечно, имела значение мягкого толчка, намёка, просьбы о том, чтобы Хари хотя бы взял время подумать, поразмыслить, тщательно взвесить…

Да, мало-помалу элементы характера Мабуна вставали на свои места, и от этого у Хари возникло ощущение, что этот человек — несмотря ни на что — достоин доверия. Его нельзя было неверно судить просто потому, что он считался с вашей избалованной совестью, вашим снобистским следованием определённому кодексу. Его собственная искренность, его собственная целеустремлённость возвышали его далеко над всеми подобными поблажками. То, что он видел, — это масштаб политического вопроса, величие поставленной на карту ставки; и нужно было признать, что диспропорция между этим и собственными мелкими щепетильностями довольно велика; собственное личное и частное отвращение к лжесвидетельству не является впечатляюще весомым фактором на противоположной чаше весов.

Когда пришло время продолжить разговор с Мабуном, Хари твёрдо решил одну вещь. Он намеревался раскрыть правду во всей её наготе; и если ему стало немного стыдно за свои угрызения совести, он, тем не менее, выложит их перед укоризненным взором Мабуна. Натянутый до предела, он уже шёл по коридору, когда посланец остановил его вежливой, но поспешной запиской, умоляя отложить визит на послеобеденное время. Промежуточные часы тянулись невыносимо; что же такого мог найти Мабун, что заслуживало бы первенства перед их делами?

Наконец он снова шагал по бесконечным коридорам к тому крылу, где проходили все его беседы, кроме последней. У двери стоял слуга; и этот человек, вместо того чтобы впустить его, провёл дальше, в ту же маленькую комнату, что и в прошлый раз.

В ожидании Мабуна он беспокойно бродил кругами и наконец исследовал задрапированную нишу, куда Мабун бросал взгляд. В её глубине он нашёл дверь; и, приложив к ней ухо, он воображал, что слышит чьё-то движение по другую сторону. Пока он размышлял, стоит ли пробовать открыть дверь или нет, вошёл Мабун; и тогда он вышел из-за занавеси, выглядя, без сомнения, более чем слегка смущённым. Мабун, со своей стороны, показался ему менее собранным, чем обычно; у него был вид человека, которого

преследуют мучительные заботы. С довольно сардонической улыбкой он сказал: «Не бойтесь, Хари Хан. Эта дверь заперта, и ключ у меня».

Без дальнейших комментариев с обеих стороны двое мужчин уселись на диван, как и прежде; и, как и прежде, Мабун взял инициативу на себя. Уверенно предполагая, что Хари готов следовать за ним, он тут же начал развивать и излагать свою тему.

Хари пытался быть терпеливым. В том, чтобы позволить Мабуну говорить сколько ему вздумается, не могло быть вреда, по его мнению; тем не менее, через некоторое время он начал проявлять нетерпение и наконец вмешался — или попытался вмешаться — в разговор. По его виду Мабун мог понять, что за этим последует — по недовольному выражению лица, по тому, как он хмурится и ерзает — о, это было достаточно ясно! И бедный Мабун со взглядом мучительной мольбы продолжал говорить быстрее и настойчивее, чем когда-либо. Он отказывался терять надежду; когда Хари вклинился в разговор, он попытался заглушить его голос; а когда Хари заговорил громче, интонации Мабуна стали ещё пронзительнее. Около минуты продолжалась эта нелепая борьба. Она закончилась внезапным приступом необычайной нервозности со стороны Мабуна; он схватил Хари за руку: «Тише, мой дорогой друг; тише, умоляю!» — и его взгляд тревожно устремился на противоположную занавеску. На самом деле казалось нелепым, что им следует опасаться подслушивающих; и Хари громко воскликнул в своём нетерпении. Тем не менее в следующий момент ему показалось, что лицо маленького бенгальца приобрело необыкновенный цвет. Как так? Были ли у Мабуна основания полагать… уловило ли его ухо какой-то звук…?

Он всё ещё подавался вперёд и хмурился озадаченно, когда произошло скандальное, невероятное событие. Из-за занавеса раздался грохот опрокинутой мебели, а за этим последовало бормотание проклятия.

Хари отшатнулся; он и Мабун посмотрели друг на друга; наступила тишина. Две-три секунды прошли таким образом. Затем прозвучало ещё одно проклятие, и на этот раз оно вырвалось с яростью выпущенной наружу страсти; занавеска была злобно отдёрнута, и в комнату неуклюже шагнул высокий, худощавый человек. Внешность этого человека — не говоря уже о способе его появления — была одновременно несколько пугающей и несколько комичной. Между веками, сильно воспалёнными от выпивки, его маленькие дикие глаза светились светом ярости. «Довольно!» — хрипло выкрикнул он. — «Болтовня, болтовня, болтовня! К черту вас обоих!»

Хари и Мабун инстинктивно вскочили на ноги; и Мабун, который минуту назад был напряжён и бледен, теперь принялся метаться взад-вперед от брожения своих чувств. Но сказать он ничего не мог; ибо вошедший, переводя сверкание своего бешеного раздражения с одного на другого по очереди, продолжал удерживать поле боя своим захлёбывающимся рёвом ярости.

В эти мгновения до Хари дошло, кто это такой. Это был Салим. Каким бы невероятным это ни казалось, но это должен был быть Салим. Странно одетый (без сомнения, он считал себя в маскараде), полупьяный и переполненный бессильным раздражением, он тем не менее сумел предстать властной, если и не вполне достойной фигурой. Уставившись, Хари начал восстанавливать определённое воспоминание об этих чертах; и когда он взглянул на Мабуна в поисках подтверждения, тот, выбросив руку в жесте отчаяния, сдавленным голосом произнёс: «Его Королевское Высочество принц Салим».

На это Хари отсалютовал со всей подобающей церемонностью; а Салим, тяжело рухнув на стул, ответил кивком, нахмурившись.

— Позвольте мне… — начал Мабун. — Если только Ваше Королевское Высочество соблаговолит…

— Сядь, обезьяна! — проревел Салим. — Разве ты ещё не наговорился? Сядь и молчи! Милосердный Аллах! — и он продолжил ругаться сквозь бороду.

Мабун повиновался, но Хари остался стоять.

— Садитесь и вы, Хари Хан, — прорычал Салим после паузы. — Я перехожу к делу с вами. Вы найдёте во мне другого собеседника. Да — и теперь, когда вы разговариваете со мной, возможно, вы будете говорить более здравые вещи.

Хари склонил голову. — Я сделаю всё, что в моих силах, Ваше Королевское Высочество.

Салим хмыкнул. Тон этого ответа несколько озадачил его, так как он привык подавлять; ему нравилось играть задиру, и хотя его лай был известен больше, чем его укусы, не часто кто-нибудь осмеливался противостоять ему.

— Слушайте! Мне надоело это буквоедство. Я перейду прямо к делу. Мы говорим о том несчастном случае в лесу. Вы достаточно хорошо узнали моего брата, и на этом конец. Я советую вам не испытывать моё терпение слишком долго, Хари Хан.

— Прошу прощения у Вашего Королевского Высочества, но…

— Чепуха! — выкрикнул Салим, изо всех сил хлопнув себя по бедру.

Хари улыбнулся и промолчал. Он обрёл самообладание, и хотя его дух был возмущён, он прекрасно владел своим темпераментом. Что касается Салима, то если он тоже минуту хранил молчание, то лишь потому, что накопившееся раздражение кипело и бурлило внутри, не находя достаточного выхода.

— Вы знаете, кто я такой, — выкрикнул он наконец, — так что примите предупреждение! Соберите свои мозги, мой добрый человек, пока не поздно. Я знаю вас как негодяя, коим вы являетесь. Ваша жизнь находится в моей руке. Что я говорю, то говорю, Хари Хан. Вы узнали моего брата, принца Данияла. Если вы отрицаете это, вы лжёте. И тогда…

Раскачиваясь на сиденье, он позволил своим маленьким глазам, злобно сверкающим, закончить за него фразу.

— Ещё раз прошу прощения у Вашего Королевского Высочества, — сказал Хари. — Думаю, вы только что слышали меня, когда я говорил — или пытался сказать — Мабуну Дасу…

— Позвольте мне! Одну секунду! — вмешался Мабун, вскакивая от отчаяния с дивана. — Нет смысла возвращаться к старому. Нет, нет! Давайте начнём заново, давайте забудем! К предмету нужно подойти под новым углом. Несомненно, есть какой-то выход из затруднения. Только оставим это до завтра. Немного времени для размышлений, немного терпения, немного…

— Немного денег! — прервал Салим с рычанием. — Парню нужны деньги, полагаю, или почести — или один Аллах знает что? Иначе он должен быть просто в стельку пьян.

Сказав это, он обратил на Хари взгляд, который должен был быть оскорбительным — и таким он, собственно, и был. Часть темперамента Хари выскользнула из-под его самоконтроля; лёгкий румянец поднялся на щеках.

— До сих пор, — произнёс он обдуманно, — беда заключалась в том, что я не мог честно опознать человека, которого, по словам Вашего Королевского Высочества, звали принц Даниял; но теперь…

При этих словах лицо Мабуна исказил ужас, а Салим — почти не веря своим ушам — подался вперёд со странным рычанием.

— Ну вот, — продолжил Хари, — я действительно верю, что могу опознать того человека с некоторой уверенностью. Это были Ваше Королевское Высочество лично.

Салим издал горловой звук; и его рука нащупала кинжал. — Идиот! — выдавил он, наполовину привставая с места. — Идиот и…

Хари сидел твёрдо и смотрел на него ровным взглядом. Две или три секунды он чувствовал, что действительно был идиотом. Салим, настоящий рубака до мозга костей, теперь раскачивался вперёд, теперь назад, и, возможно, это было не более чем случайностью, что в итоге он снова рухнул назад в своё кресло. С лающим принуждённым смехом он выбросил руку: «Посмотрите на него!» — позвал он дрожащего Мабуна; — «Послушайте его!» — и он потряс кулаком. — «Этот — этот тот человек, который, по вашим словам, будет полезен!»

Мабун, казалось, исчерпал все свои эмоции. — В любом случае, — тускло сказал он, — Хари Хан сочувствует нам, я готов поручиться за него лично.

Салим закрыл глаза на несколько мгновений и поджал губы. Когда он снова поднял веки, то изучал Хари обиженным, озадаченным любопытством. — «Парень действительно

кажется сумасшедшим, полудурком!» — прокомментировал он сам себе. — «Чего он хочет? Как он надеется спасти свою жалкую шкуру?» Внезапно он развернулся к Мабуну, тыча ему в лицо со злорадной усмешкой. — Вы ручаетесь за него, да? Что ж, советую вам быть осторожнее. Что, если я доложу Императору о его маленьких интригах? Что скажет об этом мой отец, а? Или мой брат, раз уж на то пошло? Он и его Принцесса! Он и его Принцесса! И всё же — посмотрите на него! У него хватает наглости сидеть там и противоречить мне. Тьфу! Принесите мне вина, Мабун Дас. Вся эта болтовня пересушила мне горло; — кроме того, сейчас моё время.

Мабун встал, на мгновение заколебался, а затем исчез через альков в соседнюю комнату.

— Вы найдёте все двери незапертыми, — крикнул ему вслед Салим, хихикая. — И в следующий раз, когда вы попытаетесь запереть меня… — Он хлопнул себя по обоим бедрам, рассмеялся и, повернувшись к Хари, — Хороший маленький человечек по-своему, но суетливый! Думает, что может обращаться со мной как с ребёнком. Он теряет самообладание, знаете ли; это всегда одна и та же история, каждый раз, когда я навещаю его. Но я прихожу переодетым, как видите. Я знаю, что делаю. Было бы нехорошо, если бы меня поймал отец, это правда. Не то чтобы я получил больше, чем выговор, но бедного Мабуна бросили бы слонам. О да, он сидит как на иголках, уверяю вас!

Хари вежливо улыбнулся и промолчал. Салим, которому явно хотелось выпить вина, устало прикрыл глаза руками и надул губы. — В это время я позволяю себе пять чашек, — сообщил он Хари. — Пять чашек и ни каплей больше.

— Ваше Королевское Высочество воздержанны, — приятно ответил Хари.

— Мой брат Даниял пьёт тайком. Знали ли вы об этом? Попомните мои слова, он закончит как бедный Мурад.

Хари не нашёл что ответить, и через мгновение Салим начал тихонько напевать про себя. Было довольно очевидно, что его задумчивость была напускной.

— Кстати, Хари Хан, — внезапно сказал он, — есть кое-что, о чём я давно хотел спросить вас. Что стало с той девушкой, Гуневати? — Он помолчал, затем наклонился вперёд и, бросив взгляд в сторону алькова, сказал пониженным голосом: — Если вы хотите оказать мне услугу, Хари Хан, вы найдёте эту девушку и пришлёте её ко мне в Аллахабад. Это между вами и мной, имейте в виду; ибо Мабун Дас, хотя и хороший малый по-своему, бесполезен в деле такого рода. Говорю вам, он нервничает как кошка… вечно боится предательства. Он думает, что девушка ненадёжна… говорит мне, что обыскал везде и не может найти её. Говорит, она исчезла — убита! Всё ложь, конечно! Будь он проклят, я всегда знаю, когда он лжёт мне. Но если вы найдёте ту девушку, Хари Хан, я прощу всю вашу чертову дерзость. Понимаете? — Произнеся эти последние слова, он встал, подошёл и осторожно заглянул за

занавеску и вернулся на цыпочках. Подмигнув и ухмыльнувшись Хари: — Уже идет! — прошептал он.

Когда Мабун появился снова, он принёс кувшин с вином и несколько бокалов. Салим снова развалился в кресле и рассеянно напевал себе под нос. Как только кувшин был поставлен, он схватил его и налил полный бокал. — Хорошая штука! — сказал он и, опрокинув три бокала один за другим, огляделся вокруг с благодушием. — Вот что мой царственный отец пил, когда был в моём возрасте — только он пил вдвое больше. Мы очень похожи, он и я. Я люблю его. И его любовь ко мне безгранична. Но вот таков он! Он стар. Он выжил из ума и преследует правоверных. Вы, Хари Хан, — и он поднял палец на Хари, — вы, добрый мусульманин, поймёте, что мой долг перед исламом стоит на первом месте. А после него идёт мой долг перед Империей. Перед Империей! — да ведь даже этот неверующий пёс, Мабун Дас, способен это понять. Аллах и Империя! Ради них я тружусь. Ради них я здесь сейчас; я рискую своей жизнью — но что с того? Всё это делается охотно, охотно!

Прошло ещё полчаса, пока он продолжал примерно в том же духе, и тем временем семь бокалов, как насчитал Хари, прошли ему в горло, хотя он неоднократно заявлял, что выпивает лишь пять. Мабун сидел напротив, очень настороженный и собранный, время от времени облизывая губы, как человек, которому приходится сдерживать множество слов. Что касается Хари, то он жаждал улизнуть, и как только представилась подходящая возможность, он обменялся взглядами с Мабуном и встал. Салим, который к этому времени был уже весьма одурманен, не сделал ни малейшей попытки задержать его, и его уход был церемонным, но быстрым.

XXIII

По пути в свою комнату Хари не мог сдержать широкой улыбки. Бедный Мабун! Сколько же самых разных трудностей ему приходилось преодолевать! Весь этот многообразный человеческий материал — какая это глупая, упрямая штука! Для человека, который знает свой ум, видит свою цель и обладает волей, умом и сердцем, чтобы к ней стремиться — для такого человека какое зрелище должны представлять его собратья по роду человеческому! Обычная человеческая природа, сотканная из противоречий и предубеждений, непостоянства и неуместности — какой она должна казаться в его глазах! И какова задача жизни: постоянно потакать, задабривать и угрожать бесконечному своенравию рода людского! Неудивительно, что руки Мабуна трепетали, неудивительно, что его брови иногда дёргались! Сто раз на дню он, без сомнения, должен был напоминать себе, что именно это и есть его дело: восполнять собственным умом глупость других, возмещать собственной заботой чужую беспечность, собственной дальновидностью — чужую близорукость, собственным неустанным трудом — почти всеобщую праздность людей. Это было его делом, изо дня в день, манипулировать тысячами хрупких нитей и

никогда не давать ни одной порваться, пробираться сквозь лабиринты запутанных деталей и никогда не терять хватку, спотыкаться о каждую форму земной глупости и никогда не ослаблять своей улыбки.

И это не говоря уже о причудливости слепого случая. Лишь по какому-то совершенно неудачному стечению обстоятельств мог произойти последний эпизод. Но было ли это невезение действительно серьёзным для кого-либо из причастных? Его собственные чувства, размышлял Хари, остались в точности прежними. Он нисколько не затаил обиды на Салима. Принц был совершеннейшим образчиком мужлана; но это он знал всегда. Если Мабун чувствует себя расстроенным и извиняющимся, он должен поспешить утешить его. Его совесть всё ещё была на стороне Мабуна; и если он подчинится ей, тот факт, что Салим подумает, будто им движет испуг или корысть, вообще не должен иметь для него значения. Мнение Салима о ком-либо — вещь, которую не стоит принимать во внимание.

Ближе к закату того же дня, когда он сидел с Нарсингом на террасе, появился Мабун. В его поведении не было никакой перемены, его шаг был таким же бодрым и лёгким, как всегда; он присоединился к разговору со всей своей обычной ловкостью и учтивостью. За последние три недели стало более чем очевидно, что Нарсинг серьёзно нездоров. Теперь у него вошло в привычку проводить много часов на кушетке в углу террасы; но как только солнце опускалось за горизонт, он устало тащился внутрь. На этот раз, стоило ему удалиться, как Мабун обратил на Хари печальный, сардонический взгляд. Вместе они подошли и облокотились на балюстраду; и после того, как он почерпнул уверенность от нескольких слов, которые обронил Хари, Мабун быстро перешёл к самой сути своего предмета. Речь шла теперь о Салиме.

— Да, мой дорогой Хари, — принялся объяснять он вскоре, — страсть Салима к Гуневати, которой нет и двух месяцев, привносит в ситуацию ещё один утомительный элемент. Он совершенно обезумел после последнего собрания братства — собрания, которое состоялось всего за несколько дней до того, как Гокал увёз девушку в горы. С тех пор Салим требует её выдачи и доставляет мне массу хлопот. Разумеется, у меня есть самые веские причины в мире не одобрять эту связь. Только подумайте, кто такая Гуневати! Может ли кто-нибудь быть опаснее? Возьми Салим её в свой гарем, шпионы Данияла начнут копаться в её истории, и пройдёт совсем немного времени, прежде чем Даниял окажется в положении, позволяющем выдвинуть против Салима именно те обвинения, которые мы устраиваем против *него*. Но вы сами видели, каков Салим! Его требование относительно Гуневати соответствует остальному его поведению. Мой дорогой Хари, эти его визиты в Агру инкогнито! Эти прятки во дворце! Эти религиозные оргии в той охотничьей сторожке прямо под носом у отца! Всё это — глупости, которые ставят под угрозу наше дело и доводят меня до грани помешательства. А затем он упорно пытается подкупить или запугать меня, чтобы я отдал ему часть сокровищ его отца, лежащих в этих хранилищах. Собственно говоря, это и было его целью, когда он нанёс первый из этих тайных визитов, которые являются проклятием моей жизни. О, уверяю вас, Салим здесь очень нежеланный

гость! Но что я могу поделать? Он посылает известие, что идёт; он приходит; и у меня нет иного выбора, кроме как принять его.

Вид у Мабуна был поистине жалкий; он беспомощно всплеснул руками; но сделанная им пауза не была долгой. — Слава Богу, мой дорогой Хари, я нахожу в вас человека здравого смысла. Надеюсь, вы понимаете, что с тех пор, как я узнал вас (я имею в виду то время, когда вы останавливались здесь два-три месяца назад), я действовал как ваш друг. То удачное стечение обстоятельств, что свело нас вместе в то время, оказалось кстати, ибо именно в те недели Гуневати предала вас Салиму, который тут же попросил меня убрать вас с дороги из страха, что вы могли узнать его в лесу и захотеть донести на него. Мне пришлось убедить Салима в том, что вы сами слишком сильно скомпрометированы, чтобы быть опасным, и одновременно я указал, насколько полезным вы можете оказаться, придав вес обвинению против Данияла.

Здесь Мабун сделал паузу и, казалось, ждал.

— Итак, даже в то время, — сказал Хари, — у вас уже были свои замыслы.

— Именно! — улыбнулся Мабун, — и теперь я перехожу к этому. У Данияла нет алиби, потому что он был тайно заперт со мной как раз в то самое время, когда произошёл несчастный случай в лесу. Он успешно убеждал меня уступить ему то, в чём я последовательно отказывал Салиму, — часть сокровищ его отца. И вскоре, мой дорогой Хари, вы увидите почему.

Прошёл уже час, но вечер был тёплым и тихим, и поэтому они договорились поужинать вместе на террасе. Во время еды разговор перешёл на отвлечённые темы, и Хари был рад возможности для дальнейших размышлений. Как только слуги удалились, однако, Мабун снова начал:

— Мой дорогой Хари, в моём плане должно оставаться много такого, что всё ещё кажется вам неясным. Многое также звучит почти фантастически. Теперь позвольте мне предвосхитить ваши возражения. Вы не устали? Вы готовы слушать ещё немного? Это превосходно! — И следующие три часа речь Мабуна лилась почти без единой паузы. Его рассуждение началось с анализа отношений Акбара к своим сыновьям. Салим, несмотря на всё своё неповиновение, оставался любимцем; между этими двумя существовала естественная связь привязанности, тогда как в Данияле Император совершенно не разбирался. Даниял был хитёр, податлив, внешне полон уважения и чрезвычайно ловок в том, чтобы держать отца в неведении относительно своего истинного характера и нрава. Через своих друзей, в частности через Мобарека, он внушал Императору ложное представление о себе, и одновременно, вполне естественно, делалось всё, чтобы очернить характер Салима. О двух своих сыновьях Акбар действительно знал мало помимо того, что доходило до него из чужих уст; это была ситуация, дававшая интриге полный простор, и если бы вопрос престолонаследия не решался силой оружия, ядовитые искусства клеветы и интриг оставались бы главными до самого конца.

Полем битвы был разум Акбара, а особенности этого разума диктовали тактику, которую следовало применять. «Слушайте меня очень внимательно, мой дорогой Хари, ибо здесь я начинаю иметь дело с тем, что, вероятно, является вашим первым и самым очевидным возражением против моего плана. “Зачем,” — спрашиваете вы, — “зачем утруждать себя созданием против Данияла обвинения, которое сравнительно тривиально и полностью ложно, когда, несомненно, существует множество весомых и невыдуманных проступков, которые можно было бы предъявить ему?” Что ж, давайте рассмотрим те проступки, которые вы имеете в виду, и посмотрим, как Акбар отнёсся бы к ним. Во-первых, есть лишение человека жизни. Но это, когда совершается императорами — а то, что я говорю, справедливо и для королевских принцев, — называется тайной казнью и рассматривается, если не как прямо дозволенное, то во всяком случае как простительное. Акбар, который сам неоднократно прибегал к тайным казням, определённо не пришёл бы в великую ярость на Данияла по этому поводу. Рассмотрим далее обвинения в разбое и шантаже. Эти действия, когда их совершают принцы, называются принудительными займами и частными штрафами. Совершенно верно, конечно, что Даниял имеет привычку вымогать огромные суммы у своих друзей, угрожая обвинить их в заговоре с Салимом, но Акбар должен быть уже осведомлён об этом, и уж точно не стал бы делать это причиной ссоры с Даниялом; всё, по его мнению, предпочтительнее в сыне, чем просьба денег у отца. Остаётся, таким образом, предложение, мой дорогой Хари, выдвинуть против Данияла обвинение в той форме аморальности, которой он на самом деле предаётся. Но и здесь предложение не выдержит проверки, ибо, хотя совершенно верно, что Акбар очень сильно возражал бы против пороков Данияла, если бы увидел их такими, какие они есть, нет ни малейшего шанса, что он это сделает. В его сознании содомия связана с историями о юных греческих героях, связанных узами дружбы, презирающей смерть; она напоминает ему, к тому же, о его собственных ранних днях и о грубых, мужских любовных связях среди молодых воинов Степей. Содомия, в его представлении, максимально далека от женоподобия или извращения. Это избыток мужественности; это всего лишь маленькая шалость молодого бойца. К тому же, как мог бы Акбар, даже если бы захотел, публично осуждать содомию? Да ведь такое отношение сочли бы оскорблением представители его собственного народа — оскорблением не только стране его рождения, но и памяти его прославленных предков. И в этой стране тоже, среди нас, индусов, помните, содомия занимает лишь четвёртую степень прегрешения, она занимает незаметное место наряду с «притворством, неуважительным взглядом на брахмана и обонянием любого спиртного напитка или чего-либо крайне зловонного и непригодного для обоняния». Нет, друг мой, если вы находите мой план надуманным, а способ работы — извилистым и непрактичным, вы впадаете в распространённую ошибку. Нельзя строить прямые дороги в стране человеческого разума. Не следует считать свои собственные стандарты и мнения универсальными. Мы должны принимать Акбара таким, какой он есть. Мы не можем заставить его увидеть Данияла *нашими* глазами; чтобы достичь наших целей, мы должны изобразить Данияла в таких красках, которые сделают его омерзительным в *его* глазах, в глазах живого Акбара.»

— «Когда мы признаем это,» — продолжил Мабун, — «достоинства моего плана становятся очевидными. Для Акбара все проступки делятся на две категории: проступки против Бога и проступки против него самого; и дело снова упрощается тем фактом, что в его уме эти категории во многом совпадают. Он всегда смотрел на короля как на «тень Бога», а недавно он сделал веру в то, что он является прямым представителем Бога на земле, краеугольным камнем своей новой религии. Что ж! Ситуация говорит сама за себя. Приняв один из высших постов в новом священстве, Даниял сыграл нам на руку. Если мы сможем показать, что именно тогда, когда он делал эти публичные заявления, он также предавался тайным церемониальным оргиям в качестве члена одной из сект, которые Акбар ненавидит больше всего, если мы сможем сделать это, Хари Хан, тогда Даниял погиб.»

После нескольких минут впечатляющего молчания Мабун заговорил снова. — «Акбар собирается председательствовать на очередном Суде Справедливости; он будет судить тех, кто обвиняется в проступках такого рода, и он поклялся не учитывать ранг, достоинство или положение. Теперь я устроил так, чтобы его расследования показали, что вещь, которую он ненавидит, находится не только в рядах низкорождённых, но и близ самого Трона. Таким образом, шаг за шагом и при величайшей огласке он будет подведён к Даниялу, пока в конце концов обвинение не станет неизбежным. И только тогда появятся Гуневати и её сообщники, и они скажут то, что я им приказал сказать, потому что от этого зависит их жизнь. Несомненно, кто-то возвысит голос в знак протеста против принятия показаний низкорождённого против слова принца, но это возражение будет встречено призывом, с которым я обращусь к вам.»

Хари молчал, и, возможно, для того, чтобы предотвратить высказывание протестов, которые он видел собирающимися под его нахмуренными бровями, Мабун поспешно снова пустился в речь. — «Доказательства против Данияла будут не только безупречными, но и разнообразными. В распоряжении Гуневати найдутся драгоценности, которые можно проследить до него, и среди них Акбар узнает некоторые как принадлежащие к его собственной казне. Проступки против его кошелька, как вы знаете, доводят Императора до безумия. В спешке он прикажет арестовать меня и расследует размер своих потерь. На этом этапе моя жизнь будет в опасности, ибо его посланцы обнаружат часть сокровищ пропавшей. Но я верну их ему; мои агенты найдут их в подвалах дворца Данияла, и тогда…» — На этом месте Мабун небрежно взмахнул рукой, улыбнулся и замолчал.

Мрачное выражение лица Хари, казалось, не проходило. — «Боюсь, я утомляю вас,» — мягко сказал Мабун. — «Зачем мне утруждать вас деталями? Моя собственная цель — убедить вас в том, что я был осторожен и скрупулёзен в своих приготовлениях.»

С этими словами он умолк и остался спокоен, но явно не без больших усилий. Пока его губы оставались сомкнуты, его глаза с красноречивой тревогой смотрели на лицо Хари. «Неужели ты можешь отказать, — казалось, говорили они, — в той малости, о которой я прошу, когда я уже дал — и всё ещё готов дать — так много?»

Хари вздохнул, провёл руками по лицу и даже застонал вслух. Эти методы были естественны и свойственны Мабуну; у Мабуна они не выглядели неподобающими. Рождённый интриганом и осознающий превосходство своего дела, он мог идти вперёд бесстрашно и без стыда. Кроме того, он был лидером; ему была присуща отстранённая рассудочность — безличная, бескорыстная, манипулирующая своими инструментами. Но что же сами несчастные орудия, и в частности вот этот основной инструмент, Хари Хан? Аллах! Какое жалкое бремя возлагалось на него! Сможет ли он когда-нибудь достаточно унизиться, чтобы сыграть отведённую ему роль?

Наконец, после того, как он отошел от Мабуна и пару раз в мрачном настроении прошелся взад и вперед по террасе, он вернулся и сказал: — Да помог бы мне Бог убить Данияла в ночь банкета! Да помог бы мне Бог, чтобы Салим убедил тебя уничтожить меня без лишних слов! Говорю тебе, Мабун, те пути подошли бы мне лучше, чем этот. Я не могу давать никаких обещаний, никаких заверений. Я ненавижу общественные дела. Ваши махинации утомляют меня. Надеюсь, мне удастся убедить себя поступить так, как вы желаете, и это всё, что я могу сказать.

Мабун тихо рассмеялся и доверительно взял его за руку. — «Больше ни слова, мой дорогой Хари Хан. Я никогда не прощу себе, если вы продолжите волноваться. Нет-нет, вам ни в коем случае нельзя беспокоиться. Полагаю, мы вполне справимся сами — Салим, Гуневати и я.» — При соединении этих имён он весело рассмеялся. — «Если я считаю вас немного глуповатым, это не мешает мне глубоко сочувствовать вашим чувствам.»

Хари развернулся и окинул его взглядом, полным симпатии. Мабун был улыбчив и слегка насмешлив теперь, но, несмотря на это, в нем можно было разглядеть огонь и непоколебимую целеустремленность. Мабун против Данияла! Мангуст против кобры! Да, ему нравился этот маленький мангуст. И как живо он мог представить себе проворного, храброго маленького зверька, шерсть дыбом, глаза как искры, напряжённо припавшего перед прыжком на своего свёрнутого и бдительного врага.

Он молчал, пока через некоторое время его мысли не приняли другой оборот. — Мабун! — воскликнул он, — всего несколько дней назад я был почти готов вовсе отречься от мира, и это ещё до того, как вы начали меня мучить!

Выражение веселья на лице Мабуна углубилось. — Я пока не вижу вас в монастыре, мой друг.

Хари посмотрел вверх, в беззвёздное, безлунное небо. Тяжёлые тучи двигались по нему. Несколько крупных капель дождя шлёпнулись на мраморные плиты.

— Нет, пожалуй, пещера где-нибудь на склоне горы подошла бы лучше. — Он улыбнулся, а затем продолжил несвязно: — Если такой человек, как Акбар, будет отброшен в сторону через несколько лет, как изношенный башмак, то какая польза от чистолюбия, энергии и доблести?

Мабун издал долгий вздох. — Дай Бог, чтобы Даниял и Мобарек пали, а Акбар продолжал править долгие-долгие годы. Разве это не моя точная цель? Не ради *этого* ли я работаю?

— Но Салим — в своём нетерпении заполучить трон…

— Тьфу! — и Мабун щёлкнул пальцами. — При необходимости я предам его в руки отца. Только и всего.

Хари вскинул голову и рассмеялся. — Простите меня, Мабун, но у меня в ушах всё это звучит немного гладко. История не принимает форму подобно глиняному горшку — даже когда гончар Мабун Дас.

— Я не претендую на всемогущество — но я практичен.

— Слишком практичны. Ваши цели находятся в пределах видимости человека. Миром управляют не люди со своими определёнными целями, а судьба с её непостижимым замыслом.

— Действительно непостижимым! — усмехнулся Мабун, но с величайшей мягкостью.

Хари продолжил невозмутимо. — Если однажды наступит день, когда люди обретут контроль над своим земным путём, это будет знаком того, что конец света близок. Это будет означать, что люди свернули не туда и совершили духовное самоубийство, даже не подозревая об этом. Когда они достигнут своего ограниченного совершенства, не останется ни одного человеческого существа, чья жизнь стоила бы сохранения, и большой палец Бога опустится и раздавит всё.

— Кажется, я примеряю на себя мантию пророка, — продолжил он после паузы. — Должно быть, я одолжил её у Нарсинга, который сегодня днём поразил меня множеством торжественных высказываний. Он утверждал, что Акбар, несмотря на все свои глупости, является источником нашей духовной жизни в эту эпоху. Он предсказывал, что после смерти Акбара Империя впадет в разложение. Я слушал почтительно.

Они оба стояли у балюстрады, и глаза Мабуна продолжали пристально смотреть в густую, душную темноту.

— Бедный Нарсинг!

— Неужели он так глуп?

— Я имею в виду: он умирает, — мягко ответил Мабун. — А для него смерть тяжела.

— Умирает? Вы уверены в этом?

— Совершенно уверен. Я знаю его болезнь. Он не сказал вам, что умирает — нет? Тем не менее, он знает это так же хорошо, как и я, только он не хочет смотреть правде в глаза.

Хари отвернулся от Мабуна, вновь обратив лицо во тьму, и недавние взгляды и слова Нарсинга всплыли в его сознании, наделённые новыми и трогательными оттенками смысла. Когда он заговорил снова, то спросил, проживёт ли Нарсинг достаточно долго, чтобы увидеть Акбара снова по его возвращении в Фатехпур-Сикри.

Мабун с сомнением покачал головой, а затем устремил на Хари взгляд, которого тот не смог понять.

— Акбар никогда не вернётся в Фатехпур-Сикри. Я не имею в виду, что он тоже умрёт. Я имею в виду, что Фатехпур-Сикри уже мёртв.

Озадаченный, Хари нахмурил брови.

— Это так, — продолжил Мабун, теперь снова спокойно глядя в ночь. — Фатехпур-Сикри мёртв так, будто трава уже растёт среди его камней. На самом деле трава уже пробилась сквозь мощение Большого Двора; я сам видел это, когда ездил туда несколько дней назад.

— Никакой город не следовало строить на том месте, — продолжил он после паузы. — Акбар выбрал его потому, что там обитал святой, пообещавший ему рождение сына. Тем не менее, — и интонация Мабуна была очень деликатной, — тем не менее, это было неудачно выбранное место. Водохранилища, от которых зависел Фатехпур-Сикри, все треснули; вода ушла; почва в том регионе хрупкая и полая; и теперь город обречён. Конечно, распространяется слух, что всё можно исправить, но — говорю вам это конфиденциально, Хари Хан — это абсолютная неправда. Невозможно построить водохранилища на такой почве. Безводным город и останется. Вскоре он станет руинами.

Хари ничего не ответил. Повернув глаза в сторону Фатехпур-Сикри, он следовал воспоминаниям, проплывающим в его уме.

После довольно долгой паузы Мабун выпрямился, улыбнулся и сказал: — Надеюсь, я не вверг вас в уныние, мой друг? Увы, правда есть правда, реальность есть реальность, и от неё не уйти. По крайней мере, — поправил он себя, — от неё нет спасения для человека вроде вас.

Хари рассмеялся, и вместе они направились к входной арке, ибо пришло время расставаться.

— Что вы имеете в виду под реальностью, мой дорогой Мабун?

— О, я не философ. Под реальностью я подразумеваю Майю — феноменальный мир, Иллюзию, если вам угодно так это называть. Но для нас существует лишь иллюзия; мы живём в ней; это наша жизнь; давайте примем её! Хари Хан, если есть Бог, то это наш индуистский бог — Шива, танцующий бог — Шива, игривый бог, который из переизбытка своих энергий создал мир для своей игры. Не унывайте. После Акбара восстанет другой. Отдельные личности — ничто. Шива продолжает танцевать!

XXIV

В ту ночь поздно сон положил конец размышлениям Хари, которые носили мрачный характер, будучи в основном сосредоточены на тщете земных амбиций и желаний. В темноте своей комнаты он снова увидел мягкие, бесшумные цветы света, что распустились над линией горизонта над Фатехпур-Сикри пять месяцев назад; и в великом течении веков расцвет империй казался едва менее кратким. Кроме того, был ещё бедный Нарсинг, о котором его мысли задерживались с более интимной меланхолией. Он хотел бы походить на маленького Мабуна, который умел наблюдать за полётом времени без сожаления и благоговения.

Когда же он проснулся следующим утром, его настроение полностью изменилось. Это было в духе кощунственного безразличия, с которым он отнёсся к судьбе Фатехпур-Сикри, и, думая о Нарсинге, он сказал: «В шестьдесят лет человек прожил достаточно долго. Именно смерть не меньше, чем рождение, сохраняет мир свежим и молодым. Не должно быть слишком много старых глаз, чтобы смотреть на него».

Он совершал свой первый круг по террасе, когда прибыли два письма; одно было от Мабуна, а другое вручил ему посланник, прибывший прямо от Амара. Разорвав письмо Мабуна первым, он узнал с приливом благодарности, что приказ о его освобождении прибыл. Этот вопрос, как он теперь понял, тяготел над ним гораздо сильнее, чем он готов был признать. Письмо Амара было менее радостным. То, что старая рани умерла, он был вполне готов узнать, но Амар далее писал, что его отец настолько поражён её смертью, что он так и не смог покинуть его. Соответственно, он написал Сите, предложив ей присоединиться к нему в Рави; но Сита ответила удручающей новостью о том, что Гокал опасно болен и что оставить его одного совершенно невозможно. «Однако с тех пор, — продолжил Амар, — я слышал, что худшее позади, и ко времени, когда вы получите это письмо, Сита будет на пути ко мне, везя с собой Гокала. Он всё ещё очень слаб, боюсь, но мы все согласны, что смена обстановки может ускорить его выздоровление. Некоторое время назад, когда он думал, что умирает, мысль о том, что вы являетесь пленником и не можете прийти к нему, была бременем для его разума. Теперь, когда вы свободны приходить и уходить по своему желанию, вы, я уверен, захотите навестить его здесь; ибо, хотя опасность миновала, он далеко не тот, кем был раньше».

Хари перечитал это письмо несколько раз. Затем, не будучи чрезмерно встревоженным — ведь, в конце концов, Амар писал, что Гокал идёт на поправку, — он решил немедленно уехать. Он был рад тому, что его обсуждения с Мабуном будут прерваны; рад также, что его избавят от новой встречи с Салимом. Мысль о том, что Сита будет в Рави, он не смел обдумывать; но именно в самом радостном настроении он стал готовиться к путешествию.

Хотя письмо Амара предоставило ему хорошую причину для внезапного отъезда, он немного нервничал из-за того, что мог сказать Мабун; но последний не создал никаких

трудностей. Напротив, он помог предоставить лошадей и снаряжение, так что к полудню Хари был готов отправиться в путь.

Огромным было его удовлетворение, когда он оставил Агру позади. Пока его лошадь неспешно брела по широкой открытой местности, он оглядывался вокруг с непрерывным восторгом. Дорога была оживлена сельскими жителями, так как дожди только что прошли, и мягкое солнце вытягивало влагу с рисовых полей, сверкавших сквозь полосы белого тумана.

Уставший от самого себя и своих личных дел, каждая деталь внешнего мира была приятна ему. Со своей свободой он вновь обрёл чувство досуга, и оно оставалось с ним на протяжении всего путешествия. На десятый день он достиг устья маленькой долины Рави. Вечерний свет был позади него, когда он смотрел через знакомые заливные луга в сторону далёкой крыши старого дома раджи. Она была озарена солнцем, когда он впервые заметил её, и ярко выделялась на фоне деревьев. В воздухе чувствовалась восхитительная свежесть, пахло мокрой травой и раздавался похожий на колокольчик звон маленькой зеленой болотной лягушки. Стаи диких уток поднялись из камыша в нескольких ярдах отсюда, пролетели по кругу и снова опустились. Их движение придало сцене ещё большее спокойствие, и он бросил поводья лошади, позволяя ей бродить по своей воле, щипля густую траву. Так глубоко эта долина взволновала его эмоции, что ему внезапно захотелось развернуться и улететь прочь. Ему вспомнилась старая рани, которая умерла, и по какой-то причине, которую он не мог понять, он подумал о мёртвых с завистью. Какое бóльшее благословение мог искать любой человек, чем угасить индивидуальность в широком покое такой сцены, как эта? Что могло быть лучше, чем почувствовать узел собственного «я» ослабевающим и дух, струящийся по тем светящимся пространствам между спокойной гладью земли и разгорающимися звёздами! Ах! Тогда можно было бы научиться дышать не быстрым, горячим дыханием человечества, а долгим, медленным ритмом самой земли.

Снова двинувшись вперёд верхом, он заметил перемену в пейзаже: лагерь принца Данияла был перенесён на другую сторону озера, а на его бывшем месте стояла более скромная группа шатров, предположительно принадлежавших Гокалу. Прибыв туда, именно к ним он направил свои шаги, и вскоре он наткнулся на самого Гокала, лежащего на кушетке в тени огромного дерева.

Тревожно всматривался он в черты своего друга, и ему показалось, что они не только стали тоньше, но и приобрели новую суровость облика. Впечатление, произведённое на него в первый час их общения, заключалось в том, что Гокал погружён в глубокое спокойствие, но по мере наступления вечера он увидел, что это спокойствие неестественно — или, скорее, что оно скрывает лихорадочное беспокойство.

В общих чертах история, которую надлежало рассказать Гокалу, была достаточно проста. Около трех месяцев назад, как теперь вспомнил Хари, он в шутку предупредил друга о том, что запросто может случиться, если тот продолжит держать Гуневати у себя. Но тогда Гокал

мало прислушался к нему, а позже, по мере того как его увлечение углублялось, он стал ещё более безрассудным. Если он и продолжал видеть девушку такой, какая она есть, то никогда не делал практических выводов, никогда не предвидел вероятных результатов в жизни, идущей день за днём. Поскольку её улыбки всегда были наготове, поскольку ей было свойственно животное безделье и она, казалось, никогда не замечала бега времени, он воображал, что все желания её натуры удовлетворены. Почему бы ей скучать, ведь она могла развлекаться целыми днями то подкрашиванием губ и ресниц, то примеркой этого платья или того? Разве она не наслаждалась удобствами и роскошью, о которых раньше и мечтать не могла? Она казалась лишённой честолюбия; и прошло немало времени, прежде чем она задумалась о деньгах, желая лишь удовлетворять свои маленькие, мимолётные прихоти, когда они приходили. Позже, когда она начала ценить украшение за его стоимость, Гокал не обратил внимания на эту перемену. Он не замечал, что через день-два её более дорогие украшения снимались и их больше никогда не видели. Он упустил из виду значимость того факта, что в это же время она стала изменчивой в настроениях. Приступы раздражения, чередовавшиеся с её детской весёлостью, делали её лишь более привлекательной в его глазах. Так продолжалось до тех пор, пока однажды, вскоре после ужина, он не почувствовал сильную слабость. Слабость не проходила; его состояние становилось все хуже и хуже, и, наконец, он впал в кому. Ранним утром Сита получила сообщение от его перепуганных слуг о том, что их хозяин почти мёртв. Она поспешила к его постели и нашла его без сознания, с пульсом, который едва можно было прощупать. По великой удаче ей пришло в голову, что по соседству живёт старая травница. Женщину позвали, она взялась за дело, и после четырёх часов её забот Гокал оказался вне опасности. Его первыми вопросами были вопросы о Гуневати: где она? Не свалила ли её подобная участь? Если нет, то как вышло, что её нет у его изголовья?

Смелая Сита решила взять на себя мрачную задачу сообщить ему, что Гуневати таинственным образом исчезла. С момента отъезда Хари и Амара она и Гокал стали гораздо чаще бывать в обществе друг друга. Она совершенно смирилась с его увлечением, и хотя имя Гуневати никогда не упоминалось между ними, он прекрасно знал, каково её отношение. Именно с позиции дружбы, которая стала очень близкой, она заговорила и сообщила новость. На минуту или больше воцарилось полное молчание, пока Гокал смотрел на неё непонимающим взглядом. Затем, постепенно, по мере того как его разум приспосабливался, бледный румянец окрасил его пепельные щёки, и, наконец, опустив веки, он отвернул голову. Лишь два дня спустя имя Гуневати сорвалось с его губ, и то лишь для того, чтобы спросить, не будет ли Сита против заглянуть в комнату девушки и посмотреть, не оставила ли та каких-нибудь писем или бумаг, проливающих свет на её отъезд. Сита нашла краски, пудры и платья, всё разбросанное; комната была в беспорядке, но никаких бумаг видно не было.

При широком общем взгляде поведение Гуневати было вполне понятным; но случай, рассмотренный более пристально, представлял собой несколько довольно загадочных черт. План, несомненно, был составлен заранее и с помощью пособников извне. Это Сита

видела ясно; но сама она, конечно, не имела ни малейшего желания копать глубже, да и Гокал не выразил никакого желания (он определённо был не в состоянии) начинать регулярные расследования.

Почти две недели его физическое истощение было полным. Позже, когда силы вернулись, он, казалось, пытался забыть происшедшее; и величайшим удовольствием для него было слушать, как Сита читает ему вслух. В разговорах, которые следовали за этим чтением, их близость пустила корни ещё глубже. Сита обнаружила, что открывает ему своё сердце так, как никогда никому прежде. Однажды она призналась, что больше не любит Амара. Было правдой, что он оставался её самым дорогим другом на земле: «Но дружба, — сказала она со вздохом, — это не то же самое, что любовь. Амар, — продолжала она, — отвратил своё сердце от мира. Я осталась позади, но я не жалуюсь, потому что знаю, что он должен следовать своему Пути. Любовь для него не означает того, что она означает для меня, и я искренне верю, что эта разница в наших идеалах отдаляет нас друг от друга дальше, чем если бы он действительно влюбился в кого-то другого».

Гокал помрачнел, услышав это. Было бы крайне печально, размышлял он, если бы Сита и Амар позволили настоящей холодности установиться между ними сейчас. Если только они не расстанутся при полном взаимопонимании с обеих сторон, как вообще они смогут вынести разлуку? При их расставании каждого будут преследовать мысли, полные раскаяния. Ничего более мучительного для неё и более отвлекающего для него нельзя было придумать; его продвижение будет фатально затруднено; а она, догадываясь об этом, почувствует себя в значительной степени ответственной. Страх перед таким несчастьем Гокал мог бы счесть надуманным, если бы слова Ситы не заставили его почувствовать укол другой, более острой тревоги. Он спросил себя — и не впервые — не грозит ли Сите и Хари опасность влюбиться друг в друга. До сих пор он находил утешение в той открытости, с которой она говорила и о Хари, и об Амаре; казалось, ей нечего скрывать. И вот теперь, в качестве проверки, он сказал ей, что в письме, написанном из Рави, Хари заявил, что устаёт от мира и что, когда он в следующий раз вернётся в свою страну, это будет для того, чтобы погрузиться в изучение буддийской философии. Сита на мгновение задумалась, затем улыбнулась и сказала: «Это лишь показывает, что Хари ещё не понимает самого себя. Этот мир всегда будет для него реальным; он находит ценность в текущем моменте. Его характер в этом отношении сильно отличается от амаровского». И затем, когда Гокал проявил настойчивость: — Амар, — продолжала она, — больше заботился о прошлом и будущем, чем о самом настоящем. Амар был сосредоточен на грядущем, и в этой мере даже его самые бескорыстные действия были корыстными, ибо они были шагами на его пути к цели. Эгоизм самого Хари обладал бескорыстным качеством, которое проистекало из того факта, что он находился во власти эмоций, не управляемых его индивидуальной волей. «Во мне есть нечто, что глубоко сочувствует Амару, — заключила она довольно беспомощно, — но другая часть меня восстает против него».

Гокал нахмурился. Он, пожалуй, больше любил Хари, но чувствовал, что его более глубокая преданность принадлежит Амару. «Ты должна помнить об этом, — ответил он, — для Амара моменты, действительно стоящие того, чтобы жить — это моменты вдохновения — моменты, когда глубочайшие проблемы жизни становятся острыми в очертаниях и ответ наполовину виден. Для Хари вдохновение — это нечто иное. Его вдохновение, как ты говоришь, идет на то, чтобы осветить настоящую минуту; оно сияет на веществе жизни; но заходит ли оно, спрашиваю я, так далеко, как вдохновение Амара в деле созидания его духовного существа? Вдохновение Амара — это глубокий внутренний жар, в котором чистое золото мудрости выплавляется из шлака».

— Когда Амар говорит о мудрости, — сказала Сита с меланхоличной улыбкой, — он имеет в виду нечто отличное от меня, нечто уводящее от жизни. Что касается меня, я просто не могу думать о мудрости и поэтическом духе как о вещах раздельных. Разве поэзия не мудра? а поэзия требует всей жизни, всех чувств жизни, всего, чему вы учитесь и что слышите и видите, для своего материала.

Этот разговор был одним из многих, которые происходили на веранде Гокала, когда послеполуденное солнце косо светило сквозь садовые деревья. Силы Гокала возвращались медленно, и если его слабость притупляла его душевное смятение, то она позволяла его меланхолии распространяться далеко. Час за часом он в отчаянии размышлял об аномалиях своего характера. Он мог видеть Гуневати такой, какая она есть, и все же жаждал ее и постоянно пытался смягчить ее проступок. В своем отчаянии он поистине жаждал смерти, и все же его телесное состояние было для него вечной тревогой. Настолько одиноким он был в своем уме и во всех своих умственных привычках, что общество никогда не доставляло ему истинного удовольствия, и все же он находил одиночество невыносимым. Созерцая мир с высоты и поистине презирая его суету, он, тем не менее, благоговел перед мирским величием и оставался человеком, уважающим чины.

Многие свои мысли он доверял Сите, но были и другие, в которых он стыдился признаться. Однажды, например, когда она спросила о значении сардонической улыбки на его лице, как он мог признаться, что думал о том, как всю ночь пролежал без сна, терзаемый воспоминаниями. Он вспомнил, как однажды утром по пути в Кханжо он покупал Гуневати безделушки у бродячего торговца, и, наконец, выведенный из себя ее прискорбным отсутствием вкуса, он обронил пренебрежительное слово и усмешку. Именно воспоминание о том, как она вздрогнула и покраснела, теперь преследовало его. Оно наполняло его ночи раскаянием. Раскаяние! Неудивительно, что его улыбка была сардонической!

Поскольку это был общий тон его ума, он не только находил утешение в Сите, но и был поражен ее силой утешения, которая выходила далеко за пределы всего, что он считал возможным. Впервые в жизни он осознал всю возможную ценность благожелательности как фактора человеческого опыта. До сих пор он держался в стороне от христианства не только из-за его догм, но и из-за неспособности принять его основополагающий принцип:

он не мог придавать Любви ту важность, которая придается ей в учении Христа. Другими словами, христианство представлялось ему либо системой теологии, которую он не мог принять, либо разновидностью Гуманизма — а Гуманизм он ненавидел как простую этику, из которой опущены высшие духовные ценности. Но никто не мог обвинить Ситу в том, что она упускает из виду те элементы в религии, которые возвышают ее над любой чисто альтруистической доктриной. У нее было чувство поэзии, соответствующее его собственному; у нее было понимание героического, возвышенного. Намеренно поэтому он предался ее духовным влияниям, позволяя бальзаму течь и ожидая, пассивный и в то же время внимательный, какого бы то ни было откровения.

Однако Сите самой он был очень скуп на признания. У него было на совести не говорить ничего, что могло бы укрепить ее предубеждения западного человека против восточного мировоззрения. Ей он часто с непреклонной строгостью утверждал, что тенденция христианства — превозносить идеал общественного долга в ущерб идеалу самоозарения. Оно придает нездоровую сладость чистым источникам идеализма; в него вносится слегка материалистический и в то же время слегка сентиментальный элемент. Интеллектуальная часть религии была подчинена эмоциональной или же вовсе отброшена в сторону, а истина была передана науке как единственной области, в которой это понятие сохраняло хоть какой-то смысл. И так древние и непревзойденные представления о мудрости и святости были изгнаны из умов людей, а метафизика была оставлена без внимания как ненужная.

В другое время, однако, он любил позволять себе роскошь извлекать полные, богатые аккорды философского отчаяния. Он цитировал из Екклесиаста, и однажды сказал: «Сита, более четырех тысяч лет назад в Египте жил наш собрат, написавший эти слова: “Убаюкай свое сердце миром в забвении; пока ты живешь, следуй зову своего сердца и будь счастлив. Никогда не уставай следовать своему желанию и не тревожь своё сердце, пока ты пребываешь на земле. Человеку не дано унести свои владения с собой. Никто из ушедших никогда не возвращался. Слёзы не могут освежить сердце того, кто лежит в могиле. Поэтому же устраивай себе праздник и ни о чём не заботься.”».

— Да; это первое слово мудрости, — ответила Сита со смехом, — но, Гокал, последнее ли оно?

В этот день после полудня, так уж случилось, он ощущал подспудное чувство покоя, поэтому через мгновение он вернул ей улыбку и продолжил: — «Помнишь, я однажды сказал, что загадка вселенной будет решена только тогда, когда люди достигнут состояния сознания, в котором сама загадка перестанет существовать? Что ж; ты могла бы сказать мне сейчас, что красота в жизни восторжествовала бы, если бы у людей были глаза, чтобы её видеть. Если бы они могли видеть вокруг себя внешние и видимые знаки внутренней и духовной благодати, эта благодать была бы здесь. Ты любишь мир явлений, потому что это мир поэзии, и вполне возможно, что ты права. Вероятно, замысел состоит в том, чтобы после восхождения к общению с Единым последовало новое нисхождение ко Многому — но с сохранённым знанием Единства. Это учение Плотина и Дионисия Ареопагита».

Эти дни подошли к концу, когда Гокал достаточно окреп, чтобы совершить путешествие в Рави. Казалось, он довольно хорошо переносил неудобства дороги, но но по прибытии у него случился рецидив, и тогда он перестал корить себя за то, что намекнул Амару в письме, что ничто не доставит ему большего удовольствия, чем возвращение Хари.

XXV

В ту ночь Хари и Гокал сидели допоздна, наблюдая, как луна расстилает свой свет над озером. Вечнозелёный дуб, под которым они сидели, стоял на небольшом мысе и отбрасывал тень своей тёмной густой листвы на посеребрённую воду. Лёгкий ветер дул с противоположного берега; он принёс с собой едва уловимую мелодию, доносившуюся из лагеря Данияла. Можно было почти поверить в старую легенду о том, что лунный свет, играющий на воде, когда-то создавал гармонию, слышную уху Лакшми. В долгих молчания, которые возникали между ними, два друга чувствовали, что узы их союза действительно крепки. Им претило портить красоту этого часа трудными и болезненными темами.

Завтра, подумал Хари, успеется рассказать историю страсти Салима к Гуневати. К сожалению, скрыть эту информацию полностью было невозможно, хотя бы из-за света, который она проливала на тайну её исчезновения. Выглядело более чем вероятным, что агенты Принца приложили руку к её бегству и увезли её во дворец своего хозяина в Аллахабаде. Со своей стороны, Гокал думал, что не должен слишком долго откладывать разговор с Хари об Амаре и Сите; он расскажет ему, как сильно он беспокоится о том, чтобы их приближающаяся разлука не была омрачена каким-либо непониманием или отсутствием сочувствия. Хари сообразит, что это предостережение ему, если бы требовалось нечто подобное в этом роде.

Было уже за полночь, когда они расстались, и Хари направился в шатёр, который Гокал подготовил на небольшом расстоянии от своего. Тот же нежный ветер рябил озеро, и луна всё ещё ясно виднелась на небе; тем не менее, на рассвете Хари был разбужен яростным хлопаньем его парусины и ударами сильного дождя по крыше. Яростный шквал нёсся вниз по долине; и через некоторое время он встал, опасаясь, как бы шатёр не унесло; но прежде чем он закончил одеваться, дождь прошёл; выглянуло солнце; и ветер, хотя и продолжался, стал гораздо слабее.

Выйдя наружу, он огляделся и поразился, никогда в жизни не видел утра прекраснее этого. Массивные облака рассеивались восходящим солнца, которое золотило их клубящуюся белизну и наполняло открывающееся небо бледно-зеленым цветом, переходящим в бледно-голубой. Стаи лесных голубей проносились по воздуху, озеро сверкало торопливыми волнами, и все деревья вокруг лагеря отряхивали листья и капли дождя под ветром.

Никого ещё не было поблизости, и вскоре он побрёл в сад дома раджи. Своим старомодным стилем этот сад был приятен глазу. Персидский стиль ещё не вошёл в моду, когда он был разбит, поэтому дизайнер удовольствовался наивным подражанием китайскому. Маленькие ручейки и пруды были устроены то тут, то там, со склоняющимися над ними карликовыми ивами, а на заднем плане — группы тяжёлых цветов магнолий, азалий с пламенеющими листьями, синих гортензий и перистых бамбуков. Несколько экзотических деревьев, посаженных отцом старого раджи, определённо были несколько неуместны, но в самой простоте вкуса, поместившего их туда, было что-то приятное. Хари сел на скамью, и наконец мысли о Сите, которые он так долго подавлял, неудержимо нахлынули на него. Он гадал, какой будет их встреча; но даже сейчас, с сердцем, бьющимся при этой мысли, он боялся дать волю воображению и, вскочив на ноги, снова начал бродить по узким извилистым тропинкам.

Через некоторое время он остановился у самого большого прудика, через который был перекинут китайский мостик, с которого привычно склоняла свои светло-зелёные листья ива, касаясь воды. Когда он смотрел вниз на розовые лилии, он внезапно осознал, что ветер стих; всё внезапно погрузилось в полное безмолвие, ни один листок теперь не шевелился. Появились три огромные сине-белые бабочки и начали кувыркаться над своими собственными ясными отражениями. Оттуда, где он стоял, дом был вне поля зрения, хотя находился не далее чем в нескольких ярдах; и вскоре оттуда стали доноситься голоса. Его сердце забилось, когда его слух уловил голос Ситы, и через минуту, действительно, он раздался довольно громко в неподвижном воздухе. К его развлечению, в нем звучала нотка гнева; и, улыбаясь себе, он осторожно приблизился, пока лишь тонкая ширма кустарников не отделила его от открытого окна, у которого — судя по звуку — должна была стоять Сита. Она разговаривала с Амаром, чьи ответы приглушённо доносились из комнаты позади. Её тон продолжал быть чрезвычайно сердитым, и улыбка Хари расширилась, когда он понял, что подслушивает обычную домашнюю ссору. Это было странно, пожалуй, что он остался слушать, особенно учитывая, что он испытывал ужас перед откровениями, которые возникают из-за определённых изменений голоса или манер, когда люди выходят из себя. За свою жизнь он слышал, как более чем одна знатная дама теряла самообладание, и всегда к своему разочарованию. И всё же теперь он стоял неподвижно и, слушая, получал настоящее удовольствие. Сита могла давать себе волю сколько угодно, она могла бушевать и гневаться, но это никак её не вредило. Да и несчастный Амар не лишился достоинства, хотя явно заслуживал своей выволочки. Что он сделал, так это оставил ставни соседней комнаты открытыми, в результате чего лучшие платья Ситы промокли насквозь от дождя ночью. Развлечение Хари росло с каждой минутой; более того, им овладела совершенно экстравагантная радость. Там среди цветов и бабочек, мир виделся ему местом необычайной красоты. Жизнь оказалась на удивление простой вещью в конце концов. Лишь отбрось беспокойство и тревогу о том, чтобы взять всё в свои руки, и тогда вся земля стала бы твоей для наслаждения бескорыстным восторгом. Борьба между человеком и человеком исчезла бы; Рай был бы таким простым.

Тихо пробираясь сквозь кусты, он подобрался к самому окну. Ситы там больше не было, но, заглянув в комнату, он мельком увидел её сидящей за столом с Амаром. Она была видна в профиль, в то время как Амар находился спиной к окну. Перед ними стояли чайные принадлежности и тарелка кашмирского печенья. Время от времени от Сита глубоко вздыхала, и её глаза продолжали блуждать по её платьям, некоторые из которых висели сушиться у окна. Хари ждал, когда её взгляд упадёт на него, и через минуту она повернула голову, слегка вздрогнула и широко раскрыла глаза. Он приложил палец к губам, призывая к молчанию, и она повиновалась сигналу. Улыбаясь, он жестом пригласил её присоединиться к нему в саду, и, хотя очевидно немного недоумевая, она кивнула в знак согласия.

Ожидая её на углу дома, Хари ощущал лишь огромное, неожиданное счастье; и он сказал себе: «Что это? Что это такое?» Его чувства обострились до ощущения мучительной сладости; его существо было охвачено мукой, которая была восхитительна и, казалось, играла не на нервах плоти, не на механизме мозга, а на самой субстанции души. В следующий момент появилась Сита, и они вместе молча спустились сквозь деревья, пока их не стало видно и слышно из дома. Тогда он остановил её и заглянул ей в глаза; и её лицо, на котором была улыбка, когда она присоединилась к нему, теперь было серьёзным, словно на него опустилась завеса тайного удивления. Казалось, она внутренне изумлялась, её глаза были глубоки от предчувствия, и она ждала. То, что он говорил, он едва ли знал сам, но румянец на её щеках стал гуще, а долгий вздох, который она сделала, казалось, был сотрясён внутренней дрожью. Так они стояли короткое время, он взял её за руки, и, пока он продолжал говорить, её глаза блуждали из стороны в сторону, но рук она не отнимала. Наконец она закрыла глаза, чтобы, возможно, заглушить звук его голоса или, может быть, чтобы слышать его ещё яснее. Поняла ли она, что он говорит? Действительно ли она уловила веяние дикого, духовного благоухания, которое творило чудо с его сердцем? Улыбка озарила её запрокинутое лицо, и ему показалось, что она полна нежной насмешки; но, когда она ответила, её голос дрожал. — «О, как чудесно быть любимой…» — Она говорила мечтательно, словно про себя. — «Но нужно быть чудесной, чтобы заслужить это… Чтобы тебя любили, нужно быть выше всяких перемен. Нужно быть совершенной телом и духом. Нужно существовать только ради любви одной — неважно, как мало времени. Нужно быть совершенной — а потом нужно умереть».

Она немного рассмеялась после этих слов, и вскоре он увидел, что в её глазах блестят слёзы. Пока они так стояли вместе, она в его объятиях, для них больше не существовало времени. Лишь когда усиливающийся шум утра ворвался в их уши, они вспомнили, где находятся и как там оказались.

Проводив её взглядом по тропинке обратно к дому, Хари долго стоял в оцепенении. Две бабочки всё ещё кувыркались над прудом с лилиями, тени поперёк тропинки казались почти не изменились; но Гокал, вероятно, уже начинал недоумевать, куда он пропал.

В течение всего оставшегося дня он чувствовал себя странно оторванным от всего своего прошлого, и только много дней спустя он оправился от изумления перед случившимся. Теперь он лучше понимал характер внезапной перемены, которая иногда настигала людей, превращая грешника в святого или скромную женщину в распутницу. Когда он спрашивал себя, будет ли его нынешнее расположение духа, скорее всего, долговечным, он не видел ни малейшей тени сомнения. Время могло внести свои изменения в сущность его любви, но эта любовь пустила глубокие корни, и он пронесёт её, к добру или к худу, до самой могилы. Это представлялось настолько неоспоримым в его собственном уме, что он совершенно неразумно удивился, не найдя той же уверенности в Сите. Во время их следующей встречи стало очевидно, что её охватили опасения. Отправившись вместе от садовой калитки, они поднялись на небольшой холм за домом и сели под одинокой сосной. Только тогда Хари заметил, что под сиянием её счастья скрывается глубокое беспокойство. Сначала она была рассеянна и едва могла говорить, но через некоторое время сказала: — «Я думала об Амаре… и не только о нём, но и о себе. Хари, я изо всех сил стараюсь не любить тебя по-человечески, а думать о тебе как о чём-то вне обычной жизни. Ты ведь не сочтёшь это холодным и трусливым, правда? Я хочу того, что можно получить только в мечтах. Если жизнь — не мечта, она должна ею стать. Для меня это похоже на сон, что ты меня любишь. Какую радость это мне даёт! Но теперь я спрошу тебя вот о чём: почему ты, у которого было много романов с женщинами, непременно хочешь именно ещё один? Почему бы не оставить всё как есть? Ты ведь не будешь плохо обо мне думать, правда? Но я знаю, как сильно мне хотелось бы проникать всё глубже и глубже в суть вещей. А затем — все сомнения! Вся боль! Свежая боль на каждом повороте… Амар говорит мне, что я впадаю в крайности, и это правда. Так пусть же любовь останется для меня сном. Во сне можно отдать всё — быть всем, — но обычная жизнь создана не для этого».

Слова эти очень мало тревожили Хари. Его счастье в настоящем было настолько велико, что он не предъявлял никаких требований к будущему. Быть с ней или даже просто знать, что она существует, казалось достаточным. Он мало считался с её страхами и хотя преуспел в их временном усмирении, в промежутках между встречами они снова давали о себе знать.

— «Это всё ещё кажется мне таким странным, — говорила она, — наполовину нереальным… И всё же если бы я сочла это нереальным, я потеряла бы себя, я никогда больше не поверила бы, что мой мир истинен». Часто она устремляла на него взгляд встревоженной интенсивности. — «Интересно, можешь ли ты понять? Это ужасно важно для меня. Ты не должен нарушать течение моей жизни чем-то неглубоким. Я бы этого не вынесла. Это может звучать глупо, но мой мир очень дорог мне. Ты пытаешься вторгнуться в него. Ты уже вторгся в него. И теперь…»

Когда она так говорила, Хари тревожно заглядывал в своё сердце, но всё равно не мог найти ничего, что пошатнуло бы его уверенность в себе. При воспоминании о Лалите столь непохожим казался ему тот опыт и этот, что не возникало даже точек для сравнения. То же

самое было, когда он оглядывался дальше назад. Что действительно озадачивало его в то время, так это его полная перемена чувств по отношению к Амару. Его прежние угрызения совести полностью исчезли; но он не мог производить угрызения совести по заказу, поэтому он пожал плечами и, не слишком глубоко копаясь в этом вопросе, сказал себе, что его совесть чрезвычайно капризна.

XXVI

В то время единственной тенью на счастье Хари была та, что отбрасывалась фигурой Гокала. С каждым днём становилось всё очевиднее, что он не поправляется, и Хари с тревогой размышлял, вызвана ли причина в первую очередь физическими или душевными недугами. Весть о том, что Гуневати, вероятно, находится в руках Салима, подействовала на него очень сильно; во время разговора его лицо то заливалось краской, то бледнело, его манера становилась всё более взволнованной, и в конце концов он впал в напряжённое молчание. Хари понял, что тот охвачен ревностью; и после этого тему оставили в покое. Она лежала между ними, занимая их мысли, но не предлагая никакого аспекта, по которому можно было бы что-то сказать.

То же самое касалось и темы Ситы. Гокал начал было говорить, но почти сразу умолк, осознав, что его предупреждение пришло слишком поздно. Его молчаливая грусть заставила Хари снова заглянуть в своё сердце, но совесть его по-прежнему оставалась безгласной. То, что случилось, было предначертано, это было нечто за пределами придирок или жалоб. Что касается Амара, они с Ситой были так же озабочены, как и Гокал, тем, чтобы он не унёс с собой в уединение переживаний, которые помешают его прогрессу; и именно поэтому они твёрдо решили держать свою любовь в тайне. Впрочем, непосредственным эффектом счастья, в котором они жили, было то, что всё вне их любви казалось незначительным. В ходе своих бесед Хари кратко рассказал о своей ссоре с Даниялом и развитии отношений с Мабуном в Агре. Но всё это казалось очень далёким; он не мог придавать этому большого значения, и ему очень подходило, что Сита воспринимает его историю в том же духе. Всё, о чём она просила, — это не принимать никаких важных решений без её ведома. Она была уверена, что когда дело дойдёт до крайности, он не сможет заставить себя солгать Акбару. Её собственная верность Императору была непоколебима, и она приводила её к тирадам против Мабуна, которого Хари со смехом защищал как одного из самых умных и целеустремлённых людей в Империи, а также верного друга. Он действительно в это верил, хотя сознавал, что Мабун пожертвует им, если того потребует его цель. «Мабун, — настаивал он, — человек чувства. Он поднимается выше своего собственного темперамента. Никогда бы он не выказал презрения к религии, не стал бы щеголять цинизмом или даже потакать иронии».

Бесконечными были их беседы в эти дни. Тревоги Ситы постепенно утихали, и счастье, которое она испытывала, основывалось на растущей уверенности в том, что любовь Хари

будет вечной. Но воображала ли она, что он навсегда останется доволен положением дел в том виде, в каком оно существует сейчас? Была бы она, в самом деле, вполне довольна сама, если бы действительно верила, что его страсть так легко удовлетворить? Несомненно, ей нравилось упрекать его даже за поцелуй, но в её манере было что-то такое, что, казалось, говорило: «И всё же я признаюсь, была бы разочарована, если бы у тебя не было желания меня поцеловать. Будь это так, наша любовь могла бы стать для тебя скучной; она могла бы стать даже немного скучной для меня… С другой стороны, если бы ты мог целовать меня без возражений, разве это тоже не стало бы скучным?»

Какое-то время Хари подчинялся этим условиям без раздражения и даже когда начал страдать от них, почти не пытался их нарушить. Тем не менее однажды он почувствовал побуждение заговорить прямо. «Как долго, — спросил он, — ты думаешь, что сможешь продолжать играть с любовью?»

— Разве я играю с любовью? — спросила она задумчиво, а затем добавила: — Да, полагаю, что да.

Он ничего больше не сказал в тот раз, но его внутреннее беспокойство усилилось. Если она, со своей стороны, теперь была уверена в нём, мог ли он быть так же уверен в ней? Она не могла быть счастлива без уверенности в том, что его любовь серьёзна, и всё же у неё было желание сделать из этого лёгкую вещь. Это происходило потому, что ей было стыдно принимать настоящую любовь, не отдавая всего взамен. Она хотела отдать свою любовь, и всё же хотела её удержать. Как долго можно потакать этому противоречивому настроению?

При следующей встрече его манера была такой же мягкой и улыбчивой, как всегда, но она не замедлила уловить под ней оттенок мрачности. Они сидели в лесу, который поднимался позади дома, и именно она первой нарушила воцарившееся между ними молчание.

— Я вижу, что ты сердишься на меня, — пробормотала она, — и я также знаю почему.

Хари не отрывал глаз от дали, и через мгновение она продолжила: — Ты заставляешь меня чувствовать, что быть такой, какая я есть, неправильно. Ты заставляешь меня чувствовать себя мелочной. И всё же… разве ты не можешь оставить меня вне мира, вне обычной жизни? Разве ты не можешь относиться ко мне легче? Разве ты не мог бы, — она запнулась, — разве ты не мог бы играть с любовью — вместо того чтобы позволять ей быть печальной, жаждущей вещью?

Хотя он теперь повернулся и посмотрел на неё пристально, она не могла разглядеть, что скрывается за его глазами. Она встревожилась ещё больше. Она снова заколебалась; и наконец, словно отвечая на слова, которые он не произнёс: — Несомненно, — сказала она, — сердце и ум человека, божественные и глубокие, всегда ненасытны? — И ещё более

тихим голосом добавила: — Чтобы я ни дала, это никогда по-настоящему не удовлетворит твою нужду.

В тайных глубинах своего существа Хари был потрясён. Было ли правдой то, что она говорила? Не лучше ли так? Неужели свершение всегда несовершенно?

И в этот раз тема была прервана, вопрос остался нерешённым. Около часа после этого Хари размышлял в одиночестве, а позже вечером, сидя у озера, он продолжил свои грёзы в компании Гокала, который тоже погрузился в молчание. Когда он в следующий раз поднял глаза, взошла луна, и его взгляд на мгновение остановился на задумчивом лице спутника. «Гокал, — сказал он, — я уже некоторое время думаю, что мне следует посетить Кханжо». И он продолжил объяснять, что хотя он написал Мабуну, чтобы сообщить об исчезновении Гуневати, его отчёт, волею обстоятельств, получился очень обрывочным. Он чувствовал, что обязан Мабуну провести некоторые личные расследования на месте. Вся поездка, полагал он, займёт чуть больше недели.

С минуту после того, как он заговорил, Гокал выглядел поражённым; затем он ухватился за эту идею с таким рвением, что вызвал у Хари некоторое тайное изумление. Выглядело так, будто Гокал ещё не смирился или позволил, во всяком случае, элементам тайны в исчезновении Гуневати слишком сильно завладеть его воображением.

Было ли это намеренным ходом, что Хари отправился в это путешествие, не поговорив больше с Ситой наедине? Возможно, он сам едва ли смог бы дать определённый ответ. Рассматриваемый просто как стратегический ход, этот шаг не отличался искусностью; тем не менее, резкая манера его отъезда встревожила Ситу — встревожила её, хотя она не могла не подозревать, что это и было задумано произвести именно такой эффект.

Его второй день пути привёл его к пещере отшельника под утёсом. Она находилась на вершине груды камней, вход в пещеру образовывал чёрную дыру в отвесной скале, возвышавшейся над ним. Вечернее солнце светило на эту огромную каменную стену, и сам отшельник виднелся как маленькая нагая фигура на фоне темноты своего логова. С дороги внизу Хари смотрел вверх и спорил внутри себя; подъём будет жарким и пыльным; но ему было любопытно, и тот факт, что человек был шактистом, больше не обескураживал его. Карабкаясь среди разбросанных валунов, он благочестиво надеялся, что отшельник не удалится вглубь пещеры при его приближении, как часто поступают такие люди. Облегчением, достигнув каменной платформы, было найти его всё ещё там; и он поспешил приветствовать его всеми знаками почтения, стряхивая пыль с его ног принятым образом. Отшельник, сидевший на земле со скрещёнными ногами, посмотрел на это несколько иронично. Он был маленьким и сморщенным и имел вид преждевременно состарившегося человека. Пригласив посетителя сесть, он ждал, изучая его настороженными, похожими на бусинки глазами, зрачки которых были угольно-чёрными, а белки странно-жёлтыми. Между убогой внешностью затворника и величием окружающей сцены существовал поразительный контраст. С этого высокого места открывался вид на всю длину огромной,

пустой долины. В её конце садилось солнце после дневного путешествия сквозь палящее небо. Пустота внизу была великолепной, падая на запад в дымку самого яркого вечернего свечения. И в этом океане солнечного света, омывающем крутизну скалы, парящие орлы, похожие на золотые блёстки, висели или ныряли, и в своём падении хватали невидимую добычу.

— Зачем ты пришёл? — спросил отшельник.

Хари заколебался. — Услышать всё, что вы соблаговолите сказать.

Отшельник улыбнулся. — Я шактист трёх полос, — он указал на метку на лбу, — и когда ко мне приходят люди, они говорят о любви.

— Да будет так! — ответил Хари. — О любви мы и будем говорить.

— Любовь, — сказал отшельник с усмешкой, — главная из фиктивных ценностей Пракрити, или Природы. Человек придаёт значение возлюбленной и её любви; он также придаёт значение своей собственной. Таким образом, он придаёт себе и своим заботам воображаемую важность и льстит своему самолюбию.

Хари серьёзно кивнул, прилагая усилия, чтобы скрыть антипатию, которую внушал ему отшельник. Подумав некоторое время, он сказал: — Вы говорите о любви между мужчиной и женщиной, но есть также братская любовь и любовь человека к Божеству.

Отшельник открыл рот в беззвучном смехе. — То, что я сказал, относится ко всей любви. За любовью стоит жажда самовозвеличивания. Человек изобрёл Бога и обожествил любовь, чтобы придать себе большую важность — по крайней мере, в собственных глазах.

— Если человек — мера всех вещей, — сказал Хари, — то он настолько велик, насколько сам себя таковым считает.

— К несчастью, — возразил отшельник, снова улыбаясь своей неприятной улыбкой, — он не может считать себя великим исключительно благодаря собственным заслугам. Его всегда побуждают соотносить себя с Божественным.

Хари молчал, и на минуту или больше его внимание отвлеклось от собеседника. Золотистая дымка сгустилась; утёсы, обрывы, тёмно-лесистые склоны растворились из самой глубокой синевы под ним в полупрозрачную дымку над ним. Лишь этот утёс и эта небольшая каменная площадка, на которой сидели он и его спутник, всё ещё светились, словно в сердце печи, куда всё ещё били жар и блеск солнца.

Затем, пока он всё ещё смотрел вниз на долину, он осознал, что отшельник изучает его, и повернулся, чтобы встретить взгляд этих глаз, в которых таился хитрый огонёк.

— Какова ваша схема мироустройства? — спросил он, снова отводя взгляд.

— Миром, — сказал отшельник, — правит ряд иррациональных сил, которые составляют Пракрити; а мы *сами* — Пракрити. Внешний мир отражается нами не пассивно, в наших чувственных восприятиях, а создаётся подобно тому, как волшебный фонарь создаёт проецируемые им образы.

— Меня учили, — сказал Хари, — что Пракрити тождественна Майе, принципу конечности или заблуждения.

— Как можно называть обманчивым то, что одно только и существует? Бесконечное, Абсолютное, Реальное — называйте как хотите — выходит за рамки категорий существования и несуществования. Для нас, следовательно, его нет, и никогда не будет. Конечность существенна для существования, а мы — конечные центры, творящие мир.

— И мы творим любовь как часть мира, — сказал Хари, — однако вы начали с принижения любви.

При этом отшельник бросил на Хари злой взгляд, но через мгновение сказал: — Я не отрицал существование любви. Я отрицал законность ценности, придаваемой ей.

— Но ваша философия не даёт критерия, по которому можно было бы судить о ценностях или даже отличать истину от ошибки.

— А какая философия делает большее? — Злой взгляд отшельника вернулся, но вскоре сменился усталой насмешкой. — В основе всех философий лежит набор убеждений, которые нельзя ни оправдать, ни отвергнуть; инстинкт философствовать — лишь одна из второстепенных деятельностей Пракрити; никакая философия не является ничем большим, чем указателем на характер её приверженца.

Произнося эти последние слова, он снова улыбался, и Хари показалось, хотя он едва мог поверить своим глазам, что человек действительно ему подмигнул. На минуту или больше ничего не было сказано. Хари был приведён в замешательство. Неужели этот человек был действительно таким ничтожным, каким казался? Или же сама огромность его ничтожности искупала его? Настолько ослепительным было жёлтое сияние, которым они теперь оба были окутаны, что оно немало способствовало его умственному замешательству; настолько величественна была огромная чаша долины, наполненная клубящимся туманом огня, что он мог только моргать и удивляться. Когда он взглянул на отшельника, то встретил тот же настороженный оскал; а убогая худоба этого человека и усталость, отражавшаяся в его жёлтых глазах, наполнили его сердце жалостью. Но показывать это, чувствовал он, было бы совершенно недопустимо.

Приняв, поэтому, вид смущения, он медленно поднялся на ноги. — Ваша мысль выше моего понимания, — пробормотал он. — Должен признаться, что я не философ. — Воцарилась неловкая пауза, во время которой он не отрывал глаз от земли. Затем, резко попрощавшись, он отправился вниз по склону. Отшельник не переставал улыбаться, но презрение в его улыбке казалось слегка натянутым, и у Хари возникло неприятное чувство,

что, возможно, его жалость не была успешно скрыта. С другой стороны, возможно, он поступал с отшельником несправедливо. Возможно, отшельник видел всё, включая незначительность собственного характера, и был достаточно отстранён, чтобы не придавать этому значения. Это ли означало подмигивание отшельника? Было ли его сущностное эго настолько отстранено, что оно не проявляло большего интереса к незначительности человека, который случайно оказался им самим, чем к незначительности любого другого?

Это состояние ума — а он знал, что оно не редкость, — озадачило Хари, когда он его обдумывал. Был ли характер, личность — всем? или ничем? Во многом он был согласен с отшельником; но ему хотелось бы пойти дальше и поверить, что истина обусловлена характером в не меньшей степени, чем чувственными восприятиями. Ему также, однако, хотелось бы думать, что ни один человек никогда не примет систему верований, которая не была бы в гармонии с такими чувствами, как те, что только что внушил ему заходящий закат. В должным образом устроенной вселенной должен быть Бог с абсолютным стандартом, по которому должны оцениваться человеческие стандарты. Если ценность лежит в сердце вещей, то объективная истина — какой её пытается сформулировать разум — может предложить в лучшем случае лишь несущественный аспект целого. Реалисты склонны принижать ценность как слишком уж человеческий концепт. Они склонны верить, что разум способен очеловечить сам себя; и тогда они будут простираться перед ним с самым жалким религиозным рвением. К сожалению, из всех человеческих атрибутов наиболее очевидно слишком уж человеческим является сам дискурсивный разум. Ибо разум был инструментом сознательных целей человека, а эти цели были инструментом его бессознательных целей, которые, в свою очередь, были лишь малой частью деятельности Природы или Бога. Была ли эта деятельность тоже целенаправленной? Аналогия, плохой проводник, возможно, но наш единственный, сказала бы да.

Приведя эти размышления к удобному для себя заключению, он позволил своим мыслям улететь обратно к Сите, и она незримо была рядом с ним на протяжении всего остального его путешествия. Дымка его забот омрачила даже его первые часы в Кханжо. На лужайке, где он и Сита когда-то сидели вместе, он стоял в оцепенении, глядя вниз на красно-коричневый ковёр опавших цветов рододендрона, который теперь покрывал её. Здесь, в глуши деревьев, было очень тихо; действительно, всё место было окутано тишиной, которую он счёл слегка жутковатой. Все слуги, кроме принадлежащих к самой низшей касте, ушли; и эти, вдобавок к своему обычному виду апатии, казались ему имеющими вороватый вид. Сумерки опустились, пока он сидел на веранде дома Гокала, пытаясь сосредоточить свой ум на деле, которое ему предстояло.

Было раннее утро следующего дня, когда он прошёл через двор и распахнул комнату Гуневати, которая оставалась запертой со времён визита Ситы. Окна были закрыты; солнце, бьющее по крыше, нагрело воздух внутри, который был тяжёлым и густо пропитан ароматом. Его поиски заняли некоторое время, ибо он обошёл каждый дюйм комнаты.

Когда он закончил, он был в поту и рухнул на кровать, поддавшись необъяснимому истощению. Так живо этот аромат и все эти личные вещи вызвали образ девушки у него перед глазами, что её фактическое физическое отсутствие было похоже на своего рода противоречие в природе. Она была здесь и в то же время её здесь не было; и его сердце, казалось, болело за неё. Но может быть, это сердце болело на самом деле за Ситу? Или, может быть, из сочувствия к Гокалу? В любом случае, он был во власти нового и непреодолимого сострадания. «Неужели Гокал входил в эту комнату? Видел ли он разбросанные платья и ощущал этот знакомый аромат? Увы! — вскрикнул он про себя, — какая чудовищная боль!» А после этой мысли пришла другая: «Придётся ли мне когда-нибудь остаться без Ситы?»

Лёжа там с закрытыми глазами, он постепенно был охвачен стыдом за своё прежнее отсутствие воображения. В каких узких пределах замыкало его самосозерцание! Его восприятия, его интуиции, его понимание — как далеко они могли бы зайти! Масштаб его небрежности раскрылся перед ним сейчас. Чем дольше он всматривался в прошлое, тем темнее и глубже становились дали его раздумий.

Прошло два часа, прежде чем он встал и приготовился покинуть комнату. Единственными предметами какого-либо интереса, которые он нашёл, были несколько клочков бумаги с начертанными на них заклинаниями; и интересны они были лишь тем, что поднимали вопрос: чьей рукой они были написаны? Сама Гуневати, конечно, была неграмотной; почерк имел степень утончённости, исключающую деревенского писца; и это определённо был не почерк Гокала. Следуя идее, пришедшей ему в голову в ходе своих размышлений, он отправился по тропе через долину к дому Амара. Перед дверью сидели на корточках две-три несчастного вида женщины, которые смотрели на него, даже не поворачивая голов. Ему снова пришло в голову, что у них есть секрет, и он был рад, что подумал отправить вперёд двух своих людей. Он выбрал двоих, одолженных ему Мабуном, и дал им инструкции войти в долину с другого направления под видом паломников, идущих к святилищу Баннасси. Этим людям следовало смешаться с местными жителями и разузнать всё, что можно. Но теперь он боялся, что они узнают немного, так как его собственное прибытие так скоро после этого явно держало людей настороже. Несомненно, они пришли к выводу, что Гокал поддался яду, данному ему, и что его друг пришёл, твёрдо решив отомстить кому-нибудь любой ценой.

Обойдя дом вокруг и около, он нашёл то, что искал: место, куда выбрасывали мусор. Ему пришло в голову, что некий след уроков Джали непременно должен быть обнаружен, и его целью было сравнить почерк Джали с почерком тантрических заклинаний. Прошло совсем немного времени, прежде чем он преуспел в выкапывании страницы рукописи, некоторых стихов из Септуагинты, переведённых на персидский язык. Это упражнение могло быть только упражнением Джали, и он с первого взгляда увидел, что его догадка была верна.

В ещё более задумчивом настроении он вернулся через долину, и весь оставшийся день он сидел в медитации на веранде дома Гокала. Если бы в его уме и оставалось какое-либо

сомнение в том, что подразумевает эта связь между Гуневати и Джали, оно было бы развеяно грубой непристойностью многих из Мантр — особенно тех, что предназначены для захвата любви мужчины. И подумать только, что это происходило у него на глазах неделя за неделей! Какая слепота! Какое глупое отсутствие любопытства к мыслям и чувствам других людей! Он вспомнил свою ночную встречу с Джали в коридоре дворца Агры и был полон раскаяния, что с того дня пренебрегал уделять мальчику больше, чем мимолётную мысль. Он прекрасно знал, что Джали должен вести напряжённую внутреннюю жизнь, и всё же никогда не утруждал себя думами об этом. Будь его симпатии чуть более живыми, многое могло бы обернуться иначе…

Тишина и уединённость места были наполнены исчезнувшими присутствиями, и его размышления окрашивались глубоким лесом, распростёршим свой плащ над каждой складкой земли. Один день сменял другой, и его пребывание в Кханжо затягивалось гораздо дольше, чем он ожидал; но он не мог позволить себе уехать, пока не поговорит с травницей, ухаживавшей за Гокалом; а она ушла собирать корни в высокие горы. Надежда получить свежий свет на природу отравления Гокала действительно занимала первое место в его уме с самого начала.

XXVII

Казалось, Сита начала любить Хари в тот туманный, дождливый день два месяца назад, когда он и Амар ускакали прочь от Кханжо. Но её любовь, как она полагала, навсегда осталась бы дремлющей, если бы Хари не вернулся и не призвал её к жизни.

Человека нельзя познать до конца. Хотя иногда ей казалось, что с ней может случиться так, что она глубоко влюбится, теперь, когда это произошло на самом деле, она была сбита с толку. Мог ли кто-нибудь другой предвидеть её будущее лучше, чем она сама? Например, Амбисса? Ещё в прежние дни Амбисса качала головой, видя, что обязанности жены и матери не поглотили всю энергию её золовки. Во время своих визитов Амбисса превозносила бескорыстных индуистских женщин (на которых она сама была весьма мало похожа) и порицала Ситу за то, что та принимает столь живое участие в общественной и интеллектуальной жизни двора Амара. И были другие женщины тоже, которые, будучи склонными к легкомысленному поведению, истолковывали свободу её духа по-своему. Что ж, теперь они могли сказать, что оказались правы; но быть правым таким образом — какой же это поверхностный способ! Мир был неспособен понять, что творится сейчас в её сердце; а в те старые дни она и вправду была безупречна.

Думая о Джали, она радовалась, вместо того чтобы сожалеть, тому, что он настолько духовно отстранён. Он, несомненно, любил её, но она видела, что её образ мыслей и чувств кажется ему странным; и хотя он был одинок, своё одиночество, казалось, он лелеял со страстью. Однажды, когда она учила его своей религии, он серьёзно посмотрел на неё и сказал: «Да, ты создаёшь Христа; а я создаю демонов». Джали нуждался в ней, сказала она

себе теперь со смешанным чувством грусти и облегчения, не больше, чем Амар. И тогда она снова задумалась, могло ли всё случившееся быть хоть как-то предвидено или предотвращено. Не то чтобы она желала, чтобы оно было предотвращено; она предпочитала любить, даже если любить означало страдать. В прошлый раз, когда Хари ускакал прочь, всё было совершенно иначе. Тогда она отпустила его без всякой тревоги. Возможно, она чувствовала уверенность в том, что он увозит с собой воспоминания, от которых будет не в силах избавиться. Так или иначе, мысль о нём была тёплым, ровным свечением в глубине сердца, заставлявшим её чувствовать жизнь богатой и глубокой. То время было подобно весне, сезону обещаний и ожиданий. У неё не было нынешнего чувства взятых на себя обязательств, небезопасности, голода по счастью, которое легко могут вырвать из рук. Теперь же с каждым днём отсутствия Хари её беспокойство росло. По мере того как угасало тепло его присутствия, ею овладевали одиночество и дурное предчувствие. Она жила с интенсивностью, но эта интенсивность была мучительной. Хари был призрачным спутником её одиноких прогулок, и страстно спорила и умоляла она с ним в мыслях. «Не пойми меня превратно! — кричала она в своём сердце. — Не воображай, будто я рождена для того, чтобы стать монахиней. Нет, я открыта всем сторонам любви. Но, хотя ты мне нужен, мне также нужно бродить по землям собственного ума — одинокой и свободной. Я не хочу быть твоей пленницей... хотя это могло бы — это было бы — чудесно. Ты — который тоже свободен, поистине свободен — должен позволить мне быть свободной. Не увлекай меня ни в какие глубины, какими бы сладкими они ни были... ибо я не смогу вновь вынырнуть целой; а ты — возможно, сможешь!»

Чем глубже и безвозвратнее она чувствовала, что её сердце вовлечено, тем острее становился ужас перед тем, что однажды он может подвести её. Она говорила себе, что будь она уверена в немедленной смерти, она приняла бы нынешние риски с лёгким сердцем. Но человек не умирает: в этом-то и заключался ужас. Человек живёт, чтобы видеть, как мир превращается в пустыню. И с воспоминанием о волшебном мире вчерашнего дня он движется, одеревеневший и застывший, при холодном свете обычных дней; только вот теперь это были не обычные дни, а дни агонии. «Я не вынесу этого! — говорила она своему невидимому спутнику. — Ведь мои мечты и фантазии исчезли бы тоже! Они были бы утрачены для меня — возможно, навсегда».

Погружённая в глубокую задумчивость, она шла быстро и ничего не видя многие мили сквозь тёмные леса, а затем, внезапно остановившись, оглядывалась вокруг, словно пробудившись ото сна. Её существо было пропитано духом леса, через который она прошла — влажной торфяной землёй, торжественными заводями коричневой воды, деревьями, с которых свисал серый лишайник. Она смотрела вверх на высокие сосны, стоявшие тихо вокруг неё — очень тихо, словно сосредоточенные на своём безмолвном росте. Она ощущала силу этих вековых терпеливых жизней и, бросаясь наземь и впиваясь пальцами в рыхлую прохладную почву, полностью теряла внешние покровы личности; она больше не была юной рани, ни женой, ни матерью, и даже не женщиной, которая любит. Она

полностью теряла себя; она больше не была ничем иным, кроме эмоции, такой тихой, такой глубокой, что для неё не существовало имени, которым её можно было бы описать.

Прошло две недели и больше, а возвращение Хари запаздывало. Она начала терять сон, и ей становилось всё труднее и труднее пробуждаться от долгих полных боли грез наяву. Снова и снова она восстанавливала в памяти их совместные беседы, и в каждом его слове читала зловещий смысл, в каждом из его молчаний находила намек, леденящий её сердце. Несомненно, он был разгневан; он был разочарован; он чувствовал, что его любовь была недооценена.

И тогда вновь и вновь она заглядывала внутрь себя и искала ответ. Неужели дух её действительно раздвоен? Труслива ли она, скупа, холодна? Доброй христианкой она не была (прости её Бог!), но разве не была она даже женщиной, способной любить? Почему она не смогла предаться любви со всей простотой? Почему она не могла принять это вдохновение и жить им без страха? Она думала о Христе, и так тесно было переплетено её вероучение с тканью её жизни, что теперь она не могла разорвать эти два понятия и выделить для себя моральный кодекс, по которому можно было бы судить себя. Как может быть неправильным — более того, это просто не может быть неправильным — любить? Как может быть неправильным делать то, что приносит такую радость — и столько же боли?

Но как же быть с Хари, ведь день за днём всё шло своим чередом? Что могло случиться? Он болен? Он умер?

А затем, чтобы довести её смятение до кульминации, её пронзили уколы ревнивых подозрений. Ей пришло в голову, что Хари мог встретиться с Лалитой вновь. Разве не возможно, что его любовь к той девушке никогда по-настоящему не угасала, что старая страсть готова вспыхнуть пламенем? Эти мысли пришли к ней одной бессонной ночью; и горько пожалела она о том, что не удостоверилась во всём этом с самого начала. Ей следовало изучить его пристальнее; она должна была уметь читать в его сердце яснее, чем он сам. Мучения этих мыслей выгнали её из постели; она распахнула ставни и села у окна в ярком лунном свете. Ах, подумала она, теперь уже слишком поздно, слишком поздно! И всё же какая красота всё ещё украшала мир! Какой покой в этом тёмном ночном небе! Серебряный отблеск сиял над озером, куда только что упал свет заходящей луны. Из далёких деревьев позади дома ухали совы. Она вспомнила, как часто сидела вот так у своего окна в прежние дни, каким прохладным, свежим счастьем она тогда обладала, как плавно скользил её дух в ночь. Всё это осталось в прошлом. Красота и покой были далеки от неё. Так горек был этот контраст, что в её сердце вспыхнуло пламя гнева. Это Хари, а не она, несёт ответственность. Вина и позор принадлежат Хари! Всё, что она когда-либо намеревалась дать ему — это дружба; разве не сопротивлялась она каждому шагу на роковом пути, ведущем к этому?

Но гнев её очень быстро угас, и некоторое время она положила голову на руки. Затем, встав и двигаясь с величайшей тишиной — ибо Амар спал в соседней комнате, — она зажгла

свечу и села писать. Дрожь в руке едва не помешала ей. «Скажешь ли ты мне, почему ты остаешься вдали, и почему уехал, не сказав мне ни слова? Я была счастлива прежде, а теперь я несчастна. Мне страшно — потому что я доверяла тебе и позволила себе зависеть от тебя. Я нашла в жизни дополнительную полноту и прелесть, но теперь я чувствую, что жизнь, пожалуй, собирается уличить меня во лжи. Но не можешь же быть ты тем, кто сделает это со мной? И всё же — ты уехал, не проронив ни слова. Я вспоминаю времена, когда говорила, что боюсь стать зависимой от тебя, а ты отвечал, что никогда меня не подведёшь. Но, возможно, я веду себя глупо... Я знаю, что склонна впадать в панику — думая об изменениях, случайности и времени, которые расточают этот мимолетный, преходящий мир. И звёзды, они ужасают меня. Любовь — это единственный огонь, у которого мы можем согреться, когда великие пространства смотрят на нас, и их пустая стужа опускается на нас. Здесь, под огромными заснеженными горами, я ощущаю себя далекой от обычной доброты жизни. Вчера я дошла до края долины и посмотрела вниз в жемчужную даль в сторону равнин, и я подумала, что ничто не может сравниться с красотой земли, кроме изысканной любви в сердцах людей. Но мысль о тебе смешивалась с жутким страхом. Когда я увижу тебя снова? Возможно, ты держишься в стороне потому, что хотел, чтобы я была одинока и сделала это обращение? Но эта мысль тоже пугает меня. Должна ли любовь быть такой — вместо доверия и покоя? Я лишь знаю, что не привыкла к таким страданиям, и что совсем недавно я вложила в тебя всё своё доверие».

Написав это, она закрыла глаза и замерла. Она почувствовала себя спокойнее. На следующий день будет нетрудно тайком отправить письмо. Спрятав его под подушку, она погрузилась в истощенный сон.

Когда наступило утро, письмо было спрятано снова, на этот раз в складках платья, и весь день она носила его с собой. Она никак не могла заставить себя отправить его. В её голове была мысль, дарующая ей спокойствие смирения. Она знала, что если худшее окажется правдой, никакое письмо, никакая мольба не будут иметь никакой силы. Нужно ждать в молчании — если потребуется, вечно. Нужно принимать свои страдания втайне.

Всё утро она сидела перед домом, бледная, со сложенными на коленях руками. Возможно ли уйти от мира, размышляла она — стать монахиней? И, думая о святой Терезе и леди Джулиан: «О! какую радость это принесло бы мне, — воскликнула она в сердце своём, — какую радость, если бы я могла пойти по их пути!»

Позже она снова отправилась на одинокую прогулку. Это был сумеречный день, воздух был мягким и тёплым. На мили вокруг не было слышно ничего, кроме неровного завывания ветра. Она прошла через полосу леса, а у его дальнего края стайка голубей то вылетала из деревьев, то возвращалась обратно. Долгое время она стояла, наблюдая за их быстрым, сильным полётом. Казалось, они никак не могли решиться, но в конце концов взмахнули крыльями и больше не вернулись. Они летели прямо сквозь влажное небо и исчезли в дождливой дали.

Некоторое время она медлила на опушке леса; иногда продираясь сквозь сырые кусты, иногда прислоняясь к стволу дерева. Ветер поднимался со стороны противоположных холмов, волоча за собой тучи и мрак. Ей пришла в голову мысль, что Хари может сейчас ехать как раз под этой мглой, и ей захотелось согреть своё сердце этой выдумкой по дороге домой; но она подавила в себе это желание; и позже была рада этому, ибо когда она добралась до дома, Хари ещё не приехал.

XXVIII

Последние дни Хари в Кханжо прошли в лихорадке беспокойства, а его нетерпение вновь присоединиться к Сите усугублялось неудачей извлечь из своего времени хоть какую-то пользу. Травница, когда наконец вернулась, уверила его, что Гокал был отравлен одними лишь грибами, но он не мог удержаться от сомнений. Ничего нельзя было поделать, кроме как дать ей денег; но даже за деньги она вряд ли стала бы уличать себя саму; и если, как он подозревал, грибы были использованы для сокрытия другого яда, который поставляла она сама, ничто, даже самые настоятельные заверения в прощении и неприкосновенности, не заставило бы её признаться в этом. Некоторые люди на его месте приказали бы подвергнуть её пыткам, но это противоречило его натуре. Так что вполне могло быть, что вопрос о том, жить или умереть Гокалу, лежал в решении этой циничной старухи; но ничего из того, что он мог сказать или сделать, не могло повлиять на неё.

В прояснении тайны бегства Гуневати он преуспел едва ли больше. Его люди раздобыли некоторые свидетельства того, что партия незнакомцев прибыла в округ за несколько дней до исчезновения девушки; а нежелание кого-либо говорить об этих незнакомцах наводило на подозрение, что они могли быть людьми, обладающими полной властью запугивать. Однако жители округа были настолько низкого происхождения, что, возможно, вовсе не стоило искать разумную причину их угрюмой скрытности; либо же они нервничали из-за недавнего убийства юноши из соседней деревни. Выяснилось, что Гуневати была косвенно виновна в этом, и по какой-то неизвестной причине селяне казались чрезвычайно обеспокоенными тем, чтобы убийство не расследовали. Хари никогда бы не услышал об этом, если бы не травница, которая, очевидно, сочла справедливым отплатить за все данные ей деньги. Она показала ему место, где, по её словам, был похоронен тот юноша (бывший возлюбленным Гуневати). На земле действительно виднелись подозрительные отметины. Почва потрескалась, вздувшись волдырем, и это, казалось, указывало на то, что дело рук тугов здесь ни при чём, ибо туги всегда вбивали кол в тело, чтобы газы разложения выходили без следа. Тем не менее имелись веские основания полагать, что многие мужчины в деревне были тугами; во всяком случае, как многозначительно заметила травница, они очень быстро установили отношения с Гуневати, в которой несомненно признали одну из тайных почитательниц Кали. Подводя итог: обрывки полученных сведений были лишь сбивающими с толку; всё, что они раскрывали — так это то, что происходили злые дела. Хари покинул Кханжо со благодарностью, решив забыть о нём как

можно скорее, ибо та маленькая долина хранила секреты, проникнуть в которые у него не было никакой надежды.

Оставив позади лес, он смог ехать быстро и, конечно же, воспользовался своими возможностями сполна. Чего бы только он не отдал, чтобы знать, вызвало ли его долгое отсутствие хотя бы мгновение беспокойства или тревоги у Ситы! Ему было очень легко поверить, что она оставалась совершенно безмятежной. Он видел, как она делит свои дни между старым раджой, Гокалом и Джали. Она слушала бы бессвязные речи старого раджи с восхитительным терпением; играла бы в шахматы с Гокалом; каталась бы на лодке по озеру с Джали; и таким образом её дни пролетали бы мирно. Что ж! если она и вправду была такой, что ему оставалось думать? Как избежать вывода, что её чувства к нему сильно отличались от его чувств к ней? Разве какая-нибудь женщина, которая сама была влюблена, когда-либо прежде умоляла своего возлюбленного относиться к его любви легкомысленно? Ах, нет! — воскликнул он в внезапной муке. А её отношение к нему за все их совместные дни, разве оно не согласовывалось с теорией о том, что она просто романтическая натура, немного влюблённая в Любовь — и не более того! Обуреваемый этими мыслями, Хари ехал и в самом деле быстро; но он не мог обогнать свои сомнения и дурные предчувствия, которые с каждым часом становились глубже.

Тени ольх вытягивались над лугами, когда он погнал усталую лошадь последнюю милю. В нём жила глупая надежда, что он может застать Ситу сидящей у тропинки вдоль озера, и, спешившись перед домом старого раджи, он взглянул вверх на окна с той же беспричинной надеждой. Именно так Амар и нашёл его, и там, у ворот, они постояли некоторое время, прежде чем он отправился в свой шатёр, но не без того, чтобы принять приглашение зайти позже. В течение этого промежутка он думал только одно: «Я пойму, как обстоят дела, в тот самый миг, когда увижу её». В его сознании прочно укрепилась идея, что эта встреча окажется переломной в его судьбе. Её лицо, её поза, манера приветствия — он трепетал в предвкушении; и с еще более глубоким внутренним трепетом он вошёл в комнату. Солнце зашло совсем недавно, и вся компания сидела у окна, выходящего на озеро. Мягкие сумерки, отражённые от воды, смешивались с жёлтым светом ламп, которые только что зажгли. Играли в какую-то игру, в которой принимали участие все; смех Ситы звенел, когда он шагнул вперёд, и в этот миг ему показалось, что он смотрит на идеально счастливую и довольную семейную группу. Его глаза искали взгляд Ситы, но он не мог поймать её внимания; даже поднимаясь, чтобы подать ему руку, она всё ещё смеялась; невозможно было поверить, что она потеряла душевный покой хотя бы на одно мгновение.

Следующие несколько минут были самыми мучительными во всей жизни Хари. Снова и снова он всматривался в лицо Ситы; оно было безмятежным и веселым; казалось, она не замечает его полных муки взглядов, которые — невзирая на остальных — он не мог удержаться, чтобы не устремлять на неё. Либо она была слишком равнодушна, чтобы замечать их, либо притворялась, что не замечает, и он не знал, какое из предположений хуже.

Что ж, прекрасно! Удар обрушился, и всё, что имело значение в данный момент, — это сохранять видимость приличий. Строго взяв себя в руки, он обращал свою беседу поочередно ко всем присутствующим и воздерживался смотреть на Ситу, разве что когда действительно обращался к ней. Каждая минута этого ужасного визита подтверждала его первое впечатление, и как только смог, он положил конец этой пытке.

Ни на одно мгновение ему не пришло в голову, что вся ткань его надежд и страхов была соткана из совершенной пустоты. Простая истина заключалась в том, что его возвращение мгновенно смыло страдания Ситы из бытия. Из одного из окон она видела, как он приближался; она подслушала его разговор с Амаром; она отметила напряжение в его глазах, тревогу в голосе; а затем бросилась в свою комнату, чтобы дать волю слезам. К ней вернулось счастье, счастье усталое и трепетное поначалу, но потом торжествующее. Она вновь могла со страстью включаться в игры Джали, вновь могла предлагать окружающим облик, который не был бы отвратительно и жалко обманчивым. «Он любит меня!» — воскликнула она в своем сердце, — «И если он не любит меня достаточно сильно, я могу заставить его полюбить меня больше». С того момента, как она увидела, что он приближается, она знала, что отдаст ему себя целиком. Борьба закончилась; совесть её больше не тревожила. Так велико было это избавление от внутреннего конфликта, что она ходила по дому, напевая себе под нос и смеясь.

В течение всего визита Хари она разрывалась между весельем и состраданием. Не всё, но кое-что из происходившего в его уме она смогла угадать. «А, когда я разуверю его!» — подумала она про себя, и знание той радости, которую она может подарить, удвоило её собственную радость.

В состоянии жуткого спокойствия Хари шел обратно к своему шатру. «Без сомнения, я заслуживаю этого!» — сказал он себе и попытался извлечь утешение из этой мысли. Сита обнаружила, что её сердце, в действительности, привязано к мужу и ребенку. Мог ли он винить её, если женский инстинкт расцветить жизнь романтикой увлек её на несколько шагов в сторону от истинного пути? О, но ведь это было так недобро с её стороны — поступить подобным образом! Ей следовало выставить дозор на дороге из Кханжо и позволить посланнику перехватить его письмом. Ей следовало избавить его от этой встречи. Но как ей — самой не охваченной страстью — как ей постичь то, что чувствовал он? Чтобы понять безумие, нужно самому быть безумцем.

Вскоре он встал и остановился у входа в свой шатер. Несколько тусклых звездочек, выглядывавших из-за облаков, придавали небу огромную глубину; однако человеческое горе в ничтожном объеме человеческого разума могло быть, думал он, столь же глубоким. И все же, когда он снова заглянул в палатку и его взгляд упал на два или три увядших цветка, которые когда-то подарила ему Сита: «Немного земного счастья, — подумал он, — это то, чего жаждет человек. Дай ему это, бедняге, и пусть все звезды погаснут».

Слабый свет, мерцающий сквозь темноту, обозначал шатер Гокала и говорил о том, что его обитатель еще не спит. Он заколебался, чувствуя, что если присоединится к Гокалу, то должен сделать это с целью проявить сочувствие, а не искать его для себя. Беспокойство бедного Гокала усугубилось, а не улеглось после краткого отчета об изысканиях в Кханжо, который уже был ему дан.

Пока он всё ещё колебался, свет из шатра Гокала померк, но через несколько мгновений он заметил, что сквозь полотно всё ещё пробивается слабый отблеск. Это показало, что дверь шатра была закрыта; и он не мог не спросить себя, что это значит, ибо Гокол привык оставлять свою дверь открытой всю ночь. Через несколько минут он тихо шагнул сквозь темноту к закрытому шатру. Полотно везде было плотно застегнуто, но через минуту он нашел щель, к которой приложил глаз. Без всякого стыда, и с гораздо большим любопытством, чем он мог себе объяснить, он принялся шпионить за тем, что происходит внутри шатра. Казалось, ничего необычного не происходило. Гокол сидел на своей кушетке, уставившись на что-то рядом с собой; его лицо было отвернуто, но вскоре он, похоже, уловил какой-то звук, ибо поднял голову и огляделся вокруг. Это был долгий, ищущий взгляд, в котором сквозило нечто вороватое; он произвел на Хари впечатление, будто тот замышляет поступок, который ни в коем случае не должен быть замечен. На миг, опасаясь разоблачения, Хари отпрянул назад; но его сердце начало биться со смутной, болезненной тревогой, и через минуту он снова наклонился к щели. Лицо Гокала теперь было полностью видно, и, к ужасу Хари, его выражение почти напоминало идиотское. Его глаза широко, невидяще смотрели в пространство; подбородок опустился; на лице не было интеллекта, но изображалась страшная, далекая концентрация мысли.

Хари почувствовал, как начинают дрожать его конечности; он выпрямился и после нескольких мгновений отчаянной нерешительности тихо отошел на расстояние нескольких ярдов от шатра. Затем он развернулся и пошел обратно, на этот раз производя как можно больше шума. «Всё еще не спишь?» — крикнул он и толкнул полотнище, завязанное над входом.

Прошло несколько мгновений, прежде чем последовал какой-либо ответ, а тем временем ему удалось еще раз заглянуть внутрь. Казалось, Гокол поспешно прятал что-то из виду за кушетку; и его манера, с которой он впускал посетителя, была неуклюжей и смущенной. Хари объяснил, что только что вернулся из дома старого раджи, и, увидев всё ещё горящий свет, подумал, что зайдет поболтать. Ему было труднее всего сохранять естественное поведение, так как его подозрения становились всё глубже. Гокол, который снова уселся на кушетку, отвел глаза, сглотнул и ничего не сказал. Маленькая масляная лампа на столе рядом с ним коптила; и это было явно попыткой придать себе самообладания — он наклонился вперед и сделал вид, будто собирается подрезать фитиль; но дрожь в руке помешала ему.

— Гокол, — сказал Хари, — боюсь, у тебя сегодня вечером жар.

— Возможно, — хрипло прозвучал ответ. И он добавил: — Да, меня лихорадит.

Внезапно Хари отбросил всякое притворство. Опустившись на сиденье напротив, он устремил на Гокола взгляд глубокой тревоги.

— Ради Бога, — сказал он, — что ты делал до того, как я вошел?

— Делал? Ничего.

Жестом Хари отмел это в сторону. — Я спрашиваю: что ты делал?

Гокол настороженно и молча смотрел на него. — Я стоял снаружи, — сказал Хари. — Я наблюдал за тобой последние десять минут. Ты понимаешь?

На лице Гокола появилась морщина недоумения. Хари глубоко вздохнул, и сдавленным голосом произнес: — Что ж, хорошо. Но я не оставлю тебя. Я останусь здесь.

Двое мужчин пристально смотрели друг на друга, и некоторое время в шатре царила тишина. Взгляд Хари был прикован и пытлив, но взгляд Гокола был неуверен, и Хари почти казалось, будто он видит — во тьме этих бегающих зрачков — стремительное отступление мыслей. Наконец, однако, Гокол моргнул, вздохнул и мягко покачал головой.

— Дорогой Хари, — сказал он с мимолетной улыбкой, — ты ошибаешься. Я не думаю о самоубийстве — не в этот момент, нет.

Выражение лица Хари поначалу едва ли изменилось; затем постепенно его напряжение спало. — Ты напугал меня, — пробормотал он. Он по-прежнему изучал Гокола с мучительной сосредоточенностью. — И даже так — есть кое-что, что ты должен объяснить — есть кое-что, чего я всё ещё не понимаю.

Улыбка на лице Гокола сменилась выражением муки. Он боролся с собой, но волнение, которое было заметно в нем с самого начала, больше нельзя было сдерживать. Вдруг он начал фразу и тут же оборвал её; он начал жест и оставил его незавершенным; наконец; со своего рода стоном он откинулся назад, пошарил рукой по полу и достал некий предмет, лежавший спрятанным за его кушеткой.

— Вот! Видишь это? И вот это? — На кровать он швырнул муслиновое платье, ожерелье, какие-то серебряные браслеты.

Ошеломленный, Хари наклонился вперед и осмотрел их. — Это были вещи Гуневати? — нерешительно спросил он.

— Были? Ты говоришь «были»? Значит, ты думаешь, она мертва?

— Нет, нет. С чего бы мне иметь это в виду? Почему она должна быть мертва?

Гокол взял кусок муслина, расстелил его на кровати и целую минуту смотрел на него взглядом, совершенно сбившим Хари с толку. Но его замешательство вскоре поглотила нарастающая волна сострадания.

— Так вот что ты прятал от меня? — произнес он с грустью. — Мой бедный Гокол, что, ради Бога, мне сказать? Ты знаешь так же хорошо, как и я, что ты в рабстве. Ты одержим. Ты во власти безумия. Разве не забрал ты смертное тело той девушки? Разве не заглянул ты в жалкую пустоту её ума? Всё, чем она обладает или является, ты уже сделал своим. Чего же ещё, в таком случае, ты желаешь? Что можно получить? Общение, привязанность, любовь — ей не дано их дать. Ты всё это знаешь. Ты знаешь своё безумие. Ты знаешь...

Он остановился. Гокол ни слушал, ни делал вид, что слушает; на его лице было выражение мучительной напряженности; глаза закатились, словно он искал какой-нибудь способ бегства от сумятицы собственного мозга. — Ты хочешь, чтобы она была мертва? — внезапно спросил Хари.

Гокол сказал: — Я думаю, она мертва.

— Почему?

Наступила пауза. Манера Гокола теперь была настолько странной, что Хари начал опасаться за его рассудок. — Те, — и Гокол указал пальцем, — те вещи были на ней надеты, когда она сбежала.

— Но, — запинаясь, проговорил Хари, — но как, в таком случае... — Кто-то швырнул эти вещи в мой шатер — только что — в темноте — около часа назад.

— Как такое может быть? Ты ошибаешься. У тебя жар, Гокол, ты же знаешь... Тебе показалось...

Гокол воздел руки к небу и застонал. — Нет, я не сошел с ума. Надо мной издеваются! Надо мной издеваются из-за её смерти! — И он закрыл лицо руками.

XXIX

Прошло около двух часов, прежде чем Хари вышел из шатра Гокала. Ночь была темной, с теплым порывистым ветром, который дул ему в лицо, пока он спотыкался о жесткую траву. Свет в его собственном шатре погас; со всех сторон было темно.

В ходе разговора с Гоколом в уме Хари зародилась идея, и через некоторое время он почувствовал, что должен её высказать. До сих пор, рассказывая о своих делах в Кханжо, он не упоминал Джали ни единым словом. Связь мальчика с Гуневати была делом, как он хорошо знал, которое Гокол примет очень близко к сердцу. Бедный Гокол уставится в ужасе на картину зла, за которое он несет ответственность.

И всё же полное разоблачение теперь должно было быть сделано, ибо его нынешним предположением было то, что исполнителем этой гнусной шутки был сам Джали. Правда, у него не было теории, объясняющей, как Джали завладел теми вещами Гуневати, и всё, стоящее за самим происшествием, оставалось столь же таинственным, как и прежде. Тем не менее его интуиция держалась твердо; он был убежден, что Джали знает о Гуневати гораздо больше, чем он сам или Гокол; и в этом бессмысленном мистифицировании он видел руку Джали.

Боль от удара усиливалась для Гокола его привязанностью к Джали и его прежней уверенностью в том, что эта привязанность взаимна. Хари поспешил заверить его, что ему не следует думать об этом иначе сейчас. Детям свойственна общая склонность предаваться подобным причудливым выходкам, и в данном случае невозможно было поверить, что мальчик желал причинить какой-либо вред.

После того как Хари оставил его, Гокол продолжал сидеть на своей кушетке перед открытым дверным проемом, сквозь который струился влажный ночной воздух, пропитанный запахами травы и осоки и наполненный тысячью шорохов и бормотаний, и скрипом ветвей, трущихся друг о друга на ветру. Через некоторое время порыв ветра задул его лампу, но вместо того чтобы снова зажечь её, он встал и уселся снаружи открытой двери. Когда теплый ветер овевал его конечности, он чувствовал, как жар покидает его. Отсутствие луны и звезд делало ночь интимной и земной; сухие листья, поднятые с земли, сметались по его рукам и лицу. Казалось, будто тайные энергии земли действуют на него, и он поддался процессу, который ощущал как благотворный. Его дух покоился неподвижно в тихом волнении; собиралось чувство ожидания; оно напоминало состояние женщины, ожидающей первых родовых схваток своего первого ребенка. Мало-помалу он терял ощущение своего тела, и его сознание рассеялось над ночью. «Может ли это быть смертью?» — задумался он, и ответ пришел как исчезновение значимости самого вопроса. Шорох листьев становился тише, тьма сгущалась и становилась абсолютной; наконец его дух, полностью изолированный, заговорил сам с собой и сказал: «Я осознаю только само осознание». Теперь осталось лишь сознание, которое не принадлежало Гоколу, потому что оно ничего не знало о Гоколе; равно как оно ничего не знало о мире, или о времени, или о пространстве. Оно не знало ничего, кроме себя самого.

Длительность этого состояния была неизмеримой, пока состояние оставалось неизменным, но поток внешних ощущений вернулся без перерыва в сознании. Он вновь стал осознавать шелест ветра и течение времени; затем он узнал звук ветра таким, каким тот был. В дремоте к нему вернулись воспоминания о мире, но задолго до того, как он их вызвал, он уже был активен в мысли. Он сказал себе: «У меня был опыт возможности чистого самосознания. В этом состоянии субъект и объект едины; осознанность отражает осознанность подобно двум зеркалам, поставленным друг напротив друга, и это единство во множественности, кажется, составляет самосознание, которое также является самостью».

А затем ему показалось, что он объясняет эти вещи Амару, который покачал головой и сказал: «Приписывание самости неоправданно».

«Но самосознание, — ответил он, — есть самость. Это замкнутая цепь».

Амар снова покачал головой. «Чистое сознание — это сознание своего "я", а это не то же самое, что сознание собственной личности. Там, где нет помнящей личности, не может быть и самости».

Пока он размышлял над этим, глаза Гокала начали видеть снова, и он заметил несколько тусклых звезд в небе над вершиной холма. При этом ему пришло в голову, что в пустоте чистого самосознания звезд не было; более того, весь феноменальный мир оставался необъясненным. А вслед за этим последовало убеждение, что чистое самосознание не является конечным состоянием духа, и что его опыт интересен лишь как прямое личное откровение ложности последнего утверждения Амара. Чистое самосознание могло бы, считал он, быть подвешенным состоянием между перерождениями. И именно это он произнес далее, добавив, что никакое сознание, которое не постигает в статичном и совершенном единстве все временные процессы от начала до конца времени, не может претендовать на абсолютность или божественность.

И снова Амар нахмурился и ответил, что понятия личности, даже сознания, ничтожны применительно к Абсолюту. Абсолют, как постоянно подразумевал Будда, — это просто то, о чем ничего нельзя предикативно утверждать.

Но в этот момент Гокол ощутил в себе острое и непреодолимое чувство реальности и значимости феноменального мира как черты Абсолюта. «Философствовать вообще, — сказал он, — значит постулировать, что процесс во Времени требует объяснения. Объяснение его должно быть явным или неявным в каждой системе мысли, называете вы её философией или нет».

Он хотел было продолжить, но внезапно его разум опустился на другой уровень; его мысли изменились, внимание сосредоточилось на психологических реалиях. Заглянув в ум Амара, он увидел там ревность и подозрение, а также другие смутные формы зла. Теперь Амар казался ему стоящим у двери шатра в свете лампы, и суровость его лица и жесткость осанки внушили Гоколу глубокое дурное предчувствие. Он подумал о Че-Сине и другом китайском священнике, которого знал, обоих буддистах школы, родственной школе Амара. Эти двое далеко продвинулись в мудрости, и примечательным в их облике была легкость, а на их лицах играла улыбка, говорящая о благожелательной гибкости ума. Его охватило страшное сомнение, не сбивает ли Амар себя с пути совершенно; и когда он посмотрел на Че-Сина в поисках ответа, тот, к его удивлению, наклонился к его уху и процитировал из христианских Писаний: «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» И еще ниже он прошептал: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Сердце Гокола упало, ибо он знал, что

Амару будет нечего делать с этими словами, ведь его рассудок, окостеневший от логики, был невосприимчив к ужасающим парадоксам мира духа. Но разве возможно, чтобы этот благочестивый искатель истины потерпел абсолютную неудачу? В великой муке он воскликнул: «Амар, твоя любовь ко мне была одной из величайших опор моей жизни по двум причинам. Я чувствовал, что ты способен любить меня ради меня самого только потому, что я был твоим братом по устремлениям. Подумай об этом хорошенько, Амар, и качество твоей любви покажет тебе истину, которая скрылась от твоего разума. На чем зиждется твоя любовь и к чему она обращена? Ты увидишь, что она более чем человеческая и ищет того, что более чем человеческое. Она зиждется на интуиции того, что для тебя человек достоин любви лишь постольку, поскольку он причастен божественной сущности. Ты увидишь, что твоя любовь обращается к божественному. Нет иного объяснения высшей любви; у неё один объект и только один. Такая любовь есть в тебе, и она свидетельствует о твоем непризнанном признании Бога».

Произнеся это, Гокол с тревогой ждал ответа; но долгое время Амар оставался безмолвным; и когда он наконец ответил, в его тоне звучал гнев. «Так вот как ты хочешь помочь мне? — сказал он. — Соблазняешь меня вернуться к сомнению? Любовь — последнее из несовершенств, которое угасает перед белым сиянием Нирваны. Я знаю, кто тебя совратил. Но, непоколебимый, я стою на мудрости Просветленного».

Гокол поднял глаза к небесам, и вот! ночное небо пылало созвездиями, которых земля никогда прежде не видела. Он преисполнился невыразимого трепета, но знал, что Амар не может разделить его видение, и сказал:

«Где учение, которое абсолютно чисто? И где человеку искать истину, кроме как во внутреннем свете? Послушай божественного Плотина: “Обратимся к самому Богу, не формой слов, но вознесением души к нему в молитве. А единственный способ молиться — это продвигаться в одиночестве к Единому, который единственен”».

На этом пункте сила его эмоций пробудила его от фантазий, но он продолжал сидеть на том же месте; и пока наступал день и рассветало, его глаза всё ещё оставались неподвижными, словно он не замечал течения ночи.

Чуть позже слуги лагеря, вставая для своих дел, с удивлением посмотрели на своего господина, сидящего там, но хотя они перешептывались между собой, они не решились подойти к нему. Теплым и тихим было сияние, затопившее долину, и вскоре Сита, при солнечном свете, падавшем ей на глаза, проснулась и подошла к окну выглянуть наружу. Она увидела стаю диких гусей, кружащих в небе под солнцем. Она увидела Джали, разговаривающего с двумя лодочниками, которые показывали ему котят, взятых от дикой кошки, застреленной накануне днем. Чуть позже она увидела, как Амар спускается по тропинке к озеру, и вспомнила, что он говорил ей, будто должен нанести визит шейху Мобареку, который теперь находился в лагере Данияла.

Одеваясь со счастливой, неторопливой тщательностью, она снова и снова подходила к окну, чтобы понюхать жасмин, цветущий прямо под подоконником. А затем ей пришло в голову, что у неё есть крошечный флакон очень древнего благовония, дистиллированного в Персии из Пяти Цветков Любви. Её бабушка, подарившая его ей, говаривала, что цветы нужно срывать при свете полной луны, когда она желта, как шакал, а её нижний край всё ещё касается горизонта. Этот флакон она теперь распечатала, и из густых янтарных капель поднялся аромат, поистине изысканный, но который понравился ей вдвое меньше, чем тот, что веял со свежим воздухом. «Те янтарные капли дышали мертвыми и забальзамированными любовями, любовями, которые были слишком молоды много утомительных лет назад. Луна с тех пор проделала слишком много утомительных лиг и видела, как слишком много влюбленных стареют и умирают». Затем её мысли обратились к бедной покойной рани. Всего несколько недель назад, когда она склонялась над сундуком драгоценных шелков, другое благовоние, очень сладкое, но еще более старое и печальное, поднялось из менее далекого прошлого. Воспоминание заставило её вздохнуть; она вернула пробку во флакон и спустилась в сад. Джали сидел на скамейке с видом на озеро, но, казалось, не услышал, когда она позвала; и поэтому, так как было всё ещё рано, она задержалась у края пруда с лилиями, где они с Хари стояли вместе в тот день. Она вспомнила, как голубые бабочки играли над водой, и какими ясными были их отражения. Затем она пошла дальше по тропинке и через ворота к группе шатров, и вдруг оказалась лицом к лицу с Гоколом. Тяжелый и недвижимый, как статуя, он сидел там, прохладный золотой солнечный свет заливал его белое одеяние и золотил бледность его лица. Она на мгновение замешкалась, ибо ей почти показалось, что он сидит здесь в ожидании её прихода. Его глаза покоились на ней с непостижимым спокойствием, и мысль объяснить свой ранний визит вылетела у неё из головы. Она стояла перед ним в молчании и отвечала на его взгляд. Если он мог заглянуть в её сердце, если он мог пронзить её внешнее спокойствие и увидеть источники сияния внутри, тем лучше. Им она хотела быть познанной до конца.

Они посидели вместе некоторое время; и вскоре, хотя слова, которыми они обменялись, не имели значения, она почувствовала, что он осознает то, что она хотела бы до него донести. Но это не вернуло его из его отстраненности. Его глаза покоились на озере, лицо застыло в каменном спокойствии, он выглядел как изваяние самого себя, и казалось, что его дух общается с ней из другой сферы.

Через некоторое время они замолчали, а затем она тихо поднялась и снова встала перед ним.

— Хари всё ещё спит? — спросила она.

— Да, должно быть, всё еще спит. Когда он придет, что мне сказать ему?

— Скажи, чтобы он присоединился ко мне вон там. — Её взгляд был устремлен на поросший лесом холм позади дома. — Он будет знать, где меня найти.

Корень и цветок II

Принц Джали

I

Цветной парус на озере привлек внимание Джали, и прежде чем снова наклониться к играющим у его ног котятам, он бросил долгий глубокий взгляд на противоположный берег. Там, за двумя милями молочно-голубой воды, мерцали и сверкали дома развлечений, киоски и павильоны лагеря принца Даниала. Сквозь дымку раннего утра они казались едва ли настоящими — чуть более вещественными, чем их перевернутое отражение, дрожавшее на жемчужной поверхности озера.

Три месяца назад, размышлял Джали, там ничего не было; это шатровый кластер еще не вырос; он бы посмотрел через озеро на голую зеленую полосу болота с ясным видом на холмы, поднимающиеся позади; и тогда все было бы по-другому, — да, совсем по-другому.

Он вздохнул и задумался; и имел на то полное право. Разве это не была поразительная прихоть, побудившая утонченного молодого принца построить постоянный лагерь — городок со всеми удобствами и легкомыслиями модного курорта — в этом глухом месте, очарование и красота которого были вполне скромными и неброскими. Тем не менее фасад из светлых веселых красок отнюдь не дисгармонировал с видом через воду; купола, маковки и минареты барочной архитектуры Даниала взмывали вверх, быть может, дерзко, но не без приятности на фоне девственных склонов вдали; и этот лагерь, разумеется, был посвящен искусствам мира, а не войны; так что весьма уместно было то, что тысячи блёсток фольги, парящих в воздухе над ним, на самом деле оказались стаями белых голубей, которых принцу вздумалось окунуть в чаны с золотой и серебряной краской.

На почтительном расстоянии позади Джали стояли два лодочника, ожидавшие приказаний своего юного хозяина. Они ждали почтительно, но не без того, чтобы обменяться время от времени взглядом — взглядом, который имел свой смысл. Наконец, нервно дернув бровями, Джали вышел из своей задумчивости и вновь принялся катать упитанных серо-полосатых котят туда-сюда ногой. Поглощенный этой игрой, он улыбался, и когда его лицо расслабилось, он снова стал похож на мальчика, покинувшего дом шесть месяцев назад. Но перемена была недолгой; уже через минуту он выпрямился, и повернулся к своим двум слугам с жестким взглядом. «Что ж, хорошо!» — сказал он. — «В следующий раз я поеду один».

Оба мужчины немедленно рассыпались в извинениях и заверениях, но Джали даже не дал им слова сказать. «Оставьте лодочный сарай незапертым, — приказал он, — возможно, сегодня ночью мне захочется переправиться».

С этими словами он неспешно удалился по тропинке и вскоре сел на скамью с видом на озеро. Сад теперь был пуст, если не считать его самого; стоявший позади дом сиял и

безмолвствовал в косом золотом свете; несколько пчел гудели среди цветов и цветущих деревьев.

Пока он сидел там, поднялся ветерок вместе с усиливающимся солнечным светом; гладь озера покрылась рябью и утратила сонные отражения рассвета. Джали сидел неподвижно, уставившись перед собой; и такая неподвижность была неестественна для столь юного человека. На его детском лице застыло тяжелое выражение, которое покоится на старых лицах, когда их никто не видит; это юношеское тело — теперь уже хорошо развитое, ибо за последние шесть месяцев он сильно прибавил в силе и росте — было заметно, что оно сковано напряжением, которое, очевидно, соответствовало внутреннему напряжению ума.

И час спустя, когда его мать вышла из дома и позвала его, он все еще сидел там. Она окликнула его, и можно было заметить, как дрогнули его веки; но никаким другим движением он не показал, что услышал ее. С минуту она ждала в замешательстве, затем отвернулась и пошла прочь, фигура, бредущая задумчиво под клетчатой тенью садовой дорожки. Холодное, черное и тяжелое, холодное и мертвое, как камень, лежит сердце Джали внутри него в этот час. Солнце льет свое золотое тепло вдоль долины, а он не чувствует ничего; те, кто любит его, могут звать его, но он притворяется, что не слышит; он сидит холодный, нетронутый; пятно тьмы, пятно зла и несчастья на земле. Мир и красота служат лишь тому, чтобы возвращать его мысли к более счастливым дням; он снова видит себя во Дворце своего отца дома; он видит себя утром сидящим в своем кабинете, чьи прохладные стены испещрены танцующим узором, отбрасываемым плещущим фонтаном двора; он видит себя в полдень в белом ослеплении купальни, прыгающим и ныряющим со своими друзьями; на пикниках, смеющимся; в сумерках кипарисовой аллеи, мечтающим; на своем ложе ночью при лунном свете, струящемся по мраморному полу. Всегда и везде он видит себя счастливым.

Но — его разум совершил этот внезапный скачок — однако все это было наполовину иллюзорным. Эти картины были туманными и неточными; память придала им сентиментальный оттенок. Он ясно видел это в контрасте с другим видом воспоминания, которое пришло к нему сейчас. Ибо именно такой вид уносит человека прочь из настоящего, заставляя не просто помнить — но словно заново переживать — момент прошлого времени. На несколько мгновений Джали вновь очутился на балконе Агрского дворца; снова широкая, незнакомая равнина простиралась под ним в вечернем свете; снова воздушный змей балансировал высоко над головой; снова маленькое растение покачивалось на ветру, скользившем вдоль дворцовой стены. Воскресшее мгновение умерло снова, странность прошла, но оставила его с торжественным чувством предопределения. Предчувствия того маленького мальчика на балконе оказались — увы! — более чем оправданными; он заглянул в будущее с великим страхом — и правильно, правильно боялся. Жизнь была не менее ужасна, чем вы ее представляли: она была гораздо хуже. Если кто-то выживал, если оставался жив вопреки всему, то лишь потому, что мог привыкнуть ко всему. В человеке больше сил, чем он знает.

Чтобы лучше понять Джали, необходимо бросить беглый взгляд назад на его происхождение и прежнюю жизнь. Небольшое княжество, которым правил его отец, стояло особняком, подобно зеленому острову, среди песков центральной индийской пустыни. Оазис, управляемый раджой Амаром, был зеленым и приятным благодаря пальме и смоковнице, манго и кипарису; и не только им одним, ибо он также был садом древней устоявшейся культуры. В то время как вся, или почти вся Северная Индия видела свои исконные утонченности поглощенными потоком более крепкого, но определенно более грубого образа жизни, этот незначительный маленький Двор практически остался нетронутым. Таким образом, Джали выпало расти в обществе, где сохранялись традиции, где нравы все еще находились в своем золотом веке, а жестокость, грубость и кичливасть еще не пустили корни. И если его окружение было цивилизованным, таковым же была и кровь, текшая в его жилах. Только эта его цивилизованная кровь была смешанной. В нем одновременно жили духи Востока и Запада, они соприкасались, но не сливались воедино. Соблазнительно приписать этой двойственности особенности его натуры, в частности ту преждевременную зрелость, которая позволила ему осознать — раньше, несомненно, и полнее, чем большинству детей, — насколько резко каждый из нас стоит в одиночестве в своем самосознании. Как только Джали вообще научился размышлять, он размышлял о чертах несходства между собой и другими; и по мере того, как его индивидуальность развивалась — быстро, но тайно — в собственный узор, он признавал ее уникальность и взирал на нее со всевозрастающим унынием. Очень рано и совершенно инстинктивно он изучил искусство притворства, и поскольку скрытность является мощным строителем внутренней жизни, вскоре ему стало многое что скрывать, равно как и умение скрывать это. Ребенок, который может и хочет рассказать вам обо всем, что проходит через его разум, жил бы без всякого напряжения, в нем было бы мало той внутренней ферментации, которая порождает умозрительную мысль. То, что рассказано, потрачено и покончено; и это, возможно, одна из причин того, почему инстинкт скрытности почти всегда можно найти у задумчивых детей. Благоразумно, интересно и, безусловно, нетрудно скрыть свое истинное «я»; человек прячет его за готовой фигурой ребенка, каким его считают или ожидают увидеть; он принимает предложенную внешность и живет, неразгаданный и невозмутимый, за маской. Несомненно, смешанная кровь в его жилах, которая, хотя и не лишала Джали естественных привязанностей, держала его столь отчужденным как от отца, так и от матери. К тринадцати годам его мыслящее «я» глубоко укрылось в убеждении, которое он твердо решил не выдавать.

Уже два-три года он твердо верил, что серьезно отличается от остального человечества. Прежде всего, по его разумению, он отличался тем, что был полон страха. Задолго до своего отъезда из дома страх уже утвердился как великий принцип его тайной жизни. Каждое увеличение способности к размышлению яснее, чем прежде, показывало ему, что настоящий миг счастья любого существа уравновешен на лезвии ножа с пропастями бедствий по обе стороны. Да и боялся он не одних лишь бесспорных зол жизни: само дело

жизни казалось ему требующим череды усилий, дерзостей и выносливости, поистине устрашающих. Эта идея подкреплялась наблюдением за другими — в частности, за отцом, чей распорядок самодисциплины и деятельности он наблюдал со скрытым благоговением. Но мать — ничуть не меньше — какой чудесной, какой непостижимой она была! И тот же урок преподносился ему, когда он бросал взгляд за ворота Дворца, где кишели и покорялись своей судьбе нищие, больные, совсем обездоленные. Каким фронтом выступало человечество! Какая отвага, какой дух, одинаково высокий и низкий!

Справедливости ради, однако, он должен был добавить себе следующее: повсюду были знаки того, что другим людям нет дела до того, что волнует его — или во всяком случае, не вполовину так сильно. Они даже не замечали множество вещей, от которых ему становилось тошно от боли. Они были другими; к этому он возвращался всегда. Он видел это во всем: они не думали о том, о чем думал он, и не удивлялись тому, чему удивлялся он, и не любили то, что любил он. Они были совершенно иными. Но если в качестве оправдания это было утешительным, то с другой стороны это было чрезвычайно удручающим; это заставляло чувствовать себя таким одиноким.

К самому себе, чувствовал Джали, и только к самому себе мог он обратиться за объяснением вещей. Чужие толкования мира могли годиться для них самих, но не годились для него: его проблемы представали перед ним иначе. Таким образом, в этом раннем возрасте он уже был занят — и более или менее сознательно — единоличной попыткой соотнести себя с миром; а под миром он иногда подразумевал мир людей и их дел, а иногда — мир богов. Чувство, которое с равным основанием можно было назвать гордостью или смирением, подсказывало ему не ждать большого просвещения извне.

При всем при этом он был в высшей степени обучаем. Наставники находили его быстрым и восприимчивым; а в вопросе духовного озарения каждый из его родителей радовался его быстрой понятливости. Раджа Амар верил — и имел основания верить — что понимание сыном буддийского учения было столь полным, насколько этого можно ожидать от мальчика такого возраста. Сита, подобным же образом, не ошибалась, полагая, что натура Джали отзывчива к истинам и красотам христианской веры. О чем ни тот, ни другой не подозревали, так это о том, что его эклектизм скрывал своеобразный вид неверия. Он принимал сказанное ему как истинное для говорящего, но не мог поверить, что оно истинно для него самого. Чаще всего, действительно, слушая, он не осознавал своего неверия; лишь впоследствии, в момент медитации, он осознавал собственный скептицизм. Но таков уж он был: пока идея не получала печать его собственного частного одобрения, она оставалась чуждой в его уме, сколь бы гостеприимно он ее ни принимал. И потому истины буддизма и христианства комфортно разместились там; они жили в мире в его гостевых покоях, но во внутренние чертоги его личности доступа не имели.

Его родители знали о нем столько, сколько вообще могут знать родители о таком сыне. Их любовь к нему и его к ним лишь обостряли его способность обманывать их и их — быть обманутыми. Было правдой, что помимо того, что они видели показываемое им, они

видели кое-что из того, что он не хотел показывать; но именно этим немногим он обманывал их больше всего. Ибо он почти всегда знал, когда выдал себя, и инстинктивно принимался обращать это саморазоблачение в свою пользу. Так, когда они сказали ему, что собираются взять его в Агру, он изобразил удовольствие; но притворство оказалось неубедительным, и он тут же понял это. Тогда он инстинктивно принялся предоставлять им ложную улику относительно природы своего нежелания, делая вид, прежде всего, что он огорчен перспективой расставания со своим другом-мальчиком Назимом, а во-вторых, что будет горько скучать по урокам поло. На самом деле он испытывал мало привязанности к Назиму, который нагонял на него скуку; что касается поло, он его ненавидел. Но эти свои настроения он разыгрывал давно; и сейчас они послужили ему хорошую службу как средство сокрытия истины. В действительности же он испытал укол сложного и почти невыразимого страдания. Месяцами и месяцами он ждал этого или чего-то подобного; и в теперь решенном путешествии в Агру он увидел руку неумолимой судьбы. Глядя на него, вы бы сказали, что мысль об отъезде из дома кажется ему волнующей, возможно, даже немного внушающей трепет, но только когда он брал на себя труд задуматься об этом; и казалось одинаково очевидным, что думает он об этом не очень часто. По правде говоря, говорили друг другу его родители, хотя Джали во многом был развит не по годам, в других отношениях он оставался удручающе отсталым. Когда же он научится проявлять *практический* интерес к окружающему миру? или выкажет желание к *фактическому* переживанию жизни!

Фактическое переживание жизни! Теперь это, конечно, было именно тем, над чем размышлял Джали — с ужасом — каждый час своего существования. Отсюда эта маска детской беззаботности, труд инстинктивного стыда и хитрости. Он предлагал видимость поглощенности настоящим, ибо настоящее было ничем иным, как непрерывным страхом перед тем, что будущее держало в запасе. Будущее, его страх перед ним и его крепнущее убеждение в том, что он неспособен встретить его лицом к лицу, никогда не выходили из его мыслей. Взгляд, которым он смотрел на собственный случай, безусловно, был гораздо серьезнее взгляда его родителей. Это была его убежденность в том, что его некомпетентность, его робость, недостаток жизнерадостности и уверенности в себе являются симптомами предрасположенности, которая, если ее не победить, приведет к его полному уничтожению. Он чувствовал это, он знал это. Он яростно сопротивлялся своей трусости, в которой признался сам себе. Внутри него был суровый наставник, тиран, который стремился направить его на те пути, которые его природа ненавидела больше всего. Чем больше он пасовал, тем больше приходилось дерзать; чем больше он сжимался, тем больше он должен будет однажды предпринять. Его существо сотрясалось до самых основ этим внутренним конфликтом.

Таким был Джали в дни его домашней жизни. Его глаза тогда были прикованы в ужасе к тому моменту, когда он будет вынужден выйти из глубоких темных уединений собственного «я», в которых до сих пор жил так напряженно и со столь скрытым страхом. Героические решения, которые он выстраивал, тогда пришлось бы перевести в действия;

однажды ему предстояло штурмовать невидимые преграды, отделявшие его от мира людей.

Что ж! Указ вышел наконец, и по мере того, как день отъезда приближался все ближе и ближе, он чувствовал, что это прощание со старой жизнью составляет настоящую смерть. Если мальчик по имени Джали вернется домой снова, это будет уже другой мальчик. Он совершал самоубийство, только не соскальзывая в мирную смерть, а путем насильственного превращения. Ни на одно мгновение он не мог представить себе возможность пережить неудачу и вернуться неизменным. Отчаяние, в которое он постепенно погружался, запрещало любую мысль об этом. Вернуться на уединенный остров своего «я» после того, как потерпел неудачу при высадке на оживленный континент человечества? Слушать, как изгой, великий соблазнительный ропот настоящей жизни, в которой нельзя принять никакого участие? Покориться своей непреходящей немощи с покорностью? Нет! Только не это! Он должен измениться, и измениться полностью, прежде чем согласится вернуться домой снова. В случае необходимости он сбежит от родителей; он исчезнет в неизвестности.

Ночью, с этими мыслями, он дрожал от ужаса; и часто слезы жалости к самому себе струились по его щекам. Почему он был предначертан для столь чудовищного испытания? Почему любовь отца и матери ничего не могла сделать для него? Почему никто никогда не мог понять или разделить его тайное бремя? Разглядывая своих родителей, он видел их чужими; он любил их, они любили его; но они были сами собой, а он — сам собой; у каждого человека свое бремя; не с кем разделить его, и некому его облегчить. Чернота таких размышлений была подобна черноте пустынь между звездами.

Накануне великого дня он был спокоен. К закату он убедил отца сопроводить его на вершину башни и указать путь через пустыню. В последний раз он устремил свой взор на призрачную линию холмов, которая до сих пор была его горизонтом; и мысль о том, что вскоре он будет ступать по этой земле ногами и касаться ее руками, повергла его в странное замешательство. Отец направил его взгляд на слабую фиолетовую полоску на золотом поясе; то была расщелина в склоне горы, тенистое ущелье, через которое должна будет проехать кавалькада. А дальше — но Джали больше не слушал; его мысль остановилась, чтобы повиснуть над этим местом. Как может это мистическое *Там* когда-нибудь стать *Здесь*? Не может — без изменений. Оно существовало только в своем там-бытии. Никто никогда не попадал *Туда* — разве что, возможно, в невероятный Христианский Рай.

Пока он смотрел, туманное золото растаяло, мистический вид потерялся в горячих коричневых и пурпурных тонах ночной пустыни. Он спустился с башни с меланхолией, которая была благостной по сравнению с его привычным долгим страданием; веянием равнодушия, долетевшим оттуда, из тех расстояний, которые всё же были недосягаемы.

II

Вслед за путешествием последовал Агрский дворец, и очень быстро эти долгие, захватывающие дни поездки отошли на задний план; он расстался с ними резко — так же, как уже расстался почти со всем, что принадлежало его прежней жизни.

Здесь, наконец, он оказался в большом мире. Пышность и церемониал окружали его, блеск и суета теснили со всех сторон. Знатные дамы и стайки их служанок наполняли воздух криками и ароматами; трепет их одеяний был вечным ветерком; они взбегали и сбегали по лестницам, сталкивались с вами на каждом углу; а затем они всегда смеялись, казалось, всегда находясь в состоянии счастливой взволнованности. Это воистину был Большой Свет, и Джали стиснул зубы. До тех пор, пока никто не обращал на него внимания, это было терпимо; но, к несчастью, его замечали довольно часто. Улыбающиеся девушки, проносившиеся мимо по коридорам, бросали слово через плечо; светская дама, когда он выглядывал на какую-нибудь террасу, манила его к себе. Иногда даже две или три из этих устрашающих созданий фамильярно обступали его, и тогда начинались вопросы и колкости, и ему приходилось играть в эту игру, показывать, из какого теста он сделан.

В этом необыкновенном месте каким непринужденным, каким небрежным казался каждый! Он обнаруживал себя то польщенным и обласканным в один момент, то забытым в следующий. Никто не знал и не заботился о том, кто он такой; никто не был застенчивым или стеснительным. В любой день, через небрежно задернутую занавеску на двери, он мог мельком увидеть какую-нибудь красавицу за ее туалетом. То, что он видел, не шокировало его, хотя зачастую немало изумляло.

Что ж, вот он здесь! — и быть может, странность этого пройдет. Он решил ничего не избегать, приветствовать всякий опыт. Он постарается сделать все возможное если понадобится, пусть даже робкое, краснеющее от смущения «все возможное». Что важнее всего, он должен скрывать свое глубокое внутреннее волнение; ибо другие вполне могли бы спросить себя, чему тут, собственно, так волноваться? Другому без сомнения эти новые впечатления не показались бы чем-то особо значительным; и как он мог объяснить, что для него они были ужасны, что его способность справляться с ними была для него почти вопросом жизни и смерти? Он подверг себя испытанию; он поставил перед собой отчаянную задачу; теперь ему предстояло слиться с миром вместо того, чтобы оставаться странностью и чужаком. Не раз в своих размышлениях он вспоминал слова, которые произнес его дядя Хари во время той странной полуночной беседы в самую первую ночь его приезда. «Чтобы не бояться других, ты должен быть похож на них, а чтобы быть похожим на них, притворись перед самим собой, что ты такой же». И еще Хари сказал: «Люди гораздо лучше, чем ты думаешь». Та встреча с Хари наверняка была знаком Судьбы; она должна была укрепить его решимость.

В конце каждого из этих тревожных дней Джали пересматривал свой путь и гадал, продвигается ли он вперед так хорошо, как следовало. Не находит ли он почву под ногами подобно двум-трем другим мальчикам — немного моложе его самого — которые уже выглядели совершенно освоившимися со своим окружением? Спустя неделю или около

того, когда его первые потрясения улеглись, он оценил свое положение, подвергнув его более холодному и пристальному изучению, чем осмеливался делать прежде. Результат был удручающим. Перед его глазами вырисовывался чудовищно обескураживающий факт: он потерпел неудачу — нет, он не преуспел. Невозможно дольше оставаться слепым: вот он в мире, мир вокруг него, он борется за то, чтобы смешаться с ним — но тщетно. Вместо того чтобы чувствовать себя менее чужим, он чувствовал себя еще большим чужаком; и все эти незнакомцы, сильно опасался он, чувствовали то же самое по отношению к нему. Ни его тревога угодить, ни его хорошие манеры (он не мог не знать, что у него весьма хорошие манеры), ни что-либо в его целом снаряжении не приносили пользы. Даже его умение притворяться не тем, кем он является. Он, конечно, знал, как выставлять напоказ вид, подходящий для его родителей, но что касается этих новых людей — он просто не мог найти никакой манеры сделать себя приятным для них. Без сомнения, у них был инстинкт, подсказывавший, что он не один из них; они видели его насквозь, даже когда он был наиболее искусен. И что делало их проницательность еще более необычайной, так это то, что эти люди не были умными; фактически, по сравнению с людьми дома, они были невероятно грубыми и ненаблюдательными. Их неполноценность поразила его сразу; но это ничуть не уменьшило горечи его провала. В конце концов, это был мир, и нужно было принимать его таким, какой он есть; это был мир, и он слишком тревожился и благоговел перед ним, чтобы брать на себя роль критика. Нет, на данный момент его разум сосредоточился только на поразительных достоинствах этих людей — их самоуверенности, их осведомленности, их беззаботности и веселости. Как удивительно хорошо счастливые создания понимали друг друга! О, они знали мир вдоль и поперек! В этой огромной области знакомств, где он был чужаком, они передвигались с легкостью. Настолько мало Джали был испорчен самодовольством или снобизмом, настолько полностью он сейчас разуверился в самом себе, что охотно променял бы целую бушель своего собственного товара на несколько пеков их более крепких достоинств. Крепкое сердце и толстая шкура, понимающий глаз и готовый смех — именно этим он восхищался и жаждал обладать.

Лишь позже, лишь когда он был доведен до отчаяния — и то только в моменты своего отчаяния — его природный вкус дал о себе знать; но когда эти редкие порывы бунта все же охватывали его, поистине язвительными были суждения, которые он выносил. Тогда, в одиноких бурях ярости и презрения, он противопоставлял женщин Дворца людям двора своего отца дома, и — боже правый! — какими некультурными, какими безвкусными, какими глубоко внутренне вульгарными казались ему почти все они. Они были грубыми и глупыми всякий раз, когда касались вопроса за пределами сферы их особой светской компетенции. Если эти люди предлагали ему честный образец мира, мир был не очень хорошим местом. Его отец предупреждал его, это правда, что гости Акбара, собравшиеся вместе на единственном принципе величия в мире, вероятно, будут значительно различаться в других отношениях; его также предупреждали, что лоск и вульгарность часто идут рука об руку; но, боже милостивый! эти мягкие предостережения едва ли подготовили его к этому! И все же он презирал, боролся со своей собственной брезгливостью. Какой

смысл краснеть, морщиться и стыдиться за других, которые сами себя не стыдятся? «Почему я должен быть таким чертовым педантом?» — спрашивал он себя более одного раза. Однако некоторые стороны этой жизни он смаковал совершенно непедантичным образом; как и все дети, он мог находить удовольствие в том, чтобы возмущаться; и если вульгарности оставались оскорблением, то наблюдаемые им неприличия были волнением и удовольствием.

Но ничто из этого не имело никакого значения — ничего не значило, кроме ужасного, выдающегося факта: он потерпел неудачу. И теперь его задачей было обнаружить причину. Час за часом он размышлял над этой мучительной загадкой. Почему он другой? В каких частностях он неприятен? Почему он оказался в унизительном положении необходимости преодолевать безразличие, граничащее с неприязнью? И почему его лучшие усилия ни во что не ставились? Это было выше его сил понять. Одну или две свои ошибки он действительно обнаружил и исправил, но этого было недостаточно. Например, осознав тот факт, что хорошие манеры являются оскорблением там, где общий уровень низок, он сделал все возможное, чтобы скопировать преобладающую манеру поведения. Это помогло; но после этого? Что еще можно сделать? Бедный Джали! если он довольно быстро усвоил, что те, кто не обладает природной утонченностью, горько завидуют этому качеству в других, он еще не вполне осознал, что утонченность — это самое трудное для притворства качество в мире. Его новые знакомые обнаруживали ее признаки в самых его попытках скрыть ее. Сама его скромность унижала их.

Но вопреки всем этим разочарованиям он упорствовал с упрямством растущего отчаяния, и ему пришло в голову, что, наблюдая за своими родителями, он может уловить какой-нибудь намек. В некотором смысле его отец и мать стояли посередине между ним и чужим миром; хотя они оставались отстраненными, они не были похожи на него, безнадежно оторванного от реальности. Что ж! очень скоро он решил, что его родители и мир полностью неверно понимают друг друга и соприкасаются только благодаря своим заблуждениям. Его родители составили себе представление о своих дворцовых знакомых, удобное и выгодное для самих себя; и точно так же мир составил себе удобное повседневное представление о его родителях. Почему бы ему и миру не сойтись на тех же началах?

Он склонил свой ум к этой проблеме с предельной сосредоточенностью. Конечно, причина того, почему его родители не видели мир так, как видел он, заключалась в том, что дамы и служанки Дворца тщательно следили за тем, чтобы раджа Амар и рани Сита этого не делали. (Он был всего лишь ребенком, при котором можно было говорить все что угодно.) Его родители сами приглашали мир обманывать их; они требовали определенных проявлений, а другие люди инстинктивно подыгрывали ожиданиям точно таким же образом, как это делал сам Джали. Да, и другая сторона дела была такова: требуя определенных проявлений, вы выражали себя как типаж, демонстрировали определенные узнаваемые черты, устоявшуюся личность; вы давали людям простое, прямолинейное

прочтение своего характера. Взгляд, который придворные бросали на его родителей, был смехотворно поверхностным, но это совершенно не имело значения. Суть заключалась в том, что его родители и мир представляли друг другу нечто понятное, они выставляли ходовые фигуры, между которыми возможен ходовой обмен. Когда он задумался об этом, последовал вопрос, а разве его собственное общение с родителями не велось через посредство фиктивной личности? И если бы его родители были более проницательны, если бы они умели распознавать реальность вместо того чтобы потворствовать притворству, разве они давно уже не разглядели бы его маскировку? И если бы они когда-нибудь сделали это, разве их не ужаснула бы пустота позади? Ведь настоящий Джали — кто он такой? Что он такое? По правде говоря, нельзя было сказать ничего определенного. Во всяком случае, казалось, что он совсем не принимает участия, когда речь заходила о человеческом общении. Истинное «я», казалось, было изолировано своей собственной неотъемлемой природой от других истинных «я». Именно видимости образовывали мост между личностью и личностью. Более того, его истинное «я», настоящий Джали, было пустотой — вовсе ничем. Да; даже для самого себя он был пустотой, небытием. И разве из всего этого не следовало то, что то, что он склонен называть реальным, есть само ничто?

Доведя свои мысли до этого места, Джали остановился, несколько запыхавшись. Ему показалось, что он наконец обретает свет. Жить в реальности и ради реальности означало чахнуть и увядать, принимать видимость означало уплотняться и крепнуть. Именно взращивая видимости и иллюзии, принадлежащие внешнему человеку, вы не только предлагали другим, но и получали для себя весомое и понятное существо. Человеку следует щедро давать и брать фальшивой монетой видимостей. Вы обладаете характером, основательностью, силой благодаря вашей несознательности, вашей тупости, вашей неспособности воспринять внутреннюю пустоту вещей. Разве не очевидно, например, что его отец мог быть буддистом, только игнорируя все, что говорило против буддизма? И разве его мать со своим христианством не находилась ровно в таком же положении? Людям приходилось выбирать между *видением* и *бытием*. Чем больше реальности вы видели, тем меньшим бытием обладали. Он, Джали, *видел* вещи такими, какими они были на самом деле, и *был*, вследствие этого, практически ничем вообще.

При этом Джали показалось, что он вышел на полный свет великой правды мира. Он схватывал истины, которые мрачно созревали внутри него с самого начала жизни, и по мере того, как его идеи принимали форму, он дрожал от волнения. То, что он открывал, имело для него верховную важность — схему мира, систему мышления. Днями он продолжал размышлять над своими построениями и проверять их в свете припоминаемого опыта. Повсюду он находил подтверждение их истинности. Возьмем случай того большого, веселого человека, Нарсинга Део — никто не мог быть более жизненным, позитивным и существенным, чем он, и уж конечно никто не мог быть менее восприимчивым, дальше отстоящим от сути вещей. Или взгляните на всех этих шумных, ребячливых, возбудимых женщин во Дворце — если бы они хоть на мгновение осознали свою собственную пустоту и тщеславие, что бы произошло? Да ведь они бы рухнули — рухнули бы в нечто столь же

безжизненное и бесцветное, как он сам. Рассмотрим снова того восьмилетнего мальчика, который неуклюже топал по коридорам на четвереньках, играя в слона, всеобщего любимца, хотя он очень мешал: — если женщины так ласково относились к нему, то главным образом потому, что все они точно знали, с кем имеют дело: его ограниченность делала его определенным и понятным, так что можно было снисходительно улыбаться, когда он топал мимо. Так и есть! Именно в таком духе его родители и эти люди принимали друг друга. Точно таким же манером эти люди улыбались его отцу и матери с их буддизмом и христианством; в то время как последние, со своей стороны, имели одинаково благожелательную улыбку для персонажей своих дворцовых знакомых. Все, чего хотел или должен был предложить любой человек, — это нечто осязаемое; и было странно, но неопровержимо установлено, что осязаемым не может быть дух — оно должно быть иллюзорным — словом, Майя.

Так Джали вернулся к позиции, которая лежала внутри философии расы его отца, хотя путь к ней был им найден полностью самостоятельно. А поскольку перевод интуиций в идеи всегда приносит воодушевление, эти идеи, хотя сами по себе были не очень воодушевляющими, немало способствовали поднятию его духа. Он родился — он чувствовал это — для умозрения; и тогда как готовые умозрения других, к сожалению, не могли завладеть им, теперь наконец-то он встал на путь создания собственного свода истин. В этом было нечто довольно величественное, и он этого не упустил из виду. Его чувство неполноценности уравновешивалось равным чувством силы. Если он *был* ничем, то с другой стороны *видел* всё. Он стоял в изоляции, которая была одновременно презренной и великолепной.

III

С тех пор как он прибыл во Дворец, Джали общался с его обитателями так много, как только мог, ибо это было неотъемлемой частью его самодисциплины. По счастью, однако, эта дворцовая жизнь прерывалась днями, проведенными в павильоне Голкала в Королевских Охотничьих угодьях; без этих вылазок он вряд ли смог бы выдержать напряжение своего нынешнего образа существования. После болтовни переполненных комнат, суматохи запруженных коридоров, после своих непрерывных безуспешных попыток «уловить суть», выглядеть счастливым и бодрым — после этой пытки покой лесов был Раем.

Бродя в одиночестве по затененным тропинкам или мечтательно сидя у озера, он находил нечто похожее на смирение. В этом настроении он испытывал тихое удовольствие от размышлений о том, что всё есть тщета: ничтожным было всё, о чем думали другие люди, и глупой была вся их живость. Точно так же, как женщины Дворца шумно и возбужденно суетились из-за пустяков, точно так же его отец был серьезен и сосредоточен на пустяках, а мать — полна рвения и счастлива в мире, окрашенном в розовый цвет ее

грезами. У всех этих людей были личности; они умели поддерживать иллюзии, наделяющие человека личностью; они становились непроницаемыми, плотными, удобными для самих себя и других. Но он не мог этого сделать; ему было суждено оставаться таким же слабым и прозрачным, как вода. Что-то внутри должно темнеть, предположил он, должен образоваться некий центр, вокруг которого группировались бы собственные иллюзии человека и чужие иллюзии о нем — пока человек не обретет субстанцию — пока он не станет, если ему очень повезет, «персонажем» — например, огромной жизнерадостной массой жизненной силы и вздора, каким был милый Нарсинг Део.

Этот покой, разумеется, находился недалеко от отчаяния, и все же Джали еще не совсем оставил свою цель. В конце концов, преуспев в создании облика, который удовлетворял его родителей, почему бы ему в итоге не найти такой, который удовлетворит весь мир? Пока же он переводил дух, ища новые уловки, пытаясь восстановить силы. И вот теперь в пустыне его уныния перед ним открылся поток духовной поддержки, по которому он мог направить свои шаги. Его родители убедили Голкала взять обучение их сына с того места, где остановились его прежние наставники. Договариваясь о занятиях, раджа Амар был полностью уверен в том, что Джали выйдет из них с разумом, пробужденным к истине буддийского учения, а Сита столь же уверенно полагала, что ничто в учении Голкала не ослабит его приверженности христианским принципам. Мальчик прекрасно знал, что думают его родители, и вследствие этого был чрезвычайно сдержан в отношении собственных мыслей. Истина же заключалась в том, что он никогда не мог соотнести ни христианство, ни буддизм с проблемами своей внутренней жизни. Христианство ничего не проясняло для него; напротив, оно настаивало на наборе верований, которые казались ему настолько произвольными, что он лишь дивился тому, как они вообще могли возникнуть в чьем-либо уме. Как можно верить, что душа возникает на этой земле, а затем продолжает жить вечно? Если уж существуют такие вещи, как души, разве их существование не должно простираться в прошлое так же, как и в будущее? А потом, разумно ли думать, что «быть добродетельным» в течение одной краткой земной жизни — дело такой важности, что оно определяет все вечное будущее бессмертной души? И сама эта идея добродетели как чего-то совершенно независимого от знания и понимания, какой в ней смысл? Почему ей придавалось такое большое значение? Идея добродетели имела применение лишь к немногим сферам человеческой жизни. Добродетель, в понимании его матери, не применялось ни к стихотворению, ни к истине, ни к большей части повседневного поведения. Более того, почему было «правильно» считать саму жизнь благословением и верить во множество вещей, которые явно не были правдой? Буддийское отношение к жизни казалось ему гораздо более разумным; но увы! оно было поразительно неинтересным. Вам запрещалось рассуждать над любыми вопросами, которые больше всего побуждали к рассуждениям. Вам не говорили ни почему, ни как мир стал тем необычайным местом, каким он является. Джали проявлял интерес к жизни, соразмерный его огромному страху перед ней; у него было очень живое ощущение власти и реальности

зла, которому буддизм не придавал никакого значения. Суть дела состояла в том, что если религия его матери была для него слишком причудливой, то религия отца — слишком лишенной воображения.

Но какова была религия Голкала? Он не знал, и подозревал, что сам Голкал тоже не знает. И все же в речах учителя дышал дух бесконечного обновления. Личность Голкала пленяла его целиком, возвышая разум не только над душной, шумной атмосферой Дворца, но и над туманом его собственных незрелых теорий. Его возносило в воздух, который оживлял его кровь и возрождал пламя духа, которое замешательство, самоуничижение и неудача свели к мучительной вспышке. Был ли учитель занят изложением центральных верований Веданты, сравнением доктрин Христа, Будды и Платона или рассмотрением доводов за и против предсуществования — всё существо Джали вибрировало в ответ. В эти тягостные дни общение с Голкалом поддерживало в нем чувство собственного достоинства. Праздная болтовня придворных дам и их служанок обычно совершенно превосходила его понимание, но этого человека он всегда мог понять. Мир презирал его, отталкивал в сторону; но этот мудрец обращался с ним как с равным, даруя ему речь, достойную богов. На террасе Голкала, под огромным голубым зонтом с золотыми драконами, раскинувшимися на нем, Джали лежал во весь рост, устремив глаза на лицо друга, глубоко сосредоточенный и никогда не утомляющийся. Всё его внимание было там, даже когда другие восхитительные составляющие сцены присутствовали для его умиротворенных чувств — блеск озера, монотонно перекликающиеся в деревьях птицы, обезьяны, копошащиеся над черепицей крыши. Те часы на террасе оказывали целительное воздействие, в котором он остро нуждался. В своем отчаянии он начал презирать всё, что находил в себе, даже те качества, которые разделял со своими родителями и которыми склонен был восхищаться в них. Но теперь он смутно, хотя и без колебаний, уловил в натуре этого человека струну, еще более сокровенно созвучную его собственной скрытой и презренной сущности. И поразительным было то, что если такая слабость и существовала в Голкале, она постоянно превращалась каким-то чудом самовозвышения в силу, превосходящую силу сильных. Голкал, любил думать он, может быть способен и *быть*, и *видеть*: в нем зрение могло сочетаться с мощью.

Он уже любил Голкала, однако не собирался поверять даже ему тайны своей внутренней жизни. Естественная уединенность окружала ваш центральный дух, делая неприличной, как, несомненно, и тщетной, попытку разделить с кем-то конечное бремя самосознания. Да и Голкал никогда не расспрашивал его, не лез в душу. Однако он давал щедро; он не стеснялся излагать, даже перед этим маленьким мальчиком, свои глубочайшие размышления, или раздумывать, словно с близким другом, над проблемами, подсказанными его собственной жизнью. Иногда хмурясь от признанного разочарования, иногда улыбаясь с самоиронией, но всегда с безупречной цельностью ума, он погружался в особую тему часа, исследуя ее тайну неторопливыми, осторожными словами и, так сказать, переворачивая ее выразительными движениями больших красивых рук.

Затем, после того как он возвращался в павильон на свою сиесту, Джали уходил бродить по лесу за домом. Какое-то время его лицо оставалось нетерпеливым, а глаза блестели, пока мысли продолжали идти своим заведенным порядком. Какое-то время они будут лететь в той выси, куда вознес их Голкал; но мало-помалу чары рассеются, климат его ума изменится, и он обнаружит себя вновь блуждающим в отчаянии по старому лабиринту своих недоумений и страхов. То была область, о которой, казалось, не имел никакого понятия ни один из святых или философов в истории. Ни один из них не начинал со столь уныло скептического духа.

Итак, снова в компании собственного одиночества, он будет ползать под жидкой тенью иссушающих деревьев. Полуденная знойная тишина лежала бы на земле — на равнинах, пустынях, лесах, на всей Индии и дальше, если бы только воображение могло это представить. В этой тишине он двигался, медлил и останавливался; он слушал ее и чувствовал, как она поглощает его в безграничную огромность. Он смотрел вверх на жаждущую листву, он прислушивался, всматривался, следил глазами за нерешительным падением листа. Ненадежным и рваным было всё то укрытие, которое эти бедные ветви могли дать теперь; и увы зеленым и сочным созданиям, что доверились их защите! Увы мхам, травам и растениям с прохладными прожилками, увы нежным кустам, тщетно сбившимся в кучки на участках земли, которые когда-то были влажными, в расщелинах, которые казались безопасными! Яростное солнце своей голой настойчивостью пробилось к ним, внезапно превратив их в скелеты; и именно эти прекрасные серебристые скелеты ныне придавали лесу вид магического иссушения, и стуком своих сказочных костей наполняли его особенным шелестящим шорохом. Этот шелест! — послушайте его сейчас! — проносящийся мимо, словно полет призраков, на дыхании горячего ветра.

Правда, здесь и там дерево с более густой листвой оказало сопротивление, его блестящие листья все еще сильны отбивать стрелы солнца. Вокруг всего его ствола лежала лужица тьмы, небольшое святилище относительной прохлады. Здесь можно было стоять и думать. Но в этот час полного могущества солнца как можно было действительно думать? Белое молчание и пылающая тайна полудня вызывали активность, которая растрачивалась в чистом восхищении; ее нельзя было обратить к какому-либо познавательному замыслу. В тишине и тайне ночи мысль была свободна, но теперь вы останавливались, ждали, прислушивались и всматривались; вас наполняло ожидание — и это было всё.

В ходе этих долгих палящих дней Джали освоился с дюжиной узких тропинок, так неизменно пустынных, так бесцельно петляющих, что поначалу само их существование было для него загадкой. Но вскоре он обнаружил, что большинство из них в конце концов приводило к небольшому полуразрушенному индуистскому святилищу, стоявшему в одиночку посреди леса. Его едва ли можно было назвать храмом, ибо он был так мал, но у него была своя ограда, отделенная от джунглей низкой глинобитной стеной; и позади него росла группа священных фиговых деревьев. В давно минувшие дни его приземистые обожженные солнцем стены, должно быть, весело сияли краской, но цвета почти

полностью облупились. Низкий круглый побеленный купол укрывал алтарь, на котором стоял примитивный лингам. Так что это действительно был храм, хотя и очень скромный; он все еще оставался обителью бога.

Джал приходил сюда довольно часто, привлеченный тонким и благожелательным характером божка, чье присутствие пропитывало всю рощу. Была мистическая гармония в узоре, который создавали искривленные ветви священных деревьев. Была мистическая красота в тенях, которые они бросали на пыльную желтую землю. Снова и снова он стоял на опушке леса, созерцая место и поддаваясь его влияниям. Он никогда никого здесь не встречал, но было очевидно, что храм не был полностью покинут. Свежие подношения бархатцев и листьев билвы появлялись на алтаре почти каждый день; и он хорошо понимал эту непреходящую верность немногих.

Однажды днем — это был, несомненно, самый жаркий день в году — он пробирался сквозь сухую, выцветшую траву под сухими, шелестящими деревьями и стоял, созерцая храм в задумчивости глубокой мысли. Но на этот раз к нему через некоторое время пришло ощущение, что он не один. Возможно, размышлял он, дело было в компании серых обезьян, которых он ощущал рядом, ибо, поспав, скорчившись на ветвях пипала, они начали зевать и потягивать руки. «Тень пипала несет покой, тень пипала несет покой», — эти слова повторялись в его уме колыбельной, и вскоре он вздохнул и, подобно самой обезьяне (они снова стали вялыми), присел на корточки и опустил веки на глаза. Но немного погодя он открыл их снова, и его внимание тотчас привлекло цветное пятно, появившееся у стены храма. Это было женское платье; и когда фигура поднялась на ноги, он узнал Гуневати. Один или два раза он уже видел девушку во дворе павильона Голкала, и каждый раз ее красота повергала его сердце в смятение, оставляя боль, которая медленно затихала. По этой причине он бессознательно избегал в последнее время заходить во двор. Но теперь, из своего логова в сухой траве, он смотрел на Гуневати с интересом, который был менее тревожным. Его взгляд обострился, пульс участился, но над ним витал покой благожелательного божка, и он оставался собранным.

У самого входа в храм и вокруг него дрейфовала Гуневати, медля, останавливаясь и вновь продолжая путь, ее прекрасное тело лениво покачивалось, словно речная водоросль в потоке. Над головой немилосердно сверкало око солнца, и тяжесть полудня лежала на ней, как тяжелые воды глубокого моря. Джалу казалось, что в своих мечтательных промедлениях она была едина с неторопливой землей: она была подобна лотосу, раскрывающемуся на заводи, вечернему облаку, листу, слетающему вниз, медленной зевоте золотого тигра, дремлющего в своей пещере. И настоящий момент — обычно острый, как лезвие ножа, разрезающее между прошлым и будущим — настоящий момент, пока он наблюдал за ней, расширился в огромное озеро мира.

Через некоторое время ее глаза повернулись в его сторону, и по мере того, как ее взгляд останавливался на нем, ее движения замерли в паузе. С величайшим вниманием они

созерцали друг друга; неспешный ход времени приостановился вовсе; мир ждал, или так казалось, в кратком промежутке полного покоя.

Яркие, неподвижные и ничего не выражающие, как у мыши, глаза Джала уставились на девушку поверх стеблей лесной травы; и ее глаза тоже ничего не выражали, пока от ее слегка приоткрытых губ к ним не начала медленно подниматься улыбка. Наконец, не меняя позы, Джали поманил ее рукой, и спустя мгновение она подошла. Неторопливо, доверчиво она присела на корточки рядом с ним; и тогда они начали беседовать вместе особенными, приглушенными тонами, которые накладывает величие высокого полдня.

Над ними, вокруг них царила тишина; только где-то в палящей дали птица кокила издавала свою единственную, невыразительную ноту; и монотонность этого звука была похожа на слышимую пульсацию жары. Пока звучал мягкий шепот Гуневати, случайный порыв ветра заставлял тень мерцать, а травы — колебаться; и обезьяны на насесте напротив снова принялись искать насекомых в шерсти друг друга. Взгляд Джали глубоко покоился на ней. Глубоко он изучал тонкий изгиб ее бровей, маленькие изящные ноздри, изысканные изгибы рта и подбородка. «Она похожа на газель, — подумал он. — Становишься подобным животному или гурии, когда ты настолько совершенен».

Он очень мало внимал ее словам, но вскоре она стала серьезной, и ему пришлось слушать внимательнее. Она только что совершила гадание, сказала она ему; оно предназначалось для ее подруги, которая после двух лет замужества оставалась бездетной. Что нужно было сделать — так это скатать шарик из смешанных экскрементов мужа и жены; (но толку от этого не было, если вы не знали соответствующих заклинаний; и их нужно было произнести без единой ошибки!) а затем шарик следовало оставить на неделю в тщательно выбранном месте внутри храмовой территории. Что ж, она сделала все это; и сегодня она вскрыла шарик и обнаружила, к своему великому удовлетворению, что в нем завелась живность. «Это означало, что ее подруге не стоит отчаиваться; рано или поздно будет зачат ребенок». «А это будет мальчик?» — спросил Джали. Она вздохнула. Быть может, какой-нибудь умный человек смог бы предсказать даже это, но ее познания не простирались так далеко. В любом случае ребенок будет; и если ее подруга будет регулярно молиться в этом храме, бог с большой вероятностью сделает его мальчиком.

После этого она перешла к другим вещам; она рассказала ему множество любопытных историй, иллюстрирующих характер божка. У него, по-видимому, была жилка озорства в натуре; например, одна женщина, которая однажды купила для него салат-латук вместо листьев билвы, впоследствии родила кролика. Она все еще перечисляла особенности этого и других своих любимых богов, когда Джали заметил, что солнце уже светит под углом сквозь ветви и наступил вечер. Теперь же время от времени мимо проходил носильщик приношений и входил в храм, чтобы возложить свою дань на алтарь. И был ли это мужчина или женщина, каждый прохожий оборачивался с любопытным взглядом на эту пару. И всякий раз, когда это случалось, Джали осознавал, что встреча глаз незнакомца с глазами Гуневати отличалась от их встречи с его собственными — что-то происходило: взгляд не

был просто пустым. От этого его мысли снова обратились на самого себя, и его застарелая скорбь навалилась на него. Такое одиночество, как у него, должно быть, было совершенно неизвестно Гуневати; ибо, несомненно, в единый миг она могла установить контакт с кем угодно в мире; а оставаясь одна, она наслаждалась бдительным и заинтересованным обществом по меньшей мере сотни богов.

IV

Глубокая задумчивость, в которую его погрузила Гуневати во время этой их первой встречи, переросла в желание увидеть ее вновь. Его взгляд, такой мечтательный и вместе с тем такой пристальный, был пронизан двояким удивлением: удивлением перед ее красотой и удивлением перед ее взглядом на мир. Его дух в ее присутствии чувствовал утешение и поддержку. Заглядывая ей в глаза, он заглядывал в глубокие глубины животной безмятежности; ему доставляло радость сидеть, всматриваясь в теплый сумрак этого ума, где фантазия разворачивалась и расцветала, подобно орхидеям в болотистых джунглях ее родного Малабара.

Он никогда не спорил, не противоречил и, казалось, не высказывал сомнений. Ему было бы приятно верить всему, во что верила она, даже самому абсурдному, даже когда ее рассказы становились гротескными или ужасными. То был ум, в котором можно было чувствовать себя непринужденно, настоящий рай праздности и чувственной несдержанности. У нее были свои руководящие правила, это правда: следует делать то; следует делать сё: — но они были великолепно иррациональны; в них не было никакого смысла, ничего, кроме произвольной веры. Никаких принципов какой-либо абстрактной этики, никакой необходимости самоконтроля она не знала; и он вполне мог представить, с какими укоризненными глазами посмотрела бы она на любого, кто попытался бы наставлять ее. К чему эта суровость, спросили бы они? Зачем усложнять себе жизнь неприятностями и трудностями?

Если она была совсем непохожа на его собственный народ, она также была совсем не похожа на чопорных дам Дворца и их знающих служанок. Те, госпожа и служанка одинаково, были слишком погружены в мир, чтобы уделять время богам. Религия Гуневати, если это вообще можно было так назвать, пропитывала все ее существование, надежно удерживая напыщенность и вульгарность вне пределов ее досягаемости. Она жила в присутствии тайны. Ни одна деталь ее жизни не могла быть тривиальной или утомительной, поскольку настоящий момент обладал интересом и важностью благодаря таинственности того, чем он являлся. Воспринимая жизнь просто, она находила, что та состоит почти исключительно из религии и секса. Эти вещи по праву давности занимали центр ее сознания, и для нее они были почти единым целым. Но это было единство с двумя аспектами, один из которых был пугающим, а другой — восхитительным. К его изумлению, а поначалу и к великому смятению, Джали обнаружил, что она принимала определенные

наклонности в его натуре как должное. Уже на второй встрече, фактически как только она почувствовала себя с ним вполне непринужденно, она стала бесстыдно соблазнительной; она улыбалась из-под ресниц; она придвигалась вплотную; она смеялась и доверялась, она обольщала и настаивала, пока он больше не смог сдерживаться от того, что, в конце концов, было той вещью, которую он желал более всего. Тогда, какой завораживающей она становилась! Она была похотливой с игривостью, нежностью и скромностью, которые умеют изображать лишь те, кто поистине похотлив.

Позже, когда Джали снова взял себя в руки, он вернулся к своему первому изумлению. Как, недоумевал он, она смогла постичь его тайные мысли? Гуневати была очень позабавлена этим замешательством. Она не насмехалась, но та мягкая веселость, которую она выказала, говорила больше всяких слов. Поначалу, действительно, в их разговоре было много такого, что шло мимо цели, поскольку видение мира Джали было для нее столь же необычайным, как ее — для него. Вскоре, однако, он увидел, что в области их нынешнего обсуждения правда и знание были почти целиком на ее стороне; так что постепенно его недоверие было преодолено, и он пришел к поразительному выводу о том, что хотя она без всякого сомнения была весьма малообразованной, невежественной и суеверной девушкой, ее понимание человеческой природы было гораздо глубже, чем у него. Гуневати знала немногое, быть может, но то, что она знала, лежало в самом сердце вещей; и тогда наконец до него дошло, что он искал простые истины в небе, тогда как они лежали на земле прямо у его ног. Покров приличий, который общество привычно набрасывает на инстинкт пола, оказался не таким уж непроницаемым, чтобы под ним нельзя было распознать то, что лежит в основе. Тогда же он вскоре увидел, что версия происходящего от Гуневати вряд ли была более фантастической или циничной, чем это было необходимо. Ибо девушка не была циничной; напротив, она была совершенно наивна. Мирские условности навязывались ей; формальные разделения мира, его напыщенные декреты требовали от нее беспрекословного почтения. Но, падая ниц в глубочайшем смирении перед общественным величием, она не могла не помнить, что даже раджи и императоры были мужчинами, а будучи мужчинами, они попросту дополняли ее собственную скромную персону. Великие дамы тоже были женщинами и, как таковые, не имели от нее никаких секретов. Да, Гуневати невежественна и проста; но вещи, которые она знала — и здесь Джали остановился, задумался и затаил дыхание — вещи, которые она знала, были чудесны и значили многое.

Было нелегко примирить это новое знание с совокупностью его прежнего опыта; но он немало размышлял, и однажды, после долгих колебаний, подошел к Гуневати с идеей. Почему бы ему, спросил он, не проверить истинность некоторых из ее утверждений на практике? Он не мог отделаться от мысли, что придворные дамы предлагают на редкость многообещающее поле для эксперимента. Разве не было бы интересно...? Разве не было бы возможно...? Что думает об этом Гуневати?

Гуневати разразилась смехом, захлопала в ладоши и сочла идею великолепной. С величайшей доброжелательностью она принялась наставлять его. Она рассуждала с огромным воодушевлением, а Джали слушал со всем вниманием; она очень подбадривала его; то, что она говорила, казалось слишком удивительным — почти невероятным; тем не менее он воспрянул духом и поверил.

Это был безусловно самый героический поступок, который он когда-либо возлагал на себя. Мужество, с которым он приступил к делу, было мужеством отчаяния; он предпринял свой последний штурм на презирающий его мир. В последние мгновения перед испытанием он перешел от дрожащего ужаса в настроение бредовой дерзости. Жертвой его эксперимента стала одна из самых хорошеньких служанок, привлекавшая его с самого начала. Ничто не могло быть более лихим, чем нанесенный им удар, и он справился с этим так хорошо, что ошеломленная девушка едва устояла. Вернувшись обратно в свою комнату, хотя теперь он дрожал и был истощен, он не мог не видеть, что его испытание, хотя и не окончательное, оказалось чрезвычайно обнадеживающим. На следующий день он продолжил натиск, и на этот раз его триумф был полным. Но этого было недостаточно; одной победы ему не хватило. Опьянев от успеха, он решился на другой, еще более амбициозный шаг. И вновь победа осталась за ним!

Эти переживания стали переломными в его карьере; и теперь требовалось провести коренную перестройку его идей. Он еще не был вполне уверен — но осмелился заподозрить, — что преграда между ним и остальным человечеством наконец пала. Он почти решался поверить, что лекарство от всех его бед, волшебный пароль, наконец-то оказался у него в руках. Его уважение к мудрости Гуневати и благодарность за ее наставления взлетели на небывалую высоту. Он докладывал ей обо всем с точностью до мельчайших деталей, и вместе они смеялись и радовались. Польщенная его экстравагантным почтением девушка стала весьма самодовольной и была почти готова согласиться, что ее познания человеческой природы не имеют себе равных в мире. Она продолжала обрушивать советы и наставления на своего ученика; а Джали, впитав каждое слово, спешил обратно во Дворец, чтобы доказать ее непогрешимость и развить новую грань своей техники.

Трудно преувеличить перемену в его умонастроении. Не только он обнаружил себя преображенным, но и все остальные, казалось, тоже преобразились. Он жил в состоянии восторга; и именно чрезмерная самоуверенность несла его вперед без каких-либо серьезных препятствий. Женщины Дворца увидели косноязычного, застенчивого мальчика, самым пикантным образом превратившегося в дерзкого, но очаровательного молодого повесу. Они не могли взять в толк. За ним следовали насмешливые взгляды и хихиканье. Чуть больше недели назад он был нежеланным и недооцениваемым; теперь же он стал скандалом и восторгом.

Когда Джали нашел время изучить то, что произошло, он увидел, что точно так же, как в отношениях с родителями он выработал внешнюю личность и манеру поведения, которые

удовлетворяли их требованиям, так теперь он случайно наткнулся на другую манеру поведения, которую могла понять и оценить его новая аудитория. Он связал поучения Гуневати с определенными воспоминаниями о мальчике из дома, который для своих лет отличался самой предприимчивой дурной репутацией, и хотя он видел этого мальчика лишь один или два раза в жизни, теперь внезапно почувствовал вдохновение представить очень хорошую имитацию его. Таким образом, в одно мгновение он овладел способами и манерами, в точности подходящими для выбранной им роли.

То были великолепные дни. Но вершины своих амбиций, зенита славы, он пока еще не достиг. Вскоре после прибытия во Дворец он безнадежно пленился хорошенькой, ветреной юной рани, которая не замедлила заметить производимый ею на него эффект. Рани Джагашри забавляло бросать ему несколько приглашающих улыбок за спиной его матери; и более чем однажды в своих покоях она поощряла его быть гораздо более предприимчивым, чем он умел это делать. Но это продолжалось недолго; к его унижению, она вскоре потеряла к нему интерес. Что ж, этого следовало ожидать. И те немногие капли горечи мало что значили в океане его тогдашнего несчастья. Теперь всё было иначе. Теперь, теперь он не тот человек, чтобы покорно мириться с подобным пренебрежением. Так что это был совершенно изменившийся Джали — Джали, раскрасневшийся от завоевательной дерзости, который вскоре осадил дверь дамы. Маленькая рани была изумлена; затем сильно позабавлена; и наконец, скорее ради развлечения, чем чего-либо иного, позволила ему добиться своего.

На какое-то время Джали просто перестал узнавать самого себя. Его прежняя натура подверглась полному затмению. Но, хотя потакаемое тщеславие и чувственность без сомнения объясняли многое в этой перемене, их корни не уходили слишком глубоко. Важнее в его нынешнем ликовании была убежденность в том, что он обнаружил необходимую связь между собой и остальным человечеством. Ему больше не нужно было ходить в страхе перед враждебностью мужчин или презрением женщин; и таким образом, более не угнетаемый своей старой скорбью, он поверил, что его старые трудности исчезли навсегда и бесповоротно. В силу естественной реакции он теперь обратился против большинства своих прежних убеждений; мир был не таким уж плохим местом после всего; его виноград не был кислым; презирать его было нелепо; бояться — излишне.

Он много думал о Гуневати и преимуществах упрощенного взгляда на мир. Мировоззрение Гуневати было не только гораздо более простым и комфортным, чем у его отца или матери, но и вывело его из изоляции к общению с добрым родом людским. Конечно, когда он смотрел на Гуневати глазами своего отца, она казалась ему абсурдной. Но разве отец, насмехаясь над Гуневати, не презирал при этом почти всю нашу обычную человеческую природу? Да, ибо разве не заявленной целью буддизма было вытравить из жизни весь цвет? Но он был против этого; он предпочитал, чтобы жизнь была простой и ярко окрашенной.

Да и помимо вкуса, буддизм никогда не привлекал его разум действенным образом. Иллюзия, даже как иллюзия, должна была быть объяснена; вещи не воображались, то есть не изобретались и не создавались без того, чтобы за этим не стояло какой-то причины. Вещи, которые вы находили в мире, были творениями богов, работающих через воображение людей. Если его отец апеллировал к действенной силе неверия, чтобы уничтожить мир, Гуневати и ей подобные предпочитали использовать действенную силу веры для поддержания и расширения работы созидания. Кали информировала ее, а она информировала Кали; это было одно и то же; и ее Кали, несомненно, была так же реальна, как любые абстрактные идеи его отца. Разве не довольно простодушно со стороны его отца питать такую веру в чисто интеллектуальные конструкции? Его отцу будет очень легко, без сомнения, высмеять бедную Гуневати; но он, Джали, чувствовал уверенность, что именно она менее проста из них двоих; она была попросту простодушна; его отец был прост по природе.

Гуневати стояла ближе к сердцу вещей: это снова стало лейтмотивом его мысли, когда он сравнивал ее с матерью. В случае с Гуневати не вставало вопроса об обращении к религии ради обретения смысла и оправдания жизни, и еще меньше это был вопрос придания реальности религии путем низведения ее до обыденных дел дня. Каждый миг ее существования был заряжен избытком интереса, который взывал к себе и обосновывал свое религиозное значение. Но в чем именно заключался этот интерес? В теле, в сексе; а секс и религия были едины. Эта позиция прочно утверждала Гуневати на базальтовом основании жизни. Она укореняла ее в Действительном, и многие верования его матери выглядели надуманными, многие ее требования — причудливыми. Гуневати не было нужды искать Спасителя в прошлом или Рай в будущем. Она жила в своем теле, и ее тело было ее нынешней достаточностью.

В прошлом часто бывали моменты, когда Джали затаивал обиду на родителей за то, что он считал их непроницательностью. Довольно неразумно, прилагая бесконечные старания ввести их в заблуждение, он возмущался их способностью обманываться; и теперь, когда он оправился от своего первого упоения, его неприязненнные чувства к ним усилились. Как совершенно они проигнорировали его духовное развитие за эти последние несколько недель! Его страхи и муки, его усилия и отчаяние, его открытия, его дерзость и его триумфы — обо всем этом они остались в неведении. Более того, если бы он попытался описать им ход своей жизни, они, как он был уверен, не поняли бы его. И точно так же они не смогли бы понять Гуневати. Они могли вообразить, что способны отбросить свои предрассудки и проникнуть в ее разум, но они ошиблись бы. Воображение взрослых обманчиво; взрослые приподнимают тонкий призрак интеллектуального понимания, но дальше пойти они не могут.

Видение его родителей, говорил себе Джали, было столь же ограниченным, как и у Гуневати, но если ее видение было ограничено невежеством, то их — бессознательной волей игнорировать. Ему даже казалось, что фактический опыт жизни человека в

значительной степени определяется его укоренившимися предубеждениями. С дядей Хари, например, могут случаться определенные вещи, которые просто не могут случиться с его отцом. Судьба подгоняла ваш мир к вашим ожиданиям — делала ли она это в духе иронии или доброжелательности, сказать было трудно. И точно так же обстояло дело с его матерью. Он и она могли жить бок о бок во дворце Агры годами, но миры, в которых они будут жить, будут разделяться дальними расстояниями. Они были бы разными, причем различались бы не только цветом и атмосферой, но и самими событиями, которые в них содержались. И вот подходящий пример того, что он имел в виду. Не так давно его мать потеряла изумрудное украшение, крест, подаренный ей Католикосом Тифлиса во время ее крещения на родине. Теперь же он недавно видел этот крест в ящике туалетного столика рани Джагашри. И все же его мать верила (и, без сомнения, была обречена верить вечно), что Джагашри — очаровательная дама и ее преданная подруга. И таких примером можно было бы привести множество.

Из всего этого очень ясно вытекала определенная истина: каждый живущий жил в своем собственном особом мире. Был мир его отца, был мир его матери, был мир Гуневати — был также, предположил он, мир тигра, и кобры, и маленького растения. И кто мог сказать, какой из миров более истинен или более реален? Одни были богаче других, но все были одинаково реальны и истинны. Единственное существо в мироздании, которому недоставало видения, личности и, следовательно, собственного мира, был он сам. Но за это полагалась компенсация; его недостаток позволял ему смотреть глазами других. Он мог смотреть на мир глазами Гуневати так же, как и глазами своих родителей. Другие люди были ограничены своими собственными личностями и не обладали этой силой.

V

На какое-то время жизнь Джали продолжала быть наполненной сильным волнением — волнением, порой доходящим до экстаза, но никогда не приближающимся вплотную к счастью. Как только он стал способен собраться с мыслями, то начал понимать, что его старые проблемы вместо того, чтобы исчезнуть, лишь изменили свою форму. Беда заключалась в том, что в глубине души он остался в точности прежним. Допустим, если он и был способен представить мир так, как представляла его Гуневати; все же он совершенно не мог *чувствовать* и *принимать* мир так, как чувствовала и принимала его она: это, видел он, никогда не будет в его власти. Ее темперамент был таким, каким был, потому что за ним не стояло никакого другого «я»; но когда он перенимал ее видение, он делал это намеренно, а его собственное «я» присутствовало позади, оставаясь абсолютно неизменным.

Еще один аспект существенного различия между ним и ею проявлялся всякий раз, когда он пытался дать ей понять взгляд своих родителей на жизнь. Их врожденные вкусы и антипатии — например, их отвращение к чувственности, их неприязнь к неразумности и беспорядку — были для нее непостижимы; и хотя ее чисто интеллектуальные недостатки

не особенно досаждали ему, он не мог с тем же невозмутимым спокойствием принять отсутствие у нее нравственного вкуса. Она не ценила благородство характера; в ней не было ни поэзии, ни чего-либо достойного называться романтикой. Если он и находил красоту в ее спонтанной способности наслаждаться даром жизни, много чести ей за это он оказать не мог; это было природным даром, за который она даже не была благодарна.

Его внимание было резко обращено на эти недостатки ее отношением к Голкалу. В соответствии со своей привычкой он скрывал от родителей глубокую привязанность, которую питал к своему учителю, но с Гуневати он придерживался иной линии. Он воображал, что она должна отвечать благодарной привязанностью на продолжающуюся доброту Голкала по отношению к ее отцу и к ней самой, и что она будет очень готова присоединиться к нему в любви и уважении к своему благодетелю. К его удивлению, однако, когда он говорил о Голкале с восхищением, Гуневати оставалась безучастной; она отводила взгляд полуприкрытыми глазами, а изгиб ее губ казался слегка насмешливым. Затем снова, в другом вопросе она вызвала у него явное раздражение; она выказала склонность пренебрежительно отзываться о его родителях. Он видел, что она испытывает недостойное удовольствие, размышляя о том, насколько грубо они обманываются относительно поведения, равно как и характера своего сына. И не стоило труда пытаться объяснить ей, что в таком неведении есть нечто прекрасное, нечто прекрасное в неспособности заподозрить обман. В таких случаях он отворачивался от Гуневати с отвращением, и часть этого отвращения оседала и на его мнении о самом себе. Бывали времена теперь, когда ему было бы легко пойти дальше в этом направлении и впасть в сентиментальность, предаться раскаяниям, которые будут лишь наполовину искренними, и сделать признания, о которых он впоследствии пожалеет. Ему приходилось напоминать себе, что хотя ему и дано было восхищаться родителями за качество их видения, это видение не принадлежало ему по праву природы. Для него было невозможно стать похожим на них, точно так же, как было невозможно стать похожим на Гуневати. Он был самим собой, уникальным — одновременно жалким и возвышенным.

По мере того как он мало-помалу погружался в этот самоаналитический образ мыслей, его прежнее одиночество вновь подкралось к нему. Он созерцал неизменность своего сокровенного «я» и приходил в ужас. Кроме того, временами некий девятый вал ностальгии по утраченной невинности прорывался вперед из безоблачного неба и обрушивался на него с сокрушительным эффектом. Никогда, никогда нельзя сделать назад ни единого шага на своем пути! Забытье бесполезно; забывая, вы стираете лишь сами события; *воздействие* событий стереть невозможно.

Меланхолия, сопровождавшая эти размышления, усиливалась очень нежным чувством, которое он испытывал в это время к служанке рани Джагашри. Это была скромная маленькая особа, во внешности которой не было ничего, отличающего ее от многих других, если только вы не были достаточно наблюдательны, чтобы заметить качество ее взгляда. Для Джали, во всяком случае, ее глаза, казалось, выражали глубокое и осмысленное

изумление. В его воображении она стала подобием его самого, обладательницей именно тех чувств, которые преследовали его с младенчества, превращая мир в место чудес и ужасов. Сделать шаг ей навстречу ему никогда не приходило в голову; это было бы осквернением; ибо его чувство требовало лишь легчайшей и самой эфирной пищи. Он тайком наблюдал за ней изо дня в день. Она занималась своими делами в шумной, визгливой толпе с качеством сжатости, которое Джали приписывал не робости, не гордости, а естественной брезгливости. Вокруг этой непритязательной фигуры он соткал завесу чувства, бессознательно наделяя ее всеми теми чертами собственного характера, которые оскорблялись его нынешним образом жизни. Ему было стыдно предлагать ей зрелище своих любовных утех с ее госпожой. Вскоре он решил порвать с рани Джагашри; ибо правда заключалась в том, что с тех пор, как он обнаружил кражу этой дамой изумрудного креста его матери, она стала ему неприятна, и он ненавидел себя за продолжение этих отношений.

В естественном порядке вещей он сообщил Гуневати о своем замысле, который включал кражу креста у Джагашри, чтобы вернуть его к драгоценностям своей матери. После того как он высказался, Гуневати медленно покачала головой; она заявила, что то, что он предлагает, никуда не годится; во-первых, рани будет возмущена его разрывом с ней; во-вторых, как только она снова увидит крест в распоряжении его матери, она заподозрит его участие в этом деле. Тогда ее гнев будет ужасен. Ни одна женщина — и уж точно ни одна знатная дама — не перенесет безропотно такое оскорбление. Джали был очень смущен; он немного поспорил, но без всякой уверенности; и ни за какие блага мира он не посвятил бы Гуневати в тайну своего чувства к служанке рани. Наконец он печально спросил ее, что же ему делать, и получил обескураживающий ответ, что он должен ждать, пока Джагашри не пресытится им.

На их следующей встрече Гуневати снова подняла эту тему; она сказала, что не будет никаких возражений, если он украдет крест и отдаст его *ей* — почему бы не наказать рани Джагашри, сделав это? «Тебе!» — вскричал Джали, невыразимо возмущенный этим предложением. Но в следующий момент он покраснел от своей невежливости и пустился в уклончивые объяснения. Вопрос о Джагашри и кресте обострил его терзания. Он страдал одновременно от чувства неверности и от ощущения западни. Да, он запутался; и хотя его отношения с рани (которые, уверяла его Гуневати, вполне могли закончиться в любой день) были обречены прекратиться с его отъездом из Агры, эта мысль приносила ему мало утешения. Суть заключалась в том, что теперь его жизнь была направлена по дороге неодолимой привычки, с бесконечной серией ловушек, путаницы и обмана на пути. Он оценил, как никогда прежде, красоту и привлекательность отрешенности отца и цельности натуры матери.

Вскоре и его отношения с Гуневати стали менее гладкими, ибо так же, как она теряла трепет перед его общественным положением, он переставал быть столь сильно впечатленным ее прочтением человеческого сердца. И она не замедлила уловить эту

перемену, что заставило ее тем более негодовать на его скромные попытки улучшить ее. В ней время от времени стала проявляться черта обычной злобы, склонность насмехаться над тем, чего она не могла понять, и принижать качества, которых ей недоставало. Он поспешно пресек ее склонность пренебрежительно отзываться о его отце и матери, но она наверстала упущенное в другом направлении. Однажды, когда он осаживал ее за ту же наглую манеру в отношении Голкала, она обрушилась на него и нанесла такой парализующий удар, что его способность противостоять ей на этой конкретной почве была для него потеряна навсегда. Она уверила его — и ее заверения были обстоятельными, — что Голкал уже несколько недель домогается ее; и после того, как его возмущенное недоверие было преодолено, она продолжала, из чистой злонамеренности, мучить его смеющимися описаниями тех самых сцен, в которых проявилось безумное увлечение брамина.

Джали был удручен сверх всякой меры. Был ли он шокирован недостойностью такого поведения со стороны человека, которого так глубоко чтил? Ревновал ли он к Голкалу? Или ревновал к Гуневати? Часами и днями он размышлял, сердито исследуя свою упорную боль. К его чести следует сказать, однако, что его верность Голкалу осталась непоколебимой; он изменил свое представление о друге лишь настолько, насколько это было необходимо; его уважение не уменьшилось, оно даже обогатилось снисходительностью, проистекающей из более крепкой любви. Разве истина о том, что все люди всего лишь люди, уже не была хорошо вбита в него самой Гуневати?

Затем, хотя девушка настаивала, что ни соблазняла Голкала, ни уступала ему, Джали был достаточно проницателен, чтобы пропустить эти протесты с презрительным недоверием. Гуневати свойственно было заявлять, что все мужчины нападали на нее и что почти все они получали от нее презрительный отпор. Она лгала, знал он. Поэтому тихо и приватно он примирился с мыслью, что теперь он и Голкал действительно делят ее благосклонность; и тот факт, что он осознавал это, тогда как Голкал нет, начал внушать ему новое чувство покровительственной близости, своего рода тайного соучастия, окрашенного состраданием. Ведь какой жалкой и недостойной Голкала была эта девица! При мысли о том, как мудрого и мягкого брамина искушают и вводят в заблуждение, им овладевала настоящая ненависть к ней. Несомненно, она использовала все свои самые бесстыдные, постыдные искусства, чтобы низвергнуть его.

Примерно в это время Гуневати все время была не в духе, и день за днем она находила удовольствие в том, чтобы злить его, насмехаясь над Голкалом. Когда это случалось, Джали охватывала такая ярость, что он вылетал от нее прочь и часами тщетно искал способ разоблачить ее — не разоблачив при этом себя самого.

Как естественное следствие, теперь его чувства к Голкалу стали страстными, и часто, возлежа у ног брамина, он напевал себе безмолвный пеан обожания. Для него каждая складка одеяний Голкала была величественной, а его массивная фигура — подобием контрфорса земли. Светотень мыслей, игравшая на чертах Голкала, напоминала движение

солнца и облаков по вечным холмам. В этом лице каждая линия имела значение; божественным был интеллект, взирающий на вас из-под выступа тех бровей. Глаза Голкала были наполнены звездным светом; и все же сеть тонких морщин связывала их общей добротой с миром людей. А затем, вызывая в воображении гибкую, гладкокожую красоту Гуневати, он находил ее пустой и ничтожной. *Ее* лик со своей чисто внешней красотой казалось ему теперь более пустым, чем жалкие звериные морды оленей или газелей. В нем больше нельзя было прочесть призыв дикой и нежной бессознательности; он слишком хорошо понимал разум Гуневати и теперь наконец знал, что тот ему неприятен.

Однако яростность его враждебности вскоре несколько смягчилась, и они продолжили встречаться на условиях, которые казались неизменными. Но Гуневати осознала, что держит в руках хлыст; и после этого ей всегда нравилось время от времени щелкать им, чтобы убедиться в своей власти. Что касается Джали, то он запер свой гнев глубоко в сердце, где тот пошел на поддержание пламени его преданности Голкалу. Он созерцал свое приближающееся расставание с Агрой со странной смесью эмоций. Он почувствует, осознал он теперь, огромное облегчение, оставив позади весь этот комплекс волнения, усилий и возбуждения, который составлял его нынешнюю жизнь. Но разве ему не станет скучно? Нет! Ведь Голкал собирался присоединиться к нему в Нагорьях; и там Голкал будет принадлежать только ему — Голкал без Гуневати.

Он еще не вполне осознавал это, но напряжение его нынешнего образа жизни уже начало серьезно сказываться на нем. Это доказал случай, который едва не привел его к гибели. Его мать давно хотела, чтобы он посетил службу в часовне королевы Мириам в Фатехпур-Сикри, но по той или иной причине это событие откладывалось. И тогда как несколько недель назад Джали не имел бы ничего против того, чтобы присоединиться к матери в поклонении христианскому Богу, сама мысль об этом теперь наполняла его величайшим дискомфортом. Во-первых, он боялся, что потерпит неудачу в благочестии. Его мать всегда настаивала, что ее Бог чрезвычайно благ; но Джали слышал из других источников, что Он зорок, требователен и ревнив почти невероятно — ревнив до такой степени, что не терпит поклонения никаким другим богам помимо Себя! Не мог ли тогда христианский Бог, пронзая тайны его сердца, счесть его присутствие в часовне чистым нахальством? И это было еще не все: его одолело другое опасение. Сомневаясь в своих силах самообладания, он боялся совершить какое-нибудь ужасное саморазоблачение. Что, если он сорвется и во всем признается?

В любом случае, избежать испытания было невозможно. Так что с самым веселым видом, какой он только мог изобразить, он сопровождал свою мать в Фатехпур-Сикри и вошел в часовню рядом с ней. Первые несколько минут он чувствовал себя очень истерично, но музыка едва успела начаться, как он забыл о себе, ибо дух его был охвачен чувством поклонения настолько спонтанным и полным, что не осталось никакого сознания вины или лицемерия. Он больше не думал о христианском Боге как склонном к гневу. Он поддался невыразимому стремлению к миру красоты и красоте мира. Красота Небес

Марии, красота, лежащая на линии пустынных горизонтов, — красота святости и далекого идеала — все это, это забытое им, вернулось к нему волной чувств, которую можно было выносить лишь до тех пор, пока он держал мысль о себе самом, каким он был сейчас, вне своего разума. Но он не мог держать эту мысль в узде вечно. Внезапно сожаление обрушилось на него с непреодолимой силой. Он подавил его, он старался не слушать бесстрастные голоса хора, ни понимать холодную блаженную радость, которую они выражали. И все же музыка, которая терзала его, должна была быть также и поддержкой; ибо когда она прекратилась, он провалился в бездну отчаяния. Свет, которым живут люди, казалось, покинул его полностью; черная волна слабости нахлынула на него, и он покорился ей с благодарностью.

В течение следующих двух дней, лежа почти без движения на кровати, он преувеличивал свою телесную болезнь и этим способом скрывал болезнь своего ума. Искушение сделать признание было настолько сильным, что в иные моменты он был на волосок от того, чтобы уступить ему. И все же, сквозь весь этот терзающий конфликт, одна вещь оставалась несомненной превыше всего остального: он, Джали, — это изолированное сознание, и как таковое должен вести свои духовные битвы в одиночку. Он не мог или не хотел принимать ни свет отца, ни свет матери; на этом он стиснул зубы, и оттуда пошел дальше к другому заявлению. Он не был готов пожертвовать так называемым злом в себе ради так называемого добра. Искушение быть таким хорошим часто было более коварным, чем искушение быть порочным; часто быть хорошим было более деморализующим, чем быть порочным. Стремление к добродетели и чистоте имело обратную сторону, которая заключалась в стремлении к избавлению от ответственности, усилий и опасности. Нужно было учитывать свое самоуважение. Так пусть же он придерживается своего решения разорвать связи с родителями, детством и всем прочим. Кроме того, реальной возможности вернуться назад даже не было. Так что он ожесточился, чтобы страдать в одиночестве, взращивая презрение к семейным привязанностям, которые всегда оказывались слепыми и бесполезными. Подобно тому, как его любовь к родителям коренилась в слабости, их любовь к нему коренилась в самообмане.

VI

Сначала интерес к путешествию и новизна обстановки в Кханжо во многом отвлекли Джали от его навязчивых мыслей. Теперь его желанием было вовсе выбросить Гуневати из головы; и в этом он вполне преуспел, несмотря на то, что она объявила ему за несколько часов до отъезда, что Голкал действительно намерен взять ее с собой в Нагорья. Но она сказала это дразнящим тоном, и он отказался верить, что за ее словами стоит хоть что-то. Так что он ждал Голкала с нетерпением, не испорченным никаким беспокойством; и такое умонастроение сохранялось у него до тех пор, пока однажды ночью, незадолго до прибытия Голкала, он не проснулся с мыслью о том, каким ужасом будет, если Гуневати действительно появится вновь. Ее присутствие не только полностью изменит вкус его

жизни в этом месте — оно разрушит все его мечты о неиспорченном товариществе с Голкалом. Не заразит ли она его снова тем возбуждением, которое он так благодарно отбросил? С тех пор как он покинул Агру, он пришел к пониманию того, что его отношение к родителям становилось все более и более несправедливым; тот Джали, в которого они верили, имел реальное — или, по крайней мере, наполовину реальное — существование; так что его взгляд на себя как на совершенно «другого», а на них — как на совершенно «незрячих» был в целом более искаженным, чем их собственный. Когда он говорил себе, что презирает их, на самом деле он презирал самого себя. Истина заключалась в том, что в Агре он был совсем не похож на себя — фактически, почти безумен.

Он очень трезво пересмотрел свои недавние изменения и, хотя ни на мгновение не поверил, что вернется в прежнее состояние ума, чувствовал, что его нынешнему спокойствию угрожает опасность. Родители подарили ему пару котомишек (бинтуронгов), очаровательных созданий, которые были необычайно ручными и всюду следовали за ним по дому и окрестностям. Значительную часть своего времени он теперь посвящал этим животным; тот факт, что самка вот-вот должна была принести потомство, вызывал в нем глубочайший интерес; каким-то странным образом эти два кото-медведя символизировали для него мир и безопасность его нынешнего существования.

Затем прибыл Голкал; и когда он узнал, что Гуневати находится в его обществе, странное чувство заставило его затаить дыхание. Его сердце упало, но можно сказать, что оно одновременно и подпрыгнуло. Во всяком случае, его волнение в тот момент было не совсем неприятным: лишь позже, когда он лежал без сна в своей постели по ночам, из его разума исчезло всякое чувство, кроме тревоги. Тогда, именно тогда на него обрушились тысячи страхов. Он не был уверен в своей способности успешно скрыть от Гуневати свое смятение при мысли о ее приезде. Страх перед ней и желание к ней, несомненно, сговорятся заставить его вернуться к их прежним отношениям. Пришла также мысль, что ей может удастся отравить разум Голкала против него. С этими мыслями, лихорадочно работавшими в мозгу, он встал и некоторое время стоял, глядя вниз на золотисто-коричневые тела своих двух друзей, кото-медведей, которые спали в своей корзине. Его сердце болело так, словно его неожиданно заставили навсегда с ними проститься.

На следующее утро он вышел во двор позади бунгало Голкала, и там он нашел Гуневати сидящей на ступеньках надворной постройки, которая, очевидно, была подготовлена как ее жилище. Она расчесывала волосы и сушила их на солнце. На другой стороне двора повар Голкала хлопотал у кухонного дома, и именно к нему Джали первым делом незаметно подошел. Обмениваясь приветствиями с поваром, он разглядывал Гуневати краем глаза; и очень скоро почувствовал всем телом жар ощущения, которое узнал слишком хорошо. Напрасно он отворачивался; желания, дремавшие с его отъезда из Агры, затопили его мозг образами красоты девушки и ее готовой распутности. Но теперь его чувственность была омрачена глубоко укоренившейся неприязнью. Тем не менее, пока он проклинал ее в своем сердце, его желания также побуждали подавлять эту неприязнь; таким образом,

делая вид, что слушает повара, он был охвачен глубоким внутренним волнением. Странная и довольно подозрительная нежность начала пропитывать его мысли о Гуневати, когда он размышлял об удовольствиях, которые она доставляла Голкалу, — удовольствиях, которым он мог интимно сопереживать. Гуневати была тонкой, тайной связью между Голкалом и им; жесты, взгляды, уловки поведения, которые очаровывали его — все это точно так же очаровывало и Голкала. И вот в его желание было привнесено нечто вроде благоухания, а в понимание влюбленности брамина снова вошло защитное чувство. Увы! Если бы только Гуневати не была столь недостойна! Если бы только она могла узнавать благородство, когда встречала его! Но она не была ни умна, ни надежна; он как раз подслушал слова отца о том, что со стороны Голкала было безумием привезти ее сюда.

Ощущение ее опасности росло в нем, пока он стоял там. Она была существом соблазна и опасности — не только для Голкала и для него, но для всего мира. В той мере, в какой она сама не осознавала себя угрозой, она была еще более зла. И все же — почему хорошенькая, легкомысленная девушка должна внушать такие чувства? Справедливо ли интерпретировать ее так? Разве хороший буддист не увидел бы в ней лишь звено в длинной кармической цепи, а христианин — лишь сестру во Христе? О, но эти представления о ней казались какими далекими от жизни! Как вопиюще они игнорировали непосредственную, волнующую кровь реальность! У нее не было жизни, бытия, причины, кроме секса; и она сама это чувствовала. Она была живой приманкой — приманкой темной, безжалостной Кали.

Он прошел через двор, остро сознавая, что взгляд повара устремлен на него. Присутствие старика вынудило Гуневати почтительно встать и отдать ему надлежащий поклон. Он остался доволен и подождал несколько мгновений, прежде чем жестом велел ей снова сесть. Но в ее глазах была улыбка, которую повар не мог видеть, и смирение ее позы не скрывало гордости за свое прекрасное тело, ее сияющего сознания его красоты и его притягательности.

— Ты никогда не верил, что Брамин привезет меня, — пробормотала она. — Но теперь ты видишь!

Он молчал.

— Брамин любит меня больше, чем когда-либо. Смотри! — и она протянула руку, покрытую браслетами.

— Очень красиво, — сказал Джали, отворачивая лицо.

Ее стройная фигура выгнулась назад в грациозной позе, она улыбнулась, глядя на него снизу вверх, и ее рука с браслетами заслонила глаза от солнца. Его взгляд притянулся обратно к ней, но он не мог найти, что сказать.

— Когда я тебе лгала? — продолжала она. — Возможно, тебе хотелось бы верить, что святой Брамин любит меня как отец? Но, говорю тебе, любовь стариков — самая нечестивая из всех.

— Наш дом, — сказал Джали, — находится по другую сторону ручья. Его видно сквозь деревья.

— Я знаю, — сказала Гуневати.

— В полумиле выше есть место, где сходятся три тропинки. — Он помолчал и сглотнул. — Я буду ждать тебя там завтра в полдень.

Гуневати ничего не сказала. Она смотрела на нежную кожу на собственном плече, и казалось, это вдохновляло ее своего рода скорбной нежностью. Ее тон, когда она заговорила снова, был капризным. — Клянусь моей матерью, эта страна пустынна и ужасна сверх всяких слов! Эти темные деревья! А воздух, какой холодный! Кто, кроме *риши* или демонов, смог бы вынести жизнь в этом месте! Все остальные, кто приходит сюда по собственной воле, должно быть, действительно безумны.

В душе Джали был склонен согласиться с ней, но он также разозлился, как она и намеревалась. И его гнев, казалось, лишь усилил желание. Ее глаза, когда она смотрела на него, стали насмешливыми.

— Я знаю тебя, — сказала она. — Ты жаждешь обнять меня, — и ее смех зазвенел. — Только ты, словно дитя, стыдишься сказать это.

Пылая от жара, Джали бросил взгляд на повара, который, скорчившись над своей жаровней, делал вид, что не слышал этого смеха. Если бы повара там не было, подумал Джали, его гнев наверняка вырвался бы наружу. Как бы то ни было, он повернулся и быстро вышел со двора.

На следующий день они встретились; и после этого тайные встречи в лесу вошли в обычай; однако, уступая своим желаниям, он пытался убедить себя, что все еще может избежать возвращения к прежней близости. Если Голкал способен использовать Гуневати для своего удовольствия и при этом сохранять (как предполагал Джали) безмятежную независимость духа, почему бы ему не поступить так же? Бездумная гордыня этого рассуждения уравновешивалась столь же бездумной скромностью; ему даже не приходило в голову, что Гуневати может ценить их прежнее товарищество и быть уязвлена его новым отношением. На самом деле она была уязвлена. Ее главенство над молодым раджой льстило ей, и ее раздражало видеть, что, хотя ее чары над его чувствами все еще держались, ее прежнее влияние совершенно исчезло. Если великих и могущественных людей можно полностью поработить через чувства, почему нельзя этого ребенка? Она размышляла над загадкой, пока не пришел ответ. Она завоевала свое господство над Джали, открыв ему новые стороны жизни, и только непрестанно потакая голоду этого юного, беспокойного ума, она могла надеяться держать его в рабстве. Как это утомительно!

Стоил ли мальчик таких хлопот? Она поклялась, что нет; и все же начала строить планы, как вернуть его обратно. В качестве первой меры она попробовала отказать ему в своих милостях; а затем, когда это не помогло, она пришла к пониманию того, что он живет меньше своими чувствами, чем сердцем, и что его сердце меньше подвержено влиянию чувств, чем мыслящему разуму. С обидой, если не с ревностью, она осознала всю важность Голкала в его жизни; и она разгневалась до такой степени, которую сама едва ли могла объяснить. Этот толстый старик и этот глупый мальчишка, кем они были для нее? Ничем, меньше чем ничем! И все же в следующий раз, когда они с Джали встретились, она сыпала колкостями и язвительнее прежнего высмеивала Голкала. Результат оказался весьма значительным: Джали побагровел от ярости и наконец зашел так далеко, что заверил ее, будто наслаждения, которые он находил в ее объятиях, ничто по сравнению с глубоким счастьем часов, проведенных подле брамина.

Это была самая серьезная ссора из всех, что у них случались, и ее последствия, хотя и косвенные, оказались решающими. Гуневати решила разыграть свои козырные карты. Она знала, что может рассказать Джали вещи, которые пробудят в нем весь его прежний интерес к ней и более чем восстановят ее утраченный престиж. Если она воздерживалась до сих пор, то потому, что ее история не была той, о которой можно рассказывать легкомысленно. Это подразумевало разоблачение того, что она — вамачари, последовательница Левого Пути, и в нынешние времена, когда гнев Императора против тайных сект полыхал вовсю, невозможно было сделать более опасное признание. Но именно это разоблачение должно было вознести ее на высоты удивления и интереса в глазах Джали.

Уже один или два раза, когда она намекала на необычное знание запретных вещей, его реакция показывала ей, где лежат ее лучшие возможности. Она понимала, что знание, и особенно идея скрытого знания, завораживало его. Никогда прежде она не встречала никого настолько чувствительного к подземному бормотанию и шевелениям страсти, наполовину религиозной, наполовину эротической, которая доминировала в духе ее народа; и эта чувствительность казалась скорее обостренной, нежели притупленной утонченностью его характера и воспитания.

На следующий день она заставила его проводить ее дальше обычного в лес, и когда они уселись вместе в отдаленной, залитой солнцем поляне, она сделала первый шаг. Что касается чисто материальной стороны, ее рассказ, как она хорошо знала, вряд ли мог не взволновать его. Он часто говорил ей о своем дяде Хари, фигуре, которая, очевидно, затронула его сочувствие. Ну разве не будет ему интересно услышать, как Хари наткнулся на нее и других членов ее братства, когда они крались однажды летним вечером к назначенному месту сбора в Агрском лесу? и разве он не придет в волнение, услышав, что у Хари был спутник, и что его спутник случайно сбил одного из членов ее группы? Да! и всадницей оказалась принцесса Лалита, невеста принца Данийяла! А сбитым с ног и

оглушенным человеком оказался не кто иной, как сам принц Салим! О, история в ее самых скудных подробностях должна была быть захватывающей.

И вот они теперь были здесь; и она не успела уйти далеко, как увидела, что глаза Джали загорелись и уставились на нее с затаенным напряжением. Его зачарованный взгляд сказал ей, что она не переоценила свои силы. В тот день и в течение долгой череды последующих дней Джали действительно ловил каждое ее слово. Метод, которому она следовала, состоял из намеков, обрывков фраз и долгих упрямых пауз; но время от времени она выдавала небольшой поток сжатых, точных сведений, утоляя его раздражение и вновь приковывая интерес. Много часов они провели в той поляне, а Гуневати, нежась на теплых сосновых иголках и загадочно улыбаясь себе под нос, была теперь вполне довольна. Голод этих двух темных глаз, устремленных на нее, льстил ее тщеславию больше, чем другой голод, с которым она уже была немного утомительно знакома.

Недавно прибыл Хари Хан в Кханжо, и Джали сразу заметил, что он не в своем обычном расположении духа. Гуневати дала объяснение: принцесса Лалита, сказала она, порвала с ним отношения, и он страдает от любовной тоски. Объясняя это, она недобро рассмеялась; она не любила его дядю, и приводила в качестве причины то, что тот не постеснялся воспользоваться ее беззащитностью после того, как обнаружил ее в заброшенном бунгало. Но однажды она также пробормотала нечто о том, что он говорил о ней дурное Голкалу; а затем позже она выдала поразительное замечание, что именно Хари Хан, вероятно, донес на нее Мабун Дасу.

Для Джали разговор, состоявшийся между ними в тот день, имел особое значение, потому что он остановил дух недоверия, который накапливался в нем, и заставил признать, что Гуневати действительно играет роль — неясную, но все же влиятельную — в делах большого мира. Она уже говорила ему, что принц Салим влюблен в нее и что это увлечение сильно занимает ум Мабун Даса; но эти заявления не произвели на него впечатления в то время. Упоминание таких внушительных имен в повествовании Гуневати пока лишь придавало ему налет нереальности; он не мог принять за правду то, что занятый Мабун Дас знает или заботится хоть сколько-нибудь о девушке вроде этой. Но вот она снова подтверждала этот факт, и на этот раз он намеревался слегка прощупать почву.

— Я часто видел Мабун Даса во дворце Агры, — медленно произнес он. — Не думаю, что он мне очень нравился, хотя он всегда был так вежлив. Он никогда не казался по-настоящему слушающим то, что кто-либо говорил — даже мой отец.

— А меня он слушал! — сказала Гуневати с тихим смехом.

Джали снова изумился. Неужели она действительно утверждала, что у нее была аудиенция у самого великого человека? Он устремил на нее глубоко недоверчивый взгляд.

Так уж вышло, что это был один из более разговорчивых дней Гуневати, и, возможно, молчание Джали уязвило ее. Во всяком случае, вскоре она приподнялась на одном локте и

скорчила ему гримасу. — Ты сомневаешься во мне, — сказала она. — Сомневаешься, видела ли я действительно когда-нибудь Мабун Даса. Что же! — и она одарила его странной улыбкой. — Помнишь шрамы на моей спине?

— Да.

Сев, она повела плечами так, что ее легкое муслиновое платье соскользнуло до талии. — Посмотри на те старые шрамы, — продолжала она, вытягивая шею и поворачиваясь, чтобы рассмотреть янтарную гладкость своей кожи. — Разве ты не помнишь, как спрашивал меня, откуда они взялись?

Джали подался вперед. — Шрамы теперь совсем исчезли.

— Но ты их помнишь?

— Да. Ты говорила мне, что это сделал твой отец.

— Ты знаешь моего отца. Как ты мог поверить, что такой мягкий старик стал бы бить меня подобным образом? Нет; эти шрамы были делом рук самого Мабун Даса.

Джали молча нахмурил брови, пока она смеялась со странным, мягким самодовольством. — Это было так, — рассказала она ему. — Однажды, когда мы с отцом отсутствовали, шпионы Мабун Даса пришли и обыскали нашу хижину; и они нашли стек принцессы Лалиты, который я спрятала в тростниковой крыше. Но я ничего не знала об их визите; а на следующий день, когда Мабун Дас вызвал меня к себе, я, конечно же, отрицала всякое знание о стеке. И тогда, внезапно — О моя мать! Я могла бы умереть! — Мабун Дас извлек стек и взмахнул им перед моими глазами. И когда я отпрянула, он велел мне подойти совсем близко. И тогда он ударил меня три раза. И с первым ударом он сказал: «Это для того, чтобы научить тебя, что есть один человек на земле, которому ты никогда не должна лгать». А со вторым ударом он сказал: «Это для того, чтобы ты запомнила, что твоя жизнь в моих руках». А с третьим: «Это для того, чтобы предупредить тебя, что до конца твоей жизни мой глаз будет над тобой, а мое ухо будет слушать все, что ты скажешь».

Пока она говорила, глаза Гуневати изменились; и теперь Джали увидел в них тьму, которой никогда не видел прежде. С судорожным вздохом девушка обвела взглядом замыкающий круг деревьев. Взгляд Джали тоже прошелся по кругу; и наступила пауза, прежде чем он сказал: — Думаю... думаю, тебе лучше держать слова Мабун Даса хорошо в уме.

Эта глава в жизни Гуневати оставила Джали задумчивым, но надолго не завладела его интересом. Дела большого мира, дела общественные и политические, чувствовал он, находятся совершенно вне его компетенции. Так что, хотя он смутно представлял, что происшествия, рассказанные Гуневати, могли быть такими, которые заинтересовали бы Мабун Даса (например, Акбару ни в коем случае нельзя было узнать, что принц Салим — вамачари, а Данийялу — что Хари Хан затеял интригу с его невестой) — хотя он понимал,

что эти скандальные секреты потенциально имеют политическое значение, эта сторона их оставалась ему безразлична. Что, прежде всего, увлекало его в истории Гуневати, так это раскрытие сущностной тайны человеческого разума. В своем эгоизме он склонен был воображать, что только он обладает жизненно важными секретами. Но это явно было ошибкой. Вот его дядя Хари, ведущий авантюрную, скрытую жизнь! о которой мир ничего не знал, жизнь, о которой Гуневати, вероятно, знала лишь часть, и то лишь потому, что случай заставил ее скрытую жизнь пересечься с жизнью Хари в определенной точке. Насколько поразительно тайными, скорее всего, являются большинство человеческих жизней! Вот его отец и мать, и Голкал, и Хари, и Гуневати, и он сам, все живущие тесно вместе, все участвующие, казалось бы, в открытой, общей жизни, и тем не менее нет сомнений, что каждый из этих умов содержит глубокие тайны. Каждый содержал малое и частичное знание единого тела фактов, которое в своей полноте не было известно никому на земле.

Через несколько дней он выразил некоторые из этих размышлений Гуневати; но, как всегда случалось, когда он обобщал, она не проявила интереса. Чтобы спуститься к частному: «Как ты полагаешь, — спросил он, — знают ли мой отец и мать, например, вещи о тебе, которые ты и представить себе не можешь возможными, или другие вещи о Хари Хане, которых ты не знаешь? И что случилось бы в мире, если бы люди могли заглядывать друг другу в мысли?»

Гуневати рассмеялась и слегка пожала плечами.

— Скажи мне! — настойчиво повторил Джали.

Девушка зевнула. — Я могу сказать тебе одну вещь, которую знает твоя мать и которой не знает раджа Амар, — сказала она, внезапно выглядя развеселившейся.

— Что это?

— То, что Хари Хан стал ее любовником.

— О! — Откуда ты это взяла? — сказал Джали, застигнутый врасплох. — Кроме того, — добавил он мгновение спустя, — а как же принцесса Лалита? Думаю, ты шутишь.

— Нет. Я не шучу. Разве ты не знаешь, что они встречаются каждый день у ручья?

— Да, — сказал Джали. — Но…

Он осекся. Было бы пустой тратой времени пытаться убедить Гуневати в том, что эти отношения могут быть невинными. К тому же, это был не тот вопрос, который ему хотелось бы слышать в ее обсуждении. Не то чтобы он был особенно зол или шокирован; он принял возможность того, что сказанное ею было правдой. Только, как ни странно, его это не очень глубоко интересовало; а причина этого заключалась в том, что, привыкнув с детства думать о родителях как о существах обособленных, он не мог смотреть на происходящее с ними как на явления, имеющие ту же значимость, какую они имели бы, случись они с ним самим.

Он не мог представить относительно дел, затрагивающих его родителей, что там замешаны обычные человеческие чувства или что к ним применимы человеческие мерки. Всякий раз, когда он был вынужден признать в отце или матери чувства, подобные своим собственным, он испытывал некоторый дискомфорт. Если он учился относиться к другим взрослым как к по-человечески близким себе, он все еще бессознательно не желал делать то же самое для своих родителей, и это потому, что тогда его чувство ответственности перед ними возросло бы.

Так что главным следствием утверждения Гуневати стало усиление чувств, которые породили другие ее разоблачения. Мир был необычайно таинственным местом; жизни людей были тайными; и чем глубже ты копал вниз, тем более странным и притягательным становился арканум Духа.

VII

Ожидания Гуневати оправдались, и даже в большей степени, чем она знала. После того как первое волнение Джали улеглось, он сохранил жгучее любопытство проникнуть в темный фон религии и страсти, на котором двигались ее персонажи. Более того, его воображение, работая над предложенным материалом, черпало немалое вдохновение из источников, о которых она не имела ни малейшего понятия.

Чуть больше года назад он сопровождал отца в путешествии по душным джунглям Юга, и этот опыт оставил неизгладимое впечатление. В частности, теперь он вспоминал темные, потемневшие от времени, окропленные кровью храмы той местности — храмы, которые были истинными обителями Кали. И разве сама золотистая Гуневати была родом не с Юга?

Так что эта хорошенькая девушка, вытянувшаяся рядом с ним в прохладной тени Гималаев, виделась ему воплощением темной и ужасающей силы; силы, которая, тайно властвуя над всей землей, предпочитала не являть себя в своем могущественном нагом виде никому, кроме посвященных своей древней родины. Пока она напевала себе под нос, зевала и играла с еловыми шишками, он сидел поодаль, пристально глядя на нее из облака мыслей.

В каких только обрядах не участвовала Гуневати? Какие экстазы, какие дикие бредни ей не доводилось видеть? На какие тайны она не взирала своими детски-циничными глазами? Увы! Он не мог заставить ее разум выдать свои секреты, секреты, которые она сама, вероятно, понимала лишь наполовину. Время от времени, по ночам, ему казалось, что он все еще может собственными силами вступить в прямое общение с демиургическими силами, которые преследовали его, — силами, чьи колоссальные формы, как он чувствовал, давят на призрачную завесу видимого мира. Его неотступно преследовала мысль о тайном знании, которое ему суждено было судьбой сделать своим. Он должен учиться, и учиться, и учиться; он должен узнать не только то, что знает его отец, и то, что

знает Голкал, но и то, что знает Гуневати; а затем — большее, гораздо большее — все, что лежит за этим.

Вскоре он уже умолял Гуневати устроить ему посвящение в ее тайную секту; и в конце концов, ради спокойствия, девушка зашла так далеко, что познакомила его с некоторыми друзьями, которых завела в деревне. Эти люди, хотя и не были вамачари, придерживались схожего культа. Среди них был один, возбудивший особое любопытство Джали, потому что он также принадлежал к пресловутому братству Агхори. Но после того как это существо выставило себя напоказ, съев смесь тухлых потрохов и мертвых насекомых из человеческого черепа, желудок Джали заявил, что он слабее его духа. Говоря откровенно, не было ни одного из новых друзей Гуневати, кто не вызвал бы у него духовное, если не физическое, отвращение. Эти люди могли быть торговцами таинственным и порочным, но они определенно были очень убоги. Да и сама Гуневати ничуть не выигрывала в их обществе; стала очевидна ее полная неразборчивость; и когда он, она и ее друзья были вместе, становилось слишком ясно, где лежат истинные привязанности. К нему и к его народу у нее не было никакого инстинктивного сочувствия вовсе; она обращалась к деревенским жителям, а те были поистине омерзительны.

Со своей стороны, Гуневати вскоре увидела, что совершила ошибку, позволив реальности вторгнуться в воображения Джали. Но как она могла поступить иначе? И какую линию поведения ей следовало избрать сейчас? Ее настроение резко изменилось; нетерпимость к Джали вспыхнула в ней; вся скука, которую она до сих пор сдерживала, обрушилась на нее с удвоенной силой. Неужели ей предстоит растратить всю свою юность в этой глуши, лишенной всех поклонников, кроме толстого старика и требовательного мальчишки? Кроме того — и это действительно уязвляло ее — между мужчиной и мальчиком существовала дружба, в которой ей не было места.

Теперь для Джали стало правилом проводить утренние часы с Голкалом на веранде, и вскоре Гуневати поняла, что это дает ей новый способ нанести обиду. Ей удалось убедить Голкала, что она проявляет интерес к серьезным вещам, и таким образом выманить у него разрешение допускать ее на эти занятия всякий раз, когда ей заблагорассудится прийти. Для Джали ее присутствие было невыносимо; он справедливо видел в нем намеренное оскорбление и вызов им обоим. С первого дня, как она появилась, его душевное спокойствие исчезло. Он никогда не знал, когда она может бесшумно выскользнуть из-за угла дома и сесть с преувеличенной скромностью на нижнюю ступеньку веранды. Он делал вид, что не замечает ее появления, и, как правило, Голкал поступал так же. Его глаза оставались прикованы к лицу брамина, и тот не делал паузы в своей речи. Но о! какая насмешка! Как неловко было им обоим! В отчаянии Джали ждал запинки, осечки, перемены — какой угодно — в голосе говорящего. Очень редко, если вообще когда-либо, Голкалу удавалось успешно пройти через это испытание. Да и какой в этом толк, если победа в любом случае должна была достаться Гуневати? Ведь если Голкалу и удавалось игнорировать ее молчаливое присутствие, у нее был десяток разных уловок, чтобы

разоблачить его тайное смятение. Достаточно было того, что она поднимала грудь в вздохе или качалась в сторону в притворном испуге от жужжания осы. Любой трюк годился: Голкал прерывал сам себя и поворачивался к ней с ласковым взглядом, произнося какое-нибудь дружеское слово. Для Джали малейший инцидент такого рода имел огромное значение. Смятение в его сердце продолжало бушевать долгое время после того, как брамин возобновлял свой рассказ; и Гуневати прекрасно это знала.

В эти дни антагонизм между ними быстро углублялся, и хотя Джали так и не раскрыл своих чувств полностью, его встречи с девушкой стали реже, а отношения — все более натянутыми. Если он все еще время от времени уступал своим желаниям, а Гуневати оставалась цинично сговорчивой, эта физическая близость ничего не значила.

Некоторое время назад был момент, когда Джали серьезно подумывал довериться своему дяде. Правда, он поклялся Гуневати не выдавать ее; но он рассуждал про себя, что верность собственному народу должна стоять на первом месте. Справедливо ли будет по отношению к Хари не доложить ему о делах, в которых он непосредственно замешан? Он твердо чувствовал, что нет. К тому же идея признания теперь казалась ему менее неприятной, чем прежде, ибо его собственные личные тайны некоторым образом уравновешивались теми секретами, которые он узнал о Хари. Самым сильным побуждением, однако, служил тот факт, что отношение Хари к Гуневати было отнюдь не дружелюбным, и он был склонен думать, что его разоблачения могут привести к тому, что Гуневати отошлют прочь.

Решение, стоявшее перед ним, было судьбоносным, и он все еще взвешивал его в уме, когда сама девушка невольно склонила чашу весов. Ее беспечное, уверенное утверждение о том, что его мать и Хари стали любовниками, изгнало всякую мысль о признании из его головы. Не вполне веря всему, что она говорила, он сам видел, что те двое очень сблизились; и этого одного, когда он обдумывал это, было достаточно, чтобы изменить его мнение. До сих пор дядя занимал исключительное положение в его мыслях как взрослый человек, с которым, возможно, можно было бы установить доверительные отношения. Любовная связь Хари с принцессой Лалитой не изменила его представления о нем, ибо Принцесса (он видел ее один или два раза в Агре) была просто хорошенькой молодой женщиной, с которой у кого угодно вполне мог быть роман; но иметь роман с его матерью — это совсем другое дело; это вырывало вас и уносило в далекое царство, к которому принадлежали его родители.

Тем не менее, он отказался от своего плана не без сожаления; и после этого, по мере того как дурные черты характера Гуневати становились с каждым днем все более заметными, одиночество его положения начало давить на его разум со всевозрастающей тяжестью. Не довольствуясь тем, что она портила часы его уроков, Гуневати вернулась к своей старой привычке поносить Голкала при нем, и то, что вызывало его особое отвращение, так это ее нынешняя склонность выбирать мишенью для своих злобных стрел не слабости брамина, а его добросердечие и даже саму его привязанность к ней. В

последнее время она также взяла за обыкновение расспрашивать его о родителях, и тон ее никогда не был приятным. К ним, к Хари, к Голкалу она, очевидно, испытывала явную неприязнь, которая, как он видел, вспыхивала подобно летней молнии из мрачной скуки ее жизни в Кханжо.

Сильное желание бежать из этой отдаленной долины теперь овладело им, точно так же, как и ею. Гималайский пейзаж никогда не имел для него никаких прелестей, и его отвращение к нему быстро становилось жгучим. Он не мог выносить эти стесненные горные склоны, окутанные мрачными деревьями, скудное пространство неба, отсутствие горизонта. Жители долины тоже были полны тупой, инстинктивной зловредности низшей расы. Это было доведено до его сознания небольшим приключением, которое случилось с ним примерно в это время. Он возвращался после прогулки в одиночку по лесу, когда его ухо уловило тихий жалобный вой; и пока он стоял неподвижно, пытаясь обнаружить источник звука, его все больше убеждало в том, что женщина или ребенок попали в беду и теперь беспомощно лежат где-то под темными деревьями. Обезумевший от желания оказать помощь, он позвал и начал бегать туда-сюда. Наконец он наткнулся на яму; и, заглянув вниз, увидел внизу раненого медвежонка. Это был не тот вид медведя, который поедал урожаи крестьян или причинял им какой-либо вред; и все же, когда он смотрел на это с беспомощной жалостью, сверху упал большой камень, ударив бедное животное в бок. Более того, земля вокруг медведя была усеяна подобными камнями, ни один из которых не был достаточно тяжелым, чтобы убить его. И теперь, подняв голову, он впервые увидел одну из деревенских женщин с двумя-тремя детьми рядом с собой, которая ухмылялась ему с другой стороны ямы. С гневом в сердце он крикнул им и спросил, как долго медведь находится в своем нынешнем плачевном положении. Последовал безразличный ответ: "Около недели". При этом его гнев не знал границ, и, прогнав мучителей медведя, он направился прямиком к дому Голкала. Но его дядя Хари, которого он искал, случайно отсутствовал, когда он пришел, поэтому он очертя голову бросился в личные покои Голкала. Тот факт, что Гуневати лежала на кушетке, и что его внезапное появление привело Голкала в явное замешательство, не смогло его остановить. Описав то, что он видел, он умолял немедленно послать людей, чтобы положить конец страданиям медвежонка.

Как только Голкал осознал ситуацию, он не проявил недостатка в чувствах; но несколько мгновений бессвязная запыхавшаяся речь Джали лишь сбивала его с толку, и бессознательно он повернулся к Гуневати с видом взывающего к ней о помощи. Ответ девушки заключался в том, что она приподняла озадаченные брови и покачала головой; однако не за мгновение до этого Джали поймал ее взгляд, устремленный на него с выражением самого злорадного веселья. Такое поведение довело его до бешенства. «Что касается тебя! — закричал он на нее голосом нескрываемой ненависти: — Ты снова разыгрываешь лицемерку! Ты должна была знать об этом медведе все это время. Это твой друг, хромой мальчик, бросил камень».

За этим взрывом последовало молчание, и Джали понял, что тон, в котором он только что обратился к Гуневати, должен был показаться Голкалу решительно странным. Но прежде чем можно было сказать что-либо еще, в комнату вошел слуга, и теперь Голкал дал ему необходимые распоряжения об немедленном избавлении медвежонка от мучений. Пока это происходило, Гуневати из-за спины Голкала продолжала смотреть на Джали все теми же взглядами злого веселья; но когда слуга ушел, она подошла вперед и тоном смиренного огорчения заявила, что была совершенно невинна в знании, которое ей приписывали. Затем, почтительно склонившись перед молодым раджой с достойным смирением, она тихо вышла из комнаты.

Как только она ушла, повисло неловкое молчание. К облегчению Джали, его нарушило появление другого слуги, который принес ему выпить лимонада и таз для умывания рук и лица. Сделав это, он с отведенными в сторону глазами стал ждать, пока заговорит Голкал. Его сердце тяжело билось, и он знал, что если ему представится возможность, он не сможет устоять перед искушением выдать все. Упрямо он держал лицо отвернутым, но осознавал, что встревоженный взгляд Голкала тяжело покоится на нем. Прошло несколько решающих моментов, моментов, когда будущий ход дел мог бы полностью измениться. Но этому не суждено было случиться. Брамин заколебался, и причин для его колебаний было множество и они были сложны. Некоторые из них были более сомнительны для него, чем другие; но, конечно, не только самая сомнительная причина легла в основу его окончательного решения. Все, что он сделал, — это спросил своего ученика, правда ли, что тот последнее время проникся отвращением к Гуневати. Его голос был очень смущен, и дальше этого он не смог себя заставить пойти. Джали ответил отрывисто: «Да», а затем, после еще одной мучительной паузы, Голкал продолжил: «Очень хорошо; если так, она больше не будет присоединяться к нам по утрам».

Вскоре после этого они расстались, и туча их дискомфорта еще не рассеялась, но ни один из них не был серьезно этим обеспокоен, ибо оба знали, что их дружба осталась неповрежденной. По дороге домой Джали чувствовал некоторое воодушевление; ведь разве Гуневати не потерпела поражение?

Это поражение оказалось менее полным, чем должно было быть. Под предлогом сбора цветов для украшения комнаты Голкала Гуневати часто прогуливалась в солнечном саду, пока шла речь Голкала. То наклоняясь вниз, то потягиваясь вверх, она могла демонстрировать грацию своего молодого тела еще более провокационно, чем прежде. Ее красота распространялась подобно ядовитому аромату в тени веранды, где сидели учитель и ученик.

Таково было положение Джали, когда судьба дала колесу другой оборот, поворот, который он сразу же почувствовал как угрожающий. Совершенно неожиданно раджа Амар был вызван из Кханжо известием о близкой смерти своей престарелой матери; и, ко всеобщему удивлению, Хари решил сопровождать его. Это было серое осеннее утро, когда двое ускакали, и, когда он смотрел, как они исчезают под деревьями, новое облако тревоги

опустилось на сердце Джали. С этого часа его почти никогда не оставляло смутное предчувствие зла, ощущение надвигающейся беды. Чего именно он боялся, он не смог бы сказать; но он не мог забыть медвежонка в яме, и он знал, что точно так же жители деревни приветствовали бы любое несчастье, которое может постигнуть чужаков, переступивших порог их дома. Они откажутся от обычных проявлений милосердия; злорадствуя, они будут бездействовать. Это были люди, с которыми Гуневати стояла в инстинктивном сочувствии, а возможно, даже в каком-то тайном союзе.

Подстегиваемая страхом, его проницательность обострилась. Он начал гораздо лучше понимать природу недовольства Гуневати. Каждый из кратких дней ее юности и красоты был для нее бесценным сокровищем, и это сокровище пригоршнями выбрасывалось прочь. Старая поговорка, недавно процитированная Хари, всплыла в уме Джали: «Женщина измеряет свою красоту злом, которое она творит в мире». Где богатые и красивые любовники, а вместе с ними ссоры, интриги и убийства, которые Гуневати имела право видеть оживляющими свой путь? Долгие часы Джали сидел на своей кровати и размышлял. Было тревожно вспоминать выражение презрительной скуки, которое обычно появлялось на лице Гуневати, когда Гокал не смотрел на нее. Было ужасно вспоминать, как лицо Голкала озарялось нежностью всякий раз, когда она проходила мимо.

VIII

Среди друзей Гуневати в деревне, расположенной ниже в долине, была одна травница, чье положение среди туземцев было примечательным, ибо хотя они и смотрели на нее не лучше, чем на отверженную, она властвовала над ними силой своей личности. К ее услугам прибегали при родах, во время болезней, в сердечных делах и перед лицом смерти. Ее ум, без сомнения, был намного выше, чем у других, но это, похоже, не вызывало их ненависти; возможно, они считали, что она искупает его необычайной отвратительностью своей внешности и привычек. Ее хижина, которую ее вынудили построить на некотором расстоянии от деревни, источала зловоние, отличавшееся от их собственного, и которое находили неприятным даже они.

Джали с некоторым трудом понимал, что заставляет Гуневати общаться с этой женщиной, ибо сама она по природе не склонялась к беднякам, да и интеллект никак не был для нее особой рекомендацией. Однажды или дважды из чистого любопытства он расспрашивал ее о Муджатте-Таракане — так звали эту женщину, и, к его немалому удивлению, она выказала легкое, но несомненное смущение. Она заняла линию отрицания близости, однако он нисколько не сомневался в уме, что та существует. Он не только подслушал, как деревенские женщины насмешливо связывали ее имя с именем Муджатты, но однажды, бродя в одиночку по лесу, неожиданно вышел на поляну, которую узнал как поляну знахарки, и увидел Гуневати, стоящую у двери лачуги и глубоко погруженную в

беседу с кем-то внутри. Не желая быть замеченным, он несколько мгновений наблюдал за ней из тени деревьев, а затем тихо удалился.

Это было некоторое время назад, и доселе он не уделял Муджатте больше чем мимолетную мысль, но теперь случилось так, что, проснувшись однажды ночью от глубокого сна, он был охвачен внезапной уверенностью, что Гуневати и эта женщина вместе замышляют зло. Более того, пока он лежал там, уставившись в темноту, его страх быстро принял более определенную форму; ему показалось, что деревенские женщины использовали слово «яд»; а затем он внезапно вспомнил, что вскоре после прибытия Гуневати в Кханжо она сама со смехом сказала ему, что Муджатта — известная отравительница. Через считанные минуты он был всецело одержим ужасной идеей, что Гуневати решается отравить Голкала.

В ту ночь для него больше не было возможным спать. Час за часом он лежал неподвижно в кровати, его тело застыло и дрожало, в то время как его разум напрягался и трудился в пытке мучительных догадок. Его задачей было собрать, пересмотреть, сопоставить и истолковать каждую деталь, которая могла иметь какое-либо отношение к делу. Каждый взгляд, каждое слово и действие Гуневати за последние недели должны были быть рассмотрены и взвешены.

А затем он должен был проникнуть в ее разум; его домыслы должны были привести его к истине и к уверенности, что он нашел истину. На каком-то этапе этого изнурительного труда он встал и подошел к окну; и когда он в следующий раз осознал что находится вокруг, оказалось, что он стоит там, в пятне лунного света, а его друзья, кото-медведи, разбуженные от сна, сопят у его пяток. Машинально он вернул их в корзину и вернулся в постель. За окном забрезжил рассвет, а он все еще находился в том же состоянии; но, когда день посветлел и началось домашнее движение, его страхи утратили свою первоначальную паническую остроту. Он больше не чувствовал, что требуются немедленные действия; он мог позволить себе время на размышления — скажем, двадцать четыре часа — прежде чем сделать то, что должно быть сделано.

И что же это могло быть? Во имя Бога, что? Будь в его власти убить Гуневати одним лишь актом воли, она была бы мертва, сказал он себе в следующую же секунду; и ни единого угрызения совести или сомнения он бы не испытал. Что ж! Разве не простая трусость мешает ему предпринять необходимые шаги, чтобы осуществить желаемое? «Я должен думать!» — пробормотал он. — «Я должен думать!»

Сославшись на головную боль, он продолжал лежать в постели; и пока он боролся с ужасным решением, которое мало-помалу навязывалось ему, его зубы снова начали стучать от холода и страха. Предстоящее действие требовало нарушения его инстинктов более жестокого, чем любые из тех, что он когда-либо пытался совершить. Это было даже хуже, чем попытка завести интриги с женщинами во Дворце. Привести к смерти Гуневати — даже при экспертной помощи травницы — должно было стать агонией, пыткой. Каждый

шаг его плана, когда он представлял себя исполняющим его, наполнял его тошнотворным ужасом. Но он не видел реальных трудностей на своем пути. Муджаттой двигала исключительно любовь к наживе; всем было хорошо известно, что нет ничего, чего бы она не сделала, нет никого, кого бы она не предала ради лишней монеты. И хотя Гуневати, благодаря Голкалу, могла быть в состоянии заплатить ей за услуги щедро, он, Джали, мог без вопросов заплатить гораздо больше. Он был уверен, что как только мерзкая тварь поймет, что у него на уме, она с бесстыдной готовностью поступит в его распоряжение. К тому же, устранение брамина сопряжено с некоторой опасностью, но никто (если только это не будет Голкал) не станет поднимать большого шума из-за смерти Гуневати.

По мере того как утро шло, он впал в беспокойный сон и, проснувшись около полудня, обнаружил, что стал гораздо собраннее. Двадцать четыре часа — таков срок, который его отец отводил себе для одинокого размышления перед вынесением смертного приговора, и он решил последовать примеру отца. Вытянувшись неподвижно в зеленоватом сумраке своей затененной комнаты, он изо всех сил старался достичь желаемой отрешенной, бесстрастной твердости. Кото-медведи, весьма озадаченные необъяснимым поведением своего юного хозяина за последние двенадцать часов, мягко ступали по циновке, время от времени кладя передние лапы на кровать, чтобы заглянуть ему в лицо. Джали находил свои мысли неуправляемыми. Вместо того чтобы сосредоточиться на вопросе о воздаянии Гуневати, он погрузился в изумление перед пугающей переменой мировоззрения, которая настигла его этой ночью. Еще вчера в этот час он был, сравнительно говоря, безмятежен. И что, спрашивал он, произошло — действительно произошло — за это время, чтобы ввергнуть его в эту ходячую галлюцинацию? Ничего! Совершенно ничего! Он просто открыл глаза и увидел вещи в новом свете. В его разуме случилось нечто, сравнимое с прорывом муссона. Какое-то время назад погода в его уме была пасмурной и гнетущей, и вот грянул удар грома. И где во всем этом истина, а где иллюзия? Какой взгляд на ситуацию правильный?

Внезапное недоверие к себе и ко всем своим самым тщательным рассуждениям нахлынуло на него. Может быть он теряет душевное равновесие? Неужели он сходит с ума? Он начал представлять, что произойдет, если он попытается объяснить родителям свои нынешние страхи. Сможет ли он сказать им что-нибудь убедительное? Или они, со снисходительными увещевательными голосами и тихими недоверчивыми улыбками, примутся успокаивать его? Сама эта мысль наполнила его яростью, заставив скрежетать зубами в бешенстве и страдании. И все же, возможно, возможно, они *будут* правы? возможно, возможно, он почти безумен? Что ж, будь что будет, он скорее умрет, он скорее позволит умереть Голкалу, чем откроет им свое сердце в этот час. Это его дело. Он связался с Гуневати; он, в некотором смысле, вступил с ней в сговор. Что ж, этот ужас, охвативший его, — цена, которую он должен заплатить за свою связь с ней и ее друзьями. Более того, в одиночку он перехитрит и победит ее! Если он стоит один, то потому, что не служит ни злу, ни добру. Неизбежно, что он должен стоять один. Пеняя матери и Голкалу за их беспечность и свободу от забот, жалея себя за ужас этих часов, он опускается до уровня

Гуневати — или даже ниже, ибо Гуневати хотя бы счастлива в своем пороке. Его жизненный путь был предназначен быть одиноким — разве он забыл об этом? Это путь знания, опыта; и если уж такова природа вещей, что знание означает осквернение, он не должен жаловаться. Мир с момента его рождения делал лишь одно — осквернял его; или, точнее сказать, какой-то непостижимый закон его собственной природы обрекал его на непрерывное надругательство над собой.

На этих размышлениях он снова впал в изнеможенный сон. Когда он проснулся более спокойным, его осенила новая мысль. Здесь, в Кханжо, Гуневати не может отравить Голкала, не навлекши на себя довольно значительных подозрений. Да и нет места в мире, где было бы труднее спрятаться или откуда было бы труднее сбежать. Будь у нее хоть капля благоразумия, она бы отложила выполнение задуманного до тех пор, пока Голкал снова не окажется в дороге и не будет проезжать через какой-нибудь город, где можно без труда исчезнуть. Конечно, сам собой возник вопрос: почему, если бегство так просто, она вообще должна утруждать себя тем, чтобы травить Голкала? Она знала, что Голкал не тот человек, чтобы преследовать ее или питать мысли о мести. Почему бы не сделать самое простое предположение, состоящее в том, что у нее хватит терпения дождаться, пока Голкал покинет Кханжо, а затем воспользоваться первой хорошей возможностью присоединиться к принцу Салиму в Аллахабаде? Зачем предполагать, что идея отравления вообще приходила ей в голову?

Именно! Так он снова оказался в начале всех своих рассуждений. Он мог бы громко рассмеяться над собой, если бы не был так утомлен и так глубоко проникнут страхом. Вопросы, которые он только что задавал, были вопросами здравого смысла; но — здравому смыслу что здесь было делать? Его единственная законная функция заключалась в том, чтобы сложить власть, признать свое несоответствие месту. В этом Джали был совершенно убежден. Если он не доверял своим интуициям, то еще меньше он доверял доводам здравого смысла, которыми их можно было показать глупыми. Гуневати была созданием импульса, смешанного с хитростью. Ее расчеты, исходящие из иррациональных посылок, приведут к иррациональным выводам; доказать, что травить Голкала в Кханжо было бы и бессмысленно, и опасно — не значило доказать, что Гуневати этого не сделает.

Эта линия мысли, хоть она и не приносила утешения, все же привела его к другой идее. Почему бы ему не договориться с Муджаттой о бегстве Гуневати вместо ее смерти? Если это был всего лишь вопрос денег (а у Муджатты всё сводилось именно к этому), препятствия можно было легко преодолеть. У него самого была вполне приличная сумма в сундуке, и, если потребуется, он найдет где-нибудь еще. Почему бы ему и Муджатте не отправить Гуневати тотчас же в путешествие к принцу Салиму в Аллахабад? Гуневати достаточно часто говорила ему, что Принц безумно жаждет заполучить ее. Почему бы ему, Джали, не заплатить гонцу, который будет немедленно отправлен к Принцу, а тот, можно разумно предположить, сам займется ее похищением.

Одно возражение против этого плана впрочем пришло на ум Джали в этот момент, но он отмахнулся от него. Если верить Гуневати, Мабун Дас сильно желал держать ее и принца Салима порознь, и он даже дал девушке свою ироничную благосклонность, когда она сказала ему, что Голкал собирается увезти ее в горы. Что ж! Каким бы глубоким ни было уважение Джали к Мабун Дасу, сейчас, чувствовал он, не время вообще принимать его во внимание. Он находился в слишком отчаянном положении и верил, что нетерпение Гуневати заставит ее столь же охотно рискнуть гневом Мабун Даса. Оказавшись в гареме принца Салима, она, предположительно, будет в достаточной безопасности. Вот оно, решение! Вот луч света, вот надежда, наконец!

Дрожа всем телом от возбуждения, Джали вскочил на ноги и принялся мерить шагами комнату. Нужно было найти Муджатту и завоевать ее доверие и соучастие; нужно было заставить ее раскрыть ему, что на уме у Гуневати. Было абсолютно необходимо выяснить от Муджатты, находится ли Голкал в опасности; он не мог, он не стал бы рисковать; он не мог терпеть ситуацию, при которой жизнь Голкала фактически висела на злобных импульсах совершенно бессовестной и неразумной девушки.

Глубоко вздохнув, он остановился перед окном и минут пять хмуро и невидяще смотрел на кусты за окном. Этот чудесный план, эта ниспосланная небесами разгадка его проблемы — может ли он принять ее? Действительно ли она безопасна? Если бы он по-настоящему не заботился — то есть, если бы он не заботился так отчаянно, как делал это — как великолепно это удовлетворило бы его! Ведь это был хороший план; ничего нельзя было возразить против него, кроме того, что он предполагал задержку, а — жизнь Голкала была поставлена на карту! Он не мог рисковать; он не позволял себе успокаиваться сладкими речами такого существа, как Муджатта; что бы она ни сказала, он не смог бы почувствовать себя в полной безопасности. Как могла она поручиться за Гуневати от одного мгновения до другого? Разве он знал гораздо лучше нее природу чувств Гуневати к Голкалу? А что касается ее чувств к нему, Джали, — ну, они вряд ли улучшатся из-за его отчаянного желания поскорее избавиться от нее; и разве, предоставляя ей средство для побега, он не устраняет тем самым то, что, возможно, больше всего остального удерживает ее от применения яда?

Итогом этих тревожных размышлений стало решение без промедления навестить Муджатту и руководствоваться исходом этой встречи. Поздним днем он выскользнул из дома. Но пройдя немного по лесу, он наткнулся на хромого мальчика — постоянного спутника Муджатты, — и от него узнал, что она ушла помогать женщине при родах в соседней деревне и вернется домой только на следующий день.

В ту ночь его сон был очень глубоким, но он проснулся на рассвете, как и намеревался. Не доверяя словам хромого мальчика, он решил нанести ранний визит на поляну, чтобы самому убедиться, там ли Муджатта. Переход от покоя бессознательности к страданиям бодрствующей жизни был почти невыносим для него. Одеваясь в холоде серого рассвета, он не мог слабодушно не надеяться, что травницы не окажется на месте, ибо чувствовал

себя особенно неспособным к своему предприятию. Хотя он несколько раз встречал Муджатту, и хотя она всегда была раболепной и заискивающей своим отвратительным образом, он еще никогда не говорил с ней более дюжины слов. Она внушала ему несказанное отвращение.

Долина все еще была полна тумана, когда он торопливо крался сквозь мокрые заросли рододендронов, а затем вышел среди высоких прямых колонн лесных деревьев. Самопринуждение, мрачно размышлял он, не могло зайти дальше. Намеренно искать эту женщину, вступать с ней в доверительные отношения, заставлять себя терпеть ее физическое присутствие — может ли быть что-то более ужасное?

Добравшись до поляны, он на мгновение остановился, чтобы собраться с мыслями и оглядеться. Хижина стояла ярдах в пятидесяти через участок неровной, поросшей сорняками земли. Окруженная грязью и мусором, она выглядела неописуемо убогой и запущеной; но тонкая струйка белого дыма поднималась от крыши, и Джали почувствовал почти уверенность, что сама травница должна быть там. Стиснув зубы, он решительно шагнул вперед. Он подошел к двери, которая была закрыта; и у него было намерение окликнуть. Но он почувствовал, что голос его слишком нетверд, поэтому подобрал кусок дерева и постучал им, так как не мог вынести прикосновения к грязной двери собственной рукой. Его стук не вызвал немедленного отклика, но он услышал внутри какое-то движение, и вскоре угодливый голос крикнул: «Один миг, Великий Господин! Великий Господин, соблаговоли простить! Твоя раба спешит... спешит...»

Это был *её* голос; и поскольку она сказала «Великий Господин», она, предположил он, видела, что он подходил, хотя как, он не вполне понимал, ведь со стороны хижины не было окна.

Затем дверь открылась, и он сразу заметил, что по мере того, как ее глаза падали на него, выражение ее лица слегка изменилось. Он заметил это, но его ум в тот момент сделал не больше этого. — Выходи! — сказал он, пятясь от хижины. — Выходи! Мне нужно кое-что тебе сказать.

Муджатта-Таракан была женщиной крепкого телосложения и слегка склонной к полноте. Она обычно носила грязное черное хлопковое платье, которое спускалось от шеи до лодыжек. Ее самыми примечательными физическими чертами были, во-первых, короткость рук, а во-вторых, длина шеи. Эта невероятно длинная шея была слегка зобатой, так что ее почти бесподбородочное лицо и крошечная голова казались не более чем ее продолжением. В результате получалось строение тела, змеиность которого подчеркивалась ее привычкой извивать шею и вытягивать голову в вашу сторону; ибо она была одной из тех говорунов, которым нравится извергать свою словоохотливость с близкого расстояния.

Теперь, пока Джали пятился, она шла вперед, а когда он отступил дальше, она снова двинулась вперед. Несмотря на всю его предыдущую самоподготовку, соприкосновение с

личностью Муджатты оказалось для него чрезмерным. Мысли начали беспорядочно метаться в его голове, словно стая испуганных птиц.

— Я пришел поговорить с тобой о Гуневати, — выдавил он громким, неестественным голосом. — Ты понимаешь? Я хочу, чтобы ты рассказала мне... все о Гуневати... о ее планах. Я уверен, ты знаешь всё... и у меня здесь есть деньги...

Привычное выражение лица Муджатты было одним из самых злодейски-угодливых. Ее маленькие глазки-бусинки, казалось, предлагали алчный, но предательский прием всем мерзостям мира. В эти первые мгновения любопытство — весьма естественное любопытство, без сомнения — читалось на ее чертах, но после того как он заговорил, ему показалось, что это любопытство окрасилось наглым весельем. Казалось, она почти находила его слишком явное отвращение и ненависть к ней поводом для улыбки. Однако, когда его заикания стали немного более внятными, ее лицо, как ему почудилось, претерпело еще одно легкое изменение. У него сложилось впечатление, что она была настороже.

Эти знаки не были благоприятными. Он уже чувствовал легкое разочарование. Теперь она говорила уклончиво, и, хотя прятала свой разум за ширмой пустых слов, казалось, умудрялась читать его мысли. Верный своим намерениям, он снова повысил голос и решительно перекричал ее. У него был небольшой запас заготовленных фраз; и теперь он их выдал. Они слетали с его губ совершенно беспорядочно, это правда; но они все же должны были заставить Муджатту задуматься. Вместо этого, однако, всякий раз, когда он останавливался перевести дыхание, вновь лилась потоком её бессмысленная, неуместная лесть. Его охватило предчувствие неудачи. С каждой минутой становилось все яснее, что в его расчетах что-то упущено. Женщина действительно, похоже, не хотела слышать то, что он говорил, и хотя было невозможно, чтобы она не уловила суть его речи, ее глаза, яркие и немигающие, как у змеи, продолжали оставаться совершенно невозмутимыми. Свет жадности и соучастия, который должен был загореться давным-давно, отсутствовал.

Джали почувствовал, что больше ничего не может сделать. Каковы были его точные слова, он едва ли знал, да и впоследствии мог вспомнить лишь обрывок отдельных фраз; но он выполнил свои намерения, он закончил — и потерпел поражение! Оглядевшись, он обнаружил, что теперь стоит у края поляны. И дело было не только в отталкивающем физическом присутствии женщины, которая оттесняла его назад; скорее, это была сила превосходящей воли. По какой-то причине, непостижимой для него, она жаждала, чтобы он ушел; так что вот он теперь стоял обращенный в бегство, не оставив в голове ни единого слова. Произошедшее было необъяснимо. Муджатта, раболепная, жадная до наживы, прогнала его.

Он смотрел на нее в немом недоумении, когда откуда-то позади хижины раздался громкий свист, отчего голова женщины повернулась на длинной шее с движением, которое

вполне могло сопровождаться шипением. Затем появился хромой мальчик, спешащий к ним изо всех сил. Подбегая, он крикнул и возбужденно указал назад.

Муджатта снова повернулась к Джали; потоком слов она объяснила, что шайка жалких изгоев, само зрелище которых осквернит его, собирается нанести ей визит. Несчастные бедняжки! они страдали от заразной болезни, и она по своей милосердной натуре собиралась их вылечить. Знай она только, что юный махараджа соблаговолит почтить ее своим присутствием, она бы непременно держала их подальше. Но увы! теперь уже слишком поздно; они уже здесь! Так что молодой господин должен бежать, должен бежать!

Джали не нужно было уговаривать. Все его прочие чувства отступили перед всепоглощающим желанием уйти. Тем не менее, прежде чем скрыться в тени деревьев, он бросил один быстрый взгляд назад. Что Муджатта солгала, он ни на секунду не усомнился; и теперь ее лживость была хорошо доказана. Его взгляд назад показал ему хорошо одетую фигуру, неторопливо шагающую к хижине. Это определенно была не фигура изгоя.

IX

Не разбирая дороги, он поспешил прочь по лесной тропе. Раннее солнце теперь падало пятнами золота на красно-коричневые стволы деревьев, и уже поднимался запах теплой хвои от влажной земли. Через некоторое время он остановился и безучастно огляделся вокруг, затем бросился на землю у обочины пути. Он оделся тем утром в прекрасные одежды с полусознательным намерением произвести впечатление на Муджатту. Несомненно, его белый тюрбан с украшенным драгоценностями плюмажем был призван впечатлить ее богатством, которым он располагает. Теперь он сорвал его с головы в ярости и швырнул на землю.

Пробыв там какое-то время, он сцепил руки над лицом и попытался привести мысли в порядок. Это оказалось невозможным, и все же что-то волнующее происходило в его мозгу все это время. Из темного смятения внутри идеи вспыхивали сами собой. И они были чудесны, ослепительны; они заставляли его сердце биться чаще.

Муджатта определенно ждала этого важного посетителя; причина, по которой она была так скрытна, заключалась в том, что у нее уже был какой-то план наготове. Она относилась к нему с подозрением, потому что не знала, сколько ему известно, или одобряет ли он. А ее план — какова могла быть его цель, если не похищение Гуневати? Кем еще мог быть тот незнакомец, если не эмиссаром принца Салима? Да! вот истина дела: Муджатта и Гуневати опередили его; они уже подумали о его плане и привели его в действие.

Разве не было вполне естественным, продолжал он, — фактически почти неизбежным, чтобы Муджатта неверно истолковала его поведение? Разве она, естественно, не подумала бы, что он влюблен в Гуневати (во что, несомненно, Гуневати заставила бы ее поверить), и

разве она не вообразила бы, что он навещает ее с целью помешать побегу девушки?? Этот странный, ранний утренний визит к ней, а затем его мольбы «предать» Гуневати и обещание взятки — разве она не должна была вложить свой собственный ошибочный смысл в каждое его слово?

Джали вскочил на ноги, а затем снова бросился на землю. Никогда в жизни он не предавался своим мыслям с таким неистовым волнением, как сейчас. Какими чудесными были его мысли! Они показали ему, что всё идет хорошо. Они обещали ему конец его мучениям. Все выглядело так, будто Гуневати действительно на грани побега; и, если это так, зачем ей утруждать себя отравлением Голкала? О нет! она не станет травить его теперь. Всего лишь ради удовлетворения необоснованной обиды она не станет усложнять свои планы и подвергаться риску преследования: предположить такое было бы нелепо.

Вновь радостное возбуждение Джали подняло его на ноги, и он принялся взволнованно ходить туда-сюда. Всё казалось подтверждает его новорожденные догадки: близость Гуневати с травницей была адекватно объяснена без обращения к идее яда. Слава Богу! он не использовал слово «яд» в своем разговоре с Муджаттой. Но — уверен ли он в этом совершенно точно? Ужасное сомнение! Что именно он сказал? Он много говорил о своей способности заплатить ей щедрее, чем Гуневати. Он попросил ее вполне определенно предать секреты Гуневати. Он дал очень ясно понять, что может призвать ее предпринять какие-то действия против Гуневати, но — он ни разу не намекнул — даже отдаленно — что он... Нет, нет, если он и использовал слово «яд», то раньше — когда приглашал ее выдать тайны Гуневати. Он был почти уверен в этом. Но всё же...

Этот новый приступ тревоги был настолько сильным, что он почувствовал, как дрожит, словно лист. Его охватила лихорадка бежать обратно к Муджатте и развеять все ее возможные заблуждения. Но, помоги ему Бог! сначала он должен обрести хоть какую-то меру спокойствия. Дурак, болван, вот кем он был! Разве не более чем вероятно, что только что совершенное не принесло ничего, кроме вреда? И если он ринется назад прямо сейчас — весьма вероятно, прервав беседу между Муджаттой и незнакомцем — разве он не причинит, скорее всего, еще больший вред? Он прижал руки к пылающему лицу. Он должен как можно скорее снова увидеть Муджатту — до того, как у нее появится шанс повторить его слова Гуневати. Но не сейчас — не ранее чем он соберется с мыслями, не ранее чем ему удастся подумать, подумать.

Собрав все силы для самообладания, он снова сел у тропинки. Несомненно, оставалось ещё около сотни непредвиденных обстоятельств, к которым он был совершенно не готов. Например, Гуневати всё это время могла уже находиться в хижине Муджатты! Это могло быть причиной того, почему Муджатта была так осмотрительна и старалась оттеснить его подальше; или же, опять-таки, Гуневати могла прибыть в хижину после того, как он ушел; и что ему делать или говорить, если по прибытии туда он застанет вместе Муджатту, Гуневати и незнакомца? Как объяснит он Гуневати свой столь ранний утренний визит?

Осматривая свой прежний замысел отравить девушку, он покрылся холодным потом ужаса. Тот план, который всего несколько часов назад казался таким простым и похвальным — теперь представлялся ему чудовищным и опасным сверх всякой меры. Другие люди — люди, которые чувствует себя как дома в этом мире, — они, несомненно, могли бы задумать и осуществить подобное. Но только не он, о нет, только не он!

Он сидел на земле, прижав ладони к глазам, когда эти мысли проносились в его голове, а причиняемое ими страдание было таково, что он издал сдавленный стон. Необычайным было потрясение, которое он испытал, услышав словно бы ответ на этот стон; ибо до его слуха донёсся очень тихий, очень короткий смешок. В ужасе вскинув голову с дрожью испуга, он увидел перед собой Гуневати, стоявшую у развилки тропы не далее чем в десяти ярдах от него. Её поза наводила на мысль, что она стоит там уже минуту, а может, и дольше. Он уставился на неё безмолвно, и его взгляд встретился с её взглядом, показавшимся ему опасно холодным. В эти мгновения он был совершенно не в силах скрыть своё замешательство; он не мог перестать смотреть на неё, хотя чувствовал, что его взгляд говорит: «Как много ты можешь угадать? Как много тебе известно?»

Она стояла на развилке. Пришла ли она из хижины Муджатты или направлялась к ней? Подними он голову минутой раньше, улови он звук её шагов на тропинке, он мог бы это знать. Но он этого не сделал. Гуневати, подобно ему самому, была одета в свои лучшие одежды. На ней были вишнёвые шёлка, а на руках и груди — серебряные браслеты и драгоценные камни. Она сияла подобно идолу во мраке лесных теней. Надменной и чуждой показалась она ему в эту минуту. Совсем не похожей на ту Гуневати, газель, которая покорно пришла на его зов в агрском лесу. В этих прекрасных одеждах и с этим выражением глаз ей поистине самое место было в гареме какого-нибудь царственного принца — в гареме, где она могла бы целыми днями возлежать на подушках из золотой парчи, дыша воздухом сандала и мускуса.

— Гуневати! — наконец выдавил он из себя и со страшно деланными улыбками и интонациями воскликнул по поводу её раннего пробуждения. — Куда ты идёшь? — пролепетал он.

Девушка посмотрела на него — не пытливо, но с таким презрением, что оно показалось ему ещё более пугающим.

Он поднялся на ноги и стоял в ожидании. Но Гуневати молчала и, опустив глаза, начала обрывать лепестки синего мака, который носила на поясе. Этот мак, подумал Джали, должно быть, пришёл из сада Гокала, и выглядел он свежим. Значит, наверняка она направляется к Муджатте; но в следующее мгновение он решил, что нет. Она не стала бы разрывать цветы на части, если бы беседа с посланцем Салима ещё не закончилась. Ужасно было не знать, с какой стороны она появилась! Означает ли эта леденящая манера поведения, что она подслушала часть его разговора с Муджаттой? Его внутренне

передёрнуло. Эти догадки были подобны множеству ударов кинжалом, а он был беззащитен.

Яд! — подумал он, яд! Услышала ли она это слово с его губ? Или, возможно, его повторили ей? И что ему ответить, если она спросит его, какое у него дело в такой час? Она застигла его в самом невыгодном положении. Он даже не мог решить, каким тоном, каким образом следует к ней обратиться. Прошло несколько дней с тех пор, как они виделись в последний раз, и сейчас ему казалось, что от их прежней дружбы не осталось ни следа. Но, возможно, это лишь то, что чувствовал он сам? Несомненно, пылкость его тайных мыслей о ней сбила его с толку; не было никаких оснований полагать, что её чувства к нему должны соответствовать его чувствам к ней.

Он сказал: «Я шёл к тебе». Это не было отрицанием его визита к Муджатте; он мог намереваться прийти к ней после того посещения.

— В самом деле? — её брови поднялись. — Ты хотел меня видеть? Интересно, по какому поводу?

Он желал, чтобы она подняла голову, но она всё ещё была поглощена синим маком в своей руке.

— Некоторое время назад, — сказал он, — у меня появилась мысль, что... что ты собираешься уехать.

Она улыбнулась. — С чего бы мне хотеть уехать? Когда это пришло тебе в голову?

Он промолчал.

— Что же ты собирался сказать мне? Собирался попытаться убедить меня остаться? Он продолжал молчать. Она подняла взгляд, и её тёмные глаза, хотя и широко открытые, показались ему окнами со ставнями и решётками. — Во всяком случае, ты совершенно неправ, — продолжала она тем же ровным тоном. — Зачем мне покидать моего брахмана? Разве я не буду дурой, если сбегу от такого мужчины? От человека, который души во мне не чает и даёт мне всё, что я хочу? Что с того, что он стар, толст и глуп? Я могу брать других мужчин в любовники, когда они мне угодны. Брахман слишком глуп, чтобы хоть что-то заметить.

— Но ведь здесь тебе скучно, ты увядаешь. Здесь никого нет, — пролепетал Джали.

Гуневати тихонько рассмеялась. — Это всё, что ты знаешь? Разве я не рассказывала тебе о молодом угольщике внизу долины, который прекрасен как Кришна, когда тот явился среди пастушек-коровниц. Скажи я ему: «Убей брахмана!» — он убьёт его. Ради моего прекрасного угольщика я согласна оставаться здесь.

Её злой умысел был очевиден; но это вовсе не означало, что всё сказанное ею было неправдой. Джали беспомощно посмотрел на неё, и вдруг им овладело непреодолимое

стремление добиться от неё откровенности. — Я скажу тебе правду, — воскликнул он. — Я только что был у Муджатты.

— Иногда приятно говорить правду, — невозмутимо заметила Гуневати.

Но Джали решил не сдаваться. Разве не очевидно, что она накануне бегства? Её платье, надетое для знатного незнакомца, разве оно само по себе почти не служит доказательством?

— Зачем нам лгать друг другу? — продолжил он с нарастающим жаром. — Я ходил к Муджатте спросить, правда ли, что она помогает тебе присоединиться к принцу Салиму?

— Тогда скажи мне, — сказала Гуневати с двусмысленной улыбкой, — почему ты так переживаешь, чтобы я ушла?

У Джали не было готового ответа. Было в Гуневати нечто ужасно коварное, нечто ужасно упрямое, а также нечто ужасно недалёкое. Эта её улыбка заставляла его сердце болеть.

— Уж не жаждешь ли ты остаться один с твоим брахманом? — спросила Гуневати вкрадчиво. — Тебе бы этого хотелось? Пожалуйста, скажи мне.

Она поддразнивала его. Но зачем? И за этой улыбкой скрывалось ли нечто большее, чем просто праздная шалость? Он отчаянно сожалел, что выставил напоказ свою любовь к Гокалу перед её глазами; теперь он отчаянно искал какую-нибудь лесть, которой можно было бы умилостивить её, какой-нибудь песок, чтобы бросить ей в глаза.

— Видишь! — сказала Гуневати, — ты не знаешь, что мне ответить! И ты не объяснил, почему пошёл к Муджатте вместо того, чтобы прийти ко мне. Муджатта — моя подруга, а не твоя.

— Хорошенькая подружка, клянусь Шивой! — воскликнул Джали в порыве горечи.

Гуневати на мгновение замолчала; и к его изумлению он увидел, что разгневал её.

— Да. Она моя подруга. Я не родилась рани.

— Я хотел сказать, что она недостойна быть твоей подругой. У тебя есть друзья получше, Гуневати.

— Толстый брахман, я полагаю?

— Да.

— И *ты*?

— Да... я.

Произнёс ли он это последнее слово запинаясь? Как бы то ни было, наступило минутное молчание, а затем Гуневати тихонько рассмеялась. Она засмеялась! Она смотрела на него

странно. Снова, хотя ему казалось, что глаза должны выдавать его, он был не в силах оторвать их от её лица. О многом ли она догадывается? Подозревает ли она и всё же смеётся? Это было ужасно. Вглядываясь в её лицо, он думал о том, каким оно выглядело бы холодным и застывшим в смерти. А ведь он строил планы, как опустить это лицо и это прекрасное юное тело в могилу. Он испытывал не раскаяние, а ужас. Мир был для него слишком суровым и безжалостным местом; его страсти и вызовы слишком суровы; он не был создан для того, чтобы выносить самому или даже видеть, как другие выносят страшное испытание жизнью. На мгновение он подумал о своей матери и восхитился силой её духа. Что позволяло ей идти по миру с улыбкой — слепота, бесчувственность или мужество? Но она не была вероломной, у неё было цельное сердце, тогда как в его сердце и на губах даже сейчас были предательство и коварство.

— Гуневати, — пробормотал он, — почему ты такая? — Его губы дрожали. — Неужели ты не видишь, что я предпочёл бы быть твоим другом!

Она снова рассмеялась, и внутренне он содрогнулся. В Гуневати было нечто неумолимое; эта мягкая и прекрасная тварь обладала всей неумолимой твёрдостью мира. Но иногда в неумолимости бывает справедливость. И теперь справедливость была в Гуневати. Только вот — она также была жестока; и у неё было глупое упорство ребёнка.

— Зачем тебе нужен друг во мне? — спросила она. — Разве тебе недостаточно иметь своим другом брахмана?

Он чувствовал, что она берёт над ним верх. Он так и не выяснил, шла ли она к травнице или от неё; он ничего не обнаружил. Но она, со своей стороны, казалось, играла с ним, и он совершенно терял самообладание.

Великим усилием он овладел своим голосом. — Ты часто говорила мне, что жаждешь сбежать из Кханжо. Я уверен, что у тебя есть план присоединиться к принцу Салиму. И Муджатта помогла тебе всё устроить. Гуневати! Почему ты не скажешь мне правду?

Гуневати поджала губы, словно собираясь дать резкий ответ. Но в следующее мгновение она набросила платок на голову; к его ужасу он увидел, что она собирается уйти.

— Постой! Гуневати, пожалуйста, постой!

— Постоять? Для чего?

— Мне кажется... мне кажется, сегодня ночью... ты уходишь?

— Сегодня ночью?! — Она слегка улыбнулась. — Похоже, ты очень торопишься заполучить брахмана в своё полное распоряжение.

— Я... — и он остановился, голос изменил ему.

— Как бедной девушке вроде меня приходить и уходить когда вздумается? Есть ли у меня деньги, чтобы делать всё, что я хочу? — И она пожала плечами.

— Гуневати!

Но, не обращая внимания, она вновь сделала движение, чтобы пойти своей дорогой; и её дорога — кровь застыла в жилах Джали при виде этого — её дорога вела обратно к дому Гокала.

— Постой, Гуневати! — крикнул он сдавленным голосом. — О Боже! Почему ты оставляешь меня вот так? Гуневати! почему ты превратилась во врага?

Наконец-то он совершенно забыл о своих прежних замыслах против неё. Он не осознавал ничего, кроме своей мольбы и её твёрдости. Он бросился к ней и схватил за руку. — Послушай, Гуневати, — воскликнул он. — Вот деньги! Возьми их! Возьми всё, что нужно! Он вытащил свой кошелёк и сунул его ей в руки. — Возьми немного денег на дорогу. Они тебе понадобятся, а у меня здесь много. Неужели ты не видишь теперь, что я хочу только помочь тебе? Почему ты молчишь? Почему не скажешь, что понимаешь?

От прикосновения его руки к своему плечу Гуневати остановилась, но в том взгляде, который она обратила на него, было мало утешения. Она казалась не удивлённой и не озлобленной, а просто невозмутимой. С другой стороны, внезапное появление кошелька действительно заметно удивило её. Она посмотрела ему в лицо, а затем снова на кошелёк — кошелёк, который он достал так неожиданно. Теперь он болтался перед ней — почти как взятка. Кошелёк, казалось, пробудил в ней цепь мыслей. Но она не сделала движения, чтобы принять его; и через несколько мгновений с её лицом произошла перемена, её брови слегка приподнялись, и очень тихо она высвободилась. Очень тихо она отошла от него, но на этот раз — в направлении хижины Муджатты.

X

До тех пор, пока она не исчезла окончательно, Джали стоял на месте и смотрел. Затем он швырнул кошелек на землю и, прислонив голову к дереву, разразился мучительными рыданиями. Он конченый человек. Он больше ничего не мог сделать. Хотя в нем сохранялась вера в то, что Гуневати все-таки уезжает, эта мысль никак не могла завладеть его разумом или принести ему должного утешения. Его полностью подчинило себе чувство усталости, унижения и поражения; дух его лежал во прахе.

Прошел час; а затем он осознал, что должен спешить домой. Все это время его мозг был пуст; теперь же ему нужно было приняться за дело — вновь превратиться в мальчика, которым ему полагалось быть. Ему нужно было снова подхватить нити своей домашней жизни, того далекого, ничтожного, счастливого существования, которое должно было быть для него единственным. Но когда он слепо брел вперед, его охватил новый приступ

полнейшего смятения. Он внезапно осознал птичье пение, солнечный свет и благоуханный воздух. Вокруг него простирался мир реальности, в котором он жил и который при этом игнорировал. Какая пропасть между ним и миром его тайных тревог! Это тот самый мир, в котором живет его мать, и разве этот мир солнечного света и безмятежности не более реален, чем его собственный мир тьмы и страха? Этот вопрос с такой силой овладел им, что он остановился на несколько минут в хмурой сосредоточенности мысли. Неужели он, возможно, сходит с ума, как те нищие, которых видишь бродящими вдоль дороги, бормочущими себе под нос со взглядом, устремленным куда-то вдаль? Пусть попробует взглянуть на себя со стороны и здраво изучить свое положение. Дело обстояло так: с самого прибытия Гуневати в Кханжо он погружался во все большее душевное смятение; его угнетало нарастающее ощущение запутанности, грозной ответственности и беспомощности, чувство вины и скрытой опасности. И это продолжалось до тех пор, пока в конце концов он не достиг той преисподней, где сейчас находился. Но что произошло на самом деле во внешнем мире, чтобы объяснить эту внутреннюю перемену? Ничего или почти ничего! Разве это не показывает, что он теряет связь с реальностью? Разве это не доказывает, что он находится в тисках кошмара? И разве он не может проснуться от этого кошмара и снова обрести счастье?

Эти размышления, хотя они и не привели его ни к какому выводу, немного укрепили его для роли, которую ему предстояло сыграть, и после возвращения домой и часа, проведенного с матерью, он продолжил спорить с собой в том же духе. На что он может указать в реальном зримом мире, чтобы доказать, что жизнь Гокала была или когда-либо находилась в опасности? Почему! если предположить ради одного лишь спора, что все его догадки хорошо обоснованы, разве эти самые догадки сами по себе не приводят теперь к радостному выводу о том, что Гуневати накануне бегства? И разве это не спасает Гокала от любой возможной опасности?

Днем он сопровождал свою мать в дом Гокала. Было странно, что, хотя Гокал был центром его волнений, сам этот человек едва ли занимал его мысли. А теперь, шагая рядом с матерью, он поистине страшился снова увидеть его лицом к лицу. И этот страх был небезоснователен. Как только они все вместе уселись на веранде, а солнце светило сквозь свисающие цветы ипомеи, и беседа текла мирно — ах, тогда! его охватила ужасная мука; умиротворяющая безопасность, подсказанная внешним видом вещей, была слишком пронзительной, чтобы ее вынести. Но ему удалось, не выдав себя, встать и уйти прочь.

Завернув за угол дома, он остановился, и вскоре самообладание вернулось к нему. Еще до выхода из дома он решил, что предоставит себе возможность проследить за Гуневати или даже тайком пробраться в ее комнату. Вскоре он нырнул в путаницу кустарников и беззвучно пополз под ними, пока не добрался до задней части флигеля, где поселилась Гуневати. Ее окно располагалось не так высоко, чтобы нельзя было заглянуть внутрь; и тут же его взгляд упал на саму девушку, которая склонилась над какими-то маленькими клочками бумаги, которые он узнал как заклинания, написанные им для нее в дни,

казавшиеся теперь очень далекими. Она была настолько поглощена своим занятием, что он смог достаточно выпрямиться, чтобы заглянуть дальше в комнату; и то, что он там увидел, заставило его сердце подпрыгнуть от радости. Возле двери на полу лежали два-три узла, а сама комната была очищена от своего обычного беспорядка. Несомненно, Гуневати готовилась к побегу.

Задыхаясь, чувствуя, как колотится сердце о ребра, он осторожно отошел назад, и через несколько минут он уже снова был на веранде. Здесь, сидя на ступеньке у ног матери, он мечтательно слушал беседу, идущую над его головой; он также слушал жужжание пчел и вздох ветра в соснах; и его дух захлестнуло восторженное облегчение, благодарность глубже, чем та, какую он знал прежде. Наконец он почувствовал, что убежден: все в порядке; ему больше не нужно ломать голову, он может отбросить свои тревоги. Через несколько часов Гуневати уйдет, а вот он, Гокал, безмятежный и здоровый! Ужасный кошмар закончился.

Это было уже слишком! Его снова захлестнула истерическая эмоция; ему нужно было встать и уйти. На этот раз он в дикой спешке бросился вниз по склону к своему дому, но не дойдя до него, нырнул в заросли, опустился на землю и дал волю слезам.

Прошел час, час восхитительного расслабления; однако, каким бы пустым ни был его разум, ближе к концу этого времени он осознал, что в его безмятежности есть крошечный изъян. Было нечто такое, что давило на его внимание. Это походило на маленькую колючку, которая, когда его ум совершал определенные движения, причиняла едва ощутимый укол.

Он встал и пошел домой размеренным шагом. Войдя прямо в свою комнату, он застыл, глядя в окно; внезапно он заметил, что краткие минуты его счастья уже подошли к концу. Тайно, так сказать, и без его разрешения, его мозг вновь пришел в движение; теперь он беспокойно работал вокруг фигуры Гуневати. Вскоре, шагая взад-вперед по комнате, он погрузился в смутную, но сильную тревогу. И вдруг перед его глазами возникло видение — видение Гуневати и прощального взгляда, которым она окинула его, пока он стоял там, несчастный бедняга! предлагая ей кошелек. Она посмотрела на него странно. Затем она вернулась к Муджатте. Он ходил из угла в угол. Под нахмуренными бровями его глаза были неподвижны и пристальны. Гуневати странно посмотрела на кошелек, и — вместо того чтобы пойти домой — она вернулась к Муджатте. Боже! почему же его мозг не оставит его в покое! Почему он должен вечно терзать его? Теперь он ясно видел правду! Он видел ее с убийственной ясностью. Все, что он сделал, было ошибкой. И его последней и самой роковой ошибкой стало подношение этого кошелька. Гуневати догадалась, что деньги предназначались для Муджатты; она вернулась к Муджатте, чтобы расспросить ее об этом; и вдвоем между ними — да поможет ему небо! — каких только выводов они не могли сделать?

До этой его последней ошибки Гуневати могла быть удовлетворена бегством, не беря реванша; но после нее одного лишь побега ей будет наверняка недостаточно. Как

настойчиво она возвращалась к его любви к Гокалу! Разве она не чувствовала инстинктивно, что эта любовь была мерой его отвращения к ней? Позволит ли она пройти безнаказанно его ненависти к ней, его предательству по отношению к ней? Будет ли она довольна тем, что уйдет сама, оставив его наслаждаться нетронутым счастьем с Гокалом?

Джали пошатываясь добрался до кровати и позволил себе рухнуть на нее. Возможно, он преувеличивает; возможно, его рассудок помутился. Гуневати злопамятна, но при этом ленива. Даже в своем озлоблении она вряд ли способна на последовательность. Только что, наблюдая за ней через окно, он видел, как она сосредоточенно изучала свои нелепые заклинания, словно ничто другое в мире не имело значения; она, вероятно, пыталась совершить какое-то гадание об успехе своего путешествия. Разве не вполне возможно, что расставшись с ним утром, она едва ли потрудилась подумать о нем во второй раз?

И все же опять-таки, откуда ему знать? Как он может надеяться прочесть мысли столь чуждого создания? О, тайна человеческих умов! Эти скрытые механизмы, работающие со всех сторон! Эти скрытые центры энергии, производящие любовь и ненависть. Может ли кто-нибудь заглянуть в глубины любого человеческого ума? Нет, даже самый простой и дружелюбный имеет ядро холодности, тьмы и безразличия, если не прямой враждебности. Что касается его, Джали, то он ничуть не лучше других.

О чем думала Гуневати, сидя в своей комнате, собирая свои духи и косметику, поглощенная своими глупыми заклинания, занятая сотней мелких деталей своей частной жизни? Есть ли какой-нибудь способ оценить вероятность того, что у нее есть маленькая коробочка с пудрой, маленький флакончик, который однажды — возможно, несколько недель назад — вложила ей в руку гнусная Муджатта? Размышляет ли она сейчас над этой маленькой коробочкой, наполовину спрятанной в ладони? Перебирает ли она ее пальцами и говорит себе: «Сделать ли мне это? Не послужит ли это им обоим хорошим уроком?»

День тянулся; и Джали продолжал, вынужденный необходимостью, играть свою двойную роль. В присутствии матери его манеры были обычными, но независимо от того, был ли он с ней или один, его тайные мучения продолжались. По мере приближения вечера перед ним маячила угроза критического часа, часа вечерней трапезы Гокала, часа последнего шанса Гуневати. Что он мог сделать? Можно ли избежать этой последней опасности?

Когда свет на западе начал становиться золотистым, он снова выскользнул из дома. Тихо и быстро его ноги семенили по тропинке, которая уже темнела под сводом деревьев. Подумать только, всего двенадцать часов назад он совершил свою первую вылазку к хижине Муджатты! Двенадцать часов! А ведь могло пройти и двенадцать лет. Время утратило для него всякий смысл. Он жил в настоящем, ставшем безвременным из-за невыносимой напряженности. Замерев на мгновение, он положил руку на ствол дерева и обратил лицо к небу. «О Брахм!» — взмолился он: «Пусть впереди меня ждет долгий покой до моего следующего рождения».

Наконец он прибыл на поляну. Безоблачное вечернее небо смотрело на нее сверху, а деревья вокруг стояли неподвижными стенами мрака. Хижина Муджатты сквозь сумерки казалась маленькой, одинокой и таинственной. Земля посередине, с разбросанным мусором, заставила его думать о покинутом поле боя. Белые струйки дыма поднимались вверх из отверстия в крыше.

Вскоре в открытом дверном проеме появилась фигура, в которой он узнал Муджатту. Еще мгновение он оставался неподвижным под деревьями. Эта одинокая фигура завораживала его. Какие мысли движутся внутри этого черепа? Каков смысл этой жизни — для нее самой? или для мира, частью которого она является? Он глубоко вздохнул и шагнул вперед к хижине; на этот раз он не потерпит неудачи; нужно заставить Муджатту почувствовать, что он в отчаянии; угрозами, уговорами или взятками он доберется до правды о том, что ей известно.

Как только он сдвинулся с места, женщина заметила его: он понял это по резкому повороту ее головы. И увидев его, она замерла, ожидая. Он заставил себя подойти достаточно близко, чтобы хорошо рассмотреть ее лицо, на котором играла привычная улыбка — ухмылка, выражающая ничего, кроме пустого, хитрого рвения.

— Видишь, я пришел снова, — выговорил он; и она кивнула и цокнула языком в ответ. Этот второй его визит, казалось, ничуть не удивил ее, и она без промедления принялась извергать поток бессмысленных лести.

Он был готов оборвать ее. Копируя голос и манеры распорядителя при дворе своего отца, он прокричал ей в лицо:

— Молчи, женщина!

Муджатта остановилась; если и не запуганная, то во всяком случае несколько озадаченная.

Тогда Джали заговорил. — Я все знаю! — сказал он. — Я разговаривал с Гуневати, и она рассказала мне все.

Муджатта молчала. Несколько мгновений они всматривались друг в друга сквозь сумерки.

— Слушай! — сказал Джали, и продолжил натиск. Больше не было причин скрывать от него что-либо. Он видел Гуневати, он наблюдал, как она делает свои приготовления; он благоволил ее бегству. Причина, по которой он пришел сюда сейчас, заключалась в том, что он опасался, как бы она не замыслила какую-нибудь пакость перед уходом.

Высказав это, он сделал паузу; и вновь Муджатта затараторила свой бессвязный вздор. И вновь он перекричал ее. Пусть не смеет ничего утаивать! Пусть говорит начистоту и выложит всю правду! Искренность будет щедро вознаграждена, но если она утаит хоть что-то...

Он остановился, задыхаясь, и теперь, еще пристальнее вглядываясь в лицо женщины, подозревал, что терпит неудачу снова.

— Аже, але, айе! — закричала она со множеством поклонов и гримас. Что говорит маленький господин? Чего хочет от нее юный махараджа? Айте, айе! Его слова сыпались так быстро и яростно, что совершенно сбили ее с толку. При чем здесь она, бедная старая Муджатта — Тараканша, как все ее называли, — при чем здесь она и Гуневати? Гуневати находится под защитой святого брахмана. Она стала знатной дамой. Не стоит ожидать, что она станет доверять бедной старой Муджатте.

Дрожа от ярости, Джали прервал ее, он видел ее утреннюю гостью и прекрасно знал, какое дело привело ту посетительницу. Клянусь Шивой, если только она не желает умереть смертью собаки...

— Айе, айе, айе! — пронзительный лицемерный плач поднялся над его голосом, который, несмотря на всю свою напыщенность, был хриплым и слабым. Айе, айе! Господь Кришна, помилуй ее! Разве Бейл гневается на свою рабыню?

Джали почти лишился дара речи. Что за преграда стояла между ее разумом и его собственным? Казалось, в ее уме таилось нечто такое, что выхолащивало смысл всего, что он мог бы сказать; она казалась одновременно хитрой и глупой таким образом, какого ему было не постичь.

— Слушай, женщина! — воскликнул он. — Я говорил тебе, что у меня есть деньги, и я не шутил. Посмотри на этот кошелек! Деньги твои, если... — и он ткнул кошельком ей в лицо.

Выражение лица Муджатты изменилось; впервые она выглядела жадной, и в сердце юноши зародился новый луч надежды.

— Деньги, — повторил он. — Золото!

— Айе, айе, маленький господин! — Вынырнула сальная ладонь. Пусть щедрый махараджа даст ей одну-две монеты в знак доброй веры, и она выложит перед ним свое сердце, все свое сердце.

— Ты когда-нибудь продавала яд Гуневати?

— Яд! Клянусь Шивой, никогда!

— Слушай! Отсюда я пойду к дому святого брахмана, и если только тебе не удастся убедить меня...

— Милостивый господин! Милостивый господин, клянусь...

— Говорила ли Гуневати тебе когда-нибудь об яде?

— Никогда, благостный господин! Никогда, никогда! И, поспешно пряча монеты, которые вытрясла из него, она протянула ладонь за новыми. — Еще всего одну, — захныкала она, — всего одну.

— Говори, дьяволица! — выдохнул Джали.

Она придвинула лицо вплотную к его лицу и начала шептать. Еще несколько монет, и она расскажет ему все. Ведь она знает всё, всё. Ей доверяют все. У Гуневати нет от нее секретов — о, нет! Поэтому тогда же, в самую первую неделю после ее прибытия, Гуневати пришла в ее хижину и сказала...

Руки Джали дрожали; дрожало все его тело; неуклюже он вытряс еще монеты; на дне кошелька почти ничего не осталось.

Наступила пауза; Муджатта прятала свои деньги; было очевидно, что весь ее интерес сосредоточен именно там. А затем ее рука снова потянулась вперед.

Пауза затягивалась: оба молчали; наконец внезапное осознание тщетности своих действий поразило Джали словно удар по лицу.

— Если ты не заговоришь, — сказал он тихим голосом, — я убью тебя. Ты понимаешь?

Лицо женщины сияло торжествующим удовлетворением. — Айе, айе, — вновь раздался скулеж тонко замаскированной фальши. Воистину, юный махараджа был для нее как бог! Недостойная рабыня, чего бы она ни сделала, чтобы показать свою благодарность! Но когда он попросил рассказать ему о Гуневати, что она могла сказать? Гуневати приходила к ней, прежде всего, чтобы излечиться от бородавки на ноге. Святой брахман сказал ей: «Иди к старухе и излечись от своей бородавки». И вот.

— Яд! Ты продала ей яд! — прошептал Джали безумно.

Женщина всплеснула руками. — Юный махараджа! Откуда у меня мог взяться яд? — и она украдкой бросила взгляд через плечо на дверь своей хижины.

Джали лишился дара речи.

— Благостный господин! Благостный господин! — И продолжая кланяться, кивать и бормотать в своей обычной манере, Муджатта со сверхъестественной скоростью попятилась к черному дверному проему позади себя.

Из горла Джали вырвался крик. — Мерзкая карга! — воскликнул он. — Стой! Я приказываю тебе: стой!

Но она не остановилась. Бросив испуганный, но при этом злорадно-торжествующий взгляд через плечо, она повернулась для последнего рывка в свое логово.

Еще один вопль ярости и проклятий вырвался из горла Джали, и, схватив с земли кол, он ринулся и изо всех сил ударил женщину по голове. Дерево наполовину сгнило и сломалось от удара, но Муджатта рухнула кучей. Минуту, пока она слабо стонала лежа там, он смотрел на нее сверху вниз и даже занес руку для нового удара. Затем он отбросил палку и отошел на несколько шагов.

Теперь женщина молчала. Вся поляна была безмолвна, и весь лес вокруг тоже. Он огляделся. Небо над головой было темно-синим и посыпано звездами; высокие прямые деревья стояли неподвижно; тонкий белый дымок все еще поднимался от крыши хижины.

Внезапно он собрался с силами и побежал. Он быстро бежал сквозь сумрак леса в направлении дома Гокала. Все мысли о Муджатте вылетели из его головы. Час вечерней трапезы Гокала был уже недалек — а он должен быть там.

Промежуток между его уходом с поляны и прибытием во двор Гокала едва ли казался частью его бодрствующей жизни. Он смутно помнил, как ушибался о стволы деревьев, и однажды, зацепившись ногой за корень, упал плашмя на землю. Когда он достиг двери двора, его дыхание вырывалось всхлипами, а пот градом катился по лицу. Он осторожно заглянул внутрь. Огонь освещал морщинистое лицо старого повара, который сидел на корточках перед своими сковородками. Кто-то двигался в темноте в глубине двора. Дым от другого костра, горевшего где-то снаружи, показывал, что слуги Гокала тоже готовят себе еду. Признаков Гуневати не было; и дверь ее дома была заперта.

Джали подождал немного, чтобы вытереть лицо и восстановить дыхание. Его стремительный бег по лесу пошел ему на пользу; и повседневное спокойствие сцены, теперь открывшейся его глазам, дополнительно укрепило его дух. Он продолжал стоять там и наблюдать. Как добросовестно старый повар принялся за дело. «Что я могу ему сказать?» — спросил он себя. «Он сочтет меня совершенно сумасшедшим». Желтый свет огня, смешивающийся с закатным заревом и светом восходящей луны, запах древесного дыма, приглушенные голоса из сумерек, — это были вещи, которые он помнил с самого раннего детства; они были знакомыми, дружелюбными и безопасными.

Медленно он двинулся к огню, стараясь не напугать старика и не наступить на очищенную землю. Лицо, поднятое к нему, было серьезным; и ответ на его приветствия был кратким, хотя и вежливым. Он стоял рядом и ждал; при условии, что его не будут отвлекать, повар будет готов поговорить. И действительно, вскоре старик пустился в одно из своих нравоучительных рассуждений. Суть его сводилась к тому, что долина Кханжо и ее обитатели прокляты; эти люди — воры и лжецы, и переносчики паразитов — не безвредных, как те, что дома, а отравителей, разжигающих вашу кровь болезнью. Благословенным будет тот день, когда на его хозяина снизойдет мудрость покинуть эту гнусную страну тьмы, дождей, чумы и низкопробных некромантов.

Все это Джали слышал уже не раз; и со всем этим он искренне соглашался. Теперь, однако, у него было собственное слово; и как только наступила пауза, он официально

прочистил горло. — То, что вы говорите, о Мадхурандан, правда. Но послушайте! ибо мне есть что к этому добавить.

Повар поднял свое терпеливое, морщинистое лицо; после чего, заглянув глубоко в его глаза, Джали сказал:

— Хотя эта долина и вправду содержит в себе достаточно зла, ваш господин — да упокоится он в Брахме! — привнес зло в неё.

Эта речь была настолько неожиданной, что прошло несколько секунд, прежде чем повар ответил.

— Благословен тот миг, когда открывается око мудрости, — пробормотал он; а затем, склонив голову, продолжил: — Сын раджи Амара заговорил из глубины сердца предков.

Джали был глубоко взволнован. Еще минуту он оставался там в молчании, затем скользнул в тень и покинул двор. Старик определенно оказался проницательнее, чем он о нем думал. Медлительным он всегда казался, и болтливым, и переполненным легкими эмоциями; но в нем было больше, чем казалось на первый взгляд.

С новым чувством уверенности, с новообретенным спокойствием Джали направился обратно к своему дому. Но по факту его истощение было столь велико, что он вряд ли был бы способен на какие-либо дальнейшие эмоции при каких бы то ни было обстоятельствах. Чуть позже, ложась в постель, он говорил себе, что все хорошо; но знал, что ему пришлось бы говорить это себе в любом случае; ибо, по правде говоря, он больше ничего не мог сделать — у него совсем не осталось сил.

XI

Когда он проснулся, пробуждение было внезапным и полным; ум его был совершенно ясен, по крайней мере, так ему казалось; а если он чувствовал некоторое замешательство — то лишь потому, что не мог разобрать, который теперь час. Однако через несколько секунд он понял, что свет в его комнате вовсе не дневной, а очень яркий лунный; и в следующий миг он услышал возбужденные голоса мужчин и осознал, что это они его разбудили. Воспоминания нахлынули на него единым сокрушительным потоком; и почти в тот же миг он догадался о положении дел: Гокала все-таки отравили: Гокал умирает или уже мертв.

Он лежал совсем тихо в своей постели и слушал. «Этот голос с рыданием — голос повара Гокала. Слабо и многословно звучал сейчас старик, а мать сурово допрашивала и отчитывала его. Вмешались другие взволнованные объясняющие голоса; группа слуг Гокала переговаривалась с матерью через окно ее комнаты. А слуги в доме суетливо метались в смятении. Он слышал, как кого-то отправили за травницей, чье лекарское

искусство считалось великим. „Интересно, не я ли убил ее“, — подумал Джали. Тот факт, что за ней послали, показывал, что Гокал еще не вполне мертв.

Он лежал в кровати, очень спокойный, решив притворяться спящим. Его муки кончились; он отметил это сам, без удивления. В глубине сознания одна и та же мысль повторялась снова и снова: «Это конец. Я попытаюсь найти Гуневати и убить ее. Но в любом случае, это конец».

Пока что ему оставалось только лежать неподвижно и держать глаза закрытыми. Он был уверен, что мать собирается идти к дому Гокала; и он надеялся, что заглянув к нему, она отдаст слугам распоряжение его не беспокоить. Все произошло именно так, как он ожидал. Вскоре мать и остальные удалились, и дом снова затих. Еще какое-то время он лежал тихо, прислушиваясь к приглушенным, но возбужденным голосам группы, которая двигалась вниз по тропинке, пересекавшей долину. Затем он встал и оделся. Поднеся кинжал к окну, он внимательно осмотрел его при лунном свете и ощупал лезвие. Надежды найти Гуневати было мало, полагал он; скорее всего, она уже далеко продвинулась к выходу из долины; но все равно он не собирался упускать ни единого шанса.

В этих намерениях, безусловно, присутствовал элемент игры воображения; если его мысли были сосредоточены на Гуневати в ущерб мыслям о Гокале, то лишь потому, что он искал способ сделать месть убежищем от горя; в мести, подлинной или мнимой, он мог забыть себя. Месть, таким образом, была его вдохновением и опорой, пока он крался из дома, сжимая в руке кинжал, отправляясь на поиски, которые любил считать смертоносными. Бесшумно он помчался по той самой тропе, которую несколькими минутами ранее выбрали его мать и остальные. Полная, яркая луна придавала всему нереальный вид. Она создала новый род дня, неземной день, день, в котором могли происходить неземные вещи. Это был такой день, в каком ему предстояло жить впредь; для него больше не должно быть никакого отчета перед скучной реальностью. Он стал новым, безумным Джали; он поднялся над усталостью и страхом, надо всеми обыденными чувствами простого человека. Подняв лицо к огромному диску луны, он ослепил себя ее светом и пил все глубже и глубже хладнокровное равнодушие, которое она в нем внушала.

Вскоре огни компании его матери появились на тропе впереди. Он шел гораздо быстрее их, и присоединиться к ним было бы легко. Но вместо этого он держался в нескольких ярдах позади, ныряя в тени и выходя из них. Ему нравилось следовать так, незамеченным, подобно подкрадывающемуся зверю, и он представлял себе, как набросится на последнего в цепочке, вонзит ему нож в спину и исчезнет в кустах.

Немного позже, когда показался дом, он сошел с тропы, чтобы пробраться сквозь заросли рододендронов к задней стене хижины Гуневати. Он снова заглянул в окно и на этот раз, увидев, что комната пуста, перемахнул через подоконник внутрь. Луна, полная, круглая и красная, заливала комнату своим светом. Он стоял у окна, озираясь, его тень

черным мазком лежала на полу. Гуневати ушла; ее узлы ушли; от нее ничего не осталось, кроме слабого аромата в воздухе.

Через минуту он подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул во двор. Группа слуг Гокала собралась снаружи дома, напряженно переговариваясь вполголоса. Он напряг слух, чтобы расслышать, о чем они говорят; и вскоре один из мужчин повысил голос от волнения, рассказывая, как видел Гуневати уходящей в лес вскоре после наступления темноты. «Ну! — презрительно сказал другой, — в этом не было ничего необычного»; и эти слова вызвали короткий, многозначительный смешок.

Джали снова закрыл дверь, и внезапно его захлестнула волна гнева. Какие же люди дураки! Все эти разговоры и волнения после случившегося! Люди никогда ничего не предвидели, никогда ничего не остерегались, а потом поднимали руки и голосили в идиотском смятении, когда обрушивалась беда. Это происходило потому, что они ни о чем не переживают. Ему казалось — он единственный человек на свете, который по настоящему переживает о чем-то. Дрожа от ярости и отчаяния, он поклялся самому себе, что больше не будет ничему придавать значения. Он превзойдет других в их поверхностности, безответственности, грубом равнодушии.

Оглядывая комнату, он поддался мысли устроить обыск. Вытаскивая ящики сундуков и шкафов, он осмотрел все, что оставила после себя Гуневати, и в беспорядке швырнул все ее пожитки на пол. Едва ли он мог бы объяснить свою цель; но им двигала злобная любознательность; и, возможно, он лелеял надежду наткнуться на нечто такое, что поможет ему свершить над ней возмездие. Забыв о том, что девушка не умеет ни читать, ни писать, он особенно искал письма или клочки бумаги. Однако, наткнувшись на заклинания, которые переписывал сам, он отбросил их без единой мысли.

Закончив, он сделал паузу. Он стоял посреди неприбранной комнаты и с лицом, выражающим отчаяние, озирался вокруг. Что дальше? Что он может сделать дальше, чтобы спастись от мыслей? Луна светила ему прямо в лицо, и он дико смотрел на нее; он снова попытался загипнотизировать себя ее блеском; почему он не может потеряться в той реальности, которой этот поток синего света затоплял землю. «Я должен обезуметь или лишиться сознания, — сказал он себе. — Я должен спать. Почему бы не спать, и спать, и спать?»

Рванувшись вперед внезапным скачком, он выпрыгнул в окно и помчался, продираясь сквозь кусты вниз по склону. Через несколько минут он был уже дома; и тут же сбросил одежду и бросился на кровать. «Я заболею, — подумал он. — У меня будет лихорадка, бред. Я как-нибудь потеряю себя». Да, он будет безумствовать, он сойдет с ума; если потребуется, он умрет.

К утру, когда мать заглянула в комнату, она нашла его мечущимся и стонущим. К своему тайному изумлению и удовлетворению, он и вправду чувствовал себя определенно больным. Он жаловался на сильный жар, и ему дали охлаждающее питье. Чуть позже он

впал в дремоту, а когда проснулся, его вырвало. Он сказал матери, что без сомнения был отравлен так же, как Гокал. Эта выдумка принесла ему огромное утешение; вскоре после этого он погрузился в глубокий сон.

В течение следующих нескольких дней он утверждал, что болен, и отказывался вставать с постели. Мать сообщила ему, что Гокалу стало очень плохо из-за блюда грибов, и он чуть не умер; но теперь он идет на поправку. Джали воспринял эту новость рассеянно; и хотя он слушал ее ежедневные отчеты со всем вниманием, ничто не показывало, что Гокал занимает много места в его мыслях.

Правда заключалась в следующем: ему удалось мысленно перенестись далеко прочь от ненавистной долины Кханжо. Во сне по ночам и в грезах днем он проживал сцены, выбранные из своих ранних лет; и, как ни странно, воспоминания, которые наиболее приятно и неотступно преследовали его, были воспоминаниями о путешествии с отцом во влажные джунгли Юга. Сны, возвращавшие его в те дни, были странным образом экстатическими, они окутывали дневные часы туманной дымкой восторга. Один из них, повторявшийся ночь за ночью в различных обличьях, обладал таким чарующим сладострастием, что весь день после него он лежал неподвижно — словно оно было каким-то летучим ароматом или звуком — следуя за ускользающим наслаждением, которым оно его дразнило.

Этот сон всегда начинался одной и той же сценой. Ему представлялось, что он много часов пробирается по влажной зеленой трущобе-джунглям и наконец выходит на небольшую открытую площадку, залитую розовым румянцем вечернего света. Перед ним возвышался серый холмик камня, гладкий, мягко изгибающийся склон голой скалы; и стоя перед ним, он ощущал на лице его жар, а на глазных яблоках — его ослепительный блеск. Низкое солнце, скользя по верхушкам бескрайних джунглей, ударяло прямо в этот древний, обнаженный склон, заставляя его сиять и раскаляться; и на нем не росло ничего, кроме серых, безлистных, искривленных, но девственных храмовых деревьев, чьи корни цеплялись за бесплодную скалу, а ветви возносили белоснежные цветы в воздух. Те деревья были страстными жрицами, — жрицами, венчающими чуждой красотой и окуривающими благоуханием рая этот остров-джунгли, который был либо священным, либо проклятым.

Дверца, маленькая дверца, выкрашенная тусклой красной краской, стояла перед ним на склоне скалы, а сбоку от нее была еще одна дверца поменьше, ведущая в камеру, где некогда содержались священные кобры. Гуневати была с ним; это она сказала ему об этом.

И вот тусклая красная дверь открылась, и зажгли свечи; и их пламя, бывшее бледно-зеленым в солнечном свете, становилось желтым, стоило внести его во тьму. Прежде чем войти, он еще раз взглянул на кристаллические цветы храмовых деревьев; и эта кристаллическая белизна, позолоченная солнцем на фоне синевы, напомнила ему Марию, Матерь Божью. И все же синева неба — горячая, горячая, за тонкими серыми ветвями — не

была прохладной синевой одежд Марии; да и позолота солнца не была благочестивой позолотой; да и белые цветы едва пахли лилиями, а скорее цветами, одурманенными собственной сладостью настолько, что они опадут, даже не увянув, на землю.

Мрак сомкнулся вокруг него, как вода, заставив запрокинуть голову и выставить руки вперед. Поначалу он дышал и ступал осторожно, но воздух, хоть и густой и сладкий, как сироп, не имел ни малейшего привкуса затхлости, а пол был чистым и гладким для его босых ног. Вскоре проводящие его жрецы остановились, и когда они подняли свои свечи, он обнаружил, что находится в просторном чертоге в сердце скалы. От солнца он теперь видел лишь небольшое ржавое пятно света на камне далекого дверного проема. Но хотя солнечный свет был далеко, этот чертог был очень горячим. Ибо, будь то пылающий в зените или погруженный под воду, здесь было солнце — здесь, в этой утробе скалы, здесь, в этом чреве земли; здесь солнце царило безраздельно — царило во мраке, невыразимо заряженном его демоническими энергиями.

При мерцании свечей Джали всматривался вверх в лица резных богов; а они, тупо свирепые, сверкали глазами и скрежетали зубами в пустоту перед собой. Так век за веком в удушливой темноте они скрежетали зубами и сверкали глазами. И Джали задумчиво рассматривал их, без насмешки и без страха; эти символы божества впечатляли его как подобающие и величественные.

Затем его сон менялся, и ему казалось, что’ он выходит на прохладный ночной воздух. Священник, сопровождавший его, был Гокалом — но постаревшим, потолстевшим Гокалом, язвительным Гокалом; именно этот человек всегда запирал маленькую красную дверцу; затем низко кланялся и исчезал. После этого, истощенный и все же счастливый, он тащился вверх по пролету неглубоких ступеней, вырубленных в серой скалистой земле. Неподвижно и благоуханно стояли вокруг него храмовые деревья, их тонкие ветви были воздеты, предлагая белые цветы лунному свету. На востоке небо теперь было зеленым, с медно-красной луной, висящей за неподвижными листьями высокой отдаленной пальмы. Низкие облака покоились на западном горизонте, подобно огромным крокодилам, спящим в бассейне крови. Луна, восходя, странно играла с прядями испарений джунглей, проплывавшими над черно-зелеными деревьями. Летучие мыши-фруктоеды молча и безумно танцевали в середине воздуха.

Дневные грезы, навеваемые этим сном, обладали соблазнами чувственности и поэзии одновременно; они дразнили Джали блаженством, которое было одновременно интимным и отстраненным. Моменты, на которых он задерживался с особым экстазом, были, во-первых, моментом его выхода из джунглей, когда таинственный холм внезапно открылся его взору; а затем — вневременной период его последнего созерцания, когда, стоя на вершине холма, он смотрел на темнеющие в ночи джунгли.

В эти дни его отношение к матери отличалось упрямой отчужденностью. Он сказал ей, что никогда не поправится в Кханжо, и что всей компании необходимо без промедления уехать. Она ответила, что как только Гокалу станет достаточно хорошо для путешествия, они все вместе отправятся к его отцу в Рави; и она умоляла его нормально принимать пищу и встать с постели. Но он отказался; большего, чего она смогла от него добиться, это чтобы он полулежал в гамаке перед домом.

Так продолжалось до самого дня отъезда. Когда наступило то радостное утро, он встал на рассвете и был деятелен как никогда. Отправление состоялось рано, солнечный свет косо пробивался сквозь пропитанные росой рододендроны, а птицы еще громко пели. Джали первым оказался в седле, и там он сидел, возле дома, вне себя от нетерпения поскорее тронуться в путь. Тем временем жители деревни собирались посмотреть на выезд процессии, и их присутствие добавляло значительную долю тревоги к его нетерпению. В особенности он ненавидел вид травницы, которая со злополучной ночи припадка Гокала наслаждалась славой спасительницы жизни святого брахмана. Эта мерзкая тварь теперь была очень заметна, ибо она действительно имела наглость выступить вперед из толпы дрожащих, угрюмых людей и выказывать великие проявления преданности и уважения. Джали следил за ней со страхом и яростью.

Наконец прибыл поезд Гокала, и объединенная партия была готова. Гокал хорошо спал и был в добром расположении духа, казалось, он разделял общее мнение о том, что эта перемена вернет ему полное здоровье. Это был высший миг для Джали, когда прозвучало слово к отправке. Поехав дальше, он запрокинул голову, закрыл глаза и вознес молитву восторженной благодарности всем известным и неизвестным богам. Никогда прежде солнечный свет и птичье пение не казались ему столь изысканными, как сейчас; никогда раньше жизнь не предлагала ему такой минуты искренней радости.

На первом повороте дороги, когда ненавистное место вот-вот должно было скрыться из виду, он придержал коня, чтобы пропустить караван мимо. Хотя он презрел возможность выдохнуть прощальное проклятие зловещей маленькой долине, где он и его близкие претерпели столько зла, он поклялся самому себе, что навсегда сотрет память о ней из своего разума.

Весь день они ехали под высокими темными деревьями, и через некоторое время Джали осознал, что по-настоящему в безопасности он почувствует себя лишь тогда, когда будет достигнута открытая местность. Он смотрел на прямые стволы, поднимавшиеся по обе стороны, и хмурился на них с презрительной неприязнью. Их нелепая тяжесть свисающих ветвей напоминала растрепанное оперение полузадохнувшейся птицы. А маленькие ледяные ручьи, пересекавшие тропу, маленькие горные луга с их звездчатыми цветами — все они были сделаны по одному образцу мелкой миловидности. Подайте ему грязь и черепки битой посуды самого отдаленного города! Да, клянусь Шивой, навоз и черепки в пустыне, над которыми струятся ветер и солнечный свет, были несравненно приятнее ему, чем самый миленький альпийский луг!

Караван двигался медленно, его темп задавали тяжелые носилки Гокала, и поэтому открытой местности удалось достичь лишь утром третьего дня. Когда это произошло, чувство избавления Джали стало полным, и всякая деталь способствовала его восторгу. Погода стояла ясная и теплая, настроение у всех было хорошим, а Гокал, вместо того чтобы утомиться от пути, явственно демонстрировал признаки прибавившихся сил. Когда наконец вся процессия вышла на широкое волнистое пространство залитого солнцем дерна, Джали соскочил с лошади и начал безумно плясать кругами, крича и ведя себя так чуждо своей натуре, что мать едва не встревожилась. Затем в следующий миг снова вскочив в седло, он галопом вырвался вперед, направил лошадь на вершину холмика и там застыл, глядя на равнины в порыве восторга. В своем воображении он видел себя скользящим подобно орлу в воздухе; он скользил вниз по лежащим между ними холмам, чтобы опуститься в великолепный жар и пыль коричневой индийской равнины.

Отныне, после стольких недель изматывающих нервы тревог, он осмелился отбросить всякую заботу. Раз каждое утро и каждый день пополудни он будет уезжать вперед от остальных, и так находить время собирать ягоды и цветы или стоять и вдоволь глядеть на холмы, спускающиеся вниз к западу. И всегда он будет брать с собой корзину, содержащую его семейство медвежьих кошек, и выгуливать их на траве. Прошлое, чувствовал он, осталось позади; через несколько дней Гокалу станет лучше, и тогда ничего не останется, чтобы напоминать ему о минувших недобрых временах. На самом деле все будет лучше, чем когда-либо прежде — лучше потому, что пережитые испытания и опасности превратили бывшего Джали в другого человека.

Это случилось в первые часы мягкого и солнечного дня, когда путники достигли гребня холма над Рави, и здесь они нашли Амара, ожидавшего, чтобы приветствовать их, ибо он был извещен гонцом об их приближении. Носилки Гокала опустили на землю, а поскольку оставалось предостаточно времени, чтобы преодолеть последние несколько миль пути, они потребовали часовой остановки. Но разговоры и перспектива чаепития не представляли для Джали никакой особой привлекательности, поэтому вскоре он объявил о своем намерении ехать дальше в одиночку. Когда его лошадь осторожно выбирала путь по горной тропе, он громко пел от удовольствия. Тепло солнца на склоне доносило аромат тимьяна; пушистохвостые скальные крысы шныряли туда-сюда из своих нор; озеро, сверкавшее под ним, сулило удовольствия, которых он всегда жаждал, но никогда еще не мог вкусить.

Оказавшись на дне долины, он обнаружил себя в густых зарослях терна и колючей дикой сливы, кусты которых были переплетены побегами малины, усыпанными спелыми плодами. Примерно в двухстах ярдах отсюда озеро сияло за бахромой ольхи и ив. Джали привязал свою лошадь к дереву и, прежде чем спуститься к воде, принялся есть ягоды, имевшие незнакомый, но восхитительный вкус.

XII

Именно за этим занятием он и получил потрясение от удивления, ибо внезапно совсем рядом услышал свое имя. Обернувшись в замешательстве, он увидел своего двоюродного брата Али, старшего сына Хари, растянувшегося в непринужденной позе в тени раскидистой ольхи. Как Али оказался в этом месте, он не мог себе представить. В последний раз он видел его в Фатехпур-Сикри, когда Али состоял при Макх Хане. Джали тогда не слишком к нему расположился, ибо его кузену, которому было семнадцать, и который был старше почти на четыре года, нравилось обращаться с ним более покровительственно, чем ему хотелось бы. Но при неожиданности этой встречи прежние впечатления вылетели у него из головы, и он ответил на приветствие Али криком изумленного удовольствия. Тот, не меняя положения, тихо улыбнулся, подбегая к нему; его самообладание подразумевало, что вряд ли можно ожидать от него проявления такого же волнения. Нет, Али не был тем молодым человеком, которого жизнь могла легко застать врасплох. Не то чтобы у него был вид самодовольного или даже просто обладающего большей самоуверенностью, чем положено в семнадцать лет; но он как-то передавал впечатление, что знает свое место в мире; и там он стоял на своем, готовый прямо смотреть в глаза любому, скромный, дружелюбный, но, возможно, чуть-чуть самодовольный.

Какое-то время мальчики обменивались вопросами, причем Джали болтал довольно охотно; но вдруг его глаз уловил блеск чего-то белого за ширмой ив, и он тотчас прервался.

— Это парусная лодка? — спросил он.

— Да. Моя лодка.

Глаза Джали расширились. У него была страсть к парусному спорту, которой он никогда не мог потакать. Было нечто в наклоне высокого мачты и вздутии полного паруса, что давало ему трепет, схожий с трепетом от пустыни.

— Возможно, ты хотел бы взглянуть на лодку? — продолжал Али, и с этими словами он поднялся и лениво стряхнул листья со своей хорошо скроенной туники. Его лицо, манеры, общее поведение — все это прекрасно сочеталось воедино.

Вместе они спустились к небольшому заливчику, и там Джали узрел безусловно самую изящную маленькую лодку, которую когда-либо видел. Пока он смотрел, безмолвный от восхищения и зависти, Али изучал небо. «Ни дуновения! — проворчал он; — ни малейшего шанса поймать хоть одно. Мне придется грести самому.»

Джали глубоко вздохнул. Он только что слышал, что его кузен теперь состоит в свите принца Данияла, присоединившись к Принцу в его озерном лагере около трех недель назад. По сравнению с ним, Али был искушенным светским человеком; и вот, разглядывая его, он видел один из великолепных призов, которые предлагает мирская жизнь. Принц подарил Али эту лодку в полную собственность; вместе с несколькими другими ее привезли

сюда посуху, с огромными затратами, привязав к спине слона. «А мне, — подумал Джали, — мне придется довольствоваться одной из неуклюжих местных посудин».

Естественно, разговор вернулся к принцу Даниялу, и хотя Али вовсе не был хвастуном, он позволил нескольким показательным лучам упасть на свой нынешний образ жизни. Существование в кругу Данияла волшебно засверкало перед глазами Джали, а вид этой лодки превратил его в очень почтительного слушателя. Однако даже без лодки ему было бы любопытно услышать все, что Али мог рассказать о Данияле. Половина дам во дворце Агры были очарованы Принцем, несмотря на то, что и одна десятая не могли похвастаться даже шапочным знакомством. Леди Джагашри была среди самых пылких и в то же время одной из самых обласканных, ибо Принц несколько раз бросал улыбчивое слово в ее сторону. Джали помнил, что даже его тетя Шрилата призналась, что интересуется Даниялом и забавляется им; а свою тетю Джали глубоко, хотя и несколько недоуменно, уважал. Таким образом, хотя и не придавая слишком большого значения тому, что думали эти дамы, Джали проникся мыслью, что Принц пользуется определенным престижем сверх того, что даровал ему его ранг; Принц выделялся в его сознании как интригующая личность; и теперь он находил весьма интересным, а также не лишенным странности, обнаружить Али служащим связующим звеном. Ибо Принц был в высшей степени артистичной и интеллектуальной личностью, покровителем Искусств, в то время как у Али, казалось, никогда не было ни малейшей склонности в этом направлении. Али, которого знал Джали, был подающим надежды игроком в поло, восторженным спортсменом, юношей, чьи хорошие манеры, приятная внешность и способности к занятиям на открытом воздухе вполне достаточно рекомендовали его, чтобы нужно было беспокоиться об умственных занятиях. Трудно было представить его членом изысканного общества, окружающего блестящего молодого принца.

Однако, прежде чем он закончил любоваться лодкой, кузен положил руку ему на плечо. — У нас осталось не так много времени, — сказал он, и его взгляд скользнул по горному склону, вниз по которому неспешно пробиралась остальная часть партии Джали. — И есть одна-две вещи, которые мне, пожалуй, следует объяснить. На слове «пожалуй» он сделал паузу; он бросил своему юному другу такой взгляд, словно хотел сказать: «Человеку света больше бы и не потребовалось слов. Неужели ты не догадываешься?...»

Но Джали не мог догадаться; и, поскольку он продолжал сохранять непонимающее лицо, Али поджал губы и продолжил. Разве Джали не показалось странным, что он присоединился к свите Принца как раз в то время, когда отношения между Принцем и его отцом были довольно натянутыми, а отец фактически находился под арестом, по приказу Принца, в Агре?

Джали покраснел и почувствовал себя ничтожным. Эта мысль приходила ему в голову, но вид той чудесной лодки снова вытеснил ее. Кроме того, ему всегда было так трудно держать в уме, что Хари Хан и Али — отец и сын; они были до смешного не похожи друг на друга.

На несколько мгновений его спутник продолжил пристально смотреть на него своим «неподвижным взглядом». Этот ровный взгляд был примечательной чертой Али. Он не был невежливым, он не был оценивающим, он определенно был далек от проницательного. Казалось, он просто говорил: «Смотри, как ровно я могу смотреть тебе в лицо». Но теперь Джали понимал, что в этом взгляде в данный момент был особый смысл, ведь положение Али действительно было довольно щекотливым.

Затем молодой человек перешел к объяснениям. Помолвка дочери Макх Хана, Лалиты, с принцем Даниялом естественным образом сблизила Хана и Принца, и столь же естественно он, Али, который тогда состоял при Макх Хане, попал в поле зрения Данияла. Его мать тоже уже была подругой Принца, и когда тот предложил перевести его в свою свиту, у нее не было причин отказывать в согласии. Относительно ссоры, пояснил Али, между его отцом и Принцем, так она тогда еще не произошла — или, во всяком случае, мать о ней еще не слышала. А что касается отмены назначения после этого — ну, вполне вероятно, что именно Принц должен был это сделать; но он этого не сделал. Напротив, он был очарователен. И хотя он счел себя обязанным, для соблюдения формальностей, продержать Хари Хана под арестом еще некоторое время, он определенно не таил на него зла.

Здесь Али сделал паузу; и, когда он заговорил снова, его тон стал более доверительным. Его отец — храни его Бог! — был, как всем известно, непростым человеком в общении; все знали также, что его недостатки лежат целиком на поверхности. Какая жалость, следовательно, что он имел — ну, чертовски трудный характер? Конечно, давно сняв с себя всякую ответственность за своих детей, он не имел права возражать против нынешнего назначения своего сына. Он не в том положении, чтобы вмешиваться. Но — и здесь Али вздохнул и тихо рассмеялся — с человеком такого нрава никогда нельзя знать наверняка. Так что ситуация — немного деликатная.

— Он пока ничего не сказал? — осторожно спросил Джали.

— Он еще не знает, — последовал ответ.

Джали, несколько изумленный, молчал. По одной причине, манера, в которой Али говорил об отце, казалась ему довольно нелепой. Он посмотрел на Али, а затем подумал о Хари Хане. Уж конечно, Али был не совсем того положения, чтобы говорить о Хари Хане тоном снисходительного превосходства.

Его лицо, должно быть, отразило часть этих мыслей, ибо дальше Али продолжил со сдвинутыми бровями нарастающего нетерпения. Время, сказал он, быстро приближается, когда его отца освободят из Агры, но вряд ли он вернется в это место; и даже если он снова посетит дом на другой стороне озера, нет причин, по которым он не должен оставаться в неведении относительно местонахождения своего сына. Действительно, он несомненно останется в неведении — разве что какой-нибудь сплетник сообщит ему.

— Понятно, — сказал Джали, который к этому времени понял, чего от него ожидают. — Понятно, — задумчиво повторил он. — Но, — выпалил он после паузы, — но как насчет *моего* отца? Разве он еще не выяснил, что ты здесь?

Али покачал головой. — Твой отец посетил лагерь лишь однажды с тех пор, как я прибыл, и тогда — ну, я держался от него подальше. Он ничего не знает.

Снова глаза Али давали очень ясно понять, что ему трудно иметь дело со своим двоюродным братом, непохожим на истинного светского человека. Сделав над собой усилие, Джали взял себя в руки: в конце концов, дела Али были не его заботой; самомнение Али было невыносимо; какая, черт возьми, разница, где находится Али? Али мог идти к дьяволу. Придя к такому заключению, он поднял глаза и просто сказал, что понимает. «Я вообще не упомяну твоего имени», — добавил он.

Лицо собеседника тут же снова стало безмятежным. «Чем больше пройдет времени, — самодовольно заметил он, — тем сложнее моему отцу будет чинить препятствия или устраивать неприятную сцену. Как я уже сказал, ситуация действительно довольно щекотливая; она требует такта; я рад, что дал тебе это понять».

Это, очевидно, было задумано как комплимент; и чуть позже, когда они прощались друг с другом, Али выразил свое добродушие предложением встретиться вновь. Почему бы им не встретиться в следующий раз на водах озера? Джали сможет легко перейти из одной лодки в другую, а затем испытать ходовые качества *Орленка* лично.

В течение следующих нескольких дней Джали был занят осмотром своих новых окрестностей, и когда его мысли обращались к Али, то лишь для того, чтобы подумать о нем как о владельце самой красивой лодки в мире. Дом и сад старого раджи совершенно не походили ни на что, виденное им прежде; дом показался ему поразительно уродливым и странным; даже сад он счел довольно уродливым; но несмотря на это, он был далек от неприязни к этому месту. Атмосфера здесь была совершенно иной, чем в Кханжо; и если сам дом был лишен красоты, долина и озеро с лихвой восполняли этот недостаток. Озеро было бледного цвета, опалесцирующим полотном воды, которое сливалось с воздухом, часто слегка туманным. Почти каждый день солнце отражалось в нем в виде бледного, далекого диска, луноподобное солнце, трепетно парящее на его гладких молочных водах. Почти сразу Джали полюбил эту долину, дружелюбие которой укрепило его в вере, что здесь Гокалу быстро удастся восстановить силы.

Его нанятая лодка, когда она прибыла, конечно же, не шла ни в какое сравнение с лодкой Али. В первое утро, когда он вывел ее на воду, там носилось несколько сказочных суденышек Данияла под небольшими порывами ветра; и он гадал, нет ли среди них лодки его кузена. Оставалось надеяться, что Али окажется приятнее и интереснее, чем казался в Фатехпур-Сикри. «Возможно, — подумал он, — тогда я был слишком молод, чтобы видеть лучшее в нем. Один Бог знает, как я изменился с тех пор! И, может быть, Али тоже изменился». Но когда он вспомнил их последнюю встречу, у него возникли сомнения. Тон,

в котором Али говорил о Хари Хане, застрял в его памяти как смехотворно самодовольный. Впрочем — он мог заметить это и раньше! Голос Али был, конечно, не его собственным; это было лишь эхо голоса мира; ибо мир, считавший Али очень многообещающим молодым человеком, действительно считал Хари Хана чудаком. Али явно был гораздо более приспособляемым, чем его отец. Взгляните только, как быстро он перенял манеры и моды Двора! «Но именно это мне в нем и не нравится», — подумал Джали, а затем поправил себя: — «Полагаю, я завидую. Как бы то ни было, у меня нет права считать Али глупцом; ему удается то, в чем я наверняка потерпел бы неудачу».

В тот день он отправился на озеро на поиски своего двоюродного брата отнюдь не в самом радужном настроении духа. Тем не менее встреча, которая произошла почти сразу, прошла неожиданно хорошо. Он сделал поразительное открытие, что Али оказался не просто вполне приятным, но и чрезвычайно интересным собеседником. Да, это было невероятно! Это показывало, как мало можно сказать заранее. Али был глубоко поглощен литературой и искусством; он демонстрировал знакомство с книгами, картинами и музыкой дня, от которого за свою неосведомленность становилось прямо-таки стыдно. Кроме того, дерзость его мнений часто поражала.

Джали вернулся домой очень впечатленный и не в малой степени воодушевленный. Перед ним открывались новые горизонты, и случилось это как раз в то время, когда его юный ум жаждал нового рода приключений. Слишком долго уже он страдал от чрезмерного напряжения духа. Настало время отбросить материальные заботы, чтобы наслаждаться, в полном отстранении от практической жизни, восторгами, свойственными подростковому возрасту — восторгами, которые, мудры они или глупы, отличаются от детских так же сильно, как от зрелых. До сих пор, хотя он вовсе не был нечувствителен к красоте, он не подходил к Искусствам с какой-либо независимостью ума. До сих пор его поглощала сама жизнь; жизнь и смысл жизни были проблемами неотложными и всепоглощающими; трудное дело выживания не позволяло ему никакой свободы, никакой уверенности в себе, никакого честолюбия, чтобы уделять внимание излишествам или культивировать роскошь духа. Послушно принимая эстетические суждения других, ему никогда не приходило в голову задуматься, есть ли у него собственный вкус; а об удовольствиях ереси, о славе, которую можно найти в бунте, он, разумеется, даже не подозревал.

Али вскоре должен был произвести перемену. Али, который прежде казался таким деревянным, таким условным, таким болваном, теперь предстал ангелом интеллектуальной свободы и света. За его спиной стояли престиж и блеск Лагеря, поэтому каждое его легчайшее слово имело вес. Слушая, Джали чувствовал, что слушает голос самого принца Данияла. И разве могло быть что-то более захватывающее? Не для кого-либо в нынешнем положении Джали; не для кого-либо, живущего по соседству, где Лагерь постоянно привлекал ваше внимание. Каждый день какая-нибудь новая сплетня о деяниях Принца разносилась по долине; каждый день вы видели, как возводится какое-нибудь

новое здание, или слышали о каком-то новом чуде, которое ввозят извне. Та необыкновенная община Данияла, Лагерь — Услада Искусств, как его называли, — мерцающий вам с другой стороны озера, одновременно столь заметный, столь провокационный и столь далекий — это была тема разговоров не только Али, но и всех слуг, рыбаков, каждого. Даже его отец и мать обсуждали Данияла — правда, в тоне легкой насмешки; но это, знал Джали, тон, которым люди часто маскируют более серьезное отношение.

Тон Али, описывавшего блестящее общество, в котором он теперь вращался, естественно, был совсем иным. У него не было желания притворяться, что его восхищение Принцем не безгранично. Даниял, по его суждению, был почти богом. При этом, однако, он стремился дать понять, что его голова ничуть не вскружена мирским величием Данияла; его восхищение относилось не к Императорскому Принцу и не к Любимцу Общества, а к Поэту, Художнику, восторженному Поклоннику Красоты.

У Джали не было настроения сомневаться или спорить. Он лихорадочно читал все книги, которые одалживал ему кузен — книги, бывшие в моде в Лагере. Он состязался с Али в сочинении стихов в манере, одобренной Лагерем; часами теоретизировал вместе с Али. Все это волновало новым и восхитительным образом. Он утратил ощущение беспомощного ребенка. В то время как он фактически становился с каждым днем все более ребячливым, он упивался расширяющимся чувством искушенности.

XIII

На этом новом этапе своего существования Джали сумел выбросить из головы свои прошлые несчастья, или, скорее, думал о них лишь в той мере, в какой они добавляли ему новообретенного чувства собственного достоинства, напоминая ему, что он — человек опытный и страдавший. Гокала, невольную причину своих страданий, он по-прежнему видел очень редко; и хотя его чувства к бывшему учителю остались неизменными, он пока не желал находиться в его обществе и даже много думать о нем. Правда заключалась, конечно, в том, что его духу требовалось расслабление, и он с нетерпением устремлялся к своим новым интересам на другой стороне озера. Большую часть времени он теперь проводил на воде в компании Али, и это были великолепные каникулы. Какое же это удовольствие — бежать от самого себя и тирании вещей, которые действительно имеют значение. Но разве искусство тогда не имеет значения? Разве искусство и литература менее важны, чем жалкие заботы нашей материальной жизни? Конечно же, нет! Они бесконечно важнее, сказал бы он вам; но, к счастью, иным образом; безлично, а не лично, приятно, а не неприятно. О, славная свобода ума, когда (как говорил Али), отбросив унылую действительность, он распускает паруса навстречу ветрам воображения и держит курс на Совершенную Красоту. Именно в это плавание пустился принц Даниял и его вдохновенная команда!

Вскоре Али пришлось довольно сильно опереться на престиж, который давало членство в этой команде. Если, как иногда случалось, он говорил нечто звучавшее до невероятности глупо, у Джали не оставалось ничего иного, кроме как пропустить замечание мимо ушей в молчании и предположить, что он просто неправильно его понял. И все же, и все же, впоследствии он никогда не хотел признаваться себе, что его полностью провели. Где-то в глубине его сознания его самые первые впечатления об Али — о, несомненно! — все еще сохранялись. Его первое изумление при виде того, что Али допущен в круг Принца, так и не было полностью стерто — ни этим чудесным самообладанием Али, ни этой небрежной всеведущностью, ни неизменно актуальностью его сведений. Даже в эти ранние дни его сильнейший довод в пользу Али склонялся к следующему: если только Али на самом деле не является тем, за кого себя выдает, то остается считать его почти невообразимой смесью дурака и самозванца. И если он и вправду был именно им, то каким же образом объяснить его присутствие в Лагере? Эти вопросы оставались без ответа; и, по крайней мере внешне, авторитетные заявления Али никем не оспаривались. Но растущее раздражение, вызванное его тяжеловесным покровительством, стимулировало нечестивые сомнения Джали. К тому же в нем была заложена определенная доля здравого смысла; он отказывался верить, что Лагерь настолько глуп в своих идеях, как часто изображал Али. По словам Али, например, Лагерь учил, что самостоятельное мышление состоит ни в чем ином, как в переворачивании устоявшихся мнений, что самое новое непременно превосходит то, что было раньше, и что высшим испытанием ценности идеи является ее способность поразить филистера и разозлить его. Если верить Али, в Лагере не было независимости; у Лагеря была своя собственная перевернутая ортодоксия, и он был таким же фанатиком, как любая из старых школ; мнения менялись часто, но всегда единогласно; они менялись, как меняются моды, по удару колокола.

Так что престиж Али начал падать, и вскоре на него пролился свежий и еще более губительный свет. Однажды, когда мальчики праздно плыли под парусом, Али (любивший подробно пересказывать свои беседы со знатными особами) заявил, что только что вел необычайно интересную дискуссию о персидской просодии с дамой, которая, возможно, была самой блестящей и очаровательной из всех женщин в Лагере.

— И кто бы это мог быть? — спросил Джали.

— Леди Джагашри, — самодовольно ответил Али.

На несколько мгновений после этого услышанного Джали лишился дара речи. То, что леди Джагашри оказалась среди избранных гостей Принца, было выше всякого понимания, равно как и мысль о том, что она и Али вели вместе столь торжественную беседу о персидской просодии. Его молчание было настолько полно изумления и замешательства, что Али, хоть и горел желанием продолжить свой рассказ, остановился, чтобы улыбнуться ему. «Похоже, ты ее знаешь?» — проницательно заметил он.

Джали, покраснев еще сильнее, пробормотал что-то о том, что видел Рани лишь раз или два во дворце Агры. Его спутник, насмешливо поглядев на него, рассмеялся. «Довольно хорошенькая, не так ли?» — был его комментарий; и в потоке поддразниваний он дал ясно понять, что вполне может догадаться, что произошло: Джали испытал романтическую страсть мальчика к леди и поклонялся ей издалека. Что ж, она определенно достаточно хороша! Но вернемся к персидской просодии...

Пока тот разглагольствовал, Джали пытался восстановить порядок в мыслях. Выяснилось, что рани Джагашри уже находилась в Лагере две-три недели, и что они с Али стали большими друзьями. Али и Джагашри — друзья! И обсуждают вместе персидскую просодию! Что все это значит? Джагашри — да поможет ей Небо! — была совершенно безмозглой, и ему было доподлинно известно, что ее истинные вкусы не лежали в направлении литературы. Если он и был в чем-то уверен, так именно в этом. В Агре, в своих попытках снискать расположение Данияла, она навлекла на себя изрядную долю насмешек. Неужели он должен верить, что с тех пор ее интеллект и характер совершенно изменились? Глядя на своего спутника, он размышлял. Али, покончив с персидской просодией, возвращался к своей шутливой манере. У него вошло в привычку время от времени выставлять себя светским человеком, и в таких случаях он говорил о женщинах с известной вольностью, как человек, относящийся к плотской любви как к пустяку. Ему нравилось показывать Джали, что он умеет шутить на эту тему; но он всегда вовремя останавливался из уважения к нежному возрасту своего юного кузена. На этот раз, слушая вольности Али, Джали напряженно думал. Неужели действительно правда, что за последние три недели красавец Али не нашел ничего лучшего для этой очень хорошенькой маленькой Рани, кроме как говорить с ней о литературе? И разве он действительно считал ее разговор стоящим прослушивания? Это было просто невероятно, и тем не менее — вот оно!

В течение следующих двадцати четырех часов Джали продолжал размышлять над этим вопросом. Что ему делать с Али, если окажется, что его светские претензии столь же пусты, как и литературные? Что делать с этим его об компетентным и невозмутимым видом? Была ли манера Али, весь спектр которой простирался от скромной самоуверенности до высокомерного презрения, просто фасадом мошенничества? Казалось, что это должно быть так; но тогда что Али делал в Лагере? Разве можно представить, что он и рани Джагашри сумели провести это искушенное сообщество? А если нет, то что Лагерь находил в них?

Через несколько дней после этого, когда они с Али катались по озеру, тот сделал весьма поразительное предложение: он предложил взять его с собой с визитом в Лагерь. Эта мысль никогда прежде даже не приходила Джали в голову как возможность; и было удивительно слышать это приглашение брошенным так, словно это самая обыденная вещь на свете. Однако небрежность манер у Али отнюдь не была верным признаком отсутствия преднамеренности; поэтому Джали, хотя сначала и возразил из чистой робости, вскоре

позволил себе уступить. Лодку, соответственно, привели в движение, и Джали еще был далек от того, чтобы оправиться от приступа нервозности, когда обнаружил, что действительно подплывает к сверкающей набережной Даниала.

Издалека Услада Искусств всегда выглядела на редкость привлекательно; и теперь, при ближайшем рассмотрении, Джали показалось, что капризы вкуса Данияла полностью себя оправдали. Производимый эффект напоминал сценическую декорацию — декорацию, которая подошла бы для веселого спектакля марионеток. Да, это была обстановка для существ, наполовину кукол, наполовину богов, изысканных потомков фигурок, которые он часто видел на грубых подмостках деревенских ярмарок. Там, в тех простых декорациях, разыгрывались старые легенды и волшебные сказки; но живые актеры на такой сцене должны были бы иллюстрировать рассказы об элегантной и изощренной фривольности. Именно легкомысленный характер одухотворяющего начала Лагеря сразу очаровал его и слегка удивил, ибо болтовня Али о революционном пылу Данияла подготовила его к чему-то более серьезному и суровому. Но эта мизансцена была очаровательна, и он тотчас ее принял. Держа в памяти традиционное великолепие Акбара, он особенно наслаждался отсутствием чрезмерной вычурности, избеганием приторной роскоши, отказом даже от самых освященных временем банальностей дизайна. Вновь влюбленный во все новое, он был не готов отвергать какие-либо новшества Данияла, если мог хоть как-то этому помешать. Новое глупое поветрие, возникшее в знак протеста против старого глупого поветрия, наверняка лучше прежнего? Кроме того, можно было предположить, что Принцу местами доставляло удовольствие высмеивать собственные нововведения; он приписывал Даниялу вполне достаточно юмора для этого.

От причала Али провел его по деревянной набережной, тянувшейся вдоль берега озера. Весь Лагерь, собственно говоря, был построен на платформе, стоявшей отчасти над водой, а отчасти над болотистой почвой позади. Здесь можно было найти все развлечения популярного курорта, но все они были слегка спародированы и, так сказать, лишены своей сути, чтобы соответствовать более утонченному вкусу. В воздухе звучала музыка; яркая толпа прогуливалась или сидела вокруг; некоторые под фантастически украшенными навесами пили охлажденные снегом напитки, некоторые наблюдали за фокусниками и шарлатанами, многие стекались на арену, где были объявлены поединки между различными видами диких животных, включая даже змей. Все носили самые яркие и смелые костюмы; до такой степени, что по прибытии Джали вообразил, будто идет какая-то маскировка или карнавал; но Али с удовольствием сообщил ему, что эти увеселения происходят ежедневно, и настоящие кутежи начинаются только после полуночи.

Таким образом, переходя от изумления к изумлению, Джали бродил дальше, пока наконец, на открытой площадке, составлявшей сердце архитектурного замысла Данияла, он не остановился, пораженный чудом фантазии, которая своим ребячеством очаровывала его больше всего остального. Это была группа из шести деревьев в центре площади. Но какими невероятными деревьями они были! Они были золотыми — стволы, ветви, листья

— все имело блеск золота. А на этих деревьях сидели посеребренные голуби Данияла, а среди них алые ара, зеленые попугайчики, розово-зеленые попугаи и какаду, и два-три пеликана ослепительной белизны. Али, который получал огромное удовольствие, взял завороженного Джали за руку и подвел к ближайшему дереву; каждый лист, который он ему показал, был искусственным и прикреплен к ветке проволокой. Сами деревья были такими же мертвыми, как доски, в которые они были вбиты! Более того, вся площадь, должен был далее заметить Джали, фактически была построена над куском озера; а вниз по одной стороне ее протекал искусственный канал, демонстрирующий фасад домов, спроектированных итальянским архитектором в венецианском стиле. Все это было поистине чудесным; и не менее чудесными, когда у него нашлось время рассмотреть их подробнее, оказались человеческие существа, для которых и была предоставлена эта мизансцена. Какие наряды! Какие драгоценности! Какой блеск губ и сияние глаз! Кто они такие, чем они являются, эти кукольные, искусственные создания? В некоторых случаях нельзя было даже разобрать, мужчины это или женщины! Чтобы дать ответ на вопрос в немом блуждающем взгляде Джали, его проводник самодовольно объяснил, что здесь, в Усладе Искусств, каждый был, так сказать, кем-то. Здесь можно было встретить людей всякого рода — кроме одного: обыденных. Скучные, условные люди — люди, не озаренные божественной искрой, не имели ни малейшего шанса получить сюда доступ. Даниял отбросил оковы обычных предрассудков и ханжества. Оригинальность ума, интеллектуальные заслуги, поэтический огонь — вот единственные качества, которые учитывались им; и на этой основе все были равны. Здесь можно было встретить принцев древнейших родов, водящих дружбу с поэтами, акробатами и художниками. Однако сколь бы высоко Даниял ни чтил превосходство ума, он не был — вы могли видеть это сами! — интеллектуальным снобом. Педантичность нагоняла на него скуку; ему нравилось развлекаться; искусство, которое он признавал Искусством, должно было быть вечно молодым, новым и веселым.

Джали кивал, слушал, глазел и был настолько ошеломлен разнообразием впечатлений, что спотыкался на ходу. Некоторые вещи, которые говорил его спутник, иногда вызывали рябь протеста поверх его восхищения; некоторые показанные ему виды он не мог со строгой честностью назвать прекрасными. Но эти маленькие точки разногласия быстро тонули в общем потоке его энтузиазма и волнения. Во что может превратиться жизнь — чудо и диво! Как необходим бунт, бунт против укоренившихся предрассудков, скучного обычая и, прежде всего, тиранической, придирчивой сущности Природы! В искусственности дух обретал свою истинную жизнь. Было правильно, что легкое самоопьянение несет вас подобно пушинке чертополоха на ветру. Джали стало стыдно, когда он задумался, как жалко он позволял Природе тиранить себя до сих пор.

С сотней незаконченных мыслей подобного рода в голове он был совершенно неспособен стать подходящим собеседником. Сначала его ступор радовал Али, но затем стал утомлять. Так что, еще немного поводив своего безмолвного друга, он спустился с ним к берегу озера и усадил в лодку. Со своей стороны, Джали ничего не имел против; ему было

облегчением остаться наедине со своим волнением. Чудо и восторг держали его зачарованным, пока он сидел на корме, устремив глаза на удаляющийся берег. Его энтузиазм стал, действительно, почти благоговейным по своему характеру, пока он глядел и глядел через стеклянную воду на опускающиеся тени холмов. На фоне этих туманных сине-зеленых оттенков Лагерь, словно резной лунный камень, бледно светился собственным приглушенным светом. Розовые и желтые, оранжевые и фиолетовые бумажные фонарики делали тусклые цветные пятнышки на фасаде, который в остальном был призрачно-бледным. Посреди дикости природы Услада Искусств лежала совершенная и завершенная, маленький рай искусства и искусственности, маленькая драгоценная мысль в неразумном мире.

XIV

С этого дня Джали был переполнен пылом к некоему делу, которое он не мог ясно определить; хотя Даниял и выступал его поборником, а Лагерь — его зримым воплощением. Что же до Али, то он предпочитал о нём не думать и вообще не придавать ему никакого значения. Считавшийся спутником Данияла, он должен был предполагаться вращающимся на весьма непримечательной внешней орбите. Разговоры Али, которые когда-то казались ему столь воодушевляющими, теперь представлялись ему претенциозными и глупыми. Он не мог отделаться от ощущения, что как бы ни были смелы мнения Али, в душе — сам того не ведая — тот оставался заурядным человеком и педантом. Удовольствие от отстаивания передовых взглядов совершенно пропадало, если ими с вами делился какой-нибудь Али. Было мало славы находиться в авангарде, если рядом шагал некий Али. Иногда, чтобы избежать согласия со своим кузеном, он душил в себе мнение самой соблазнительной новизны и нарочно поддерживал взамен такое, какого не постыдился бы даже Гокал или даже его отец.

Во время своих дальнейших посещений Лагеря, которые теперь следовали сами собой, он вскоре познакомился со многими друзьями Али, молодыми людьми примерно одного с ним возраста, красивыми и высокомерно светскими. Они разочаровали его, так как он не нашёл в них пыла, равного своему собственному. Подобно Али, все они без исключения были преданы Искусствам; но их умы, к несчастью, тоже были у всех без исключения подобны уму Али. Ему было так же трудно объяснить для себя их, как и Али; более того, всё сообщество день ото дня преподносило ему всё больше загадок. Небольшие сомнения и беспокойства, исчезновения которых он надеялся дождаться, по-прежнему омрачали его восхищение Принцем. И всё же, чувствовал он, должна существовать некая сокровенная интеллектуальная позиция, достигнув которой, вы увидели бы, как всё встаёт на свои места. Те черты Лагеря, которые до сих пор упорно выглядели лишь умышленно нелепыми, вульгарными или тривиальными, тогда предстали бы вовсе не такими уж неуместными или, в худшем случае, несущественными заблуждениями. В конце концов, можно ли ожидать от любой группы духовных искателей, продвигающихся в новые земли, чтобы они

не сбивались на ложные тропы и никогда не теряли дороги? Так, исполненный верности, но продолжающий искать большего света, Джали продолжал поиски. К его досаде, однако, выяснилось, что всякий раз, как он собирался с духом задать вопрос, его встречал холодный взгляд. Али и его друзья были шокированы. Неужели, читалось в их взглядах, в глубине души он всего лишь филистер? Казалось почти, что у него нет права находиться в Усладе Искусств совсем.

В это время он всячески старался избегать встреч с рани Джагашри, но несмотря на все его предосторожности несколько встреч всё же случились, и каждая была неприятнее предыдущей. Смутный инстинкт верно предупреждал его не ждать особой сердечности с её стороны, но он не готовил себя к манере настолько вопиюще невежливой. Почему она, напуская на себя самый дружелюбный вид ради Али, угощала его самыми сокрушительными щелчками? Снова и снова ему приходилось сидеть рядом — выглядя и чувствуя себя точно надутый маленький мальчик — пока она с Али беседовали об искусстве и литературе поверх его головы. Их абсурдные позы ценителей заставляли его внутренне кипеть от ярости. «Ну-ну! — говорил он себе потом, — пусть честолюбивая рани и сумела пробиться в общество Данияла, тот факт, что она по-прежнему считала Али достаточно хорошим собеседником, явно доказывает, что проникла она не очень далеко». Али и рани Джагашри вызывали в нём горечь, но эта горечь проистекала отнюдь не полностью и даже не главным образом из уязвлённого самолюбия. Ему больно было думать о Данияле, окружённом людьми столь малого достоинства. Зачем Принц терпит этот сброд, эту пену второсортности? Разве не тяжело настоящим его почитателям стоять посреди такой толпы? Дело было не в том, что у него самого было хоть какое-то желание или амбиция приблизиться к Даниялу; он почувствовал бы себя ужасно не на месте где-либо вблизи центра этой блистательной компании; но иногда им овладевало страстное желание, чтобы избранные знали, что он мысленно с ними; ему хотелось бы, чтобы они осознавали: есть один, кто действительно и поистине ценит их весёлое и доблестное стремление к красоте, один, кто подлинно понимает там, где другие только притворяются понимающими.

Затем настал день, когда с ним произошло великое событие: он действительно обменялся словами с самим Принцем. Это случилось в только что возведённой картинной галерее, где проходила первая выставка живописи Лагеря. Али, который, подобно всем в Лагере, был таким же большим любителем картин, как книг и музыки, любезно показывал ему залы, и вот, когда они стояли вместе в большой, почти пустой комнате, внезапно чья-то рука опустилась на плечи Али, а дружеская ладонь легла в то же время на его собственную руку. Он обернулся, и это был сам Даниял! Он смотрел снизу вверх в красивое улыбающееся лицо хозяина Лагеря. Это было ошеломляющее мгновение; собственно говоря, весь опыт был бы ошеломляющим в высшей степени, если бы лёгкая, успокаивающая манера Данияла быстро не сняла остроту его испуга. На самом деле он смог более или менее прийти в себя, даже за то короткое время, что ему дали передышку, пока Али объяснял, кто это такой. В эти моменты у него также была возможность наблюдать, каким очаровательным обращением обладает его кузен, разговаривая с теми, кто старше

и выше его по положению. Его робость выражалась пленительно, с румянцем и запинками, нарушавшими тяжеловесность его обычной наружности. Но внимание Джали было по-настоящему приковано к Даниялу. Ему показалось, что на миг после произнесения его имени лицо Принца приняло ту пустоту, которая скрывает быстрое движение мысли. Однако в следующее мгновение это лицо вновь обрело всю свою прежнюю живость. «Понимаю! Понимаю! — смеясь, сказал Принц. — Так вы сын раджи Амара и кузин моего дорогого Али! Вы остановились в том восхитительно причудливом старом доме на другом берегу озера! Боже мой, как забавно!»

Джали не мог точно понять, что именно Принц нашёл забавным, и совершенно не знал, что ответить; но Даниял спас его, продолжив. «Какую ответственность я на себя взваливаю, право слово! Какие грехи взял себе на голову! Вот Али живёт со мной без ведома своего отца! А теперь вы — вы навещаете меня тайком. Что сказал бы на это ваш отец, моё дражайшее дитя? Вы уверены, что он вполне одобряет меня?» Глаза Данияла, которые были светло-голубыми, плясали, и Джали показалось, что в них должно быть какое-то качество Акбара, о котором он слышал как о «вибрирующем, словно море на солнце».

— Скажи мне, Али! — продолжал Принц, разворачиваясь на месте. — Скажи мне, что за мальчик этот твой маленький кузен? Он так же скромен, как выглядит, или будет попадать здесь в неприятности? При таких его больших карих глазах… Я бы не удивился…

Теперь он устремил на Джали полунасмешливый, полувопросительный взгляд, и разгадать стоящий за ним смысл было непросто. Манеры Данияла сбивали Джали с толку; если они быстро рассеяли его благоговение, то заняли его место особым беспокойством. Принц, чувствовал он, был чрезмерно манерен, а его элегантность была весьма далека от патрицианской. Но эти впечатления были мимолётны. Он был слишком смущен, чтобы цепляться за них, и впоследствии его занимала одна лишь приветливость Принца. В конце концов, здесь, в своём уединённом убежище, Даниялу вполне можно было позволить отбросить чопорность и формальности.

— Мне нужно кое-что тебе сказать, — произнёс Принц, вновь обращаясь к Али. — Твой отец освобождён, и я нисколько не удивлюсь, если он уже на обратном пути сюда. — Он сделал паузу и тихо рассмеялся. — Тебя это тревожит, мой дорогой? Не вижу причин, почему бы это могло тебя тревожить.

Али вспыхнул, но поспешил согласиться, и в следующее мгновение Даниял повернулся к картине, перед которой они стояли. Жадно, увлечённо он начал указывать на её достоинства, и Джали изо всех сил старался слушать то, что он говорит, хотя по правде говоря, его интересовал человек, а не картина. Как, недоумевал он, как вообще можно когда-нибудь узнать, о чём такой человек, как Принц, думает на самом деле? Единственное, в чём можно было быть уверенным — это в том, что у него в голове одновременно роится множество мыслей. Например, даже сейчас, пока он говорил и пока его пальцы выразительно парили над картиной, можно было видеть, как его глаза

блуждают по комнате. Его язык может быть занят одним делом, а глаза — другим, да и мозг при этом должно быть уделяет внимание ещё полудюжине дел.

Внезапно Даниял остановился, и его взгляд скользнул по Джали отсутствующе. — Посещайте Усладу Искусств сколько душе угодно, мой дорогой! Как друг Али вы были желанны и прежде, а теперь вы желанны сами по себе.

Это были его последние слова Джали; но перед уходом он наклонился к уху Али, чтобы прошептать нечто предназначенное только для него. Пока длилось это бормотание, его рука снова лежала на плечах мальчика, а затем, напоследок сжав их, он неспешной походкой удалился к ожидавшим его слугам. Эта встреча с Принцем имела непредвиденный результат. На следующий день Джали узнал, что стал получателем особого знака внимания: Принц пригласил его присутствовать на открытии большого деревянного театра, который был самым значительным зданием во всём Лагере. Случай должен был ознаменоваться первой постановкой бурлеска, сочинённого самим Принцем. Джали был изумлён, невероятно польщён и немало встревожен. Несколько неприятные элементы недавнего впечатления о Данияле полностью стёрлись из его памяти. Последние несколько недель он лелеял один тайный замысел, который теперь почувствовал побуждение осуществить. Он состоял в том, чтобы преподнести Принцу, сопроводив подобающим посвящением, небольшой сборник стихов, которые он недавно написал.

Промежуточные дни были лихорадочными от его предвкушений. С утра до ночи он был поглощён отделкой своих стихов и мечтами о великом событии. Если у него и были какие-то причины сомневаться в том, что пьеса будет обладать превосходными достоинствами, он полностью изгнал эту возможность из мыслей. Лишь когда день и час действительно настали, внезапный приступ нервозности овладел им. Поеживаясь, он занял своё место в большом зале среди Али и его друзей; яркий искусственный свет, душная ароматная атмосфера, цвет и блеск усыпанной драгоценностями толпы — всё это привело его в возбуждение, которое делалось мучительным из-за дурных предчувствий. Это было облегчением, когда огни погасли и пьеса началась. Помимо нескольких стихотворений и нескольких отрывков прозы, мир ещё не видел собственных произведений Принца; этот бурлеск выделялся как его самое амбициозное начинание.

Прошло десять минут; и тогда Джали отвёл глаза от сцены и с тревогой поднял их к лицу Али. Как чувствует себя Али? Он доволен? Неужели действительно все в порядке? Несомненно, да! Неподвижная самодовольная улыбка его друга была совершенно успокоительной. Хорошо! Со вздохом восстановленной уверенности он вновь обратил внимание на сцену.

Прошло ещё десять минут, и теперь он снова бросил взгляд на своего спутника. Он встретил ту же самодовольную улыбку на лице Али; да! Глаза Али оставались прикованы к сцене, а выражение его лица по-прежнему было одной застывшей и бессмысленной удовлетворённостью. Но на этот раз Джали остался недоволен; он нахмурился и с тревогой

принялся разглядывать других людей рядом с ним. Их выражения напоминали лицо Али; все они носили одну и ту же маску-улыбку. Но, сказал себе Джали, это ужасно! Это похоже на какой-то дурной сон. Стискивая зубы, он снова прислушался к пьесе; должно быть, в представлении есть нечто такое, чего он упускает, должен быть другой угол зрения, должна быть какая-то тонкая уловка интеллекта над самим собой, которая, будучи достигнута, представляла эту череду кажущихся пошлостей и нелепиц чем-то иным, чем-то совершенно другим.

Бедный Джали! Он ждал, он боролся; но всё было напрасно. Его случай был безнадёжен. Ему нельзя было ничем помочь. В этом большом сверкающем собрании избранных он был чужаком, он стоял жалко и приниженно в одиночестве. То, что казалось ему злорадным, безвкусным и претенциозным сверх всяких слов, — именно это встречалось другими со всяческими признаками веселья и удовольствия. Что же тогда стало с его верой в общий энтузиазм? Что стало с его убеждением в том, что он и эти люди связаны общим пониманием? Что стало с его великолепными идеями о юном и возрождённом искусстве? И, главное, что стало с Даниялом как с вождём?

Что ж, он ошибся! Но — какая огромная ошибка! Её масштаб настолько сбил его с толку, что в тот момент он мог чувствовать лишь чистейшее ошеломление. Впервые в жизни ему дано было увидеть всю ширь пропасти, которой может быть разделена наша человеческая природа в своей оценке того, что приятно и достойно восхищения в этом мире. Его опыт общения с женщинами во дворце Агры не послужил подготовкой, равно как и его общение с Гуневати. Женщины Дворца были воспитаны в иной условности, а что касается Гуневати, то она принадлежала к иному естественному порядку. Но здесь, в этом огромном зале, собрались вместе люди, которых его научили считать созданиями одного с ним рода — более того, он склонен был считать их высшими, избранными немногими, маленьким отрядом, которые, уже первенствуя в порядке мира, предпочитали отбросить гордыню ранга ради труда на открытом поприще искусства. Что всё это значило? Его недоумение было таким же простодушным, сколь и полным. Он был невинен в каком-либо намерении вынести нравственный или эстетический суд; в его осуждении того, что, казалось бы, достаточно хорошо для одобрения тех, кто должен разбираться лучше него, не было ни капли высокомерия, ни даже чрезмерной самоуверенности. Он просто откликался согласно закону собственной природы: другие желудки могут принять эту пищу, но его отверг её. Намерения Данияла — он прекрасно это видел — были сатирическими; но ему казалось, что личное высмеивание, обращённое юношами в положении Принца к тем, кто неприметен и лишён претензий, требовало, мягко говоря, гораздо большего чувства юмора и литературного мастерства, чем было в распоряжении Данияла. А когда, с другой стороны, Принц брал в качестве мишеней знаменитых персонажей религиозной истории, выступала обратная, но столь же неудачная несоразмерность между сатириком и его жертвами. Объекты насмешек Данияла тогда, поистине, казались совершенно недоступными для него; они возвышались над ним подобно Колоссам, высеченным в лике скалы; любая его попытка умалить их могла привести к ущербу разве что для него самого.

Если бы представление было специально задумано для того, чтобы доказать юному почитателю Принца, что он был сущим дураком, его едва ли можно было бы улучшить; и по мере того как представление тянулось, он всё больше и больше страдал, в частности от чувства унижения. И всё же почему, спрашивал он себя, почему он должен краснеть, пылать и потеть в такой печи стыда, когда он никоим образом не несёт ответственности за то, что видит или слышит? Наконец он прибег к уловке: крепко зажмурился и принялся повторять про себя стихи или решать в уме арифметические задачи.

Представление закончилось наконец, и он вывалился вслед за Али, слишком обессиленный духом, чтобы заботиться о том, что думает его двоюродный брат или что ожидают услышать от него самого. Сопровождаемый Али, он уныло брел вниз по празднично украшенной флагами улице, сардонически безразлично ожидая неизбежного потока похвал. Он отделался легче, чем ожидал. Али по натуре был осторожен. Подозрение, что пьеса оказалась несколько ниже общих ожиданий, закралось ему в голову, и он решил придержать язык до тех пор, пока не будет вынесен вердикт Лагеря. Поэтому на данный момент он ограничился игривыми замечаниями по второстепенным поводам. Заметил ли это Джали? Оценил ли он это? Разве он время от времени не бывал более чем слегка скандализован? В самом деле, порой Даниял был ужасен! Когда он давал волю своему восхитительному легкомыслию, никогда нельзя было предугадать, что может сорваться у него с языка! Но в одном всегда можно было быть уверенным: ничто из сказанного им не могло выйти таким, что не искупалось остроумием, свирепой иронией, едкой сатирой.

К этому моменту они достигли берега озера, и Джали отчаянно оглядывался в поисках своей лодки. Она была близко, и гребцы направляли её к ним; но должно было пройти ещё несколько минут, прежде чем она сможет достичь пристани. Как во сне, он слышал самодовольный голос Али, продолжавшего говорить. Пьеса, считал Али, была отнюдь не пищей для младенцев. Это определённо была пища для крепких мужей. Но ведь Даниял знал, что обращается к избранной аудитории. «Что ты думаешь о его Лакшми?» — внезапно спросил он.

«Лакшми?»

«Да. Девушка, которая играла Лакшми в последних сценах. Видел ли ты когда-нибудь более чудесную фигуру?»

Теперь он держался как светский человек, и Джали знал подобающий, скромный ответ. Он признал, что фигура Лакшми показалась ему очень хорошей.

— Долгое время, — продолжал Али, — Даниял не мог никого найти подходящего на эту роль. Лицо и фигура, видишь ли, должны были быть совершенными — абсолютно совершенными. И тут совершенно неожиданно появилась эта девушка, Гуневати. Это была большая удача.

Джали резко подался назад; ему показалось, будто Али нанес ему удар под дых.

— Гуневати, ты сказал? Ты сказал, её зовут Гуневати?

— Да, Гуневати.

Джали молчал несколько мгновений; он отворачивал лицо; затем — «Гуневати — распространенное имя», — пробормотал он. — Откуда… откуда, ты сказал, родом эта девушка?

Али пожал плечами. «Одному небу известно!»

— А какая она?

— Какая? — Ну, ты мог видеть сам.

Джали слабо простонал. — Она ведь не говорила, правда? Я не слышал её голоса.

Его спутник уставился на него с нетерпением.

— Естественно. У неё не было говорящей роли. Я говорю о девушке, которую внесли нагую на золотом листе лотоса. Думаю, ты, должно быть, спал.

У Джала не было ответа. Лодка подплыла, и его единственным желанием было бежать. Торопливо попрощавшись со своим спутником, он занял место на корме. Снова стоял безветренный вечер, озеро было гладким, как стекло; и пока двое его людей налегали на весла, он смотрел назад, не сводя глаз с удаляющегося берега.

Вдруг он вскочил на ноги и чуть не перевалился за борт; он велел гребцам остановиться.

— Я хочу, чтобы вы отвезли меня обратно, — выдавил он сдавленным голосом. — Мне кажется, я забыл кое-что.

Лодка вернулась, и он спрыгнул на пристань. — Ждите меня здесь, — сказал он. — Я ненадолго.

XV

Это была она: ошибки быть не могло. Через несколько мгновений после того, как он достиг двери в задней части театра, она вышла наружу, и ему пришлось поспешно спрятаться среди праздной толпы. При виде её по всем его конечностям пробежала дрожь; он выглядывал из-за плеч мужчин, затем отступал назад, а затем снова выглядывал. Во имя Господа, что означало её присутствие здесь? Он был ошеломлен, чувствуя себя лицом к лицу с действием какой-то сверхъестественной и злой силы.

Она ушла со своими друзьями, весело болтая на ходу. Он следил за ними глазами вниз по улице, пока они не скрылись из виду. Толпа расходилась, и он с усилием стряхнул с себя

оцепенение. Украдкой, задворками, он поспешил обратно к берегу озера. То, что происходило с ним в тот день, казалось, не имело отношения к реальной жизни; на одном уровне его ум был начеку, и всё же он также пребывал во сне.

Над водой, по которой он вскоре скользил, царило чудесное сияние и безмятежность, и это напомнило ему вечер, когда его впервые везли на лодке домой из лагеря Данияла. Маленькие фонари на сумеречном берегу светились теми же оттенками оранжевого, фиолетового и зеленого; воздух был таким же мягким; и уключины издавали такой же монотонный скрип, когда двое гребцов склонялись к веслам. Вскоре, как и прежде, над водой поплыли звуки музыки; и тот вечер и этот еще теснее смешались в его изумленных мыслях. Тайна времени и человеческих судеб сокрушила его.

Но под покровом этой мечтательности его разум, вне всякого сомнения, стал сценой великой деятельности. Подобно тому, как временное угасание огней в театре скрывает быструю смену декораций на сцене, так, следует полагать, нынешняя мечтательность служила своей цели. В его ментальном пейзаже должна была произойти перемена; ему нужно было приспособиться к новому представлению о принце Данияле и его Лагере. Пока его глаза всё ещё рассеянно покоились на озере, пока части его разума парили отдельно в мягком вечернем воздухе, позади его сознания прошла процессия тревожных образов. Али и его самодовольные молодые друзья, Даниял и его гладкая изысканная публика, леди Джагашри, а теперь и Гуневати — какая странная собралась компания! Каким законом их свело вместе? Они должны были, воображал он, иметь что-то общее, помимо того, что все до единого были, по его мнению, отвратительны. Снова и снова, в полном замешательстве, его разум возвращался к видению Гуневати. Если она прибавила в загадочности, то и Лагерь нисколько не уступил.

Его лодка коснулась противоположного берега; автоматически он спрыгнул на землю и зашагал вверх к дому. Небо теперь было звездным, земля совсем темной, и выпавшая роса принесла в воздух прохладу. Внезапно его осенило, что с самого прибытия в Рави он жил в состоянии глупого опьянения, и что сейчас он хотя бы возвращается к реальности. Но почему реальность должна быть такой тусклой, почему она должна навевать такой холод? И почему он обязан к ней возвращаться? Разве нет способа поддерживать себя во снах? Вспышка памяти вернула его к часам безумия в ночь отравления Гокала, к тем странным часам, когда он был пьян синим лунным светом и фантастическими идеями мести. Но нет! он знал, конечно, что невозможно постоянно поддерживать свое безумие.

Он вздохнул и, остановившись на мгновение на тропинке, долго и пристально смотрел на желтые огни дома, светившие на него сквозь садовые деревья. Стоя там, он пережил очередную перемену сердца. Его любовь, его истинное уважение к людям на этом берегу озера казались ему чем-то надежным и достойным восхищения посреди всех зыбучих песков мира. Зачем ему вообще снова посещать Лагерь? Зачем вообще? Лагерь был ему омерзителен; он откажется от него, он похоронит свои воспоминания о нём, точно так же, как похоронил свои воспоминания о Кханжо. Но прежде чем эта мысль успела

окончательно завладеть его рассудком, он обернулся и бросил взгляд назад через воду. Огни дальнего берега мерцали за тонкой пеленой тумана, и пока он смотрел на них, голос тайного знания сказал ему, что он непременно вернется. Страх схватил его за сердце; он почувствовал, что его принуждают.

В течение следующих двух или трех дней он вообще не выходил к воде, и в течение этого периода его неопределенность и нерешительность не давали ему ни минуты покоя. Если ему придется вернуться, где он найдет терпение, чтобы выносить Али, или страдать от пренебрежения рани Джагашри? А если — если у него действительно было намерение разыскать Гуневати — где, ради всего святого, он найдет мужество для этого испытания? Если это называется уступкой искушению, каким непривлекательным может быть искушение! Чем больше он размышлял, тем меньше понимал себя; ибо его не удовлетворяло объяснение всего инстинктом любопытства. Что такое любопытство? Не есть ли оно сама энергия мысли? Не является ли оно даже самой энергией жизни? Любопытны даже животные; а возможно, и растения тоже. Несомненно, если человек полностью утратит любопытство, он очень скоро увянет и умрет.

К этому времени он был готов признаться самому себе, что сильнее всего его влекло в Лагерь желание разгадать тайну появления там Гуневати. И он также рассуждал, что это любопытство не было праздным, поскольку его долгом было изучить нынешнее расположение девушки и выяснить, способна ли она натворить бед своим языком. Поскольку она имела возможность причинить вред как Гокалу, так и Хари, очень хотелось надеяться, что её благотворное уважение к Мабун Дасу сохранилось.

Эта цепочка рассуждений, с помощью которой он пытался оправдать себя, однако, не слишком хорошо достигала своей цели, ибо неизбежно наводила на другую, более действенную линию поведения. Почему бы ему не сделать признание своему дяде Хари? Тот только что вернулся; и его присутствие в доме заставляло Джали еще больше ненавидеть участие в заговоре молчания с Али. До сих пор он изо всех сил старался оправдать себя в собственных глазах, лелея личную обиду на дядю. Никогда прежде Хари не развивал предложение о дружбе, которое казалось подразумеваемым в его поведении в первую ночь в Агре: Хари проявил небрежность и безразличие. Кроме того, существовал вопрос об отношениях Хари с его матерью: это воздвигало прежний барьер.

Но разве, спрашивал он себя теперь, разве не будет очень неправильно оставить Хари в неведении относительно присутствия Гуневати в Лагере? Он задавал себе этот вопрос снова и снова; но всегда уклонялся от прямого ответа. Если он осознавал, что не является судьей ситуации, то понимал также, что непрактично рассказать Хари часть вместо всей своей истории; так что фактически первый слог его признания будет столь же критичным и знаменательным, как сорвавшийся камешек, вызывающий лавину. В глубине души он подозревал, что утаиваемая им информация может иметь очень широкие последствия; но этим подозрением он собирался пренебречь. «Общественные» или «политические» дела его не касались; он их не понимал. Для него вопрос заключался просто в отношениях между

ним самим и его близкими, в вопросе личных связей. Обязан ли он по долгу открыть глаза Хари и его родителям на факты и обстоятельства, за которые они сами не могут не нести ответственности?

В Кханжо в его сознании постепенно сформировалась мысль о том, что люди, все до единого, живут в вымышленных мирах, которые они устраивают для собственного удобства. (С тех пор он увидел подтверждение этой истины в самом себе; ведь разве он сам все эти прошлые недели не обманывался насчет здоровья Гокала? Разве он убедил себя, что Гокол каждый день набирается сил, тогда как в действительности он совсем не шел на поправку?) Это выглядело так: подобно тому, как прожилки на мраморной плите в вашей ванной комнате могли годами казаться вам изображением всадника, а затем однажды вдруг предстать просто стаей птиц в полете; точно так же любой день внутри вас могло произойти нечто (или легкий толчок мог прийти извне), что полностью изменит ваш взгляд на всё ваше положение в мире. И когда это случалось, вашим долгом было изучить новый узор, а не поспешно гнать его из ума. Что ж, никто из людей, которых он знал, никогда не казался готовым поступить подобным образом. Его отец и мать, Хари, Гокол — он видел, что все они живут с шорами на глазах, и это зрелище привело его, в конце концов, в состояние холодного, презрительного бешенства. Пусть грянет беда! — сказал он теперь. Те, кто выбирает удовольствия неведения, должны принять и его опасности.

Именно в таком духе он наконец принял решение не признаваться. Вместо этого он вернется в Лагерь и будет следить, насколько сможет. Неужели он ничему не научился со времен Кханжо? Наверняка теперь он не уступит Гуневати.

Это было тщеславное настроение, но когда он вспомнил о своих прежних обетах заставить Гуневати заплатить за свое беззаконие, стыд пронзил его до глубины души. Он осознал, что его гнев утратил свою действенную силу; теперь он смотрел на неё с удивлением и отвращением, но бесстрастно. Она, Али, Джагашри и другие преподали ему урок, что люди — это не то, чем они кажутся поначалу; ошибкой было считать, что ими естественно руководят разум и добрая воля. Нет, нет! они были непредсказуемы; на самом деле они были чудовищами. Но — можно ли честно сказать, что в том, чтобы быть чудовищем, нет ничего довольно-таки прекрасного? Даже у славных людей наверняка есть чудовищная сторона, о которой они не знают. И возможно — эта мысль внезапно пришла ему в голову — возможно, каждое из этих чудовищ, даже Гуневати, считает себя доброжелательным, разумным существом и изумляется чудовищности других. Весьма вероятно, что он, Джали, числился в чьем-то представлении настоящим чудовищем!

К своему удивлению, он начал обнаруживать в себе жилку восхищения чудовищностью Гуневати. Беспричинность её злодеяний придавала им некое великолепие. И большинство её способов мышления и чувствования можно было бы увидеть — теми, у кого есть глаз на такие диковины — отмеченными подобной же мрачной исключительностью. Она была интересна той занимательностью, которой непременно должно было недоставать его собственному типу, типу, управляемому нравственной брезгливостью, чувствительностью,

великодушием. С сожалением он признал это, и его чувство верности своему виду, хотя и не уменьшилось, слегка померкло.

Было любопытно, что пока его намерение разыскать Гуневати постепенно крепло, он не делал никаких попыток подготовиться к самому событию. Иногда, действительно, в своих грезах он вызывал картины встречи, но они всегда были до нелепости фантастическими. Он воображал, как отчитывает девушку с таким жаром, что она наконец, смиренная и раскаявшаяся, бросается на землю к его ногам. Лишь очень редко ему приходило на ум, какой веселой и безмятежной она выглядела на самом деле, когда выходила из двери театра.

Он решил, что его первым шагом, должно быть, будут поиски Али, хотя, к сожалению, было маловероятно, что Али будет хорошо информирован. Когда Али проявлял интерес к женщине, это было не из-за ее красоты; и когда он выражал восхищение красотой женщины, на самом деле он думал о ее социальном положении. У него был глаз на самые незаметные прелести, когда их подчеркивали положение в обществе и мода; но к красоте без украшений он был на редкость равнодушен.

Соответственно, Джали отправился искать своего друга на озере со значительной долей предвосхищающей неудовлетворенности; к тому же он понимал, что Али будет переполнен разговорами о пьесе Принца. Он оказался прав; но ему следовало бы посчитать за милость, что от него самого не требовали впадать в экстаз. По сути дела, скверность пьесы (совершенно независимо от её вульгарности) была настолько вопиющей, чтобы поставить Лагерь в затруднительное положение, и его обитатели находили выход из положения, уверяя друг друга, что, несмотря на отсутствие отделки, которую придала бы ей рука опытного драматурга, её чистое сияние всё искупает. Али прилагал все усилия, чтобы пояснить это; и, подумал Джали, никогда в жизни он еще не был так многословен и скучен. Все его попытки перевести разговор на Гуневати были тщетны; Али неизменно отделывался от неё какой-нибудь краткой, высокомерной шуткой. Соблазн бросить нечто такое, что выведет спутника из его нудного русла, был велик; но здравый смысл едва-едва взял верх.

Около часа они плавали по озеру туда-сюда, причем Джали становился всё более и более нетерпеливым. Он предложил бы высадиться в Лагере, если бы видел, как именно там он собирается стряхнуть с себя Али. Несомненно, мудрее было бы подождать до следующего дня, когда он сможет посетить Лагерь в одиночку. Он всё ещё колебался, когда решение приняли за него: Али заявил, что ветер слишком слаб, чтобы сделать плавание забавным, и что им вполне можно сойти на берег. Так они сошли на берег, и вскоре Джали обнаружил, что прогуливается рядом с Али, совершенно не представляя, что делать дальше. На самом деле его охватил своего рода ментальный паралич, лишивший его всякой способности к связному мышлению. Однако машинально он направлял своего спутника в западную часть Лагеря, где скорее всего можно было найти Гуневати. Старательный Али продолжал разглагольствовать о пьесе Данияла; очевидно, он твердо

вознамерился дать понять своему молодому кузену (хотя и не мог сказать этого прямо), что почитатели Принца вовсе не были разочарованы.

К этому времени состояние нервов Джали было таково, что всякий раз, когда до него доходил смысл речи Али, он не мог удержаться от того, чтобы не скрежетать зубами. Его предчувствие того, что вот-вот произойдет встреча с Гуневати, становилось всё более и более непреодолимым с каждым его шагом; да он и не был слеп в отношении желательности сказать что-нибудь, чтобы подготовить спутника к происшествию. Наконец ему удалось выговорить со страшной бойкостью: «Интересно, не столкнемся ли мы с той девушкой, Гуневати; я как-то встречал её один или два раза раньше. На самом деле я — я…» На этом месте слова изменили ему; но это не имело значения, потому что Али не слушал. То ли его голос был слишком слаб и неуверен, то ли Али был слишком поглощен своей темой; во всяком случае, его жалкие фразы остались неуслышанными.

Прогулка привела их к окраинам Лагеря. Слева сверкало и рябило озеро, над головой ярко светило солнце; бунгало располагались среди ольхи и ив, кое-где виднелись чайные сады, в которых веселилась жизнерадостная молодежь обоего пола, которая помогала местным артистам устраивать представления. Здесь — Джали был в этом уверен! — вскоре будет найдена Гуневати. Его глаза дико блуждали по сторонам: вон то розовое платье — она ли это? Нет! — но как насчет этой другой девушки под деревом? или той, стоящей спиной? «Возможно, — подумал он, — я увижу её прежде, чем она увидит меня, и тогда у меня еще будет время свернуть в сторону и спастись бегством. Но почему — зачем я вообще сюда пришел? И что мне, ради всего святого, делать с этим проклятым Али?»

Его осознание собственной глупости углублялось, пока наконец не наступил ожидаемый удар. В конце концов среди этого скопления незнакомых лиц появилось лицо, которое он знал. Более того, преимущество было на стороне Гуневати: она первой увидела и узнала его. Теперь — можно ли было в это поверить? — она действительно посылала ему самые дружеские сигналы. Она улыбалась, она вскочила на ноги! Это полное отсутствие смущения с её стороны лишило его последних остатков самообладания; с этого момента он был существом в оцепенении. Как во сне, он увидел, как Гуневати оставляет двух девушек, между которыми сидела, и бежит через чайный сад туда, где стояли он и Али. А в следующий момент он уже отвечал — конечно, сконфуженно, но тем не менее вполне дружелюбно — на её приветствия, которые были приветствиями старого друга. Неискренности в ней тоже не было; мало того, что в ней не было ни малейшего следа угрызений совести, но радость при виде его была очевидно неподдельной. Он настолько растерялся, что на несколько мгновений даже забыл о том факте, что рядом с ним стоит Али; именно Гуневати напомнила ему об этом, бросив завлекающие взгляды в сторону молодого человека. Торопливо пробормотав представление, он заметил при этом, что его кузен отнюдь не меньше поражен, чем он ожидал. Али, собственно говоря, стоял окаменев и вытаращив глаза, его свежий цвет лица заливала яркая краска.

События развивались стремительно. Прежде чем они с Али успели осознать, что делают, не говоря уже о том, чтобы возразить, их включили в чаепитие под деревьями. Они сидели на циновках, разложенных на коротко подстриженной траве, перед ними стояли маленькие фарфоровые чашечки, а в ушах жужжал щебет трех молодых девушек. Джали смотрел на Гуневати, пораженный изумлением; и чем дольше он смотрел на неё, тем сильнее было его остолбенение. Никогда прежде он не видел её такой оживленной, полной радости здоровья и жизни. В этом не было никакого притворства; да ему и не нужно было задаваться вопросом о теплоте её приема; она была счастлива, а следовательно, готова — из-за избытка самодовольства — оказать любому знакомому лицу столь же радостный прием.

Пока она и её спутницы, занятые чайными принадлежностями, заняты игрой в то, чтобы быть как можно более очаровательными, Джали сумел немного прийти в себя, и с ужасом обозрел масштаб утраченной им территории. Его подготовленные позиции (если они у него вообще когда-либо были) исчезли безвозвратно. И это случилось без всякой борьбы с его стороны! Каким бы ни был надлежащий тон в общении с Гуневати, он никогда, никогда не сможет принять его после этого. Уставившись на неё, он не мог не спросить себя, действительно ли ситуация такова, какой он её считает; разве невозможно, что Гуневати невиновна? Разве отравление Гокала не могло оказаться случайным?

Эти сомнения были мимолетными; он не мог их не отбросить. Разве само по себе не показательно, что девушка не задала ни единого вопроса о Гокале? Ни одного упоминания о прошлом не слетело с её губ. Она даже не спросила его о нем самом; из этого он заключил, что ей уже всё известно; она прекрасно знала, что он, его семья и Гокол теперь живут вместе на другом берегу озера. Довольно странно также, что она, казалось, знает всё об Али, хотя никогда раньше с ним не встречалась. Она и две девушки с ней с самого начала проявили к нему несомненный интерес; их манера обращения с ним показывала, что они в восторге от знакомства с ним. Неужели Али должен был почувствовать себя польщенным? неужели это должно было придать ему непринужденности? Но этого не произошло. Али, этот светский человек, делал прискорбно очевидным тот факт, что он совершенно не в своей стихии. Он был неловок, он оставался — даже после того, как прошел его первый испуг — непомерно скованным и неуютно себя чувствующим. Уж не в ужасе ли он от мысли, что кто-нибудь из его блестящих друзей увидит его в этой компании? Это едва ли казалось вероятным, ибо блестящие люди не забредали сюда. Нет, похоже, он просто страдал от застенчивости — и страдал чрезмерно, поскольку еще не осмеливался посмотреть в лицо своей любезной хозяйке. Это было плохо; ведь если Али вскоре не удастся стать более довольным собой, возникнет стойкая вражда. Следовательно, необходимо было сделать всё возможное, чтобы помочь ему выглядеть лучше; и Джали старался это сделать; но, без сомнения, он действовал неуклюже, и, без сомнения, унижение и гнев делали Али необычайно проницательным; во всяком случае, он вскоре понял, что затевает его молодой кузен, и вследствие этого стал более стеснительным и более озлобленным.

С этого момента Джали был полностью поглощен своим беспокойством об Али; а это беспокойство переросло в нервную боязнь последствий, которые могли возникнуть из-за того, что он свел вместе Али и Гуневати. По правде говоря, было крайне маловероятно, что Али попытается улучшить знакомство с особой социального положения Гуневати; но сама Гуневати вполне могла взять инициативу в свои руки; а разве Али — тот человек, который может устоять перед настойчивыми льстивыми уговорами?

Несчастный и сбитый с толку, Джали теперь потерял дар речи. В состоянии беспомощного пассивного созерцания он продолжал сидеть на своем месте, пока легкий быстрый щебет трех девушек перелетал взад и вперед над его головой и головой Али. А затем, внезапно, почти так же неожиданно и приводя в замешательство, как это началось, чаепитие подошло к концу. Всё в одно мгновение превратилось в суматоху и смятение. С криками ужаса девушки вспомнили, что им нужно присутствовать на репетиции. Да, именно! и тогда, когда сам Даниял будет там, они забыли об этом! и теперь они опоздают! Так что началась давка, вихрь цветастого муслина, и прежде чем двое гостей успели в полной мере осознать, в чем дело, они оказались одни.

За этим последовала самая некомфортная тишина. Пока они собирались уходить сами, Джали стоило больших усилий не казаться сконфуженным, а Али явно боролся за восстановление своих привычных манер, которые так его покинули. Его разговор тем временем отличался самой зловеще-вежливой учтивостью; это заставило Джали увериться, что рано или поздно ему придется испытать на себе всю тяжесть накопившегося гнева Али. Прежде чем проститься с ним на пристани, он не удержался от того, чтобы пробормотать несколько слов в свое оправдание и извинение. Это была ошибка. Брови Али потемнели от хмурого взгляда, тем не менее он поспешил заявить, что их маленькое приключение развлекло его сверх всякой меры. О, он бы ни за что на свете не пропустил его!

XVI

Это был встревоженный и обескураженный Джали, который снова ступил в лодку. Но как только он вновь остался наедине с собой и смог взглянуть на вещи более здраво, преобладающим его чувством стало негодование. Черствость и легкомыслие, которые Гуневати демонстрировала на каждом шагу, вызывали у него безмерное отвращение. На обратном пути через озеро его охватила такая горькая ярость, что горячие слезы навернулись ему на глаза. Ни разу Гуневати не подала знака — ни взглядом, ни молчанием — что её порочность тяготит её совесть. Неужели ей недостает даже простого любопытства насчет Гогала? Неужели она не желает получить о нем прямых вестей? Он тщетно перебирал свою память в поисках хоть единого признака того, что она ждет какой-нибудь будущей возможности поговорить с ним наедине. В ее манерах ничто на это не намекало; напротив, он совершенно отчетливо получил впечатление, что ее дружелюбие

обусловлено его согласием предать прошлое забвению. А он со своей стороны, казалось, принял эти условия — да, и без возражений! Негодование по поводу собственной покорности смешалось с его ненавистью к ней, и в сердце его вновь вспыхнуло желание наказать ее.

И все же, когда он спросил себя, как при сложившихся обстоятельствах он мог бы повести себя иначе, ответа не последовало. И дальнейшие размышления тоже оказались бесполезны; их единственным результатом было то, что они охладили его ярость до тлеющей горечи. Он не мог не видеть черствости и легкомыслия Гуневати как естественного следствия её бьющего через край здоровья и счастья. Такова была её натура; таково было устройство её нравственной сущности. И может ли он, положа руку на сердце, считать её в этом отношении очень исключительной? Если здоровье и счастье обычно порождают равнодушие к другим, это печально; но этим качествам присуща замечательная способность самооправдания, как бы они ни проявлялись. Таким образом, хотя он и чувствовал себя оскорбленным, он также осознавал некий предел. Он не мог позволить своему моральному негодованию всю ту свободу и полноту, которых оно жаждало, и результатом стал спуск к более трезвым раздумьям.

Оценивая свои недавние поступки, он вынужден был признать, что они лишь добавили ему недоумений. Если в своих глупых грезах он когда-либо лелеял мысль, что сможет внушить Гуневати некоторое понимание её неправоты, эта иллюзия получила смертельный удар; да и вряд ли казалось вероятным, что надзор и стража, которые он собирался учредить над ней, окажутся очень действенными. Лагерь уже произвел в ней значительную перемену. Чтобы описать эту перемену поверхностно, можно сказать, что она переняла лагерные манеры. И эти манеры, дешевая показушность которых не слишком бросалась в глаза тем, кому они были свойственны от природы, проявились во всем своем худшем виде именно в Гуневати и ее подругах. Никакая неловкость или скованность не могли быть менее привлекательными, чем та веселая непосредственность, которой три девушки на чаепитии так гордились и которую выставляли напоказ. Насколько лучше, размышлял он, не иметь самоуверенности, чем обладать ею без достаточных на то оснований! Со своими новыми ужимками Гуневати бессознательно пародировала аффектации светских людей, и, к удивлению Джали, он обнаружил, что такие, казалось бы, непохожие друг на друга люди, как его добродетельная тетушка Амбисса и ветреная рани Джагашри, сошлись в поле его зрения как существа духовно родственные. Подражая своим социальным вышестоящим, Гуневати выдавала их гораздо более губительно, чем саму себя.

К тому же вместе с новой манерой и новой уверенностью она усвоила налет искушенности; и было видно, что она очень довольна собой из-за этого. Пары лагеря ударили ей в голову, как вино, и Джали становилось жарко от стыда, когда он вспоминал, как недавно сам находился в таком же положении. Слава Богу, теперь он достаточно трезв! Да будет Небо свидетелем, что это безумие осталось позади.

Что ж! Видя, что дальнейшие визиты в лагерь не сулят ему ни выгоды, ни удовольствия, разве не разумно было бы перестать туда ходить? К несчастью, ответом на это было то, что его любопытство было слишком сильным, чтобы оставить ему выбор; он вернется, потому что должен.

Когда он отправился в следующий раз, то сделал это с твердым намерением избегать кузена любой ценой; и соответственно приказал гребцам взять окольный путь через озеро и высадить его на самом дальнем причале, отличном от того, которым обычно пользовался Али. Думая об Али, вызывая в воображении картину твердых глаз этого молодого человека, его четко очерченных губ и общего вида скромного самоуважения, он испытывал неконтролируемый всплеск раздражения и презрения. Его нервы в тот день были натянуты до предела; он знал это; он настроился на разговор с Гуневати и был полон решимости взвешивать каждое свое слово. Но уверенности в себе у него не было. В прошлом он всегда вел себя плохо; есть ли вероятность, что сейчас он поведет себя лучше? Он уже слабовольно позволил ей определить те условия, на которых им предстояло встречаться. Истина заключалась в том, что у него не было способности управляться с Гуневати, или с Али, или с кем-либо еще; с миром нужно было сражаться его собственным оружием, а его пока не было в арсенале.

Погруженный в мрачные мысли, он вышел из лодки на пирс и, подняв отсутствующий взгляд, увидел Али, который стоял, прислонившись к столбу, и смотрел на него с легкой улыбкой. Выбора не оставалось, кроме как подойти, после чего Али тут же поинтересовался, что заставило его выбрать именно этот причал. Встреча оказалась неудачной, да и такое начало ничего хорошего не предвещало. Казалось, Али уже составил себе мнение, он зашагал в ногу рядом со своим молодым двоюродным братом, и они не успели пройти вместе и нескольких ярдов, как завязался бой. Он выбрал темой «тех твоих друзей из чайной», и вскоре показал, что приготовил множество пренебрежительных слов. Презрительное веселье кривило его губы, когда он говорил, и он тщательно выбирал слова. Дружба с такими «жалкими, простыми созданиями», утверждал он, означает определенный недостаток вкуса; но нет сомнений, что для некоторых людей вполне естественно быть менее привередливыми, чем другие. То, что беспокоило его больше всего, — это крайняя молодость и неопытность Джали; несомненно, тот кичился тем, что является чрезвычайно рано развившимся молодым распутником, но в глазах Али он выглядел просто дураком. Какого черта он завел эти плачевные знакомства? Или, если выразиться немного иначе, где именно Гуневати подобрала его?

— Я встретил ее в Агре!

— Во дворце Агры? Полагаю, она состояла на службе у одной из тамошних дам?

Джали опустил глаза и промолчал; он надеялся, что его молчание сойдет за согласие. Но спутник был настроен подозрительно.

— Предупреждаю тебя, — властно сказал он, — тебе лучше ответить мне.

— Вот как? Почему же?

— Потому что, если ты не выложишь все начистоту, мне придется принять меры...

При этих словах Джали рассмеялся; и останься он этим доволен, все могло бы быть хорошо: какие «меры» мог предпринять Али? Но он кипел от ярости, а любопытство Али предоставило ему шанс. Он принялся дразнить своего вопрошателя намеками и частичными признаниями, а затем, увидев, что ничто не может разозлить того сильнее голой правды, насмешливо посмотрел Али в лицо и сделал бесстыдное признание.

Результат превзошел его ожидания. Али ахнул и застыл. С минуту или две они шли дальше вместе в полном молчании, после чего Джали начал нервничать. Украдкой взглянув вверх, он заметил, что лицо Али побледнело, очень побледнело; его глаза моргали, губы дрожали, вообще весь его вид наводил на мысль, что он вот-вот впадет в какой-то припадок. При этом на Джали напало смятение; сила чувств его спутника совершенно сбила его с толку; они были необычайны, ненормальны по сути дела. Он чувствовал, что они выдают многое — но что именно? Он не мог себе представить.

Наконец хриплым голосом Али возобновил речь, и теперь события развивались с большой быстротой. Произошел обмен оскорблениями в обычном школьном стиле, кульминация была достигнута, когда Джали в ответ на нечто особенно обидное заявил, что всегда, с самого начала, считал Али педантом, снобом и занудой.

На этом они расстались. Кулак Али был крепко сжат для удара, но остаточное и, возможно, ошибочное почтение к приличиям удержало его, так что он лишь круто развернулся на каблуках и ушел прочь. Джали двинулся в другом направлении; он был бледен и дрожал, но при этом странно воодушевлен.

Пройдя несколько минут куда глаза глядят, он остановился в тени небольшого открытого павильона, выходящего фасадом на озеро. Едва он успел сесть, как позади невдалеке грянула музыка — оркестр музыкантов заиграл бодрый мотив. Эти звуки были ему весьма неприятны, но он остался сидеть на месте. По правде говоря, в Увеселительном саду Искусств было совсем нелегко укрыться от звуков музыки, равно как, в определенные дни, нельзя было спастись от сладковатого, приторного запаха, висевшего над всем местом. Этот запах шел от болота, поверх которого было возведено шаткое сооружение Лагеря. И запах, и музыка сейчас воспринимались чувствами Джали, и едва ли менее неприятным для него был блеск, отбрасываемый солнечным озером. Но эти мелкие физические неудобства замечались им лишь как преувеличения той широкой душевной неловкости, которой он был охвачен. Ему казалось, пока он сидел там, что Лагерь, беря в целом, — это место кричащего кошмара. И тот факт, что он не производил впечатления ужасающего, делал его еще хуже. Он еще не был готов сказать, что тот так же ужасен, как Кханжо, но — что ж, с Лагерем еще не покончено; и кто знает?

Краткое воодушевление от схватки полностью покинуло его, и вскоре он погрузился в мучительные попытки придать форму своим бесформенным страхам. Без сомнения, он нажил себе в лице Али злейшего врага, и было неприятно вспоминать ярость Али. Эта ярость казалась прямо-таки маниакальной по своей силе. Она открыла нечто темное и непостижимое. До сих пор он в своем тщеславии воображал, что читает Али как открытую книгу, но теперь увидел, что Али присоединяется к Гуневати в рядах тех, кого он называл «чудовищами».

А затем его мысли обратились к другим, кто знал — к рани Джагашри и тем странным молодым друзьям Али, у которых, казалось, не было никакого гнета жизни за плечами, никаких размышлений, никаких амбиций, никакого рвения какого-либо рода (если только нельзя считать рвением их одержимость Искусством, которое скорее подразумевалось, чем выражалось в изящной беспечности их жизни) — никто из этих людей ничего не делал для того, чтобы искупить сообщество или хотя бы сделать его более понятным в его глазах. Когда он посмотрел через озеро на дом своего деда, им овладело страстное желание убежать обратно туда. Безопасность и добродетель лежали там. Но он не мог, казалось ему, обнять добро всем сердцем — нет, еще не сейчас! Он должен сначала вкусить иного опыта, чтобы, когда он отвергнет мир, это произошло с презрением, рожденным полным знанием и компетентностью. Прежде чем обнять добро, он должен быть уверен, что делает это с позиции знания и силы. Или это придирки? Если он был прав в своем нынешнем пути, почему же он испытывает такой стыд? Когда он оглядывался на свое общение с Али, его захлестывала волна унижения. Его связь с Али и Лагерем уже казалась ему более постыдной, чем его связь с Гуневати и Муджаттой. Почему так? Он не мог этого понять.

Нет, не совсем! Но, исследуя свое сердце, он осознал кое-что еще. Именно его собственное ощущение греховности Лагеря привязывало его к нему. Его тянуло сюда, чтобы наблюдать, обходить стороной и даже умилостивлять те злые силы, которые иначе могли бы причинить ему вред. В этом заключалась суть его нынешней заботы найти Гуневати и выяснить состояние ее чувств к нему и его друзьям. Недавняя ссора с Али обострила эту тревогу; им действительно владел нелепый страх обнаружить, что Гуневати и Али уже вместе; и именно укол этого страха заставил его сейчас подняться и начать поспешно шагать в сторону чайной. Когда с некоторого расстояния он разглядел девушку, сидящую в одиночестве под цветущей акацией все в том же месте, он испытал прилив облегчения.

Но как она примет его теперь, когда он один? Он снова почувствовал огромное облегчение, когда она приветствовала его дружелюбной улыбкой. Однако вскоре он уловил настороженный блеск в ее глазах, и это заставило его быть очень осмотрительным как в манерах, так и в словах. Его осторожность была вознаграждена, ибо, оценив его отношение, она взяла инициативу на себя.

— Полагаю, ты ждешь услышать, что случилось со мной после... ну, после того, как я покинула Кханжо?

Джали пробормотал согласие.

Ее лицо, пока она смотрела ему прямо в глаза, показало, что она заранее решила, какую линию поведения избрать. — Я вижу, ты все так же любопытен! — И она беззаботно рассмеялась. — Но я не против рассказать тебе об этом. Почему бы нет?

На мгновение она замолчала, поджав губы; затем внезапно, нервно обвела взглядом все вокруг. Этот взгляд напомнил ему тот взор, который она бросила на лесную поляну в Кханжо, когда впервые выдохнула имя Мабуна Даса. По нему прошла волна успокоения. Она до сих пор боится этого человека — даже здесь, а Мабун Дас — его лучшая гарантия ее сдержанности.

Что ж! Начала она, незадолго до своего исчезновения из Кханжо она нашла способ сообщить принцу Салиму о своем местонахождении, и принц, который все еще был безумно влюблен в нее, тут же принял меры, чтобы организовать ее похищение. Появился один из его лейтенантов, и с ним небольшой отряд людей, которым предстояло сопровождать ее в Аллахабад. Все складывалось как было задумано; и три дня все шло хорошо. Затем, вечером четвертого дня, когда они путешествовали по пустынному месту, их внезапно постигло бедствие. Они обнаружили, что окружены вооруженными людьми; шестерых всадников, ехавших рядом с ней, атаковали и всех убили, кроме одного. На следующий день этого несчастного кастрировали и отправили к Салиму с оскорбительными посланиями от его брата. Оказалось, что их предали в руки Данияла, у которого были шпионы даже при дворе его брата, и он находил удовольствие в таких проделках над братом всякий раз, когда это было возможно. Так что теперь ее держали пленницей в маленькой глиняной хижине, должно быть, почти две недели, в ожидании прибытия более конкретных указаний относительно того, что с ней делать. К счастью, ее красота была описана Принцу в таких выражениях, что в нем вспыхнуло желание увидеть ее своими глазами. Соответственно, ее привезли в Лагерь. Но во время этого путешествия она жила в состоянии ужаса. Что ей делать, если Даниял подвергнет ее пристрастному допросу. Мабун Дас велел ей молчать обо всем под страхом смерти; Даниял, если бы у него были основания полагать, что она может рассказать ему что-нибудь интересное о его брате, несомненно, пригрозил бы ей пытками. Ее положение казалось поистине ужасным. Но сразу после первой беседы с Принцем этот кошмар рассеялся, и она обнаружила, что вознеслась из преисподней в настоящий рай. Ибо у Данияла не было намерения допрашивать ее; стоило ему взглянуть на нее, как он застыл, завороженный. Она выглядела, заявил он, самым воплощением богини, которая должна появиться в его пьесе. Так он велел ей раздеться, и при виде ее тела он от восторга буквально сделал пируэт. Таким образом, за несколько секунд ее судьба была решена. Потрепав ее по щеке, приподняв подбородок и рассмеявшись ей в глаза, он отпустил ее; и с тех пор ее жизнь была мечтой о счастье, ибо она превращалась в великую актрису.

К концу этого рассказа глаза Гуневати снова начали сверкать, и теперь она с очаровательным жаром пустилась в описание почестей и великолепий своего нынешнего

образа жизни. Пока он смотрел и слушал, Джали испытал неожиданную перемену чувств; он осознал легкий прилив сострадания. По правде говоря, под крышей Гогала она была несчастна; бледная, но прелестная томность ее облика в те дни сменилась оживлением, которое сделало из нее совсем другое существо. В Кханжо она чахла, ничего не могла с этим поделать; здесь же она нашла атмосферу, которая ей подходила; она была счастлива и не могла с этим ничего поделать.

Вскоре, устав от разговоров, она откинулась во весь рост на траву и удовлетворенно вздохнула. Слава богу, сегодня днем репетиции нет, сказала она; в последнее время она очень много работала над новой пьесой Данияла, в которой у нее была роль со словами. Она страстно любила театр; в этом она похожа на Принца, ибо тот тоже предпочитал драматическое искусство любому другому. Какая чудесная у него вышла пьеса! О, Принц — интеллектуальный гигант; в этом нет никаких сомнений. Джали промолчал; он уже выяснил за чаепитием, каковы ее взгляды на Принца и его пьесу. Кроме того, не спорить с Гуневати было давним установленным принципом его поведения.

Наступила небольшая пауза, и когда она в следующий раз повернулась к нему, он увидел, что в ее голове появилась новая тема. Приподнявшись на одном локте, она бросила ему прекрасный, обольстительный взгляд из-под ресниц; это был взгляд, смысл которого он понял; он говорил: «А теперь мы поговорим о чем-нибудь действительно захватывающем: мы собираемся найти самые волнующие и доверительные вещи, чтобы сказать друг другу». Этот взгляд в ее глазах перенес его обратно в маленький индуистский храм в лесах Агры, и в его сердце вновь шевельнулось презрительная жалость. Когда она выглядела так, ее вульгарность сходила с нее, она казалась ребенком. Все еще улыбаясь, она придвинулась чуть ближе к нему и прошептала: — Ты должен —просто обязан — рассказать мне все-все об Алли.

Джали был весьма удивлен. — Но что можно *о нем* сказать?

— О, ты знаешь! Всё!

— Об Али? — Он посмотрел на нее озадаченно. Уж конечно, это не было бы ее манерой, если бы она влюбилась? Нет, скорее она просила забавный кусочек скандала. — Я могу сказать тебе, что Али — совершенный дурак, — сказал он, и краска воспоминаний поднялась к его щекам.

— Дурак! — оценивающе рассмеялась Гуневати. — Да, разве нет! — добавила она задумчиво, — разве что, знаешь ли, он на самом деле очень, очень хитер.

— Я не понимаю, — сказал Джали.

— Не понимаешь?

— Нет.

— Но ты должен! Я говорю об Али и Принце.

— Что об Али и Принце?

Она стала нетерпеливой. — Али и Принц! Насколько они близки?

Джали молчал. Теперь он не сводил глаз с озера и старался не позволить своему выражению лица выдать его. Он пока не понимал до конца, но чувствовал, что забрезжил свет, и что наконец-то он начнет понимать Данияла и Лагерь гораздо лучше. Если бы только ему удалось заставить Гуневати продолжать говорить... и если бы при этом он мог хорошенько обдумать...

— Сначала расскажи мне то, что ты знаешь, — предложил он.

Гуневати была не прочь. Она затараторила очень конфиденциальным тоном, и нахмуренный Джали сосредоточился на подтексте, лежавшем под пеной ее речи. Она, разумеется, была далека от понимания того, насколько она проясняет. И действительно, ему казалось, по мере того как свет в его уме усиливался, что его слепота доселе была почти умышленной. Он все еще был смущен; он все еще был далек от того, чтобы охватить всю широту смысла, стоявшего за ее словами. Но наверняка было достаточно значимым то, что ее сплетни были сплетнями всего сообщества, а тон — тоном всего Лагеря.

Со всей ловкостью, на какую был способен, он скрывал свое неведение: он даже делал вид, что присоединяется к ее домыслам, которые казались ему совершенно фантастическими. Он просто не мог представить себе Али в том образе, который она ему приписывала; более того, как он теперь осознавал, Али невольно стоял заслоном между ним и истиной о Лагере. Она может быть права — она определенно права — в своем взгляде на Лагерь, но насчет Али она, безусловно, ошибалась самым нелепым образом. Однако сейчас его интересовал не Али; его интересовал Лагерь. Пока Гуневати докучала ему вопросами об Али, его мысленный взор простирался далеко вперед, охватывая всю панораму, открываемую Даниялом и его необыкновенным сообществом. На эту панораму он глядел завороженно, и вскоре, обнаружив, что болтовня Гуневати лишь отвлекает его, поднялся и попрощался с ней. Но не раньше, чем они договорились встретиться снова на следующий день.

XVII

О да, он был очень недалеким! Теперь он мог вспомнить сотню вещей, которые могли бы открыть ему глаза — и это были не только вещи, виденные и слышанные в Лагере, но случайные замечания, пожатия плечами и молчание со стороны его отца и других. Он вспомнил, в частности, один случай, когда слышал, как Хари и Гокал обсуждали Лагерь. Они сошлись на том, что своим существованием он обязан потребности Принца в увеселительном месте — территории, хорошо удаленной от глаз Императора, где тот волен будет вести жизнь по своему вкусу без страха наблюдения и порицания.

И насколько же он, также, был далек от понимания Али. Действительно, характер двоюродного брата все еще ставил его в тупик. Допустим, у Али было врожденное инстинктивное стремление закрывать глаза и отворачиваться от всякого знания, которое неудобно, делает ли это его дураком? Если Али владеет искусством избегать опыта, который может научить его тому, чего он знать не желает, становится ли он от этого менее умным? Если он использует свое поддельное знание мира как защиту от более глубокого понимания, если его притязания служат прежде всего для того, чтобы обманывать самого себя, обязательно ли такая позиция является глупой? Если предположить, что ему неприятно докапываться до сути вещей, что тогда? Или, если немного сменить точку зрения: пусть он *в самом деле* дурак, но разве не очень хитро с его стороны быть именно таким дураком?

Эти размышления увлекли Джали далеко; но они оказались бесполезны для него на следующий день, когда Гуневати возобновила свою тему. Он поспешил на свидание с большим рвением, горячо надеясь, что сможет казаться менее простодушным. Он считал это важным, так как имелось множество пунктов, по которым он хотел получить больше информации; а в их прошлый разговор Гуневати проявила довольно сильное нетерпение к его наивности. Поэтому его постигло разочарование, когда выяснилось, что он все еще совершенно не способен отвечать на ее вопросы об Али разумным образом, и когда она повторила, что Даниял весьма пленен Али, и что внимание всего Лагеря приковано с затаенным дыханием к этим двоим, он все еще мог лишь разевать рот. Но пока она говорила, в его памяти вспыхнуло воспоминание о жадных, любопытных взглядах, которые три девушки бросали на Али в чайной. В этом разглядывании была смесь любопытства, зависти и неохотного восхищения, которая, если подумать над этим, действительно подтверждала то, что она говорила. А затем ему пришла в голову другая мысль: могла ли какая-то часть постоянной застенчивости Али быть вызвана чувством вины — или, по крайней мере, смутным подозрением о том, что означали эти взгляды?

Накануне он очень искренне настаивал на том, что Али — дурак, невинный и неинтересный дурак, и ничего больше. Но теперь перед ним встали странные сомнения. Он вспомнил лицо Али с маниакальной яростью во время их ссоры; он вспомнил сцену в картинной галерее, когда рука Принца так любовно покоилась на плечах Али, и Али застенчиво покраснел от прикосновения. И наконец, он вспомнил некий пояс — великолепный пояс — который Али недавно выставлял напоказ; он помнил, что, когда его расспрашивали о нем, вместо того чтобы хвастать, что это подарок Данияла, Али назвал имя дарителя с большой долей смущения.

В результате этих размышлений Джали утратил часть своей внутренней уверенности, но продолжал уверять Гуневати, что Али — педант и ханжа. Разве она не заметила его манер за чаепитием? Как она может примирить такие манеры с... Но нет! Гуневати осталась невозмутима. О, бесхитростный и ни о чем не подозревающий, боже правый, какая идея! Разве он не жил в Лагере неделями, даже месяцами? Что касается его неловкой манеры

общения с молодыми женщинами, то это показалось ей очень подозрительным признаком; именно среди таких юношей, как Али (вы можете называть их педантами и ханжами, если хотите), люди вроде Принца находят свой самый многообещающий материал. Она не утверждала, что Али уже соблазнен, но как он мог не знать, что взят в Лагерь как кандидат на соблазнение? За ним наблюдают, он здесь на испытательном сроке, он должен вырасти тем путем, каким следует, иначе в конце концов получит отставку. Даниял не хочет торопить его: это очевидно: Принц проявляет необычайное терпение, а Али ведет необычайно изящную игру со своей стыдливостью. Утверждать, что Али не знает, что делает, просто нелепо, совершенно нелепо.

В тот день, перед тем как они расстались, Гуневати пристала к нему с просьбами привести к ней Али, и после небольшой уклончивости он не нашел ничего лучшего, как рассказать ей историю их ссоры, и даже дать понять, что Али считает ее общество недостаточно хорошим для себя. К его изумлению, она не только приняла это совершенно спокойно, но и дала ему понять, что стала ценить Али еще выше, чем прежде. Мало того, что его рассказ укрепил ее в ее взгляде на Али, но он был вынужден признать странный факт, что гомосексуальные наклонности внушали ей искреннее уважение. Это умонастроение было тем более примечательно, что сама она, по собственному признанию, таковых не имела. Она просто принимала стандарты Лагеря, принимала их с послушанием и всем сердцем, что разительно контрастировало с ее сопротивлением влиянию, которое оказывал на нее Гокал.

С этого времени не проходило дня без того, чтобы он не проводил час-другой в ее компании, и он обнаружил, что ее безответственная болтовня просвещала его гораздо больше, чем когда-либо рассуждения Али. Когда Али не говорил о литературе, он занимался главным образом вопросами социального положения, светских приличий и моды. Гуневати же, напротив, сообщала ему интимные подробности частной жизни выдающихся личностей Лагеря. По тону и предмету обсуждения двое его наставников вряд ли могли бы отличаться сильнее, и все же ему часто казалось, что в основе у них много общего. Для каждого из них голос моды был абсолютно непререкаем: чего требовала мода, то они жаждали принять, повторять, верить в это и практиковать, никогда не помышляя о несогласии. В случае Али, правда, конформизм давался не всегда легко, ибо многое в его нынешнем окружении не было подготовлено его прежним воспитанием. С другой стороны, у Гуневати не было нравственных предубеждений, которые могли бы сбить ее с толку, она могла принимать взгляд Лагеря на самого себя без всякого моргания или отведения глаз. Для нее гомосексуальность была одновременно восхитительной шалостью, знаком интеллектуального отличия и склонностью, естественной для чувствительных и превосходных натур. В ходе своих бесед с Джали она иллюстрировала эти взгляды по очереди: иногда ее глаза танцевали от восторга скандализации, иногда расширялись от почтительного восхищения, а иногда темнели от возмущенного сочувствия, когда она приводила какой-нибудь пример того, как избранные страдали от неверных суждений грубого и предвзятого мира. Одним из ее удовольствий было сидеть с Джали в

каком-нибудь тихом уголке променада, откуда они могли наблюдать за толпой, прогуливающейся туда-сюда; и когда мимо проходила та или иная знаменитость, она толкала своего спутника локтем и извлекала какую-нибудь новую пикантную подробность из своей кладези сплетен, и чем уродливее была история, тем большее удовольствие и азартность выдавали ее раскрасневшиеся щеки и сверкающие глаза.

Будучи невосприимчивым — если кто-то вообще мог быть таким — к малейшей инфекции ее энтузиазма, Джали слушал со всем вниманием; но, когда она не смотрела, он устремлял на нее прохладный и недоумевающий взгляд. Ему казалось особенно странным, что эта девушка, принимавшая участие в обрядах Вамачари, находит возможным получать такое удовольствие от мелких самодовольных аморальностей блестящих друзей Принца. Быть может, те прошлые переживания ничего для нее не значили? Быть может, ее натура способна вибрировать лишь в ответ на ноты, издаваемые Лагерем? Это оставалось для него загадкой; но через нее он узнал очень многое. Он пришел к пониманию того, что удовольствие, которое Лагерь находил в том, чтобы считать себя скандальным, на самом деле было главным источником его вдохновения, его основным родником энергии. Правда, для оценки тонких оттенков собственной подлости и злобы друзьям Данияла приходилось обращаться к самим себе и быть собственной аудиторией — им приходилось полагаться на треск собственных языков; на собственные хихиканья и визги ради аплодисментов, причитающихся за особо тонкий ход в игре; но, в широком смысле, то, что поддерживало их, то, что двигало ими вперед и вдохновляло их деятельность, было верой в то, что они привлекают внимание возмущенного внешнего мира. Лагерь держался особняком потому, что должен был держаться, кроме того, мысль о том, что они достаточны сами по себе, была им очень необходима; но правда заключалась в том, что в основе своей они зависели от прочного, способного ужаснуться мира благопристойности и здравого смысла. Им нужно было верить, что огромный, похожий на воловий, глаз в ужасе устремлен на них. Без этого их жизнь теряла смысл.

Для такого открытия Джали не потребовалось особой проницательности, поскольку большинство слабейших членов Лагеря постоянно выдавали себя. И не только в отношении секса, но и, в равной степени, обсуждая искусства и литературу, Джагашри, Али и почти все друзья Али поддавались искушению долго злорадствовать и посмеиваться над предполагаемым шокированием старомодных и придирчивых цензоров. Эта форма потакания своим слабостям всегда наполняла Джали смущением; и теперь он наконец вполне ясно понял, что хотя искусство может быть самоцелью, Лагерь определенно ею не являлся (он не был ценностью сам по себе). То, что нужно было Лагерю, было нужно ему столь же настоятельно, как отцу Джали нужна была истина буддизма, а матери — любовь Бога. Разве это не странно? Некоторым людям, чтобы держаться на плаву, приходилось постулировать моральный закон, некоторым приходилось даже прибегать к понятию любящего Бога. Таким взыскательным людям годилось только одно — найти смысл во вселенной в целом — смысл, который связал бы пути самых далеких звезд с мельчайшими движениями человеческого сердца. Насколько же разумнее, насколько скромнее были

Даниял и его друзья! Принимая этот мир как сцену, они просили лишь немного мишуры и костюмов, чтобы нарядиться, и аудиторию, которую легко шокировать.

И все же, хотя он презирал Лагерь одной стороной своего ума, Джали по-прежнему был им очарован. Блеск, который прежде его окружал, не потускнел, но превратился в зловещий блеск. Принц тоже продолжал оставаться в его глазах очень интригующей личностью. Если он рассматривал его с отвращением, это отвращение сопровождалось не безразличием, а любопытством. Высот, которые он искал, там не было; но, несомненно, были глубины для исследования.

Так что его визиты продолжались; и теперь он стал переправляться через озеро по ночам. Это делалось главным образом из бравады, хотя его явной причиной было то, что репетиции Гуневати занимали ее большую часть дня. Ему не составляло труда выскользнуть из дома после того, как все засыпали; он прокрадывался через сад к маленькой бухте, где его ждал лодочник, и через несколько минут уже скользил по неподвижной воде навстречу цветному мареву и музыке, отмечавшим местоположение Лагеря.

Эти ночные вылазки доставляли ему очень мало удовольствия. Друзья Али (которые теперь обычно игнорировали его) были несимпатичны, но друзья Гуневати оказались не лучше; от их манер его коробило; их приподнятое настроение, искреннее оно или напускное, выражалось слишком шумно; а их развлечения вскоре приелись. Он покидал переполненные танцевальные и игорные залы с ноющими конечностями, обожженными глазными яблоками и пульсирующей головой. На обратном пути через озеро в предрассветном холоде его мысли печально обращались к контрасту между этими людьми и им самим. Хотя он презирал их, он им завидовал. Что позволяло им день за днем вытаскивать себя из пепла ночных кутежей, готовыми снова раскрасить свои изможденные лица румянцем здоровья и начать все заново? Такой задор, неважно, чем вызванный и куда направленный, имел свою привлекательность. В мире, столь полном серости, скуки и ужаса, пожалуй, довольно-таки приятно оставаться легкомысленным и наслаждаться своей легкомысленностью.

В этом его настроении поверхностная усталость от мира, без сомнения, маскировала неосознанные удовольствия самолюбования; но ему не позволили долго предаваться им. Первые намеки на приближающуюся перемену пришли однажды вечером, когда он сидел с Гуневати и маленьким персидским актером, называвшим себя Мансуром, за столиком снаружи одного из больших павильонов, где она и ее подруги только что танцевали. Была душная безветренная ночь, и час был поздний; шумная компания разошлась, оставив длинный стол пустым, если не считать этих двоих, сидевших вместе с одного края стола под светом большого бумажного фонаря, тогда как он один в другом конце откинул свой стул в тень и наблюдал за ними с той мечтательной, но пристальной сосредоточенностью, которую иногда приносит крайняя усталость.

Раньше этим вечером он заметил, что Гуневати была не в духе, и мог догадаться о причине: люди начинали говорить, что из нее никогда не выйдет хорошей актрисы. Мансур, напротив, обладал небольшим, аккуратным талантом, которым никогда не злоупотреблял; он пользовался прочным уважением Принца, в то время как она рисковала потерять свою роль в новой пьесе Данияла. Убедят ли льстивые речи, которыми она осыпала Мансура, помочь ей или замолвить за нее словечко? Джали сомневался в этом.

Мансур был коренастым человечком с длинным туловищем и короткими ногами. Хотя Гуневати делала все возможное, чтобы развлечь его, его плоское, праздно-надменное лицо даже не было повернуто к ней. В задаче угодить ему она находилась в невыгодном положении, как сама хорошо знала, поскольку он был совершенно равнодушен к женщинам; кроме того, ей недоставало той особой тонкости, которая одна из всех человеческих качеств вызывала у него уважение. Время от времени — не желая того — она говорила что-то, что действительно забавляло его, и тогда его глаза начинали поблескивать, и он оглядывался в поисках кого-нибудь, с кем можно разделить свое ощущение ее нелепости. Гуневати была не из обидчивых; но ее оживление изначально не было очень естественным, и в конце концов оно уступило такому обращению. Она умолкла; обвела взглядом опустевшую террасу и вздохнула.

Прекращение ее болтовни внезапно заставило Джали осознать тишину вокруг них. Только музыканты и танцоры в павильоне все еще были полны жизни, все еще изливали свой беспорядочный гомон в ночь. Мансур зевнул. Он не устал, его лицо было свежим, выражение самодовольным; но самым недвусмысленным образом ему было скучно. Он отпил из стоящего перед ним бокала, и спустя некоторое время ему в голову пришла мысль, и он начал улыбаться. — Дорогая моя, я должен сказать тебе, — хихикнул он: — сегодня днем я сменил религию. Я присоединился к Дин Илахи. Со сверкающими глазами он мягко покачался в кресле и, за неимением лучшей аудитории, посмотрел на Джали. — Я принес присягу перед Принцем, который был одет в свои белые одежды. Теперь Даниял мой Великий Жрец.

Гуневати вздохнула. Она наивно надеялась на какое-нибудь туманное обещание, или поощрение, или утешение, но очевидно, Мансур намеревался проигнорировать все ее прежние усилия. Его сотрясало тихое подобострастие, и она сделала все возможное, чтобы выглядеть развеселившейся.

— Почему бы *тебе* не присоединиться к Дин Илахи, дорогая? Подумай, как будет доволен Принц! — и он впервые повернул лицо к ней. Его широкое плоское пространство было нарушено клювообразным носом и маленькими ничего не выражающими глазами, встречаться с которыми Гуневати не хотелось.

Она нервно рассмеялась. — Я бы не возражала против вступления, если бы думала, что это хоть что-то изменит. И Джали, и Мансур знали, что ее удерживает суеверие. Она боялась оскорбить множество богов, которым обещалась быть верной.

Пухлые пальчики Мансура снова начали постукивать по столу, и Джали внезапно почувствовал уверенность в том, что за всю жизнь этого человека ни одно великодушное чувство не входило в его сердце. Еще недавно он ломал бы голову над Мансуром; он искал бы скрытую искру; но теперь он знал лучше — или думал, что знает; и хотя его натура содрогалась от непреодолимой неприязни к Мансуру, ум холодно изучал его. С другой стороны, когда он смотрел на Гуневати, его охватывало некоторое смутное сострадание. Он чувствовал, что ей чего-то не хватает — той самой искры, необходимой для того, чтобы стать успешным членом этого сообщества; в такие моменты ему приходило первое предчувствие, что здесь она может, пожалуй, встретить свою погибель.

Глаза Мансура снова начали поблескивать, и он бросил Джали взгляд, приглашавший разделить развлечение. — Я слышал, что принцесса Лалита должна прибыть довольно скоро. Она собирается взять роль в пьесе Принца.

От этих слов кровь бросилась в лицо Гуневати. — Все роли уже распределены. Не вижу, куда она может вписаться. Кроме того, кто говорит, что она умеет играть?

— О, я полагаю, она достаточно хорошо играет. Ей, я полагаю, не дадут важной роли.

Молчание Гуневати было жалким; но наконец она немного взяла себя в руки. — Мансур, почему бы не устроить также и частное представление пьесы в том виде, в каком Принц написал ее изначально? Около полудюжины сцен были полностью вырезаны, судя по всему. А я слышала...

— Нет-нет-нет! — Мансур в ужасе поднял руки со стола.

— Но...

— Нет, нет! Совершенно невозможно!

— Но Принц так не думает.

— А *я* думаю. И более того, я сказал Принцу, что не желаю иметь с этим ничего общего.

Маленький человек говорил с видом презрительной окончательности. Тем не менее, после паузы, он снова вернулся к этой теме. Он пустился в длинную стремительную речь, которой Джали счел невозможным уделить внимание. Суть дела, как он уже знал, заключалась в следующем: в первой версии своей пьесы Даниял прописал определенные сцены, в которых главные Министры Государства, и даже сам Император, выводились на сцену и выставлялись на посмешище. Кое-кто из самых безрассудных душ Лагеря поощряли Данияла поставить эти сцены частным образом; но эта идея была отвергнута сообществом в целом как крайне неосмотрительная.

Гуневати вздохнула с сожалением. — Принц обещал мне одну из лучших ролей в той версии пьесы, — пробормотала она.

Мансур быстро взглянул на нее. Ее голова была опущена над столом, и она водила кончиком пальца по узору на нем.

Он молча начал смеяться. — И ты согласилась?

— Да.

Мансур нарочито повернул лицо к Джали, и ничто не могло быть более красноречивым в выражении насмешливого презрения, чем линии его поджатых губ и прищуренных глаз. Джали уставился в это лицо, завороженный, но его утомленный мозг был туповат в расшифровке передаваемого сообщения.

— Дорогая, дорогая! — воскликнул Мансур, и вдруг все пространство его лица покрылось сотней морщин; он мягко покачал головой и мягко качнулся на сиденье.

По крайней мере минуту больше ничего не говорилось. Гуневати подняла голову и, взглянув на Мансура, действительно вздрогнула; возмущенная, мышца на ее горле начала дрожать, и Джали догадался, что она недалека от слез.

Мансур взял свой бокал, осушил его и поставил законченным жестом. — Мне пора идти, — небрежно сказал он, и его болтающиеся пальцы ног нащупали землю под стулом. — «Если ты последуешь моему совету, дорогая, ты присоединишься к Дин Илахи, прежде чем думать о принятии роли в этой пьесе». С равнодушной фамильярностью он похлопал девушку по обнаженным плечам. — В Дин Илахи нет ничего опасного! — засмеялся он. — Как раз наоборот! А, вот идет кто-то, чтобы рассказать тебе твоё будущее, или ты боишься и этого тоже?

Гуневати резко повернула голову, и взгляд, который она бросила на приближающуюся фигуру, был полон нескрываемой неприязни. Это был служитель заведения, в обязанности которого входило ходить по залу и предсказывать судьбу, раздавать милости или играть шутовские трюки для развлечения гостей. Эти существа были одеты в фантастические костюмы, а их лица были так неестественно раскрашены, что они переставали выглядеть людьми. Проделав несколько комичных танцевальных шагов, шут подошел к ним и вручил каждому по маленькой вещице, взятой из корзины на его руке.

— Почему бы тебе не узнать свою судьбу? — поддразнивая, предложил Мансур.

— Нет, — ответила Гуневати и, повернувшись к шуту гневными глазами, громко сказала: — Уйди.

Развернув свой сверток, Джали обнаружил три маленьких бумажных пакетика с блестящей пылью, которые при броске в прохожих взрывались, оставляя яркий золотой или серебряный всплеск на одежде жертвы. Мансуру достался веер, а Гуневати — большой позолоченный грецкий орех. Обычно эти орехи содержали внутри листок бумаги с любовными и комплиментарными стихами. Когда ей передали орех, рука Гуневати быстро сомкнулась на нем, но она не сделала никакого движения, чтобы открыть его. Она

продолжала смотреть вверх на Мансура, стоявшего рядом с ней, и ее выражение было тревожным и умоляющим.

— Разве это действительно порадует Данияла, если я присоединюсь к Дин Илахи? — пролепетала она.

Мансур пожал плечами. — Загляни в свой орех, — сказал он, ухмыляясь через плечо. — Возможно, это даст тебе хороший совет.

И теперь, к изумлению Джали, Гуневати, которая до этого принимала все шпильки Мансура столь покорно, метнула на него взгляд нескрытой ярости и, казалось, была готова дать злобный отпор. Мансур перестал ухмыляться и начал уходить прочь. Все еще глядя ему вслед, Гуневати сохранила на несколько мгновений выражение, которое показалось Джали совершенно необыкновенным. Что такого было в последних словах мужчины, что взбесило ее до такой степени? Они прозвучали как безобидная маленькая шутка.

Еще несколько минут они сидели там молча. Когда они поднялись, она сказала, что идет домой, а он поплелся к берегу озера, чтобы переправиться обратно через спящую воду.

XVIII

Он обнаружил, что ему есть о чем подумать. Прежде всего стало ясно, что Гуневати действительно следует считать «влюбленной» в Принца. Конечно, он и раньше знал это — в некотором смысле. Как он мог не знать этого, если она часто признавалась ему в этом — более того, гордилась этим. Но он никогда не принимал ее всерьез: ее восхищение казалось ему слишком нелепым, а увлечение — слишком фантастическим. Кроме того, он видел, что отчасти ее целью было шокировать его; ведь она подхватила от Лагеря непреодолимую жажду скандализировать. Он обратил на это внимание во время одного из их первых совместных разговоров, когда она сделала бесстыдное признание, что мучительно завидует вниманию, которое Али получает от Данияла. Чего бы она только ни отдала, сказала она, за один из тех взглядов и улыбок, которыми Принц осыпает этого жалкого простофилю! И чуть позже, когда он позволил себе выразить свое собственное отвращение к Принцу, она настояла на том, чтобы заявить о своем восхищении именно теми чертами Данияла, которые наиболее способны вызывать омерзение. С тех пор она также последовательно прославляла низость Принца, утверждая, что именно она наделяет его особым очарованием и блеском в ее глазах. Неужели большая часть этого была притворством? Если бы низость Данияла проявлялась в грандиозном — или хотя бы достойном — масштабе, если бы она могла указать на вопиющие злодейства, Джали подозревал бы ее меньше — смог бы разделить ее чувства, пусть не с сочувствием, но хотя бы с определенным пониманием. Но когда он спросил ее, какие преступления совершил Принц, какими великими страстями или жестокостями он отличился, ей нечего было

ответить. Ее истории были историями о мелочности, трюках и обманах, причем самого презренного пошиба.

Ее разговор с Мансуром пробудил в нем новую тревогу и любопытство. В нем содержались загадочные намеки; например, что имел в виду Мансур, говоря, что в грецком орехе для нее может быть послание. Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что замечание Мансура не было просто невинной маленькой шуткой. Оно привело Гуневати в ту ярость, которую он знал как симптом тревоги. Случай напомнил ему, что некоторое время назад она стала подвержена внезапным приступам нервозности. В середине оживленной вечеринки ее манера менялась, веселье спадало, она становилась рассеянной, ее глаза блуждали. На что указывали все эти вещи, взятые вместе? Ребенок своего возраста, Джали не затруднился с ответом. Ее удовольствие было испорчено внезапным осознанием того, что за ней наблюдают, что она находится под присмотром шпиона; на самом деле, зная ее обстоятельства, он вполне мог заключить, что она почувствовала, как на нее упала тень Мабуна Даса. В конце концов, разве почти не наверняка у Мабуна Даса были шпионы в Лагере, и разве Гуневати не должна была стать объектом их особого наблюдения? По мере того как эта идея обретала форму в его уме, он наполнялся удовлетворением. Его недавние страхи, что она соскальзывает на опасный путь, значительно улеглись; его успокаивала мысль о том, что она получает постоянные напоминания о незримом присутствии Мабуна Даса.

На следующий день, в соответствии с тщательно продуманным планом, он пригласил ее покататься на лодке по озеру и сам сел за весла, оставив гребцов на берегу. Хотя солнце палило жарко, и она предпочитала медлить в тени ольховых деревьев, он упрямо вывел лодку на середину озера и не останавливался до тех пор, пока не стало очевидно, что они находятся вне пределов слышимости от берега или любой другой лодки. Он заметил, что именно в таких условиях Гуневати чаще всего склонна к откровенности.

Бросив весла, он позволил лодке потерять ход, и вскоре рука Гуневати, свисающая за борт, уже не оставляла даже малейшей ряби на зеркально-гладкой воде. Солнце было слегка затянуто белой дымкой; был полдень, и вся земля, казалось, предавалась сиесте. Оглядевшись вокруг, Джали остановил взгляд на Гуневати, которая растянулась на дне лодки. На минуту их взгляды встретились, и он увидел, что она догадывается о том, что последует дальше. Без дальнейших церемоний он расспросил ее о Мансуре и грецком орехе и умолял довериться ему.

Гуневати села; она тоже быстро огляделась вокруг; затем, свесив голову и плечи за борт лодки, она, казалось, совещалась сама с собой.

Он сказал: — Я думаю, у тебя есть подозрение, что за вами следят.

Она кивнула.

— У Мабуна Даса есть шпионы в Лагере?

Он не мог видеть ее лица, повернутого к воде, но услышал тихий звук согласия.

— Расскажи мне об этом? — настаивал он.

Не меняя положения, спустя некоторое время она начала говорить. Она рассказала ему, что он правильно угадал, приписав ее нервозность шпионам Мабуна Даса; но по мере развития ее рассказа он вскоре обнаружил, что его догадки едва ли зашли достаточно далеко. Наблюдатели имели метод действий, который был поистине необыкновенным; он мог лишь предположить, что хитрый Мабун располагал множеством способов и выбрал для Гуневати тот, который считал наиболее подходящим. Выяснилось, что в последнюю ночь ее путешествия, когда похитители везли ее в Лагерь, таинственный голос заговорил с ней из темноты, чтобы передать слова предупреждения. Пусть она не забывает, говорил он, что в Лагере, как и везде, уши Мабуна Даса услышат каждое сказанное ею слово, и малейшая нескромность с ее стороны будет наказана ужасными карами. Затем тот же голос отдал инструкции; он предписал, какие ответы она должна давать на вопросы, которые, вероятно, задаст ей Даниял. Предупреждение и инструкции повторялись трижды, а затем в ее шатре наступила тишина. Однако с той ночи перед ее глазами стали периодически появляться напоминания. Через несколько дней после ее обустройства в Лагере на туалетном столике появился маленький рисунок человеческой головы с высунутым языком и вонзенным в него кинжалом. И регулярно после этого то же предупреждение появлялось вновь, однако, благодаря постепенному упрощению, рисунки превратились в идеограмму, которая была бы бессмысленна для кого угодно, кроме нее самой. Она свелась к знаку, состоящему из овала с пересекающей его линией и еще одной линии под прямым углом к первой. Неделя за неделей этот знак продолжал появляться — иногда рядом с ее тарелкой за ужином, иногда в письме, подсунутом под дверь; она могла даже обнаружить его начертанным в пыли на дорожке, когда отправлялась на прогулку.

Все время, пока она говорила, ее голова оставалась опущенной над озером, ее рука лениво плескалась в воде, а голос звучал совершенно спокойно. Но в этом спокойствии было нечто большее, чем намек на усталость; да и Джали не преминул заподозрить, что это настроение могло быть подходящей реакцией на совсем другое. Ему легко было представить, как она катается по кровати, рыдает и грызет ногти в экстазе нервной ярости и дурного предчувствия. Его собственное сердце, пока он слушал, несомненно, участило свой ритм. Было что-то довольно зловещее в обращении, которому подвергалась эта девушка, жизнь которой казалась ему совсем недавно совершенно безответственной и беззаботной. Он был взволнован, возбужден, наполнен чувством необычайного; и эти чувства были пронизаны удовлетворением, которое бедная Гуневати определенно не могла разделить. По его мнению, небольшое устрашение было отнюдь не лишним; он не сожалел о том, что узнал, что Мабун Дас сохраняет чувство ответственности.

Эти чувства, однако, были его личным делом; и он был осторожен, чтобы не показаться лишенным сочувствия. Действительно, понурость ее фигуры, опущенная голова, безжизненный тон голоса пробуждали в нем жалость. Мало того что она отчаянно

влюблена, мало того что она скатывается от успеха к неудаче, но обращение Мабуна Даса, очевидно, начало сказываться на ее нервах. Вскоре он начал засыпать ее вопросами.

Ее ответы были невнятными, почти неслышными. Она раздраженно пожала плечами, умоляя его прекратить. Сев в лодке, она прижала холодные мокрые руки к глазам и глубоко вздохнула. — Отвези меня обратно в тень, — сказала она.

Не шевелясь, он продолжал смотреть на нее.

— Гуневати!

— Да?

— Разве тебе еще не надоел Лагерь? Разве ты не хотела бы покинуть его? Она издала короткий презрительный смешок, похожий на фырканье. — Нет.

— Но...? — Ему не хватило уверенности закончить фразу.

Она посмотрела на воду меланхоличными глазами и повторила свое короткое фырканье. — О, я знаю. Приедет принцесса Лалита. Бедная дурочка! Зачем она приезжает? Он не выносит ее вида. А мне все равно. Пусть приезжает!

Это было совсем не то, о чем думал Джали. — Я не это имел в виду, — запинаясь, проговорил он. — Мне интересно...

— Потеряю ли я свою роль. О да, это может случиться.

— Будь я на твоем месте, я бы ненавидел Лагерь. Я бы презирал его! — воскликнул Джали с внезапной горячностью.

Она покачала головой и, устремив глаза на водную гладь, печально улыбнулась. — О, ты не понимаешь.

— Гуневати! Неужели ты не можешь перестать любить Данияла, когда видишь, что это так бесполезно, так глупо?

Улыбка задержалась у ее рта; затем медленно она перевела взгляд на него, и в этой меланхолии была почти нежность.

— Ты не понимаешь, — повторила она вполголоса. — Все это не имеет никакого значения.

— Даниял! — воскликнул он с горечью. — Из всех людей — именно Даниял!

Выражение ее лица осталось неизменным. — Ты думаешь, человек влюбляется потому, что другой «мил»? — очень мягко спросила она.

Джали не нашел ответа. Через мгновение он взялся за весла, и они молча погребли обратно в Лагерь.

Следующие несколько дней прошли довольно без происшествий, но его мысли о Гуневати продолжали оставаться в замешательстве и тревоге. Еще недавно, вспоминал он, она казалась ему беззаботной; теперь же он знал, что под легкомысленной поверхностью ее жизни текли два сильных потока эмоций: один был страхом, который внушил ей Мабун Дас, другим — ее чувством к Даниялу и Лагерю. Выражение ее глаз, тон ее голоса преследовали его. Однажды она уже говорила ему: «Я *люблю* Лагерь!» — и теперь он вспомнил, что она произнесла это с такой интонацией, что он тогда встревожился.

Его беспокойство заставило его стать более наблюдательным, и он стал внимательнее прислушиваться к слухам, которые в это время летали по Лагерю в огромном количестве. Некоторое время назад он смутно осознавал, что повсюду царит дух беспокойства, но приписывал его ревности, вызванной приближающимися празднествами — особенно постановкой новой пьесы Данияла. Теперь ему стало ясно, что в воздухе витало нечто большее. В один день он услышал сообщение о том, что Император угрожает нанести визит Даниялу, в другой говорили, что, узнав о содержащемся в пьесе сына оскорбительном материале, Акбар издал безапелляционный приказ немедленно закрыть театр и распустить Лагерь. Третье, еще более фантастическое известие гласило, что Император сам тайно посетил Лагерь переодетым — с последствиями, которые окажутся катастрофическими не только для Принца, но и для всех присутствующих. Так или иначе, было совершенно точно, что больше никто не говорил о постановке Даниялом — даже в строжайшей тайне — скабрезных частей своей пьесы. И когда некоторые из дерзких душ, которые подстрекали его, исчезли из Лагеря, их отбытие стало предметом мрачных догадок. Впрочем, находились и другие способы объяснить эти исчезновения и вообще всю многоголосицу распространяемых слухов. Сумма денег, которую Даниял проматывал изо дня в день, достигла огромных размеров. И неизбежно; ибо это роскошное сообщество, роскошно развлекающееся в отдаленном уголке холмов, требовало очень больших средств на содержание. Откуда Даниял брал необходимые средства? Уж конечно, не от своего отца. А если от своих юных последователей, как долго продержатся их сговорчивость или кошельки? Как долго мог продолжаться этот процесс, прежде чем они будут разорены все до единого, или прежде чем скандал разразится перед самым троном Акбара? Гуневати с гордостью заявляла, что ни одна неделя не проходит без самоубийства какого-нибудь князька, чье состояние переходило в карманы Данияла либо за карточным столом, либо каким-то более таинственным и менее достойным образом. Так *ей* нравилось объяснять лакуны среди друзей Данияла; и хотя Мансур лишь усмехался и пожимал плечами на такие слова, даже он — самоуверенный циник, каковым он и был, — признавался в значительной неуверенности относительно будущего. Общим мнением было то, что долгое отсутствие Данияла при Дворе должно говорить против него неблагоприятно; несомненно, он надеялся возместить (по крайней мере, в глазах Императора) свой недостаток интереса к государственным делам, демонстрируя большой энтузиазм к Новой Религии. По словам Мансура, в письмах к отцу он представлял Лагерь построенным главным образом как своего рода Святой Город или Мекку для паломников Дин Илахи, и в том же духе описывал

свой театр как храм новой веры. Но вряд ли эти искажения истины могли служить долго; нашлось немало тех, кто считал, что Даниял зарвался, и предсказывал, что рано или поздно Лагерь предоставит его врагам мощное оружие против него. Джали слушал и пытался придать этим вещам должное значение, но на самом деле они делали не больше, чем создавали колоритный фон его собственным личным предчувствиям незащищенности; они наводили на мысль, что над всеми ними, не только над ним самим или Гуневати, нависает какая-то важная перемена.

Он чувствовал это и дома, словно даже здесь течение жизни не должно было продолжаться как прежде. В одном отношении условия уже слегка изменились. Неделю назад период ненастной погоды заставил Гокала покинуть свои шатры и поселиться в доме. Это снова свело их двоих вместе; и неловкость, которую Джали теперь испытывал в присутствии Гокала, заставила его признать, что он страдает от чувства вины. Изредка брахмин смотрел на него с вопросом во взгляде, и Джали был вынужден отворачивать лицо. На самом деле, не было особой щепетильности в его совести, раз он испытывал такое отвращение к самому себе. Себе он откровенно в этом признавался. Прежде всего, он отказался от общества Гокала, чтобы проводить время с Али; затем (сделав шаг от нелепого к низменному) возобновил своего рода дружбу с тем самым человеком, который причинил Гокалу жестокий вред. Неудивительно, что он не мог перейти прямо от одного к другому без чувства стыда.

XIX

А затем произошло событие, которое придало форму его смутной тревоге.

Одним вечером, вскоре после того как он лег спать, плеск весел на озере заставил его сесть в постели от изумления; а немного погодя он отчетливо услышал, как лодка ударилась о пристань в конце сада. В темноте он встал и подошел к окну выглянуть наружу. Его отец сидел на скамейке под окном; и теперь он увидел, как тот поднялся и медленно двинулся по тропинке к озеру. В направлении пристани сквозь деревья был виден свет фонаря; и вскоре этот свет начал двигаться вверх по направлению к дому. Прошло совсем немного времени, прежде чем он услышал, как отец приветствует какого-то посетителя, и тут его сердце начало биться чаще, ибо приехать было неоткуда, кроме как из Лагеря. Через несколько минут его отец снова появился в обществе пожилого господина, чью голову обматывал белый шарф. Неторопливо двигаясь, двое вошли в дом, и мгновение спустя он услышал голоса в гостевой комнате, которая находилась прямо под его собственной. Высовываясь из окна, он время от времени улавливал несколько фраз, достаточных для того, чтобы понять, что пожилого господина зовут Шейх Мобарек и что он приехал из Лагеря. Что предвещал этот визит? Не сказать чтобы его отец и Мобарек когда-либо были большими друзьями — хотя его отец, вспоминал он, всегда отзывался о Шейхе с большим уважением.

Несколько минут он напрягал слух; но большая часть разговора ускользала от него. Затем внезапно он услышал произнесенное собственное имя — или это было имя Али? — Они говорили об Али или Джали — он не мог разобрать, о ком именно. Это привело его к немедленному решению. Он крадучись спустился по лестнице и вышел в сад. Его мать, знал он, уже легла спать; ничто не мешало ему стоять под открытым окном и подслушивать.

К его удивлению, голоса теперь стихли, но вскоре шуршащий звук подсказал объяснение: Мобарек, воображал он, принес какие-то бумаги, которые его отец сейчас читал. Через минуту он услышал короткий сухой смешок. — У нее полно объяснений — или причин — того, что она отправила туда Али, но я сомневаюсь, будут ли они иметь большой вес для Хари. Вы сказали, что Али теперь отзывают обратно?

— Да, он покинет Сад Искусств в ближайшие несколько дней.

— Надеюсь, он успеет уехать до возвращения Хари.

— Мой дорогой Раджа, пока вы прочли лишь часть письма Амбиссы Бегум. Пожалуйста, продолжайте. Я знаю, что в нем содержится, ведь она была со мной очень откровенна.

После этого на минуту или две воцарилась полная тишина, затем Раджа сказал: — Действительно, она слишком злоупотребляла вашим терпением, вашей добротой.

— Конечно нет, мой дорогой Раджа, конечно нет! Она чувствовала, что может положиться на мою сдержанность, и, естественно, я чувствую себя польщенным.

— Но это... — и пальцы Раджи застучали по письму, — это касается в основном моих дел.

— Я знаю. И поэтому рискую показаться навязчивым. Однако... — Говорящий продолжал говорить еще некоторое время, но Джали не мог разобрать, что он говорит.

Онемев и затекши от неудобной позы, он теперь отошел, но вскоре любопытство снова вернуло его к окну, и на мгновение он осмелился заглянуть внутрь.

Его отец стоял у стола. — Могу я предложить вам еще щербета — или фруктов?

— Щербет, пожалуйста. — шейх сделал паузу, чтобы сделать несколько глотков. — Раджа, боюсь, вас что-то беспокоит.

— Только одно: совершенно очевидно, что моя сестра хочет, чтобы я взял на себя обязательства.

Мобарек беззаботно рассмеялся. — Напротив, то, о чем попросила меня Амбисса, так это убедить вас в том, что в глазах мира вы взяли на себя — и все еще берете на себя — обязательства.

— Каким образом?

— Мой дорогой Раджа, я знаю, и она знает, что это чистая случайность, что вы и Принц оказались здесь вместе как соседи в этом отдаленном месте, но мир этого не понимает. Во времена, когда каждый принимает сторону либо Салима, либо Данияла, вы находитесь здесь. Люди сочтут это значимым.

— Думаю, вы преувеличиваете.

— Что я преувеличиваю? Раджа, вы уже несколько месяцев вне мира. Вы не осведомлены о фактическом положении дел. Прошу, поверьте мне, человек вашего положения не может держаться в стороне.

В голосе Амара прозвучала нотка колебания, когда он ответил: — Я не желаю публично отмежевываться от принца Данияла — особенно если это подразумевает сочувствие его брату.

Мобарек издал тихий смешок. — Раджа — скажите мне откровенно! — разве вы никогда не осознавали неловкость своего положения здесь? Разве вам никогда не было неловко жить рядом с Принцем и при этом избегать более близкого знакомства?

Раджа молчал.

— Не сказать, что у вас с ним было легкое начало, — мягко настойчиво продолжил Мобарек. — Я имею в виду ту ссору между Принцем и Хари Ханом, когда вас призвали выступить посредником.

— Я надеюсь, что мое поведение в том случае...

— Нет-нет! Даниял далек от враждебности; я лишь задаюсь вопросом, не подозревал ли он о враждебности с вашей стороны. — Старик помолчал, затем внезапно добавил: — Вы знали, что Мабун Дас направляется сюда?

— Нет.

— Разве? Он будет здесь через неделю или даже раньше. Учитывая все обстоятельства, я не могу не считать неудачным то, что Хари Хан снова живет под вашей крышей. Гокал, тоже, тот человек, к которому у Принца нет причин относиться с большой благосклонностью.

После минутного молчания Амар сказал: — Что сделал Гокал, чтобы навлечь на себя недовольство Принца?

— Ну, думаю, Принцу трудно не чувствовать, что отношение Гокала к Дин Илахи весьма нелестно — как для него самого, так и для Императора. Кроме того, влияние Гокала на Императора было значительным в прошлом, и я думаю, что Даниял чувствует, что Гокал никогда не использовал его, чтобы привести отца и сына к лучшему взаимопониманию.

На это Раджа ничего не ответил.

— Вчера, — продолжил Мобарек, — я услышал кое-что, что, боюсь, вызовет у вас немалое беспокойство. Недавняя нескромность Гокала — вы знаете, о чем я говорю — не так надежно скрыта от мира, как... как он, возможно, воображает. Даниялу об этом известно.

Ответ Амара немного запоздал, но голос, когда он прозвучал, был достаточно ровным. — Мне жаль это слышать. Как вы думаете, другие, кроме Принца...

— Нет. Даниял говорил со мной строго конфиденциально. Думаю, вы можете положиться на его сдержанность.

Наступило долгое молчание, и звук голоса Мобарека, когда он заговорил снова, показал, что он поднялся и подошел туда, где стоял Амар. — Я хочу, чтобы вы поверили, что использую все свое влияние на Данияла в пользу Гокала. — И теперь, мой дорогой Раджа, мне пора откланяться. Но я надеюсь, что вы нанесете мне визит на той стороне воды в ближайшее время. Завтра Принц должен отправиться в путешествие в Катхипур, чтобы встретиться с принцессой Лалитой. Приедете ли вы послезавтра?

Было слышно, что говорящие теперь движутся в сторону двери. Через две-три минуты они появились на крыльце перед домом. — О да, — говорил Мобарек, — ваша сестра и Лалита стали большими подругами; и, учитывая, что бедная Лалита уже была довольно переутомлена, Амбисса сочла это хорошей идеей. Жизнь в Саду Искусств отнюдь не спокойна, знаете ли. Жизненная сила Данияла неисчерпаема.

— Очень сожалею, что этого нельзя устроить, — тихо ответил Амар. — Мой отец очень стар, и я должен сказать вам, что после смерти моей матери — которая произошла всего два месяца назад — он стал рассеян. — Говоря это, Раджа внимательно следил за лицом Мобарека. — Несомненно, — продолжил он, — Амбисса не осознает, как обстоят дела. И во многом это моя собственная вина. В своем беспокойстве из-за того, чтобы не слишком ее расстроить, я мог скрыть правду. Во всяком случае, обстоятельства делают невозможным для меня предложить Принцессе гостеприимство, как бы я ни хотел...

— Конечно, конечно! — прервал его Мобарек тоном теплого понимания. — Вы проводите меня до озера, Раджа? Это очень любезно с вашей стороны. Теперь позвольте посмотреть... — Остальная часть предложения потерялась для Джали, хотя голос старика продолжал доноситься до него еще некоторое время.

Когда двое ушли, он вышел из своего укрытия и посмотрел на огни, которые снова двигались там и сям на маленьком причале. Верхние окна дома позади него были темны, но в голову пришла мысль, что кто-то все равно может наблюдать за ним. Он повернулся и тихонько прокрался обратно в свою комнату.

XX

Он забрался в постель и лежал там неподвижно, уставившись широко раскрытыми возбужденными глазами в темноту. Напряжение последнего часа было велико, и теперь он чувствовал усталость, но при этом мог наслаждаться чувством расслабления и отрешения, которое следует за периодом полного погружения. Прежде всего его мысли вернулись к новости о скором отъезде Али. Это стало для него большим сюрпризом, и он улыбнулся, вспомнив, как был напуган тем, что следующим произнесут именно его собственное имя. Мысль о том, что Али должен покинуть Лагерь, вызвала у него глубокое удовлетворение не только потому, что он боялся, как бы Али не устроил ему какую-нибудь пакость, но и потому, что его соучастие с Али никогда не переставало быть источником дискомфорта. Уж теперь-то он может считать, что покончил с Али навсегда? И что касается Гуневати, уж конечно, он сможет сказать то же самое, как только прибудет Мабун Дас? Эти размышления были очень утешительны. Более того, эффект разговора в целом показал ему, что маленькое поле его тайных тревог вовсе не отрезано от остального мира, как он привык воображать, а существует как часть гораздо более масштабной ситуации — ситуации, в которой свое место занимают такие важные персоны, как его отец, шейх Мобарек и Мабун Дас.

Именно на этих мыслях он и заснул. Менее приятные черты его недавно расширившегося горизонта еще не привлекли его внимания; если ему удавалось откладывать мысли о Гокале, это отчасти объяснялось спокойствием, с которым его отец воспринял разоблачение Мобарека, а отчасти тем фактом, что опасность, угрожающая Гокалу, не была непосредственной и такой, которую он мог ясно представить себе.

Так что он спал спокойно, но душевное состояние, в котором он проснулся на следующее утро, показало, что его мозг на самом деле обдумал другие аспекты дела. Волнение ночи полностью испарилось, оставив ум, освещенный очень холодным, серым светом. Некоторое время он тихо лежал в постели, пока до него привычно доносились звуки дома, возвещавшие рутину дня. Он слышал, как отец совершает свой обычный обход по террасе, как мать идет в апартаменты старого Раджи посмотреть, как прошла ночь, и как слуги суетливо занимаются своими различными делами. Определенные звуки из крыла Гокала напомнили ему, что брахмин решил, с возвращением хорошей погоды, отказаться от своих нынешних помещений и вернуться в шатры.

Внезапно его осенило, что многие недели, которые он жил в этом доме, он был поразительно невнимателен к мыслям и чувствам окружающих. День за днем он видел, как отец шагает по террасе, а затем удаляется в свою личную комнату, чтобы проводить там долгие часы в одиночестве, — но ни разу его не побудило задуматься о том, что происходит в этом уме. День за днем он видел Гокала, возлежащего на кушетке, но лишь мельком взглянул и отвернулся; он даже толком не рассматривал вопрос, движется ли Гокал к выздоровлению или в могилу. День за днем он находился в обществе своей матери, и в некий смутный уголок его сознания проникло восприятие того, что она и Хари несомненно влюблены друг в друга. Но что это значило для нее (или для Хари), он никогда не

удосуживался вообразить. Так работал его разум; и все же он всегда был готов удивляться «слепоте» других. Правда, сейчас его отец казался ему совершенно необычно ненаблюдательным, раз не видел, что его мать и Хари любят друг друга; но разве сам он, возможно, не так же слеп к чему-то столь же жизненно важному для себя самого?

При этой мысли он остановился, глубоко задумавшись; а затем его снова осенило. Что касается Гуневати, он вел себя странно тупо. Как бы мало он ни понимал ее так называемую любовь к Даниялу, он мог бы уже давно осознать, что она неизмеримо усилит ее досаду от того, что ей не удалось стать лучшей актрисой. Будучи неспособной — из-за безразличия Данияла к женщинам — эффективно использовать свои обычные уловки, она, должно быть, отчаянно боролась за то, чтобы улучшить себя. И когда отсутствие успеха стало очевидным, как могло ей не прийти в голову, что она могла бы, осмельсь она только, привлечь его внимание к себе совсем иным способом?

Вопрос, на который это наводило, касался, разумеется, предательства Гокала. Получил ли Принц информацию от своих шпионов или от самой Гуневати? Первое казалось наиболее вероятным предположением, но также было возможно, что даже страх перед Мабуном Дасом, даже «предупреждения» оказались недостаточны, чтобы удержать Гуневати от использования своего языка. Да, предательство Гокала вполне могло быть ее рук делом, ее первым шагом на очень опасном пути. Она могла, представлял Джали, рассуждать, что Мабун Дас не проявляет особого интереса к Гокалу, тогда как Даниял, с другой стороны, будет весьма позабавлен, обнаружив, что находится в положении шантажировать столь выдающуюся и уважаемую персону. Восторг Данияла от скандалов был примечателен даже в Лагере, где сплетни были главным развлечением. Принц проводил большую часть времени в театре; у него была привычка прогуливаться по сцене во время репетиций, и нередко он болтал с кем угодно, кто случайно оказывался за кулисами. Бывали дни, когда Гуневати выходила из театра сияющая, чтобы похвастаться, что Даниял стоял и разговаривал с ней целых пять минут.

Мысли Джали теперь свелись к определенной проблеме, но он намеренно отложил ее в сторону, чтобы вернуться к рассмотрению своего отца и Мобарека. Было бы ошибкой, уверился он, списывать Мобарека просто как коварного старого государственного деятеля с планами в голове, которых его отец неохотно поддерживал. Его отец, знал он, испытывал подлинное уважение к Мобареку, несмотря на верность последнего Даниялу. Здесь вырисовывалась очень интересная проблема: Мобарек терпел Данияла, а его отец терпел Мобарека; более того, отношение его отца подсказывало, что со временем его самого можно будет убедить терпеть Данияла.

Немного позже Джали в одиночестве прогулялся по берегу озера. Он чувствовал себя в высшей степени озадаченным. Разве возможно, чтобы Даниял и его друзья отличались от того, какими он их себе представлял? Обладают ли они компенсирующими добродетелями, которых он не способен разглядеть? Или, допуская, что Даниял действительно таков, каким он его считает, обязательно ли считать такой характер подлым?

Разве все люди не очень похожи друг на друга, когда узнаешь их поближе? Неужели довольно наивно считать одних людей очень хорошими, а других — очень плохими? Компетентен ли он, Джали, судить о приятности или неприятности других людей? Когда дело дошло до изучения собственного характера, ему определенно не показалось, что тот особенно приятен.

В мысли о том, что он сам может быть почти таким же отвратительным, как Даниял, было некоторое утешение, ибо тогда он не был бы так безнадежно неуместен в мире и не страдал бы от незаслуженных мучений. С другой стороны, мир, безусловно, содержал некоторых несомненно приятных людей. Он вернулся к этому с непоколебимой убежденностью. Его отец и мать, Хари и Гокал — они были выше обитателей Лагеря. А как насчет их положения?

Внезапно его охватило страстное чувство, что ничто другое не имеет такого значения. У него были основания полагать — всё продолжало убеждать его в этом, — что приятные люди встречаются крайне редко. Состоит ли мир из людей вроде тех, кого он видел в Агре, и людей вроде Данияла и его шайки? Если это так, если «приятные люди» составляют лишь горстку — бедную, неэффективную, косноязычную горстку, — то остается только отчаяние. Здесь, здесь, осознал он, кроется корень его нынешнего несчастья. И сравнивая себя нынешнего с тем, кем он был в Кханжо, ему казалось, что его нынешнее несчастье, пусть и менее бурное, грозит проникнуть гораздо глубже. Туча, окутавшая его в Кханжо, была местной и временной: его нынешняя мрачность грозила растянуться темнеющим покровом над всей его жизнью.

Днем он спустился в лодочный сарай. Погода стала пасмурной и тяжелой, так что ему пришлось приказать гребцам вывести весельную лодку.

Они гребли с медлительностью, которая отчасти объяснялась истомой дня, а отчасти — нежеланием везти его в Лагерь; ибо они начинали бояться, что безрассудство их молодого хозяина приведет к тому, что его разоблачат, и часть гнева Раджи Амара обрушится на них самих. Джали сидел на корме с застывшим лицом и отсутствующим взглядом. Он напряженно думал. Как ему вытянуть из Гуневати то, что он хочет знать? Он чувствовал, что должен приступить к своей задаче с большой осторожностью, ибо вполне возможно — вполне возможно, — что Даниял получил информацию о Гокале не от нее, и она еще даже не осознавала, что Принцу рассказали. Конечно, Даниял рано или поздно непременно расспросит ее на эту тему, но если он отложит это до прибытия Мабуна Даса, опасность значительно уменьшится; ведь тогда Гуневати наверняка не посмеет быть нескромной. Критический период наступил сейчас, и опасность будет сохраняться, пока Даниял не покинет Лагерь.

Больше всего он боялся, что она поддастся искушению поговорить о Хари. Тот факт, что Принц вот-вот отправится навстречу принцессе Лалите и привезет ее обратно в Лагерь, мог склонить чашу весов. Гуневати достаточно хорошо знала, в каком духе Даниял воспримет

новость о том, что Лалита не постеснялась завести интригу с Хари даже после официальной помолвки. Он будет в восторге; это чрезвычайно позабавит его; он рассмеется. Как ему не рассмеяться, внезапно обнаружив, что он может уклониться от брака, которого всегда избегал? Как забавно для него оказаться в положении способным смутить Императора, создать грандиозный скандал при Императорском дворе и навлечь позор и беду на Хари и Принцессу.

Под воздействием этой тревоги Джали ломал голову над планом, который заставил бы Гуневати выдать себя. В случае неудачи (что было более чем вероятно), он мог бы, размышлял он, прибегнуть к Мансуру. От Мансура можно было бы узнать хотя бы о том, видели ли её с Даниялом разговаривающими вместе чаще обычного в последнее время; если Мансур находится в положении, позволяющем разоблачить или предать Гуневати каким-либо образом, он, вероятно, получит от этого удовольствие; каждый в Лагере всегда готов сделать другу гадость. Только нельзя казаться слишком заинтересованным, ибо Мансур *также* не будет желать оказать *ему* добрую услугу.

Его лодка теперь приближалась к противоположному берегу; уже сейчас он уловил ароматические смолы и благовония, которые сжигались в жаровнях то тут, то там по всему Лагерю. Это делалось в попытке замаскировать запах загрязненного болота, который с каждым днем становился все более неприятным. Навес сладко пахнущего дыма висел над остроконечными и купольными крышами, обрамляя Лагерь сверху — так же, как серая вода обрамляла его снизу. Джали взирал на подступающий фасад с отвращением; каждое движение весел, приближавшее его, усиливало гнет в его сердце. Достигнув пристани, он заметил, что берег озера пустынен, и, ступив на него, вспомнил, что сегодня назначен день для зрелища необычайного интереса на открытом воздухе за Лагерем. Несколько мгновений он стоял неподвижно, скрежеща зубами от досады; Гуневати, которая никогда не пропускала ни одного праздничного события, наверняка была там; да и вряд ли она уйдет оттуда, пока остается хоть какая-то часть развлечения, которую можно увидеть.

Почти час он уныло бродил кругом, и большую часть этого времени был погружен в глубокую задумчивость. Из глубин одной из своих грез он очнулся, обнаружив, что остановился перед большой жаровней, посылавшей вверх густой коричневый столб дыма, чтобы уплотнить покров над головой. Над этой жаровней стоял один из негров, которых Даниял привез в Лагерь, человек огромного роста и телосложения, угольно-черный, обладавший лицом, которое завораживало Джали своей первобытной животной жизнерадостностью. Негр тыкал железным прутом в уголь, и когда какой-нибудь раскаленный уголек размером падал сквозь решетку, он подбирал его и играл с ним, подбрасывая высоко в воздух и снова ловя. Из двери неподалеку вышла молодая девушка, чье чрезмерно накрашенное лицо и причудливый наряд показывали, что она готова к выходу на сцену. Когда она пробежала мимо, сверкая зубами и блестя глазами, и покачивая полными грудями, негр вытянул руку, как горилла, и прижал ее полуобнаженное тело к своей блестящей плоти. На мгновение она повисла в его хватке; но он забыл, что держит в

другой руке живой уголь, и через секунду с воем выронил вместе уголь и девушку, запрыгав на цыпочках с откинутой назад головой в ухмылке, где смешались веселье и боль. С визгом смеха девушка побежала дальше.

Выйдя из своего оцепенения, Джали принял внезапное решение пойти в дом, где остановилась Гуневати, и подождать ее там. До сих пор он избегал навещать ее в собственных покоях, но им овладело некоторое любопытство увидеть их, и ему надоело слоняться по улицам. По пути ему пришла на память ночь, когда он обыскивал ее комнату в Кханжо. То было ужасное время в его жизни; он часто уверял себя, что больше никогда не будет страдать так сильно; но теперь он был не так уверен. Подойдя к дому, он обнаружил арабского привратника, сидевшего на корточках у входа. Это было большое здание, в котором Принц размещал значительное число артистов на своем содержании. Джали слышал разговоры об этом арабе, которого выдавали за евнуха; все говорили, что за небольшую взятку он впустит кого угодно. Этот слух оказался достаточно верным; и в следующую минуту, следуя указаниям человека, он шел по длинному пустому коридору. Некоторые из дверей, мимо которых он проходил, стояли открытыми; но хотя весь дом казался безлюдным, он прошел мимо них торопливым, крадущимся шагом. Его смущала не только ухмылка привратника; чувства, которые до сих пор удерживали его подальше от этого места, вернулись с новой силой, давая ощущение того, что он занят грязным и опасным делом. Дверь комнаты, которую он счел комнатой Гуневати, была закрыта, но, боясь ошибиться, он стоял снаружи и прислушивался, и прошла минута, прежде чем он набрался смелости поднять щеколду. При первом взгляде на комнату он был удивлен ее размерами и элегантностью обстановки. В ней царил полумрак, создаваемый резными кедровыми экранами на главном окне; в углах стояли раскидистые ветви персидской сирени и роз, а также ветки жасмина; а мебель была старинной кашмирской работы. Ему пришло в голову, что эта квартира должна была быть отведена Гуневати вскоре после ее прибытия, в те дни, когда она одерживала легкие победы в немой роли Лакшми. Следующее, что привлекло его внимание, — это огромная груда водяных лилий посреди комнаты. Кучу была настолько велика, что занимала почти весь пол, и сладкий, но мутный запах цветов был одуряющим. Этот запах всегда был очень неприятен ему, и теперь аромат густых белых цветов смешивался с еще более мутным запахом влажных стеблей и листьев. Он создал атмосферу, которая казалась ему почти невыносимой для дыхания. Он уже собирался отступить, как диван в другом конце комнаты издал внезапный скрип, и кто-то, лежавший там, сел посмотреть, кто вошел. К своему удовлетворению он увидел, что это действительно была Гуневати.

XXI

Выражение удовольствия, появившееся на его лице, было совершенно неподдельным, настолько он уже оставил надежду увидеть ее в тот день. Он сохранял это довольное выражение, пока шел через комнату; застенчиво улыбаясь, он осознавал лицемерие своей

улыбки. Гуневати выглядела так, словно плакала, но вместо того чтобы упомянуть об этом, он спросил, не больна ли она. У нее болела голова, сказала она; они с подругами все утро были на озере, купались и собирали водяные лилии, и солнце оказалось для нее слишком сильным. — Как ты узнал, что найдешь меня здесь? — спросила она.

— Я не знал. Я думал, ты должна быть в Цирке. Но мне надоело слоняться по Лагерю, поэтому я решил прийти сюда и подождать тебя.

Она смотрела на него с некоторым любопытством. Слегка приподнявшись, она поправила подушки у себя за головой; тонкий желтый шелк ее одеяния оставлял шею и руки обнаженными; волосы свисали двумя косами на плечи. Видя, что она оставила место у изножья кушетки свободным для него, он сел туда.

Ее манера смотреть на него усилила его неловкость; вертя головой, он осматривал комнату с притворным интересом. Казалось, веселье собиралось за ее глазами, пока они продолжали покоиться на нем, и он внезапно догадался, каким образом она истолковывает его робость.

— Разве я разбудил тебя? — спросил он.

— Да. Но это неважно. О чем ты хотел со мной поговорить?

У него был готов ответ, но он придержал его. Он объяснил, что забыл о том, что сегодня великий день в Цирке, и спросил, что там происходит.

— Но что заставило тебя прийти в мою комнату? — настаивала она.

Он сделал вид, что колеблется. — Ну, когда я гулял, то вдруг понял, что стою прямо у твоей двери.

Она тихо рассмеялась.

Снова на мгновение он придал себе вид колеблющегося, а затем пониженным тоном сказал: — Я также видел знак, начертанный в пыли прямо снаружи.

Эта ложь, воображал он, была весьма полезной: объясняя отчасти его визит, она одновременно поворачивала разговор в желаемом им направлении. Он испытал удовлетворение, увидев, как нахмурилась Гуневати.

— Ахмед заметил его? — спросила она.

— Ахмед?

— Привратник.

— Нет, думаю, он не мог заметить. Он казался полусонным. Я стер его ногой, когда входил.

Он знал, что она очень чувствительна к этому знаку, который, казалось, считала позором. Пока он украдкой изучал ее, внезапная волна отвращения к себе захлестнула его. Как же ему надоели обманы и уловки! Что дома, что в Лагере, он всегда играл роль. Его истинное «я», казалось, было неспособно к честным отношениям: оно было приговорено каким-то глубоким дефектом природы к вечной измене.

Через мгновение она вытянула руки и зевнула, что было наполовину вздохом. — Подай мне зеркало, будь добр. — И она начала изучать свое отражение.

Немного разочарованный, он перешел на другой курс. — Вчера у меня была новость. Когда я покидал Лагерь, кто-то сказал мне, что Али уезжает. Это правда?

— Да, он уезжает. — Она говорила рассеянно; она подводила сурьмой ресницы.

— Действительно уезжает? — Джали подался вперед с преувеличенным рвением. — Но почему? Принц прогоняет его?

Гуневати продолжала изучать свое отражение в стекле. — О, его мать захотела забрать его, полагаю. Но он вернется. Этот роман еще не окончен, дорогой. Мы получим нашего Али обратно довольно скоро. — Она говорила рассеянно; ей недоставало интереса к Али, который был у нее прежде.

Как бы про себя Джали пробормотал: «Запах твоих водяных лилий заставляет меня чувствовать себя совсем больным», — и, закрыв глаза, откинулся назад на стену у изножья кушетки. Внутренне он чувствовал сильное напряжение и дискомфорт, но старался придать себе естественный, безмятежный вид. Ему внезапно пришло видение, как Гуневати резвится обнаженной в воде среди лилий со своими подругами. Он мог представить визги, смех, плеск, безжалостное выдергивание длинных слизких стеблей и бросание добычи на берег. Мелководье, должно быть, стало совсем мутным, прежде чем нагие, запыхавшиеся, перемазанные грязью девушки повалились на траву под солнцем. Как завидно быть похожим на Гуневати, держать перед своим умом лишь одну вещь зараз, быть голодным и есть, сонным и спать, смеяться и вопить в один момент, а затем возвращаться и плакать навзрыд. Какое значение имели слезы? Они скоро закончатся, и тогда человек будет готов к следующему делу. Никакого наложения, никакой внутренней путаницы или конфликта.

Вскоре она перешла к теме, которая, как он знал, вполне могла занимать ее час напролет. Это была история ее отношений с рани Джагашри, ранние главы которой он уже часто слушал прежде. Во время, когда она была на вершине своей славы (ее слава, бедняжка, будучи в действительности лишь славой «открытия» Данияла), рани сделала ей авансы самым откровенным образом, ее целью явно было выставить напоказ «роман». Гуневати почувствовала себя польщенной, и хотя прошло немного времени, прежде чем она поняла, что рани просто ищет дурной славы, она не видела причин отвергать предложенную связь. Если это поможет сделать рани интересной в глазах Принца, это сделает то же самое и для нее. Ее чувства к Джагашри в то время нельзя было назвать

враждебными; хотя она смотрела на нее несколько свысока за то, что та не является настоящей лесбиянкой, она не могла не восхищаться той решимостью, с которой та делала вид, будто ею является. Когда Джали выразил удивление, обнаружив Джагашри в Лагере, она рассказала ему, что в Агре рани, в своем стремлении привлечь благосклонное внимание Данияла, подкупила даму, хорошо устроившуюся в его окружении, чтобы та выставляла напоказ интрижку с ней на глазах у Принца. Соответственно, было несомненно, что Гуневати не была обманутой дурой, но это не помешало ей прийти в ярость, когда Джагашри бросила ее — как вскоре и сделала — при первых признаках выхода из моды. Все это была старая история; теперь Гуневати предстояло рассказать о перспективе успешной мести. Джагашри, утверждала она, все это время развлекалась с любовником-мужчиной в Лагере; и этот мужчина предал ее Мансуру, который, в свою очередь, передал новость ей. Что ж; она тут же принялась соблазнять любовника Джагашри и преуспела в этом настолько (по крайней мере, так она говорила), что теперь он готов шантажировать Джагашри, которая имела глупость послать ему любовные письма, которые, если их распространить, сделают ее посмешищем всего Лагеря.

Джали делал вид, что слушает и развлекается, но на самом деле он едва ли улавливал хоть слово из того, что говорила Гуневати. Он слышал слишком много подобных историй раньше; его разум был далеко; он сомневался, говорит ли Гуневати правду. Вся ее история лишь пробудила в его сердце слабую искру жалости, ибо в ее яростной ненависти к Джагашри он видел меру осознания ею собственного упадка и неудачи.

Когда она закончила, она откинулась назад, сцепив руки за головой, и последовало молчание, во время которого она, казалось, погрузилась в свою прежнюю вялость. Джали совсем не чувствовал себя расслабленным. Тишина угнетала его; она царила не только в этой комнате, но и над всем окрестным пространством, а доносившиеся через окно слабые звуки приветственных криков были неловкими, так как они привлекали внимание к увеселениям, в которых Гуневати не принимала участия. Только в этот момент он спросил себя со всей серьезностью, что значит то, что она заперлась здесь в этой комнате одна. Неужели она просто предавалась приступу детской капризности, или же ее настолько оскорбили, что она не смеет показаться на людях?

Пока он наблюдал за ней, новая деталь привлекла его внимание. Хотя ее глаза были полузакрыты, а поза казалась расслабленной, ее нога, свисавшая с кушетки, совершала быстрое, нервное движение. Это наблюдение подействовало на него самым необычным образом. Его ум, находившийся в состоянии напряжения, теперь также оказался охвачен мучительной неизвестностью. Его физический дискомфорт, вызванный запахом лилий, тоже превращался в истому, похожую на обморочное состояние. С тоской он посмотрел на маленькое окно в другом конце комнаты, единственное, которое было без экрана. На что напоминали ему эти белые цветы, на что намекала эта истома? Что-то, что случилось давным-давно; что-то, что происходит снова прямо сейчас. Но как вещи могут происходить

снова? И что это такое, что он помнил? А, да! это были цветы храмовых деревьев на священном холме... Но то было наслаждением, а это — своего рода пыткой.

Хотя он воздерживался смотреть на Гуневати, он знал, что ее глаза устремлены на него. Она смотрела на него пристально, и за ее глазами была улыбка. Он услышал, как она пошевелилась, садясь. Затем она придвинулась и оказалась вплотную к нему на кушетке. Странная пассивность удерживала его неподвижным; он продолжал смотреть прямо перед собой, пока смеющиеся глаза и смеющийся рот Гуневати не приблизились все ближе к его лицу. Затем внезапно ее руки оказались на его плечах; тяжесть ее тела отбросила его назад, и она лежала на нем, прижавшись губами к его губам. Почти сразу же он начал сопротивляться; и с такой настоящей решимостью, что в следующий миг уже стоял на ногах. Дрожа, покрытый потом, он стоял у кушетки и смотрел на нее сверху вниз. Там она лежала, на спине, смеясь. Она лежала, свесив ноги на землю, раскинув руки, все ее тело было лениво расслаблено. Он стоял, глядя на прелестные изгибы ее вздернутого подбородка, шеи и груди. В ее смехе было столько оскорбления, что кровь бросилась ему в голову; он повернулся и, обойдя заросли кувшинок, подошел к открытому окну.

Воздух казался свежим, и он быстро восстановил его силы. Снаружи был маленький дворик, поросший травой, затененный двумя-тремя березами. От дерева к дереву тянулась бельевая веревка, увешанная пестрым муслином. Сцена выглядела приятной, пока он не заметил двух крыс, копошащихся в куче мусора в одном углу.

Теперь его ум снова работал с полной ясностью. «Я не должен позволять этому мешать, — подумал он. — Я должен твердо держать свою цель перед собой. Мне придется быть тактичным какое-то время; ибо она не должна почувствовать себя оскорбленной». Он почти не сомневался, что понимает ее; но и это опять же нельзя было показывать. Он не должен подавать признаков того, что догадывается, насколько потерянной и униженной она себя чувствует. Он должен вести себя по-мальчишески; он должен казаться смущенным, рассерженным. Он должен позволить ей смеяться над ним; это будет нетрудно.

Он ждал. Но из погруженной в полумрак комнаты позади него не доносилось ни звука, и вскоре он почувствовал, что в тишине за его спиной может назревать катастрофа. Он напряженно прислушивался; он ничего не слышал, кроме жужжания синей мухи, привлеченной запахом водяных лилий.

— Джали! Ее голос, когда он прозвучал, был полон насмешки. — Что ты делаешь там? Вернись! Я хочу поговорить с тобой.

Его лицо прояснилось, но, быстро вспомнив свою роль, он сказал угрюмо: — Чего тебе?

— Иди сюда!

— Я не выношу запаха твоих водяных лилий. Меня от них тошнит.

— Ерунда! — Она смеялась. — Я хочу поговорить с тобой.

— О чем?

— Скажи мне, моя драгоценность! Твой брахмин знает, что я здесь?

Это было первое упоминание о Гокале, которое слетело с ее губ с момента их ужасного расставания в Кханжо. Сердце Джали начало колотиться о ребра; он остался стоять лицом к окну.

— Нет. Думаю, нет, — ответил он после паузы.

— Почему ты ему не скажешь?

— Зачем мне это?

— Потому что ему могло бы быть интересно это услышать.

Он не ответил.

— Ты боишься, что он все еще любит меня, — издевалась она.

Губы Джали шевельнулись, чтобы беззвучно проклясть ее. — Нет, — сказал он через мгновение; — Гокал совсем о тебе не думает.

Она тихо рассмеялась и пробормотала что-то, чего он не разобрал. Обернувшись, он увидел, что она сидит, прислонившись к груде подушек на прежнем месте. Он вернулся через комнату и снова занял свое место у изножья кушетки.

Снова на них опустилась ужасная тишина, нервирующая тишина. Двигаясь нетерпеливо от одного цветка к другому, синяя муха громко жужжала рывками. Приветственные крики из Цирка прекратились, но внезапно через открытое окно донесся отдаленный, глубокий рев. Настолько глубоким он был, настолько вибрирующим, что, хотя и очень тихим, что ощущение силы, которое он передавал, было необыкновенным. Гуневати глубоко вздохнула. — Это один из львов Принца, — сказала она. — Ты видел их? Их привезли аж из Африки.

Джали не ответил. Он все еще сидел, откинувшись на стену, со отсутствующим взглядом, устремленным на водяные лилии, и вдруг обнаружил, что смотрит в крошечный глаз, который уставился прямо на него. Сначала он подумал, что это змея, но внезапно существо сделало резкое движение, показавшее, что это крупная саламандра. Запах лилий снова погружал его в летаргию, и снова он чувствовал, как будто Время останавливается в своем течении. Он думал о тех мгновениях, когда в ослепительном полуденном сиянии наблюдал за праздной Гуневати возле маленького храма в лесу. Теперь, как и тогда, он чувствовал, как Настоящее расширяется, застывает и отражает вечно повторяющееся; только в этом переживании не было предвкушения блаженства; это было скорее посвящением в

состояние живой смерти. В этой остановке Времени что-то казалось созревающим, но с такой медлительностью, что каждое мгновение приобретало ценность вечности.

Так странно пораженный, он сидел там, пока нога Гуневати снова не привлекла его внимание. Он чувствовал, что она собирается заговорить.

— Ты даже не представляешь, как Принц смеялся, когда я рассказала ему о Гокале.

— Ты рассказала ему о Гокале?

— Да.

— Что ты ему рассказала?

— Всё.

— Значит, ты рассказала ему, как ты...

Она усмехнулась. — Именно это так сильно его позабавило.

Джали не ответил. Смертельное спокойствие разлилось по нему. Между этим состоянием и мгновенным убийством не было середины. К тому же он хотел услышать больше.

— Я знал, что ты рассказала Принцу, — сказал он после паузы.

— О! — Она проявила некоторое удивление. — Откуда ты это узнал?

— Шейх Мобарек посетил моего отца вчера вечером. Я слышал, как они долго разговаривали вместе.

Она не сводила с него глаз; она была слегка обескуражена, подумал он; хотя из-за этой новости или его хладнокровия — он не мог сказать.

— Они говорили обо мне? — спросила она.

— Нет. По крайней мере, твое имя прямо не упоминалось.

— О чем они говорили?

— О многом. Но зачем мне рассказывать тебе, когда... — Он осекся. — Тебе лучше быть осторожнее, — добавил он.

Она пристально смотрела на него; ее нога теперь раскачивалась очень быстро. — Что ты имеешь в виду? — сказала она.

— Ну... во-первых, я думал о том, что недавно сказал Мансур.

— И что же?

— Он считал, что ты становишься довольно безрассудной в последнее время.

— Безрассудной?

— На язык.

Из нее вырвался резкий крик гнева. — Какая чепуха! А какое дело Мансуру до этого? Кроме того, что касается Гокала, какое Мабуну Дасу дело до него?

Джали помолчал мгновение, затем сказал: — Мабун Дас приезжает. Ты знала?

— Да. Я знаю.

— И Мабун Дас очень дружен с Хари Ханом. Ты забыла?

Она уставилась на него в ответ, нахмурившись. — Забыла? Нет. Но при чем тут это?

Он молчал.

— Мы говорим о Гокале, — презрительно продолжала она. — А Мабуну Дасу нет *до него* дела. Он не влюблен в старого дурака, как ты.

— Нет. Но что касается Хари Хана...

— Хари Хан! — воскликнула она голосом, пронзительным от раздражения. — Зачем ты приплетаешь сюда Хари Хана? Он тут ни при чем.

От этих слов Джали почувствовал удовлетворение и преисполнился глубокого ликования. Спокойно глядя ей в глаза, он ответил: — Я имею в виду, что Хари Хан очень любит Гокала. Он уже сердился на тебя, и рассердится еще сильнее, если услышит, что ты болтала.

Лицо Гуневати действительно выдало, что она упустила это из виду. Наступило молчание, во время которого она, казалось, боролась со своими эмоциями. — Я не боюсь Хари Хана! — наконец произнесла она с большой страстью.

Джали решил нанести еще один удар. — Мне кажется, знак предупреждения приходит к тебе чаще в последнее время. Разве не потому, что *они* знают, что ты стала безрассудной? Тебя может видеть почти любой — а возможно, и подслушивать — пока ты стоишь там за кулисами, разговаривая с Принцем.

Ноздри Гуневати дрогнули, а глаза сверкнули; затем она вскочила с кушетки и встала над Джали, словно желая нанести ему физическое увечье. Он с любопытством посмотрел ей в лицо. Было странно видеть черты лица, которые своей мягкой и утонченной деликатностью, казалось, были созданы для того, чтобы выражать лишь нежность любви, но на деле иллюстрировали крайнюю степень ненависти и страха.

— Будь проклят брахмин! — воскликнула она. — Старый толстый человек, дурак — он должен был умереть смертью свиньи! Какое дело Мабуну Дасу до него? Зачем ему слушать

Хари Хана? У него полно других дел. А что касается Принца — он смеялся, говорю тебе! Принц смеялся!

Произнеся это, она резко развернулась, подошла к небольшому шкафчику и достала оттуда узел, который швырнула к ногам Джали. — Это единственные его вещи, которые я не продала — дрянь! Я возвращаю ему его дрянь и плюю ему в лицо. Отнеси эти вещи ему и передай, что от меня!

Джали поднялся со своего места, и теперь он машинально наклонился, чтобы поднять узел. Это было платье, которое Гуневати обычно носила в Кханжо, и он заметил, что несколько дешевых браслетов были нанизаны на веревку, которой оно было перевязано.

Его мозг теперь затуманился, все чувства притупились. Это конец! — подумал он; и когда он заглянул в искаженное яростью лицо Гуневати, то задался вопросом, чувствует ли она тоже, что произошло нечто решающее. С минуту они стояли там лицом друг к другу; и тогда он увидел, что для нее этот день и этот момент также были критическими. Только не Гокал или Хари, или даже Мабун Дас в первую очередь волновали ее; в центре ее существа стояла ослепительная фигура Принца; если она размышляла о своем провале как актрисы, об оставленности друзьями, их насмешках и вероятном изгнании из Лагеря — это была лишь внешняя форма ее великой внутренней трагедии. Заглядывая ей в лицо — как он думал, в последний раз, — его осенило, что у нее нет ни сердца, ни ума, ни воли, чтобы избежать своей судьбы — какой бы она ни была. Ее порочность и мелочность были столь же упрямы и фатальны, как любые добродетели мудрых и святых людей. Больше нечего было сказать в виде предупреждения или мольбы. Он смотрел на нее со смущением, в которое входил элемент благоговения. Ибо хотя сама по себе она значила так мало, в мире она представляла собой так много.

XXII

Во второй половине следующего дня он снова переправился через озеро, но вместо того чтобы причалить к Лагерю, высадился в двух милях ниже по течению и, приказав лодочникам ждать его там, отправился через заросли молодых берез и ив, покрывавших эту часть берега озера. Его целью было убедиться, что Принц отправился в путь, и сделать это он намеревался, расспрашивая на дороге, по которой должен был проехать Принц.

Еще несколько месяцев назад эта дорога была не более чем узкой тропой; теперь же это была хорошо протоптанная магистраль с местами для привалов для постоянного потока носильщиков, проходивших по ней. Джали предстояло пересечь около мили неровной, болотистой местности, и он пробирался вперед со странной смесью нервной сосредоточенности и рассеянности. Он мало спал той ночью, а сейчас так устал, что его мысли блуждали, следуя за подсказками каждой случайной ассоциации. В данный момент он думал о долине Рави, находя утешение в размышлении о том, что через несколько

месяцев или, самое большее, через несколько лет она вернется в свое естественное состояние. Ведь Лагерь Данияла определенно не был постоянным, и после его оставления легкие деревянные постройки, из которых он состоял, очень скоро сгниют. Он видел их мысленным взором — хлипкие руины без всякой красоты в своем распаде; в конце концов мхи и ползучие растения распространятся повсюду, вырастут ивы и ольхи, место исчезнет полностью.

В те дни, предположил он, Принц будет править как Император над землей; и, имея в своем распоряжении дюжину загородных дворцов, зачем ему вообще помнить о долине Рави? Но было противно представлять Данияла, властвующего над всей Индией! — противно думать о нем и его друзьях как об обладателях власти, задающих тон обществу и дающих Индии ее имя среди людей. Даже если бы он, Джали, решил удалиться в свою прекрасную долину и жить отшельником в доме своего деда, он все равно остался бы подданным Данияла. При этих размышлениях его лоб нахмурился, и он был поражен силой ненависти, которую обнаружил в своем сердце.

Примерно через двадцать минут он вышел на дорогу и спросил у группы сидевших на корточках у обочины, проезжал ли уже Принц. Нечасто случалось так, что что-то в Лагере происходило в соответствии с предыдущим объявлением, поэтому он был несколько удивлен, когда ответ прозвучал, казалось бы, утвердительно. Но оставалось сомнительным, правильно ли эти люди поняли его, ибо они говорили на диалекте, который он сам едва мог разобрать. Пройдя дальше по дороге в направлении Лагеря, он спросил снова. На этот раз ответ прозвучал четко и ясно: Принц прошел около часа назад. Хотя эта новость чрезвычайно порадовала его, он пошел дальше; он не считал дело окончательно решенным. Следующие три человека, которых он встретил, все уверяли его, что Принц еще не тронулся в путь, и поскольку один из его информаторов был членом личной охраны Принца, он счел себя обязанным принять эти сведения как достоверные. Это было разочарованием, хотя и далеким от неожиданного. Мрачно свернув с дороги и выбрав место вне поля зрения прохожих, он сел, чтобы обдумать ситуацию. Хотя его нежелание идти вперед в Лагерь было очень сильным, тревога, толкавшая его вперед, имела почти равную интенсивность. Он знал, что душевного покоя не будет до тех пор, пока он не сделает все возможное, чтобы выяснить, как обстоят дела. Пока он находился в таком конфликте с самим собой, его взгляд скользил по горному склону, по которому он впервые спустился в долину Рави во время своего путешествия из Кханжо, и внезапно он осознал, что группа из пяти всадников спускается тем же путем. Его ум тут же обратился к Хари: ему показалось, что он помнил, как Хари взял с собой четырех человек. Заслонив глаза рукой, он изо всех сил старался опознать ведущего всадника; и прошло совсем немного времени, прежде чем он действительно убедился, что его догадка была верна.

Волнение всколыхнулось в нем; пока его взгляд оставался прикованным к этой далекой фигуре, его воображение активно работало. Он представил себе Хари в Кханжо; он нарисовал картину, как тот проводит свои расследования; и, пока одна сцена за другой

проходила перед его мысленным взором, он мгновенно увидел, что единственное, что Хари действительно мог обнаружить, — это то, какими были его, Джали, отношения с Гуневати. Один из обитателей, если не сама Муджатта, — почти наверняка — дали бы ему эту информацию. Как только он подумал об этом, это показалось ему очевидным, насколько только возможно, и он был ошеломлен собственной глупостью, что не понял этого раньше.

В каком-то оцепенении он начал ходить взад и вперед. Вот, наконец, конец этому ужасному периоду его скрытности и обманов. Будучи обвиненным в том, что вел интригу с Гуневати, он не утаит ни крупицы правды. Мрачное удовлетворение овладело им; как бы сильно он ни страшился предстоящего испытания, он также приветствовал его. Его сердце тяжело билось, пока он наблюдал за спускающимися по склону Хари и четырьмя всадниками. Их путь поведет их вокруг конца озера, не приближая к Лагерю, и, поскольку петля была длинной, должно было пройти пару часов, прежде чем они доберутся до дома старого Раджи. Джали отметил это с облегчением, так как это давало ему время подумать.

Экзальтация, охватившая его мгновение назад, уже начала испаряться. Когда он посмотрел, на чем она была построена, то не смог найти ничего — ничего, кроме слабого облегчения от того, что покончил со своей скрытностью и ответственностью. «Ситуация во всех остальных отношениях осталась прежней. Его признания ничуть не помогут вызволить Гокала из его затруднений и не избавят Хари от угрожающих ему опасностей. Более того, из-за задержки Принца с отправлением эти опасности нависли над ними более неотвратимо, чем когда-либо.

Минуту назад, в своем первом волнении, он смутно предположил, что теперь все прояснится и что его старшие и лучшие без промедления примутся наводить порядок. Но, представив будущее немного ближе, насколько вероятно, что он преуспеет в передаче своего смысла людям, чьи умы были так неподготовлены и так отличались от его собственного? Объяснить голые факты дела будет возможно, несомненно, но голые факты часто вводят в заблуждение; а когда дело доходит до передачи тонких оттенков чувств, догадок и интуиции, какой безнадежной казалась эта затея! Если несколько мгновений назад он воображал себя положившим конец своему духовному одиночеству, это был очень глупый сон. Как мог он когда-нибудь объяснить, кем он был в прежние дни, или через что прошел, или кем стал теперь?

И его уныние на этом не остановилось. Внезапно он обнаружил, что исчезла его детская уверенность в старших. До сих пор это было статьей его веры в том, что во всех тех делах, где он сам был несостоятелен, они обладали божественной способностью. Что-то недавно случилось, чтобы подорвать эту веру, так что теперь, когда он думал о том, как его отец, Хари и Гокал возьмут ситуацию в свои руки, он чувствовал не приятное теплое чувство уверенности, а замирание сердца. О себе самом он уже отчаялся; его неспособность предвидеть почти неизбежные последствия визита Хари в Кханжо разрушила его последние надежды когда-либо суметь разумно использовать свой интеллект. Но теперь

его старшие выглядели не лучше. В одном отношении они были даже хуже, ибо тогда как он осознавал свою глупость, они совершенно не осознавали своей собственной.

В внезапном порыве чувств он принялся топтаться по поляне, в то время как слезы ярости и безнадежности струились по его щекам. Он видел дураков, дураков повсюду! Ничего, кроме дураков! Взгляните на Хари, возвращающегося, самоуверенного и бодрого, надо полагать, после того, что он считал весьма успешным расследованием! Как же безнадежно его жизнерадостное самомнение, его склонности и его сантименты ослепляли его! Взгляните на Раджу Амара! Если его непонимание чувств жены недостаточно ясно его характеризовало, достаточно было рассмотреть его жизнь: мало того что его постоянно обманывали зависящие от него люди, мало того что его постоянно обманывали друзья, мало того что он совершенно не знал истинного характера и поведения своего сына, но он полностью не понимал собственной природы, а его моральный кодекс был лишь прославлением его собственного темперамента. Взгляните на Гокала, обожающего гнусное создание, которое насмехалось над ним, а в конце концов попыталось лишить его жизни! Был ли кто-нибудь в мире, кто не был бы либо отвратителен, либо дураком, либо тем и другим одновременно? Мабун Дас, могли сказать? Нет, он меньше всех. Кем он был, как не бедным маленьким человеком, который закрывал глаза на звезды, сосредоточивая весь луч своего узкого интеллекта на вещах у своих ног, и все же именно он был главным виновником ныне надвигающихся бедствий!

Обессиленный вконец беспомощной яростью, Джали бросился на землю и угрюмо вытер слезы с лица. Через несколько мгновений он успокоился настолько, что испытал некоторое удивление повороту собственных чувств. Откуда эта злость на своих людей, в частности на собственного отца? Он уклонился от ответа, но не раньше, чем заметил, что его задел ровный тон, которым его отец обычно говорил о Данияле и Лагере. Его непредубежденность исчезла совершенно; теперь он знал, что ненавидит Данияла и его компанию такой неистовой ненавистью, которая не станет слушать никаких аргументов с другой стороны. Его гнев против отца и Хари проистекала из знания, что он не сможет разжечь в них пламя ненависти, равное его собственному. Именно это он и имел в виду, говоря себе в отчаянии, что не сможет «объяснить». Его тайным желанием было использовать отца и других как орудия своей мести, натравить их на Данияла, словно сонм мстительных фурий. Этот мимолетный взгляд в собственное сердце изумил его, и он тут же отбросил эти мысли.

Наступило время действовать. Его окончательное решение состояло в том, чтобы пойти домой, чтобы быть там, когда приедет Хари. Маловероятно, что Хари скажет что-нибудь в тот день, но его взгляды и манеры могут, подумал он, показать ему, как обстоят дела. В любом случае, будет лучше отложить поход в Лагерь до вечера, когда Мансура и других людей, которых он хотел расспросить, будет легче найти.

Ночь была теплой, темной и ветреной. Маленькие быстрые волны шлепали по бортам лодки, когда Джали отчалил, а ветер делал продвижение медленным. Его мысли больше не были заняты Хари, который не подал ему никакого знака о том, что у него на уме; но по правде говоря, было мало значимо, как много уже знал Хари, поскольку он чувствовал себя обязанным в любом случае сделать полное признание. Чтобы уберечься от любого ослабления своей решимости, он поддался прихотливому импульсу, который овладел им всего несколько минут назад. Прежде чем спуститься к лодке, он прокрался сквозь темноту к шатру Гокала и сунул платье и безделушки Гуневати под полог, свисавший над входом. Его идея состояла в том, чтобы Гокал нашел эти вещи там, когда проснется утром.

Теперь, пока его лодка пробивалась сквозь влажный ветер и рябившую воду, он не был занят ни Хари, ни Гокалом. Он вернулся к смутным и лихорадочным мыслям, которые не давали ему уснуть предыдущую ночь. Образ Гуневати преследовал ее; ее личность завораживала его; ни на мгновение с их последней встречи она полностью не выходила из его головы. Сначала он пытался утверждать, что она безумна. Если бы он мог смотреть на нее просто как на (типичный) «случай», он мог бы отрицать половину ее значимости. Но, сравнивая ее с другими в Лагере, которые были несомненно неуравновешенны, склонны к истерии или пристрастились к выпивке или наркотикам, он не мог найти никаких точек сходства. Умственно так же, как и физически, Гуневати проявляла себя здоровой; зло в ней не было болезнью. Ее нервы тоже были хороши; он не мог не признать, что ее нервная устойчивость значительно превосходит его собственную.

В долгие часы ночи он совершенно не мог помешать своим мыслям улетать в области чистого изумления. Он видел девушку в двух аспектах, контрасты между которыми повергали его в замешательство. В первом она представала существом одновременно неразвитым и дурно развитым, созданием низким на шкале человеческой ценности: ее второй аспект показывал ее как ту, кто ушел дальше него в сферу, где движутся большие силы и ставки более ужасающи. Как получилось, что она, казалось, уже реализовала себя? тогда как он все еще стоял, колеблясь и трепеща, на пороге жизни. Думая о ее теле, таком мягком, таком юном — теле старше его самого не более, чем на два-три года! — он был поражен беспощадностью сил, которые несли ее вперед. В действии эти силы были огромны и неумолимы; в содержании они были тривиальны, случайны и недостойны уважения. По этой причине он отказывался облагораживать ее увлечение именем любви. Любовь! Нет-нет, это было бы слишком лестно для нее. Ее увлечение могло быть для нее делом первостепенной важности, оно могло иметь важные последствия для других, но оставалось фальшивым и презренным явлением.

Огни Лагеря плясали на взбаламученной воде, когда его лодка приблизилась; запах этого места и его вечная музыка донеслись до него со знакомостью, заставившей его почувствовать, будто он знал их с начала времен. Сила его отвращения была настолько велика, что он впал в дрожь. Неужели нет ничего, что кто-либо мог бы сделать, чтобы навлечь разрушение на это гнездо змей?

Прежде чем высадиться, он собрался с духом для своей задачи; главным образом он хотел выяснить, разговаривала ли Гуневати с Принцем в течение последних двадцати четырех часов и есть ли вероятность их встречи до того, как Принц тронется в путь. Это он надеялся узнать от Мансура. Разыскивать *ее* снова было невозможно. Бродя вдоль берега озера, он начал расспрашивать среди лодочников и других людей о передвижениях Принца; но лишь для того, чтобы встретить обычные уклончивые ответы, которые вызывались отчасти незнанием, а отчасти инстинктивным нежеланием быть услужливым. На улицах царило большое оживление, и можно было видеть множество незнакомых лиц; плакаты объявляли, что празднества откроются через шесть дней. Держа ухо востро в поисках Мансура или кого-либо еще, кто мог бы быть полезен, он окольным путем направился к дому Гуневати. Ему пришло в голову, что Ахмед, привратник, — человек, которого стоит расспросить, и он запасся достаточным количеством денег, чтобы склонить мужчину к разговору. Из двери здания, когда он подошел к нему, выходила труппа девушек, очевидно, направлявшихся в театр на репетицию. Фонари бросали сильный свет на сцену, и если бы Гуневати была среди них, он не мог бы ее не заметить. Пока они не отошли, он стоял у палатки, делая покупки сладостей и рисовой водки. Водка могла бы, подумал он, прийтись по вкусу Ахмеду, чье хмурое лицо показывало, что он трезв, и находит это состояние весьма неприятным. Не сумев набраться смелости обратиться к стайке смеющихся девушек, Джали нашел себе оправдание в том, что ничего из сказанного ими не заслуживало бы доверия. Дождавшись, пока уйдет последняя, он небрежно подошел к Ахмеду и предложил ему стакан спиртного. Но мужчина отказался, и, всмотревшись в него и наконец вспомнив его лицо, пошел и встал прямо в дверях.

Джали объяснил, что у него нет желания входить.

— Тогда чего тебе нужно? — спросил Ахмед.

Он ответил, что, услышав о недомогании Гуневати, пришел справиться о ее здоровье.

Привратник подозрительно посмотрел на него, а затем пробормотал, что она все еще больна и никого не принимает.

Джали выразил сожаление и, разговаривая, сунул в руку мужчины немного денег. Эффект от этого был хорошим; Ахмед стал готов беседовать на общие темы, однако всякий раз, когда Джали сводил разговор к теме Гуневати, он становился немногословным. Через короткое время стало ясно, что что-то не так и что в той или иной степени вина лежит на самом Ахмеде. Природа недуга Гуневати оставалась, однако, загадкой; более того, манера речи человека заставила Джали усомниться, была ли она вообще больна; и все же Ахмед был настолько настойчив в своих утверждениях, что она не выходила из своей комнаты последние тридцать шесть часов, что невозможно было не поверить, что хотя бы это правда.

Чувствуя тревогу и беспокойство, Джали задержался как мог; и перед уходом пустил стрелу наугад. — Я скажу тебе, почему я так любопытствую насчет Гуневати, — сказал он

конфиденциальным тоном. — Дело в том, что всего несколько минут назад я слышал, как некоторые люди говорили, что Принц сам проявляет большой интерес к ее состоянию и даже подумывает прийти навестить ее.

Эффект этих слов на Ахмеда оказался совершенно неожиданным. Его лицо, уже бледное и осунувшееся из-за воздержания от спиртного, приобрело еще более жуткий оттенок, и он изверг поток проклятий, большая часть которых была направлена против Принца. Как средство для получения дальнейшей информации уловка полностью провалилась; посему, поспешно пожелав ему доброй ночи, Джали повернулся и удалился по переулку.

Его ум теперь находился в смятении. Его ужасала мысль о том, что Ахмед действительно считал визит Принца возможным. Его единственным желанием в данный момент было расспросить Мансура, которого в этот час обычно можно было найти за ужином в небольшом закусочном заведении на берегу озера. Он поспешил туда и, к счастью, столкнулся с ним именно в тот момент, когда тот выходил из дома. Мансур выглядел слегка раскрасневшимся от хорошего настроения; его маленькие сверкающие глаза проницательно оглядели Джали.

— Кого ты ищешь? — спросил он.

— Гуневати, — с дерзостью ответил Джали.

Лицо Мансура было, как обычно, непроницаемым. — Что ж, здесь ты ее не найдешь.

— Она на репетиции? — невинно поинтересовался Джали.

В глазах Мансура промелькнуло веселье, и он покачал головой.

— Ну а все же — можешь сказать мне, где она?

Мансур посмотрел на него свысока, задумался и наконец положил руку на плечо Джали. — Послушай! — сказал он со смехом. — Я не думаю, что этот Лагерь — вполне подходящее место для тебя. Здесь происходят вещи, которых ты не понимаешь. Будь я на твоем месте, я бы больше не приходил.

— Но что случилось с Гуневати? — спросил Джали дрожащими губами. — Она умерла?

Мансур молча рассмеялся, оглядываясь в своей обычной манере в поисках аудитории, с которой можно разделить свое ощущение нелепости собеседника. И аудитория оказалась под рукой — в виде трех молодых людей, которые только что подошли поближе. Все четверо улыбаясь смотрели на Джали.

— Нет-нет! она не умерла. По крайней мере, насколько мне известно. Я не видел ее уже два дня.

— Тогда чем она занимается?

— Дуется. Ее выгнали из труппы. И давно пора было это сделать. Бедняжка, она никогда не будет играть. Пытаться научить ее было смешно.

— Она больна?

Мансур пожал плечами и немного отвернулся, опустив уголки рта. — Я ничего о ней не знаю, — коротко сказал он.

— Но, пожалуйста — пожалуйста, скажи мне! — взмолился Джали. — Я уверен, ты действительно знаешь, что произошло.

Мансур уже уходил, но остановился, чтобы снова пожать плечами; и теперь, разглядывая Джали, его глаза начали сверкать сильнее прежнего. — Я *точно* не знаю, — сказал он, — но думаю, могу догадаться.

— Что? — пролепетал Джали задыхаясь.

— Ну, я думаю... я думаю, у нее будет ребенок. В этом вся проблема.

— Ребенок! — выдохнул Джали.

— Да, твой. — И, продолжая излучать веселье, Мансур вместе со своими тремя спутниками пошел своей дорогой.

Ошеломленный, окаменевший, Джали стоял неподвижно там, где был. Идея, представленная Мансуром, ужаснула его настолько, что он совершенно не мог оценить степень ее правдоподобия. Ребенок от него и Гуневати! Существо, в котором часть его натуры смешалась бы с частью ее! Это был бы предел ужаса! последний позор, который могла нанести жизнь! Ребенок от него и от нее стал бы духовным монстром. Он не верил Мансуру — о нет! Но его неверие было лишь отчаянным отрицанием чего-то слишком отвратительного, чтобы быть правдой.

Придя в себя после первого оцепенения, он повернулся и, как безумный, побежал назад тем же путем, которым только что пришел; но вместо того чтобы направиться к фасаду здания, где жила Гуневати, он нырнул в темный узкий переулок, тянувшийся вдоль его задней части. Здание было неправильной формы, а переулок полон углов, из-за чего ему было трудно найти нужное место; его целью было проникнуть в маленький дворик, который он рассматривал из окна комнаты Гуневати. В конце концов решив, что это самое вероятное место, он без особого труда перебросил себя через частокол. Но огороженный участок, куда он спрыгнул, оказался не тем; на нем не было берез. Осторожно осмотревшись, через минуту он ясно увидел верхушки тех деревьев на фоне ночного неба. Между ним и ними стоял еще один частокол, но он был не более грозным, чем тот, который он уже преодолел. Через минуту он уже полз по траве к незашторенному окну Гуневати, за которым виднелся тусклый свет.

Он заглянул в комнату. Одинокая свеча стояла на столе в центре, а в другом конце он мог различить фигуру Гуневати, лежащей на кушетке лицом к стене. Его глаза уставились на нее; он смотрели так, словно одной лишь силой зрения мог вырвать у нее ее секреты. Один или два раза она слегка пошевелилась; однажды со вздохом она выбросила руку вперед.

Опираясь на подоконник, он смотрел и смотрел. Для него эта человеческая форма была средоточием всех тайн и ужасов жизни. Пот лил градом по его лицу, пока он всматривался в тихую комнату и гадал.

Минуты шли, неизменные и страшные. Его ноги дрожали так сильно, что если бы он не мог опереться половиной своего веса на подоконник, то опустился бы на землю. И все же у него не хватало мужества издать хоть малейший звук.

Затем Гуневати шевельнулась; она перевернулась, и мгновение спустя села на край кровати. Ее лицо было бледным и носило застывшее, тяжелое выражение. Она смотрела прямо на него широко открытыми темными глазами. Ни на мгновение она не показалась пораженной или удивленной; она лишь нахмурилась, словно устало возмущенная этим вторжением в ее личное пространство. С минуту или больше двое смотрели друг на друга; затем таким же медленным и тяжелым движением тела она снова отвернулась и приняла прежнее положение лицом к стене.

Джали не сделал ни единого движения. Комната потемнела перед его глазами. Иногда он ничего не видел, кроме свечи; в другое время он мог различить силуэт Гуневати в темноте за ней; а затем снова опускалась завеса тьмы, и он вообще ничего не видел.

Спустя некоторое время — он не знал, сколько прошло — Гуневати снова повернула голову, посмотреть, там ли он еще. Она мрачно разглядывала его несколько мгновений, затем с тяжелой обдуманностью поднялась на ноги. Она взяла свечу со стола и медленно двинулась через комнату к окну, и там остановилась, нахмурившись, глядя ему в лицо, которое находилось почти на одном уровне с ее собственным. В его глазах была мучительная вопросительность; его губы двигались в усилии задать вопрос; и это она, должно быть, увидела. На ее лице появилось странное выражение, когда она продолжала смотреть на него. Затем она медленно подняла свечу, пока та не осветила ее полностью, и открыла рот. Джали обнаружил, что смотрит в пещеру, черную, распухшую, ужасную — без языка.

Через мгновение она снова закрыла рот; она опустила свечу; она повернулась и вернулась к своей кровати, и вытянулась, как прежде.

XXIII

Итак, вот каким был теперь Джали! Вот он сидел на скамейке перед домом старого Раджи в утреннем солнечном свете, с рябящим озером перед глазами и легким ветерком,

обдувавшим его со всех сторон — ветерком, наполненным шелестом и сверканием новорожденного дня.

В его уме не было солнечного света; тьма ночи все еще оставалась там — тьма, которая была свойственна не только той ночи, но всей долгой истории страданий человечества и злодеяний. Если рассматривать последний поворот событий сам по себе, он мог бы найти утешение в мысли, что Гуневати стала неспособной причинить дальнейший вред; он мог бы поразмыслить о том, что судьба, постигшая ее, не была незаслуженной. Но он еще не выяснил с какой-либо определенностью масштаб вреда, который она уже причинила; да и к ее наказанию, как бы оно ни было заслужено, он не мог испытывать никаких чувств, кроме ужаса.

Он сидел на этой скамье уже час или более в смутном ожидании вызова от Хари или Гокала. Но никакого вызова не последовало; и наконец он почувствовал, что должен действовать самостоятельно. Что ж, он готов! Он подумал: я подожду, пока эта стайка уток снова поднимется, а затем пойду и расскажу.

Через полминуты сигнал пришел, и он тут же встал.